Борис Бедный

Девчата



Девчата

Борис Бедный



Борис Бедный

Девчата

ПОВЕСТЬ
И РАССКАЗЫ

«Современник»
Москва
1983

Р2
Б 38

Бедный Б. В.

Б 38 Девчата: Повесть и рассказы / Предисл.— К. Ваншенкина.— М.: Современник, 1983. — 526 с., ил., портр.

В пер.: 2 р. 20 к.

В сборник известного советского писателя Бориса Бедного вошли повесть «Девчата», хорошо знакомая читателям, и менее известные, но не утратившие своей самобытности и художественной ценности рассказы «Первое дело», «Комары», «Теплый берег», «Мачеха» и другие. Герои произведений Б. Бедного — совсем юные, только начинающие свою трудовую биографию и уже прошедшие нелегкий путь войны — заставляют нас внимательнее вглядеться в окружающий мир, понять и оценить душевную красоту советских людей.

Б $\frac{4702010200 — 317}{М 106(03) — 83}$ 120—84

О БОРИСЕ БЕДНОМ, ЕГО РАБОТЕ И СУДЬБЕ

С Борисом Бедным судьба свела меня еще в Литературном институте и с бросающейся в глаза настойчивостью не давала нам разлучиться почти три десятка лет.

Сперва полтора года мы прожили рядом, во флигеле Дома Герцена, в соседних комнатах общежития — дверь в дверь. Потом почти одновременно съехали, я снимал комнатенки по всей Москве, его приютил на своей переделкинской даче Павел Нилин. Затем я получил собственную крышу над головой — две комнатки в разваливающемся особняке в глубине двора на Арбате — и прожил там год. Он забредал ко мне раза два, случайно. И тут — сигнал трубы! И ему, и мне дают однокомнатные квартиры в высотном здании близ Киевского вокзала, в крыле не открытой еще гостиницы «Украина», рядом, в одном подъезде. Новоарбатского моста еще нет, и нет Кутузовского проспекта, наш диковинный дом с роскошными лифтами и вестибюлями сияет над причудливым развалом старой Дорогомиловки. Мы живем там два года. У него семья уже из четырех человек, у меня из трех — тесно. И вновь звучит походный рожок судьбы. Но ведь могли дать в разных домах, в разных районах. Нет, мы опять вместе, опять рядом, в одном подъезде. И опять — метромоста еще нет, и нет метро, и Комсомольского проспекта, и даже Ленинского, а есть лишь Бережковская набережная и автобус-экспресс № 111. Здесь мы прожили рядом двадцать лет, а последние шесть, после дополнительных внутренних перемещений, даже на одной лестничной площадке. Как когда-то — дверь в дверь. Все на глазах: радости и горести, жестокие болезни детей и счастливые выздоровления.

Он поступил в институт раньше меня на год. А старше был на девять лет («родился в девятьсот шестнадцатом, при проклятом царском режиме»— его слова, его манера).

Он родился в станице Ярославской, на Кубани, в семье учителя. Отец стремился к знаниям, всем интересовался. Еще до первой мировой войны, скопив денег, ездил с учительской экскурсионной группой в Париж и потом долгие годы об этом рассказывал.

Борис окончил Майкопский лесной техникум, в числе лучших был послан в Ленинградскую лесотехническую академию. Он стал инженером водного транспорта леса, специалистом по сплаву, ра-

ботал в сплавных конторах Коми АССР, на реках Севера, перед самой войной, а потом — снова. Его соученики по академии с которыми я знаком, до сих пор восхищаются им как инженером. Он потрясающе считал в уме. Я не раз бывал тому свидетелем еще в общежитейские времена. В кондитерском магазине подходим к кассе. Он говорит:

— Триста пятьдесят граммов конфет по двадцать шесть шестьдесят (деньги, разумеется, старые) и сто пятьдесят по четырнадцать восемьдесят.

Кассирша ссыпает счеты вправо:

— Значит, так...

А Борис говорит:

— Девять тридцать одна и... два двадцать две. С ручательством фирмы.

Кассирша не верит, дважды перещелкивает, изумляется.

У него была поразительная память, он был глубоко начитан и, едва получил первое жилье, окружен огромным количеством книг. Моя дочь при необходимости находила у него все, что требовалось школьной, а потом институтской программой. Он в своей манере громогласно ее напутствовал:

— Передай родителям, что нужно такие книги иметь!..

Писать он начал до войны, в академии. Был участником литературных кружков и студий. Но всерьез вернулся к этому в сорок шестом, в далекой своей сплавконторе, на Трехозерной запани, что близ Сыктывкара. Печатался в Коми республиканской газете «За новый Север» (ныне «Красное знамя») и наконец решился вновь переломить судьбу, бросил угретое место, вновь занял студенческую коечку, поступив в Литературный институт.

Его спрашивали:

— Сын Демьяна?

Объяснял громко, с экспрессией:

— Он При-дво-ров! А мы — Бедные...

Он был одним из самых старших и оказался в центре большой группы институтских прозаиков. Его авторитет был высок. Говорили то и дело:

— Посоветуюсь с Борис Васильичем...

— Надо будет показать Борис Васильичу!..— Серьезно, уважительно. Иные и потом в течение долгих лет словно по привычке носили ему на отзыв свои опусы.

А дела у него пошли хорошо. Он стал много писать, широко печататься. Главным образом в «Огоньке», где сотрудничали почти все тогдашние рассказчики. Весной пятьдесят первого Твардовский поместил в «Новом мире» его рассказ «Комары». Этот рассказ вызвал всеобщее одобрение и восторженную рецензию Николая Пого-

дина в «Литературной газете». Маститый драматург писал: «...Есть у автора настоящий талант, если он умеет без «поэтических красот», без явных ухищрений (и, кстати, без сентиментальности) передать глубокое очарование жизни так хорошо, так верно, что кажется, будто ты сам все это знал давно и лишь не мог выразить». Эта рецензия стала событием не только для Бориса, но и для всех нас. Так о нас еще не писали.

У него первого завелись деньги. Помню, меня поразил своей роскошью гуляш за 3.60 (в старых ценах), который он ел в служебном буфете Камерного театра, куда мы захаживали. Но он был широкой натурой, любил угостить. Он одалживал всем. Многие не отдавали годами, некоторые так и не отдали.

Недавно я проходил по Тверскому бульвару и в который раз ощутил пустоту в душе при виде огромного странного сквера между бульваром и Бронной. Чего там только не было! И кинотеатр «Новости дня», и «Шашлычная», и аптека на углу, и знаменитый на всю Москву пивной бар № 4.

Учившийся со мной болгарский поэт Димитр Методиев как-то воскликнул при встрече:

— Пятую годовщину Победы мы отмечали в баре, помнишь?!

Как не помнить! В 1950 году День Победы был еще рабочим днем. Мы после занятий наскребли сколько у кого было и посидели, с воспоминаниями, с песнями, во втором зальчике, в полуподвале.

В том же году Борис Бедный женился. С Ней он познакомился после войны в Сыктывкаре и иногда говорил в общежитии в своем стиле:

— Есть, есть, скоро прибудет. Герцогиня де Шаврёз...

Слушали с недоверием. Но герцогиня прибыла. Ее звали Маша. Она работала стюардессой на авиалинии Сыктывкар — Быково. Они поселились в Переделкине, на пустынной нилинской даче. Почти каждое утро муж уезжал в Москву, возвращался к вечеру. До окончания института оставалось еще два года — это было известно. До принятия в члены Союза — о чем он, разумеется, не знал,— полтора. (Тоже совпадение: нас приняли одновременно, и членские билеты мы получали в один день.)

Молодая жена гуляла по участку, сидела в комнате, недоумевала, томилась. Однажды надумала уезжать. Борис еле отговорил, убедил, что все наладится. Постепенно появлялись новые знакомые. Зашел как-то к Нилину высокий бодрый старик, учтиво поклонился, вступил в разговор и неожиданно спросил, умеет ли Маша ловить стулья. Она растерялась. Он же, объяснив, что это очень полезно для здоровья, для развития координации движений, бросил ей стоящий на террасе стул. Маша поймала. Старик остался очень доволен

и откланялся. Так она познакомилась с Корнеем Ивановичем Чуковским.

Часто общался с ними, когда бывал на даче, сам хозяин — Павел Филиппович Нилин, многое рассказывал в стиле, отчасти схожем со стилем Бедного, но более разработанном,— когда не всякий сразу поймет, где в шутку, а где всерьез. Себя он, на удивление Маше, именовал Ниловым.

Заходили и свои, институтские ребята — Тендряков, Завалий.

Прожили там Бедные пять лет.

Он выпустил немало книг. Наиболее известная его вещь —«Девчата». Она была переведена на пятнадцать языков. По написанному им же сценарию был поставлен одноименный фильм, имевший грандиозный успех. В чем же дело? Конечно, это не психологически углубленная, «густая» проза. Но столько в этом нехитром повествовании о пяти девушках, живущих в общежитии дальнего леспромхоза, нежности, чистоты, лукавства и, как ни странно, наивности, что мы не остаемся в стороне. Кстати, наивности именно той, без которой нет истинного искусства. Эта книга, как бы заведомо написанная для неискушенного читателя, совершенно неожиданно оказывается интересной и искушенному — признак замечательный.

Может быть, ошибка Бориса Бедного заключалась в том, что он захотел повторить эту удачу. Чаще всего подобные попытки не приводят к цели.

Он был шумный, веселый и в то же время скромный, несколько даже скрытный человек. Он переживал молча, трудно, с достоинством и то, что другие, приходившие прежде советоваться, смотревшие в рот, стали говорить с ним порой снисходительно, сами того не замечая. Им казалось, что они уже значат больше, чем он.

Он упорно работал. После него остался оборвавшийся где-то на середине, а может, ближе к концу, громадный роман — о том, что он так хорошо знал: о лесах и реках Севера, о людях отдаленных леспромхозов и сплавных контор. Эти рукописи и черновики пока ждут своего прочтения.

И нельзя еще не сказать следующего. В жизни Бориса Бедного была одна постоянная горькая боль. Летом сорок первого, в жестоких боях под Воронежем, он, командуя стрелковым взводом, попал в окружение, а потом в плен. Он был увезен в Германию, в лагерь, на тяжелейшие работы. Он прошел изощренный ад, не потеряв и не уронив себя. Это очевидно: уже в октябре сорок пятого он был демобилизован в своем же офицерском звании младшего лейтенанта запаса и вскоре приступил к работе по специальности.

— Напиши! — говорил я ему, не часто, всего раза два,

— Напишем, обязательно! — отвечал он бодро.— Собираемся с силами!..

А однажды сказал серьезно, что, может быть, напишет книгу об этом, но позже, в конце...

И вот хочется подумать о проблеме откладывания своей главной книги. Книги о себе, детстве, юности, любви, войне. О том, что не уйдет. А ведь может и уйти. И уходит.

В день похорон его близкий многолетний друг еще по лесотехнической академии Роман Морозов сказал мне, что недавно тоже приставал к Борису и получил ответ:

— Точим карандаши!

Его стиль, его защитительный юмор.

Я вспомнил о тяжких страницах его жизни еще и потому, что как-то к нему неожиданно заехали два его сотоварища тех лет. Один из них Герой Социалистического Труда. И они рассказали о том, о чем сам он не говорил никогда. О том, сколь многим они ему обязаны. Он был старше их, почти мальчишек, уже сложившийся человек. И он твердил им:

— Не наклоняйтесь за окурком! Сохраняйте достоинство. Вы же советские люди!..

Он помог им остаться людьми. Теперь же он объяснял, как всегда, в своей манере, шумно, с экспрессией:

— Мне было легко советовать. Я же был некурящий...— А они смотрели на него с обожанием.

У него была общественная жилка. Он нес немало различных нагрузок. Долгое время состоял в руководстве «Клуба рассказчиков». Московские прозаики собирались в ЦДЛ, наверху, в гостиной, тогда это называлось в «восьмой комнате», читали вслух и обсуждали рассказы друг друга, пили чай с пирожными, что сообщало заседанию особую домашнюю доверительность. Потом традиция чаепитий оборвалась и долго вспоминалась, как золотая пора «Клуба». Когда же захотели ее восстановить, то выяснилось, что угощение выставлял сам Борис Бедный.

С Литературным институтом, нашей alma mater, он был связан еще более двадцати лет. Уже как преподаватель. Вел он семинар и на Высших литературных курсах. У него занимались Михаил Алексеев, Чингиз Айтматов, Анатолий Аграновский, Игнатий Дворецкий. Но предпочтение он отдал все-таки самому Литинституту, работе с юными и неискушенными. Немало он им дал, с его образованностью, вкусом, исключительной добросовестностью и терпением. Сколько времени отнимало только чтение повестей и романов его питомцев. Но он был — еще, может быть, от отца — прирожденным Учителем.

Умер он шестидесяти лет, скоропостижно, в очередной семинар-

ский вторник, собираясь на занятия в Литературный институт. Бориса Васильевича ждали руководители кафедр творчества, студенты, не привыкшие к его опозданиям,— а его уже не было на свете.

...Так и вижу, как он идет через двор, энергичным шагом, словно немножко бочком. Так и слышу его шумное обращение к жене и детям:

— Марья! Андрей! Наталья!..— А за этим нескрываемая любовь и доброта,

Константин ВАНШЕНКИН

Девчата

ПОВЕСТЬ



ДЕВЧАТА ЗНАКОМЯТСЯ С ТОСЕЙ

Ох и долго же добиралась Тося к месту новой своей работы!

Сначала ее мчал поезд. За окном вагона веером разворачивались пустые осенние поля, мелькали сквозные рыжие перелески, подолгу маячили незнакомые города с дымными трубами заводов. А деревни и поселки все выбегали и выбегали к железной дороге — для того лишь, чтобы на миг покрасоваться перед Тосей, с лету прочертить оконное стекло и свалиться под откос. Впервые в жизни Тося заехала в такую даль, и с непривычки ей порой казалось, что вся родная страна выстроилась перед ней, а она в своем цельнометаллическом пружинистом вагоне несется вдоль строя и принимает парад.

Потом Тося зябла в легоньком пальтеце на палубе речного парохода. Старательно шлепали плицы, перелопачивая тяжелую сентябрьскую воду. Встречный буксир тянул длиннющий плот: бревен в нем хватило бы, чтобы воздвигнуть на голом месте целый город с сотнями жилых домов, школами, больницами, клубом и кинотеатром. «Даже с двумя кинотеатрами!» — решила Тося, заботясь о жителях нового города, в котором, возможно, когданибудь придется жить и ей самой. Дикий лес, подступающий вплотную к реке, перемежался заливными лугами. Пестрые крутобокие холмогорки, словно сошедшие с плаката об успехах животноводства, лениво цедили воду из реки. Сплавщики зачищали берега от обсохших за лето бревен, убирали в запанях неведомые Тосе сплоточные станки и боны, готовились к близкой зиме.

Напоследок Тося сменила пароход на грузовик и тряслась в кузове орсовской полуторки по ухабистой дороге. Дремучий лес заманивал Тосю все глубже и глубже в заповедную свою чащобу. Взобравшись на ящик с макаронами, Тося с молодым охотничьим азартом озиралась по сторонам, выслеживая притаившихся медведей. Юркая бочка с постным маслом неприкаянно каталась по днищу кузова и все норовила грязным боком исподтишка припечатать Тосины чулки. Тося зорко охраняла единственные приличные свои чулки и еще на дальних подступах к ним пинала бочку ногой. Один лишь разик за всю дорогу она

зазевалась на толстенные сосны, с корнем вывороченные буреломом,— и ехидная бочка тотчас же подкатилась к беззащитным чулкам и сделала-таки свое подлое дело...

И вот уже Тося в лесном поселке, где ей предстояло жить и работать. Она еле поспевала за длинноногим комендантом, торжественно шествующим по улице с одеялом и простынями под мышкой. В военизированной одежде молодцеватого коменданта объединились несколько родов войск: на нем были кавалерийские бриджи, морской китель и фуражка с голубым летным околышем.

Стараясь не отстать от коменданта, Тося на ходу разглядывала поселок. Когда-то здесь шумел вековой лес, но, воздвигая дома, все деревья, как водится, опрометчиво вырубили. И теперь лишь кое-где, рядом с неохватными полусгнившими пнями, торчали, огражденные штакетником, хлипкие и почти безнадежные прутики, посаженные местными школьниками в последнюю кампанию по озеленению и благоустройству поселка.

И строгий начальник лесопункта, с которым только что беседовала Тося, и комендант, по-журавлиному вышагивающий впереди нее, и редкие лесорубы, попадающиеся Тосе на улице,— все они, точно заранее сговорившись между собой, довольно удачно делали вид, будто и не подозревают даже, что живут у черта на куличках. Они вели себя так, словно поселок их находился где-нибудь в центральной, легко доступной для новых рабочих области, а не затерялся в северной лесной глухомани, под самым пунктиром Полярного круга.

«Вот артисты!» — удивилась Тося и потерла бок, где ныла какая-то молодая косточка, ушибленная в трясучем грузовике.

Забивая все звуки вокруг, пронзительно визжала циркульная пила на шпалорезке. Тосе казалось, что пиле больно, она кричит-надрывается, жалуясь на свою судьбу, а люди впрягли нестерпимую ее боль в приводной ремень, назвали самоуправство свое работой, дали пиле план и заставляют ее освобождать шпалы, притаившиеся в бревнах, от горбылей и лишних досок. Тося пожалела несчастную пилу и припустила за комендантом.

На складе у излучины реки разгружали состав бревен, привезенных из лесу бойким паровозиком «кукушкой». Никогда еще в своей жизни Тося не видела такой уймы бревен. Высокие штабеля выстроились на берегу много-

этажными домами без окон и дверей. Бревна тихо лежали в штабелях, отдыхая в ожидании будущей весны, когда их сбросят в воду и они начнут свой долгий и нелегкий путь к сплоточным запаням и перевалочным базам, к лесопильным заводам в устье реки, к далеким стройкам и ненасытным бумажным фабрикам.

— А много у вас лесу рубят! — почтительно сказала Тося, догоняя коменданта.

— Трудимся...— скромно отозвался комендант и, снисходя к Тосиной неопытности, пояснил: — На нижний склад весь лесопункт работает.

— Значит, и верхний есть? — предположила Тося, и ей самой понравилось, что она такая догадливая.

— Есть и верхние... Сама откуда будешь?

— Воронежская я.

— Залетела! — подивился комендант.

Они подошли к женскому общежитию. Комендант враждебно ткнул кулаком в сторону укромной завалинки, выходящей на пустырь:

— А это место Камчаткой у нас называется. Сидят тут некоторые по вечерам. Посидят-посидят, а потом и комнату отдельную требуют. А комнат свободных у нас нету, ты это учти!

Тося боязливо покосилась на Камчатку, сухо ответила:

— Мне это без надобности.

— Все вы поначалу так говорите! — умудренно сказал комендант и вспрыгнул на крыльцо.

Они вошли в темный мрачноватый коридор. Комендант распахнул перед Тосей дальнюю дверь.

— Вот здесь и жить будешь.

Тося пошаркала ногами из уважения к новому своему жилью и шагнула через невысокий порожек. Комната была не так чтоб уж слишком тесная, но и просторной ее назвать язык тоже не поворачивался. Вдоль бревенчатых стен стояло пять коек: четыре из них были застланы, а на пятой лежал голый тощий матрас. Комендант издали хорошо натренированной рукой бросил на него принесенные с собой одеяло и простыни.

— А подушки своей у тебя нету? — с надеждой в голосе обратился он к Тосе.—Тумбочек у нас хоть завались, могу даже две дать, а по части подушек бедствуем...

— Что же мне теперь, спать на тумбочке? — воинственно спросила Тося, уверенная в своем кровном праве

на подушку и полная непоколебимой решимости выцарапать у коменданта все, что ей причитается.

Комендант внимательно оглядел Тосю — от стоптанных туфлишек подросткового размера до реденького платка на голове.

— Это что, все твои вещи? — полюбопытствовал он, кивнув на куцый Тосин баул.

— Все...— виновато ответила Тося.

— Тоже мне, приезжают!

Тося самолюбиво закусила губу и вскинула острый девчоночий подбородок.

— Не в вещах счастье!

— Знаешь, девушка,— примирительно сказал комендант,— без них тоже полного счастья нету... Располагайся, подушку я тебе раздобуду.

Комендант вышел. Тося села на свою койку и, по давней привычке, попробовала было покачаться на пружинах, но у нее ничего не получилось. Она заинтересованно приподняла матрас и увидела под ним доски, лежащие на ржавых железных прутьях.

— Вот тебе и счастье!..— пробормотала Тося.

Она застелила койку быстро и умело, с явным удовольствием человека, уставшего от бездомья в долгих дорожных мытарствах и радующегося, что наконец-то обретен свой угол.

Несмотря на зеленую ее молодость, заметно, что Тося давно уже привыкла к самостоятельности и всюду, куда бы ни забросила ее судьба, чувствует себя как дома.

Потом Тося не спеша обошла комнату, знакомясь с новым своим местожительством. Она переходила от койки к койке с видом отважного путешественника, углубляющегося в дебри неисследованного края, пытаясь по вещам догадаться, с кем придется ей жить под одной крышей.

Неказист уют девичьего общежития в глухом лесном поселке. Кроме коек и тумбочек, были еще в комнате стол, разнокалиберные стулья и табуретки, старый бельевой шкаф со скрипучей дверцей, жестяной умывальник. Осталось еще упомянуть про громкоговоритель и часы-ходики с крупной гайкой неизвестного происхождения, привязанной для тяжести к гирьке,— вот и все, чем комендант снабдил своих подопечных.

Все койки по воле коменданта были застланы одинаковыми бурыми одеялами, а тумбочки выкрашены в тот же невеселый практичный цвет. Но, несмотря на все это

унылое однообразие, каждая койка имела все же свое лицо. Привычки и склонности девчат, живущих в этой комнате, боролись с казарменной обезличкой, которую пытался установить комендант, и одни девчата добились в этой борьбе явной победы, а другие подчинились армейскому вкусу коменданта.

По-солдатски суров и непритязателен был весь угол комнаты возле первой койки. Не было здесь ничего от себя, своей добавки к казенному уюту. Лишь на тумбочке стояла бутылка с постным маслом и банка с солью, возвещая, что хозяйка готовит обеды дома.

Равнодушием к уюту вторая койка могла бы поспорить с первой. В этом углу сразу же бросалась в глаза тумбочка, погребенная под ворохом книг. Технические справочники и лесные журналы лежали вперемешку с пухлыми романами. Попадались и новые книги с крепкими корешками, но больше было старых, пожелтевших и зачитанных, порой даже без начала и конца. Судя по некоторым признакам, можно было определить, что хозяйка второй койки любила читать лежа: койка ее прогнулась желобом и видом своим сильно смахивала на гамак.

Третья койка наглядно свидетельствовала о домовитости ее хозяйки и склонности к рукоделию. Казенное одеяло было спрятано под кружевным покрывалом, а в изголовье высилась целая горка подушек, увенчанная маленькой думкой. На спинке койки висело богато вышитое полотенце, а на стене — дорожка с аппликациями. Перед койкой на полу распластался единственный в комнате самодельный коврик, связанный из разноцветных тряпичных полос. И даже унылая тумбочка, покрытая салфеткой с мережкой, выглядела именинницей.

И четвертая койка тоже носила некоторые следы домовитости, но только хозяйке ее, кажется, не хватало терпения и усидчивости своей соседки: покрывалом были накрыты лишь подушки, и вышивка на полотенце была победнее. Зато на тумбочке возле этой койки стояло самое большое в комнате зеркало и вокруг него дружно грудились флаконы с одеколоном, баночки с кремом, пудреница, расчески, щеточки и прочий инвентарь, состоящий на вооружении человека, озабоченного поддержанием своей красоты.

Книги и журналы Тося оставила без внимания, а в большое зеркало заглянула и перенюхала все флако-

ны, стоящие на тумбочке. За этим занятием и застал ее комендант, неслышно выросший на пороге.

— Держи! — крикнул он, бросая Тосе подушку.— Выход на работу в семь ноль-ноль, столовая — с шести. Привет!

Комендант помахал рукой перед своим носом и захлопнул дверь.

В простенке за печкой Тося нашла сухие дрова и, недолго думая, затопила печь и поставила на плиту чайник. Она наливала в чайник воду из ведра, когда дверь самую малость приоткрылась и в комнату бочком проскользнул пожилой дяденька с добрым морщинистым лицом. В руке он держал авоську, из которой воинственно торчали длинные макаронины.

— Здрасьте...— неуверенно сказала Тося, не понимая, что надо этому человеку в женском общежитии.

Дяденька молча, как старой знакомой, кивнул Тосе, прошел в «солдатский» угол комнаты и стал перекладывать содержимое авоськи в тумбочку. Тося долила чайник и набила топку дровами, искоса поглядывая на непонятного человека.

А тот вынул из широкого кармана таинственный пакет, бережно освободил его от множества оберток — и на свет божий глянули знаменитые сусальные лебеди. Из другого кармана незнакомец достал гвоздик, вколотил его гаечным ключом в стену над суровой койкой и повесил картинку с лебедями.

— Не криво? — спросил он у Тоси.

— В самый раз.

Дяденька извлек из неистощимых своих карманов письмо и положил его на койку-гамак. На прощанье он полюбовался лебедями, объявил Тосе:

— Сюрприз! — и бочком выскользнул из комнаты.

Готовясь к чаепитию, Тося вынула из баула помятую жестяную кружку, полумесяц зачерствевшего в дороге бублика и надкусанную конфету «Мишка на севере». Конфету Тося сразу же сунула в рот и с новой энергией стала рыться в утробе своего баула, но больше ничего съестного там не нашла. Она оставила баул в покое и с решительным видом принялась обследовать чужие тумбочки. Многое приглянулось Тосе — и вскоре весь угол стола был завален вкусной снедью.

Закипел чайник. Тося щедрой щепотью кинула в него чужую заварку, горделиво оглядела стол и села чаевни-

чать. Она сунула в кружку с чаем большущий кусок сахару, отхватила от булки румяную горбушку, намазала ее толстым слоем масла, густо нашлепала сверху варенья — и только поднесла было заманчивый бутерброд ко рту, как в коридоре послышался топот ног и в комнату вошли живущие здесь девчата: Вера с Катей, Анфиса и немного позже Надя с охапкой дров. Они сгрудились у порога, во все глаза рассматривая незнакомую девчонку, восседающую за столом и уничтожающую их припасы.

— Ты что тут делаешь? — спросила Катя, сильная, ловкая девушка, красивая не так лицом, как всей своей рабочей статью, которую не скрадывал даже мешковатый ватник.

— Чай пью...— отозвалась Тося и отхлебнула из кружки, показывая непонятливым девчатам, как люди пьют чай.

— Да откуда ты взялась?

Тося поперхнулась чаем, закашлялась и неопределенно махнула рукой за спину — туда, где, по ее мнению, находилась Воронежская область. Катя не поняла Тосиной сигнализации и переспросила:

— Откуда, говоришь?

Тося неохотно отвела целехонький бутерброд от губ и сердито ткнула им в сторону своей койки.

— Всю жизнь о такой соседке мечтала! — насмешливо сказала Анфиса.

Она работала телефонисткой на коммутаторе, одевалась лучше всех в комнате и была красива той броской красотой, которая сразу же приковывала внимание: мужчин заставляла оборачиваться на улице, а женщин провожать ее завистливыми глазами. Но было в Анфисе и что-то хищное, кошачье. Слишком рано в жизни Анфиса узнала, что она красива, и это знание обернулось для нее чувством своего извечного превосходства над другими девчатами. Ни с кем в комнате Анфиса не дружила и по-своему уважала одну лишь Надю — за то, что часто не понимала ее.

Анфиса шагнула к столу и отодвинула от Тоси свою банку с вареньем.

— Это кто же научил тебя по чужим тумбочкам лазить?

— Так вас же никого не было,— оправдывалась Тося, не чувствуя себя ни капли виноватой.— А у меня сахар кончился! Мы в детдоме так жили: все — общее...



— Детдомовская! — презрительно выпалила Анфиса.— Оно и видно!

Тося приподнялась было, чтобы защитить честь родного детдома, но Вера — самая взрослая из девчат — удержала Тосю на табуретке и придвинула к ней свою пачку печенья:

— Пей чай, а то остынет.

Тося послушно отхлебнула из кружки, наконец-то добралась до вкусного бутерброда и с набитым ртом снизу вверх признательно глянула на добрую Веру.

Вера училась заочно в лесном техникуме, работала разметчицей на верхнем складе и была старостой комнаты. Она успела уже побывать замужем, и все девчата, кроме Анфисы, привыкли советоваться с ней. Для всех в комнате Вера была непререкаемым авторитетом, и даже бойкая Анфиса остерегалась с ней спорить.

— Прямо из детдома к нам? — поинтересовалась Вера, и в голосе ее прозвучала жалостливая нота.

Тося терпеть не могла, когда ее жалели, как разнесчастную сиротинку, и насупилась.

— Нет, я уже сезон в совхозе проработала. Покритиковала агронома — меня и... того, по собственному желанию... Девчонки, это правда, у вас тут медведей в лесу тьма-тьмущая?

— Ты нам медведями зубы не заговаривай! — оборвала ее Анфиса.

— И чего ты на меня взъелась?..— Тося оглядела девчат.— У вас каждая сама за себя живет? — догадалась вдруг она и сокрушенно покачала головой, жалея, что заехала в такие дикие частнособственнические края.— Давайте так: все мое — ваше, и наоборот...

— Видно, больше наоборот! — съязвила Анфиса.

Она спрятала в свою тумбочку банку варенья, а заодно уж вытащила из-под койки чемодан и проверила, цел ли замок. Завидев такое, Тося вскочила с табуретки и стукнула кружкой по столу, расплескивая чай.

— Девчата, да вы что?!

Тося схватила свой баул и перевернула его над столом. На клеенку посыпались свернутое жгутом полотенце, новенькая пластмассовая мыльница, зубная щетка, немудрящее Тосино бельишко, одна-разъединственная варежка с левой руки, осколок хорошего толстого зеркала, крупная дешевая брошка, разномастные пуговицы и

перевязанная ленточкой пачка фотографий самых любимых Тосиных киноактрис.

— Вот, пользуйтесь!

— Богато живешь! — фыркнула Анфиса.

— «Пользуйтесь»! — взвизгнула смешливая Катя, хватаясь за живот.— Ну и комик!

— Хватит вам,— остановила подруг Вера, снимая с плеча полевую кирзовую сумку.

Одна лишь рослая хмурая Надя не принимала участия в общем разговоре, будто и не видела Тоси. Заприметив лебедей над своей койкой, она тихо спросила:

— Ксан Ксаныч приходил?

— Был тут один старичок...— отозвалась Тося.

Катя шикнула на нее и толкнула в бок. Удар пришелся в ту самую невезучую косточку, которую растрясла Тося в грузовике. Она поморщилась, потерла пострадавший за здорово живешь бок и спросила густым шепотом:

— А кто ей этот дядька?

— Же-них! — еле слышно ответила Катя.

— Да разве такие женихи быва...

Надя покосилась в их сторону — и Катя поспешно запечатала рукой Тосин рот. И Вера строго глянула на Тосю, нарушившую по неведенью какой-то неписаный закон комнаты.

— Поменьше болтай,— сказала она и пошла в свой угол.

Подкладывая в печку дрова, Надя пристыдила Тосю:

— Ты что же, кума, всю сухую растопку спалила? Дрова у нас за домом в крайней поленнице.

— А я ж не знала...— промямлила Тося, не решаясь почему-то дерзить суровой Наде, которой так не повезло с женихом.

Надя мельком глянула на съежившуюся Тосю и отвернулась, признавая причину уважительной. Она хлопотала у плиты, готовя ужин для себя и Ксан Ксаныча. Руки ее — большие и сильные — умело делали свое привычное дело, а лицо было какое-то безучастное, словно ничего вокруг Надя не видела и все время думала одну невеселую думу.

Таких рослых и крепких девчат, как Надя, беспрекословно берут на работу самые привередливые начальники и охотно принимают в свою бригаду рабочие. По общему мнению всех ее подруг и знакомых парней, Надя была некрасива. Те ребята, которые нравились Наде,

всегда хорошо о ней отзывались, стреляли у нее пятерки перед получкой, уважали ее, случалось, даже дружили с ней,— а влюблялись в других девчат и женились на них.

В свои двадцать семь лет Надя уже свыклась с выпавшей на ее долю участью, стала молчаливой и замкнутой. Кажется, она примирилась с судьбой и даже выбрала жениха под стать себе. А впрочем, в Наде чувствовалась упрямая, до времени дремлющая сила, будто сжатая пружина сидела в ней и с каждым днем сжималась все крепче и тесней, чтобы когда-нибудь распрямиться и сработать — неожиданно для всех, да и для самой Нади...

Вера повесила полевую сумку над тумбочкой с книгами и заметила на подушке письмо, принесенное Надиным женихом. Тень скользнула по лицу Веры, и вся она как-то посуровела и подобралась, будто встретилась с давним своим врагом. Мельком глянув на конверт, Вера брезгливо взяла письмо двумя пальцами, шагнула к печке и кинула его в топку. Удивленная Тося поперхнулась чаем и обежала глазами девчат, но ни одна из них даже и бровью не повела, будто так и надо — жечь письма, не читая их.

— Опять от мужа? — спросила Надя.

Вера коротко кивнула головой.

— Красивый у него почерк! — похвалила Катя, разглядывая в топке конверт.

— Да, почерк у него красивый...— нехотя согласилась Вера и отошла от печки.

Тося испуганно смотрела на письмо, корчившееся в огне, будто ему больно было, что его не прочитали.

— А я еще ни одного письма в жизни не получила! — призналась она.— Даже открыточки...

— Ладно,— оборвала ее Вера.— На работу уже устроилась?

— Определилась! — с гордостью ответила Тося.— На участок мастера Чуркина. Поваром...

Катя снова взвизгнула:

— Повар! Гляньте, люди добрые!

— Эта наготовит! — подхватила Анфиса.— Подтянет у ребят животики... Да ты знаешь, как трудно лесорубам угодить?

— Будет вам, совсем девчонку затуркали,— приструнила не на шутку расходившихся девчат Вера и посочувствовала Тосе: — Что делают, а? Никто из местных в повара не идет — так тебя поставили!

Тося оробела.

— Много едят? Привередливые?

— Поработаешь в лесу, так узнаешь... Ты хоть стряпала когда-нибудь? — полюбопытствовала Катя.

— Приходилось... Я вообще способная,— доверчиво сказала Тося.— Научные работники не жаловались.

— Научные работники? — опешила Катя.

— Ты ври, да знай меру! — посоветовала Анфиса.

Новенькая чем-то раздражала Анфису, ей все время хотелось разоблачить дерзкую девчонку и вывести ее на чистую воду.

— А чего мне врать? — изумилась Тося.— Когда из совхоза меня вытурили, я настрочила письмо в газету. А пока там проверяли, чтобы факты подтвердились, я и подалась к одним преподавателям в домработницы. Он — доцент, а она... это самое, аспирантка, вот и получаются самые настоящие научные работники! Если хочешь знать, к нам и профессор один приходил чай пить. Большой, говорят, учености человек, а только мне он не показался...

Анфиса досадливо отвернулась, злясь, что Тося выкрутилась и на этот раз. А Катя с жгучим любопытством уставилась вдруг на новую свою соседку и придвинулась к ней со стулом, чтобы получше рассмотреть бывшую домработницу.

Катя была родом из ближней деревни и никуда дальше райцентра не ездила, но за два десятка прожитых ею лет, помимо лесорубов, колхозников и трактористов, с которыми она встречалась каждый день, как только начала себя помнить, перевидала немало и других людей. В разное время и при разных обстоятельствах Катя видела: электриков, пилоправов, плотников, слесарей, зоотехников и агрономов, кочегаров и бухгалтеров, машинистов и машинисток, механиков, инженеров, лесников и лесничих, топографов, таксаторов, геологов, радистов, сплавщиков и речников, секретаря райкома партии и председателя райисполкома, руководящих комсомольских и профсоюзных работников, корреспондентов, фотографов, операторов кинохроники, нагрянувших в прошлом году снимать передовую бригаду, учителей, фельдшериц, докторов и зубного техника, бурового мастера, специалистов по борьбе с лесными вредителями, одного водолаза, киномехаников, артистов, чтеца-декламатора, двух лилипутов, заезжего факира и шпагоглотателя, заготовителей

грибов и ягод, инспектора по клеймению гирь и весов, многочисленных и сердитых уполномоченных, приезжающих в лесопункт «снимать стружку» с местного начальства, судью и прокурора, управляющего лесозаготовительным трестом, маникюршу, настоящего дамского парикмахера, берущего за модную завивку пятьдесят рублей, летчиков лесной авиации, лекторов и даже самого председателя Совнархоза,— а вот с живой домработницей Катя повстречалась впервые в жизни.

— Ну и как? — спросила Катя, с почтительным любопытством взирая на человека такой редкостной и неуловимой профессии.

— Что как? — не поняла Тося.

— Работалось как и... вообще?

Катя неопределенно покрутила рукой в воздухе.

— Три недели выдержала, а потом сюда завербовалась.

— Ты смотри, что делают! — ахнула Катя, уперлась своим стулом в Тосину табуретку и спросила сердобольным шепотом: — Эксплуатировали?

— Вот еще! Так бы я и позволила...

Катя растерянно поморгала.

— Куском попрекали? — догадалась вдруг она.

— Да нет! Очкарики мои сознательные были. Я у них... прямо как при коммунизме жила: утром девочку в садик отведу, на рынок сгоняю и сижу себе на балконе. Пока обед варится, я квартиру убирала — отдельная, две комнаты с кухней... Жаль, пылесос у них сломался, не пришлось попробовать! — пожалела Тося.— А каждый вечер телевизор смотрела. Это — вроде кино, только в ящике...

Катя опять заморгала. Она вдруг почувствовала самолюбие свое задетым и надулась. Куда было ей тягаться с Тосей! Инспектор по клеймению гирь и весов, водолаз и даже два лилипута померкли вдруг в ее глазах. Телевизор Катя видела только на картинке, а о пылесосе и слыхом не слыхала. Она вдруг остро позавидовала Тосе — малолетке, которой довелось так много перепробовать на своем веку и чуть было даже не посчастливилось подметать пол неведомым пылесосом.

— Так чего ж ты сбежала? — не на шутку рассердилась Катя и отодвинула свой стул от Тосиной табуретки.

Тося серьезно призадумалась, не зная, как ей растол-

ковать любопытной Кате, почему ушла она от добрых научных работников. Очкарики положили ей приличную зарплату, доверяли ей и никогда не пересчитывали сдачу, усаживали ее обедать за один стол с собой и, как гостье, первой наливали в тарелку, а к Октябрьским праздникам аспирантка обещала подарить Тосе свою почти новую юбку чуть-чуть устаревшего фасона «солнце-клеш».

— Гляньте, она язык проглотила!.. Ну, чего ты? — поторопила Катя замешкавшуюся Тосю.— До того насолили, даже говорить неохота?

— Почему же, охота...— заупрямилась было Тося и снова примолкла, вспоминая недавнее свое житье-бытье.

Доцент с женой так старались, чтобы она не чувствовала никакого различия между ними и собой, что Тося вскоре догадалась: сами они в глубине души признают это различие, хотя из вежливости и делают вид, что она такая же, как и они. Сначала Тося просто не поняла, в чем тут закавыка, а потом пораскинула умом и пришла к выводу: все упирается в новую ее работу. Было в этой работе что-то такое, что принижало Тосю в чужих глазах и давало повод смотреть на нее сверху вниз.

И тогда, так и не дождавшись, пока осторожная газета соберет все факты в кучу и призовет зловредного агронома к ответу, удивив доцента с аспиранткой черной своей неблагодарностью, Тося завербовалась вдруг помогать лесной промышленности и укатила на Север от приглянувшегося ей уютного балкончика и волшебного полированного ящика, битком набитого концертами, постановками и старыми фильмами, от неисправного загадочного пылесоса и обещанной ей почти новой юбки заманчивого фасона «солнце-клеш»...

— Ну?! — теряя последнее терпенье, выпалила Катя.

Она решила, что новенькая просто морочит ей голову, и поднесла литой свой кулак к многострадальному Тосиному боку. Тося живо отшатнулась от драчливой соседки и пустилась в непривычные рассуждения:

— Понимаешь, вот в совхозе хлебнула я всякого, а все же при настоящем деле была. А у этих... Подай, прими... И не тяжело вроде, а тянет... Кусается, понимаешь?..

Тося виновато примолкла, чувствуя, что взялась за непосильное для себя дело.

— Только и всего? — разочарованно спросила Катя, ожидавшая, что Тося сверху донизу разоблачит научных работников и камня на камне не оставит от всей их шикарной жизни.— У нас здесь тоже не мед. Еще пожалеешь, что ушла с теплого местечка! Ведь на всем готовом...

Тося презрительно отмахнулась:

— Здоровая выросла, а ничего не понимаешь! На производстве я любую работу делать согласная, потому — для всех. А там... Ну их! Пусть сами за собой...

— Правильно,— поддержала ее Вера.— Частный сектор!

— Чего-чего? — не поняла Тося.

— Человеческое достоинство твое там унижалось,— наставительно сказала Вера, разъясняя малоначитанной Тосе, что испытала та в домработницах.

Тося покрутила головой: и противоречить Вере, оградившей ее от наскоков ехидной Анфисы, не хотелось, и по молодости лет лестно было, что такие умные вещи, оказывается, происходили с ней в домработницах,— и в то же время совесть не позволяла Тосе обозначить простые свои переживания теми солидными книжными словами, которые по доброте душевной подсовывала ей Вера.

— В общем, не с руки мне было...— подытожила Тося недолгую свою жизнь в домработницах.— Девчонки, а северное сияние у вас бывает?

— Увидишь,— пообещала Вера.

— Будет тебе тут сиянье...— проворчала Анфиса, не решаясь больше в открытую нападать на Тосю, которую взяла под свою защиту староста комнаты.

Тося допила чай, на закуску выскребла из кружки нерастаявший сахар и зажмурилась от удовольствия.

— Ладно,— сказала Вера,— живи у нас. А насчет повара мы еще посмотрим,— может, и другую работенку тебе подберем. Давай знакомиться.

Она протянула Тосе руку. Тося назвала свое имя, подумала и добавила для солидности:

— Кислицына.

— Кислица, значит? — подхватила смешливая Катя и вытерла руку о платье.

А Надя шагнула к Тосе, по-мужски сильно тряхнула ее руку, глянула на стоптанные Тосины туфленки:

— Это вся твоя обувка? По утрам уже студено у нас.

Надя вытащила из-под своей койки большие разношенные сапоги, кинула их к ногам Тоси:

— Примерь.

С готовностью, в которой проглядывала не изжитая еще детская любовь к переодеваниям, Тося нырнула в зияющие голенища и, высоко поднимая ноги, прошествовала по комнате.

Катя взвизгнула:

— Кот в сапогах!

— На первое время сойдет,— решила Вера, гася улыбку.

Тося с вытянутой заранее рукой двинулась было к Анфисе, обосновавшейся перед зеркалом, но та издали представилась ей:

— Анфисой меня величают. Приветик!

— А ты красивая! — простодушно удивилась Тося, рассматривая Анфису и позабыв уже о недавней их стычке.— Повезло тебе... Даже на какую-то актрису смахиваешь! — Она порылась в пачке заветных фотографий.— Запропала куда-то...

— Ты этими актерками голову себе не забивай! — оборвала ее Вера, недовольная, кажется, тем, что Тося похвалила Анфисину красоту.— Будешь в вечерней школе учиться.

— Учиться? — ужаснулась Тося.— Да я... А разве у вас есть вечерняя школа? Надо же! Столько ехала-ехала и приехала в вечернюю школу!

ИЛЬЯ ВСТУПАЕТ В ТОСИН КРУГ

Чтобы долгой северной зимой лесорубам было что вспомнить, уходящий сентябрь понатужился, собрал все свои силенки и сотворил золотой денек — теплый, тихий, полный прощальной осенней грусти.

На делянке мастера Чуркина, на краю вырубки, под неказистым кухонным навесом хозяйничала Тося-повариха. Ей все казалось, что ближний лес, стеной стоящий шагах в десяти от навеса, неотрывно следит за ней и от нечего делать прикидывает: справится она с обедом или нет. Тося терпеть не могла, когда к ней вот так приглядываются, и злилась сейчас на непутевых лесорубов. Пи-

лят лес черт-те где, а ближнюю к кухне рощу проворонили. Слепые они, что ли?

Стыдясь заношенных скучно-зеленых спецовок, сбились в кучу сосны и ели, а редкие лиственные деревья красовались среди них недолгими именинниками. В ярких дорогих нарядах щеголяли сквозные березы. Зазывно алели разбогатевшие к зиме печальницы осинки. Будто опаленный пламенем, горел на солнце богато разукрашенный одинокий клен — любимчик осени.

На вырубке, где кулинарила Тося, было светло, как в далекой воронежской степи, а в лесу стояла дикая, пугающая Тосю темень. Солнце не в силах было пробиться сквозь густое сплетенье ветвей. Лишь в одном месте, нащупав узкую прогалину, луч солнца врывался в чащобу, дробился на частоколе стволов, прожекторным лучом выхватывал из небытия сухой костлявый сучок, подсвечивал косо зависшую сосенку и бессильно сникал у подножья мрачной обомшелой ели, под которой Тосе чудилась медвежья берлога. По крайней мере, на месте здешнего медведя Тося именно под этой елкой обосновалась бы на житье со всеми своими мохнатыми медвежатами — а там, конечно, дело хозяйское...

Тося вдохновенно солила варево — под вкрадчивое стрекотанье и пришепетыванье бензомоторных пил, грохот сваленных деревьев, рокот трелевочных тракторов и частую веселую дробь топоров. Она совала дрова под котел, большущим, прямо-таки пиратским ножом кромсала капусту и украдкой поглядывала в ту сторону, где работали незнакомые и страшноватые, как ей казалось, лесорубы.

Все на кухне было крупное, громоздкое — и котлы, и черпаки, и ножи,— словно до Тоси здесь стряпала какая-то великанша. Но маленькая Тося ничуть не робела среди этого великаньего инвентаря и храбро орудовала им. Чего никак нельзя было ожидать вчера — Тося сейчас, под кухонным навесом, была удивительно на своем месте, будто и родилась для того, чтобы готовить обеды лесорубам.

Неподалеку от навеса обосновался со своим пилоправочным станочком Надин жених Ксан Ксаныч, забракованный вчера Тосей. Он точил зубья пильной цепи и время от времени ободряюще покашливал, чтобы Тося не чувствовала своего одиночества.

За кустом орешника, на полпути между Тосей и Ксан

Ксанычем, кто-то вдруг заворочался и страшно всхрапнул.

— Ой, кто это? — испугалась Тося и схватила черпак.— Не медведь?

— Медведи сапог не носят,— спокойно объяснил Ксан Ксаныч и кивнул на рыжие, давно не чищенные сапоги, высунувшиеся из куста.— Это мастер наш храпака дает.

— Любит поспать? — спросила Тося.

— А чего ему не спать? Зарплата идет...

Мимо навеса прогрохотал широколобый трелевочный трактор, таща за собой большой воз очищенных от сучьев стволов, которые здесь все называли хлыстами. Длинные хлысты прогибались, как прутики; толстые комли глубоко бороздили землю. Из кабины высунулся чумазый тракторист, помахал Тосе рукой и крикнул:

— Жарь-вари!

Тося проводила трактор почтительными глазами и по давней своей привычке топнула вдруг ногой, настраиваясь на поэтический лад. Еще учась в пятом классе, Тося сделала открытие: если как следует топнуть ногой, то потом уж никакого труда не составит сочинить строчку-другую стихов. Стихи эти, может быть, и не блистали особыми поэтическими совершенствами, но в оправдание Тоси надо сказать, что печатать их она не собиралась и даже на бумагу никогда не записывала. Тося пнула матушку-землю и пропела себе самовосхвалительную песенку, тут же сочиняя слова:

Она варила-жарила,
Всех... позади оставила!

— Пшенная каша сама себя хвалит! — сказал Ксан Ксаныч и покачал головой, удивляясь молодой Тосиной нескромности. Он тут же испугался, не обидел ли Тосю, и спросил доброжелательно: — Ну как, получается обед?

— Да вроде получается...— не очень-то уверенно отозвалась Тося.

Она попробовала свое варево, покрутила головой, поморгала и с видом «пропадай все пропадом» кинула в котел махонькую щепотку соли.

— Вкусно? — полюбопытствовал Ксан Ксаныч.

— А кто ж его знает? На вкус и цвет...

С делянки донесся крик Кати:

— Кислица, воды давай!

Тося вопросительно посмотрела на Ксан Ксаныча.

— У вас повара воду носят? Входит... это самое, в круг обязанностей?

— Входит... Ты только смотри, поосторожней там, а то ненароком зашибут лесиной.

— Не для того я сюда приехала! — убежденно сказала Тося, схватила ведро, сполоснула кружку кипятком, заботясь о гигиене, и пошла поить лесорубов.

Она обходила делянку и с любопытством присматривалась к лесорубам и их работе. Больше всего ей приглянулась непыльная работенка вальщика Ильи — видного рослого парня, который шел впереди всей бригады и вгрызался бензомоторной пилой в чащобу леса.

Стоило только Илье приложить свою жужжащую, диковинного вида пилу к дереву, как оно тут же падало на землю. В глазах Тоси работа Ильи даже и на работу не была похожа: он, как бы прогуливаясь, переходил от дерева к дереву и играючи, с неправдоподобной на глаз новичка легкостью валил их одно за другим. «Умеют некоторые устраиваться!» — подумала Тося.

На поваленные деревья сразу же накидывались обрубщицы сучьев во главе с Катей и вразнобой стучали топорами. Девчата готовили хлысты к вывозке из лесу, а ветки и тонкие вершины стаскивали в кучу и сжигали — без всякой пользы для человека, лишь бы не захламлять делянку, не разводить гниль и лесных вредителей.

Вслед за обрубщицами сучьев двигался неуклюжий здоровяк Сашка. Он крепил к хлыстам петли из троса — чокеры — и все поглядывал на Катю, которая делала вид, что совсем не замечает красноречивых Сашкиных взглядов, и лишь чаще, чем надо, поправляла косынку.

— Твой, что ли? — спросила догадливая Тося.

— Приписывают...— уклончиво ответила Катя и по-новому перевязала косынку.

Лебедка, установленная на трелевочном тракторе, подтаскивала хлысты, формировала из них воз, и трактор отвозил его к узкоколейке, на верхний склад.

«В общем,— решила Тося,— ничего особенного. Работа как работа, зря эти лесорубы так много о себе воображают...»

Тося не прочь была вблизи посмотреть на чудо-пилу и даже по русской привычке пощупать ее. Но идти на поклон к незнакомому парню ей не очень-то хотелось, да

и лезть к нему надо было через бурелом. Она издали окликнула:

— Эй, как тебя, пить будешь?

— Это кто там пищит? — удивился Илья.

Он приглашающе помахал рукой, и Тося, помня о нелегком круге своих обязанностей, полезла в бурелом. Илья осушил полную кружку воды и зачерпнул еще полкружки. Пил он со вкусом, и Тося, глядя на него, сама почувствовала вдруг жажду и облизнула пересохшие губы. Она тут же рассердилась на себя за свою несамостоятельность и спросила придирчиво:

— И чего ты пьешь? Рыба только на обед будет!

— А я авансом! — ответил Илья, сверху вниз посмотрел на Тосю и протянул загадочно: — Да-а...

Тосе почудился обидный намек на ее малый рост, и она сразу настроилась против Ильи. К тому же вблизи он показался ей красивым, даже слишком красивым для парня, а Тося давно уже терпеть не могла красивых парней: все они без исключения были пижонами и задаваками, убежденными в том, что стоит только им взглянуть на какую-нибудь простую девчонку вроде Тоси, как та сразу же влюбится наповал. И хотя Тося совсем не собиралась влюбляться в Илью, но уже одно подозрение, что он так подумал, ожесточало ее и выводило из себя.

Она выхватила из рук Ильи пустую кружку и хотела уже бежать от него, но тут увидела на пеньке непонятную пилу. Девчоночье любопытство пересилило неприязнь к Илье, и Тося спросила:

— Этой штукой лес пилят?

Илья снисходительно объяснил:

— Не пилят, а валят, и не штука это, а бензопила «Дружба», понятно? — Он взглянул на Тосю и зачастил: — Двигатель одноцилиндровый, двухтактный, воздушного охлажде...

— Так и называется: «Дружба»? — изумилась Тося.

— Я же сказал. Ты что, глухая?

— Сам ты глухой! — выпалила Тося: ее все больше раздражало, что он разговаривает с ней как с маленькой и, по всему видать, не принимает ее всерьез.

Илья покосился на Тосю, не понимая, какая муха ее укусила. А Тося дотронулась пальцем до пильной цепи.

— Даже не верится, что этой штукой можно дерево спи... свалить. На велосипедную передачу здорово похоже!

— А ведь верно! — согласился Илья.— И как это я не замечал? Зоркие у тебя глаза!

— Да уж вижу! — похвасталась Тося, благосклонно взглянула на Илью и подумала, что, несмотря на всю свою пижонскую красоту, человек он, кажется, еще не совсем пропащий...

Илья показал на громадную сосну — самую высокую в этой части леса:

— Смотри, я сейчас вон то чудо природы опрокину.

— Кишка тонка! — подзадорила его Тося, боясь преждевременной добротой испортить человека, стоящего на верном пути к исправлению своих недостатков.

— А ну, гляди!

Илья подошел к большой, в два обхвата, сосне, обрубил подрост вокруг и вскинул голову кверху, примеряясь, с какого боку удобнее подступиться к этакой махине. Толстый ребристый у комля ствол мощным тугим фонтаном взметнулся в поднебесье. Высоко в синеве беззаботно и вольно купалась крона, знать ничего не желая об Илье и его опрометчивом обещании. Илья показался вдруг Тосе маленькой букашкой, копошащейся у подножья несокрушимой громадины. Не верилось, что он сможет свалить эту сосну, дошедшую до нас из глубины веков, пережившую с добрый десяток человеческих поколений.

Даже легкомысленную Тосю величественная сосна настроила на непривычные для нее торжественные мысли, и она подумала, что дерево это, может быть, стояло здесь еще во времена Ивана Грозного или Петра Первого... Впрочем, она тут же поймала себя на том, что не помнит в точности, кто из этих царей был древней, а кто царствовал поближе к нам, и виновато шмыгнула носом. Тося вообще плохо разбиралась в истории и даже не могла никогда толком понять, почему век, в котором она живет, считается двадцатым: ведь у каждого года в этом веке первая цифра — девятнадцать.

Поплевав на руки, Илья включил свою чудо-пилу. Застоявшаяся без работы пильная цепь с голодным свистом рассекла воздух, легко и жадно вошла в ребристый комель. В сапог Ильи крутой цевкой ударили опилки. Тося одобрительно смотрела на чужую спорую работу. У нее даже руки зачесались от проснувшегося вдруг желания самой подержать чудо-пилу и свалить хотя бы махонькое деревце.

Пропилив ствол на одну треть, Илья вынул пилу, зашел с противоположной стороны и стал делать второй подпил — чуть повыше первого. Натужно выла пила, войдя в ствол на всю длину цепи. Илья уперся в дерево шестом и попробовал качнуть его, но подпиленная сосна стояла все так же прочно и незыблемо, совсем не собираясь падать.

— Мало каши ел...— сказала Тося, начиная уже жалеть, что даже не имеет права подбодрить Илью, а обязана в воспитательных целях, для его же пользы, насмехаться над ним. А чтобы Илья не думал, что она торчит тут ради него, Тося стала сдирать с ближней березы кору, запасая впрок растопку для своей кухни.

— Врешь! Вре-ешь!..— твердил Илья, войдя в азарт.

Покачивая пилой, он все глубже вгрызался в сердцевину дерева. Опилки теперь веером летели из надреза, вихрились злой поземкой. Они запорошили землю далеко вокруг сосны и так густо облепили ноги Ильи, что издали казалось, будто он напялил поверх сапог длинные белые чулки. Капли пота бисерными цепочками повисли над бровями Ильи, жгли глаза, мешая работать.

— Вверх смотри! — приказал он Тосе.

Тося послушно запрокинула голову. В далекой вышине дрогнула крона, качнулась, на секунду замерла, все еще не веря, что отжила свое, и с нарастающей скоростью ринулась к земле. С железным скрежетом переломилась недопиленная сердцевина. Илья проворно выхватил из надреза чудо-пилу и отскочил от пня, увлекая за собой Тосю. Круша на своем пути подлесок, сосна с тяжким обвальным грохотом рухнула на землю, высоко подпрыгнув комлем. Дождь сухих веток и сбитой хвои осыпал Илью с Тосей. Уголком глаза покосившись на Тосю, Илья смахнул со лба пот, взобрался на поверженное дерево и огласил лес победным криком:

— Хэ-гэ-эй!

«Э!.. Э-эй!.. Э-а-о...» — подхватило крик лесное эхо и понесло над делянкой.

Тося поспешно отвернулась, боясь, что слишком уж восторженно для первого знакомства глазеет на лесоруба. Она собиралась сказать Илье что-нибудь вроде: «Молодец, и дальше так старайся!» — но вдруг заметила строгого начальника лесопункта Игната Васильевича, вылезающего из кабины трактора. Все воспитательные мысли мигом вылетели из Тосиной головы, она схватила

ведро, выплеснула воду и с нашкодившим видом помчалась к кухонному навесу.

Тося не видела, как Игнат Васильевич спрыгнул на землю и хозяйским, все замечающим взглядом окинул делянку. Пожилой, неторопливый, он больше походил на принарядившегося по случаю воскресного дня лесоруба, чем на начальника лесопункта. Здесь, в лесу, Игнат Васильевич казался на своем месте, а вот представить его в кабинете, за письменным столом, было трудновато.

И только Игнат Васильевич ступил на землю, как храп в кустах позади Тосиного навеса разом оборвался, будто замкнулась какая-то невидимая электрическая цепь и тряхнула мастера Чуркина, предупреждая его о приезде начальства. Чуркин проворно выскочил из куста, крикнул осипшим со сна голосом:

— Поднажмем, ребятушки! — и, на бегу очищая бок от приставшей рыжей хвои, затрусил к трактору.

Игнат Васильевич хмуро посмотрел на подбежавшего мастера, сердитым щелчком сбил с его плеча желтый листок и тайком от лесорубов показал Чуркину кулак.

Их связывала давняя дружба, и только благодаря этой дружбе Чуркин до сих пор оставался мастером. Он был из тех мастеров-практиков, которые неплохо справлялись со своим делом еще лет десять назад, когда лес валили лучковой пилой, а трелевали лошадьми. А сейчас — с бензомоторными пилами и мощными дизельными тракторами, сменившими лучок и конягу,— Чуркину приходилось туго.

В простой одежде Игната Васильевича и Чуркина, в их кирпичных от долгой работы на морозе лицах проглядывало то сразу бросающееся в глаза внешнее сходство, какое накладывается на людей одинаковой профессией. Они проработали бок о бок целую треть века. Было даже такое время, когда более молодой Игнат Васильевич подчинялся Чуркину — бригадиру и позже мастеру. Потом, уже оба мастерами, они с переменным успехом соревновались друг с другом и на торжественных собраниях перед Октябрьскими праздниками и Первомаем сидели рядком в президиуме. Как лучших производственников, их вместе послали на курсы повышения квалификации. Игнат Васильевич, хоть и нелегко ему было, осилил науку и вернулся в поселок начальником лесопункта. А Чуркин заскучал от учебы, «споткнулся», как

он сам говорил, о геометрию, сбежал с курсов — и так и остался мастером.

Они мечтали породниться: лет пять назад старший сын Чуркина и дочка Игната Васильевича полюбили друг друга и даже сживали уже на Камчатке. Но вскоре сын Чуркина ушел в армию, и осенью пятьдесят шестого ему выпала черная доля сложить свою голову в Венгрии. Дочка Игната Васильевича погоревала-погоревала да и вышла замуж за пришлого рабочего-сезонника. Она уехала с мужем на Украину, и довелось Игнату Васильевичу не думая не гадая породниться на старости лет с полтавским колхозником, которого он и в глаза никогда не видел.

Многие из комсомольцев не знали ничего этого, а те, кто знал, за давностью времени не придавали этому большого значения и на каждом собрании ругали Чуркина за безделье, а раза два в год единогласно просили снять мастера с работы, «как не обеспечивающего должного руководства». Игнат Васильевич признавал их критику справедливой, не скупился на выговоры Чуркину — простые, строгие и даже с самым последним предупреждением,— но с работы его все-таки не снимал.

Игнат Васильевич давно уже видел, что Чуркин стал помехой в жизни лесопункта, но в память о старинной их дружбе и несостоявшемся родстве он хитрил перед самим собой и выискивал всяческие уловки, чтобы не увольнять Чуркина, хотя и предчувствовал, что рано или поздно, а придется ему подписать роковой приказ. «Пусть лучше попозже»,— думал Игнат Васильевич...

И сейчас он отвел Чуркина за густую стенку молодого ельника и там целых полчаса «снимал с него стружку» — всячески стыдил и распекал его с глазу на глаз, чтобы не подрывать авторитета мастера, хотя и знал, что никакого авторитета у Чуркина давно уже нет.

Потом они обошли всю делянку. Игнат Васильевич распорядился повернуть фронт лесозаготовок и до морозов не лезть в болото.

— Будет сделано...— сказал Чуркин с тем почтением к начальству, которое всегда овладевало им в первые минуты после очередного нагоняя.

— А сам не мог догадаться?

Чуркин почесал в затылке.

— Так это как посмотреть...— пустился он в рассуждения, выгораживая свою промашку.

Игнат Васильевич только головой покачал.

Чуркин проводил начальника до верхнего склада, где хозяйничала Вера. Под ее доглядом хлысты, поступающие с делянок, разделывали на сортименты и грузили на железнодорожные платформы. Юркий работящий паровозик «кукушка» отвозил бревна по узкоколейке на нижний склад у реки.

Здесь все было в полном порядке, и Игнат Васильевич не в первый раз подумал, что когда он наконец наберется мужества и снимет с работы Чуркина, то на его место надо будет поставить расторопную Веру. На прощанье он спросил у Чуркина:

— Как новенькая? Продукты не портит?

— Удружил ты мне с этой поварихой! — злорадно ответил Чуркин, с радостью чувствуя, что почтение его к начальнику, вызванное недавним нагоняем, уже улетучивается.— Я тебе так, Игнат, скажу: хороший бухгалтер должен быть в очках, а повар — толстый!

— Тебе бы в отделе кадров работать! — со смехом сказал Игнат Васильевич и полез на парующую, готовую к отправке «кукушку» с таким видом, с каким столичный его собрат садится в персональную «Волгу».

Проводив начальство, Чуркин вытащил из кармана большущие старинные часы размером с доброе блюдце, глянул на циферблат, покосился на солнце, уточняя время, и заспешил к кухонному навесу.

— Готов обед? — накинулся он на Тосю, намереваясь, по своему обыкновению, переложить на чужие плечи часть того нагоняя, каким его попотчевал Игнат Васильевич.

— Да вроде готов...— отозвалась Тося.

— «Вроде»! — передразнил ее Чуркин.— А ну, звони!

Тося огляделась вокруг:

— А где у вас звонок?

— Ты что, ослепла? — Чуркин сердито кивнул в сторону буфера, подвешенного к углу навеса.— Вот работничка бог послал!

Тося злопамятно посмотрела на Чуркина и неуверенно тюкнула топором по буферу. Наклонив ухо, прислушалась к тонкому певучему звуку и осталась довольна. Она стукнула во второй раз, покрепче, и, войдя во вкус, принялась охаживать безотказную железяку, не жалея казенного обуха. Тягучий призывный звон поплыл над

делянкой. Приплясывая на месте от избытка сил, Тося завопила на весь окрестный лес:

— Обе-ед!.. Навались, рабочий класс!.. Кушать подано!..

— Голосистая! — подивился Чуркин и почесал в затылке.

На делянке замолк шум работы. Проголодавшиеся лесорубы со всех сторон устремились к Тосиному навесу.

В горделивой позе, уперши руки в бока, Тося стояла возле котла, по-матерински снисходительно смотрела на спешащих к ней лесорубов и чувствовала себя сейчас самым главным в лесу начальником.

— Навались, у кого деньги завелись! — крикнула Тося и вооружилась самым большим черпаком, какой только нашелся на кухне.

С дымящимися мисками в руках лесорубы отходили от котла, устраивались, кто где может. Они облепили короткий, грубо сколоченный стол, рассаживаясь на пеньках и поваленных деревьях.

Как ни тесно было за столом, но Тося заметила, что лесорубы потеснились, освобождая местечко Илье. «Уважают!» — решила она. Илья порылся в миске с хлебом, выбрал, как это сделала бы и Тося на его месте, вкусную горбушку и впился в нее крепкими зубами. И как недавно на делянке, когда Тося поила Илью и ей ни с того ни с сего передалась его жажда,— так и теперь она почувствовала вдруг во рту кисловатый вкус хорошо выпеченного ржаного хлеба, будто сама только что откусила от заманчивой Илюхиной горбушки изрядный кусмень.

«Чего это я? Прямо гипноз какой-то...» — обескураженно подумала Тося и поспешно отвернулась от Ильи.

Ухаживая за Катей, Сашка придвинул к ней туесок с солью. Но благодарности он не дождался.

— У меня у самой руки есть! — обиделась Катя.

Орудуя великаньим черпаком, Тося все поглядывала украдкой на обедающих. Вот и последняя обрубщица сучьев отошла от котла, а Тося все еще не знала, угодила она привередливым лесорубам или нет. Она встретилась глазами с Сашкой и дружески кивнула незадачливому Катиному ухажеру, выпытывая: как ему показался обед? Но Сашка не понял ее, осмотрелся по сторонам и передвинул миску с хлебом на середину стола, Тося досадливо мотнула головой.

— Что я, больше других хлеба ем? — возмутилась Катя и оттолкнула миску от себя.

Сашка смущенно крякнул.

— Ксан Ксаныч, как там на квартирном фронте? — спросил он минуту спустя и украдкой покосился на неприступную Катю, проверяя: поняла ли она, что неспроста он интересуется жилищными делами такого почти семейного человека, как Ксан Ксаныч.

— Обещали нам с Надюшей в четырехквартирном доме, а его и не строят. Всех плотников на лесоповал двинули,— сразу же отозвался Ксан Ксаныч с той охотой, с какой больные говорят о своих застарелых болезнях.— С нашим начальством и не поженишься! А годы у меня, ребятки, не маленькие...

— Да уж, Ксан Ксаныч, годы у тебя того...— деланно посочувствовал нагловатый парень в неожиданной для северных лесов шапке-кубанке, втискиваясь между Ильей и Сашкой.

Это Филя, первый зубоскал и скандалист в поселке.

— Вот то-то и оно...— согласился Ксан Ксаныч, не почуяв насмешки в словах Фили.

Тося потеряла всякое терпенье и окликнула Катю:

— Ну, как там?

— Горячо, Тось, не бойся! — порадовала подругу Катя и стала дуть на ложку.

Тося головой боднула воздух и подивилась, до чего же бестолковые эти лесорубы. «Ну погодите, ироды, я вам завтра наготовлю!» — рассердилась Тося, жалея уже, что так старалась сегодня.

Илья перехватил ее поскучневший взгляд. Он вдруг догадался, чего сейчас ждет от них эта забавная девчушка-повариха, которой, кажется, очень хочется, чтобы все принимали ее за взрослую. Сам не зная, зачем он это делает, Илья поднялся из-за стола и подошел к Тосе.

— Веселые у тебя щи! — похвалил он.

— Веселые? — удивилась Тося.

— Веселые! — подтвердил Илья и с чувством затряс Тосину руку.— От бригады и... от меня лично!

И все лесорубы, будто Илья развязал им языки, наперебой принялись хвалить Тосю и ее вкуснейшие щи.

— А научные работники твои не дураки были!—крикнула Катя и показала Тосе оттопыренный большой палец.

Сашка зачерпнул соли из туеска, посолил Катин палец, возвещая, что Тосины щи — «на большой с присып-

кой». И то ли вкусные Тосины щи были тому виной, или здесь таилось что-то другое, но на этот раз Катя сменила гнев на милость и посмотрела на Сашку гораздо ласковей, чем девушки смотрят на парней, которых приписывает им чужая молва.

И даже хмурый мастер Чуркин, отведав знаменитых Тосиных щей, проговорил подобревшим голосом:

— Наваристые... Ишь ты, из молодых, да ранняя! — И почесал в затылке, дивясь, как это Тосина худоба не мешает ей быть толковой поварихой.

— А я сразу догадался, что она хорошо стряпает,— похвастался Ксан Ксаныч.— По глазам видно!

И Вера, пришедшая с верхнего склада, порадовалась неожиданному Тосиному успеху:

— Вот чертенок! А я, признаться, боялась за нее...

Смущенная всеобщими похвалами, Тося притворно насупилась, но тут же не выдержала и заулыбалась.

— Я что? Я ничего... Вот если бы лаврового листа побольше!

Один лишь Филя неподкупно проворчал:

— И чего раскудахтались? Щи как щи. Бывают и хуже, конечно, но... редко!

Все так рьяно зашикали на Филю, что Тося не успела даже обидеться. А Илья посоветовал дружку:

— Проснись! — и нахлобучил ему на глаза кубанку.

Тося с немой благодарностью глянула на Илью и неожиданно для себя решила: он же не виноват, что таким красивым народился. Что же ему теперь — нарочно оспой заболеть или уши себе отчекрыжить?.. Хорош он будет без ушей!

Она усмехнулась, представив на миг Илью безухим, покрутила черпаком в котле и, стараясь унять горделивую свою радость, деловито объявила:

— Добавки кому? Навались!

ПЕРЕД НАЧАЛОМ — ТАНЦЫ

В просторном неуютном клубе лесопункта гремела радиола. Посреди зала кружилось в танце с десяток пар. На ногах танцующих мелькали ботинки, сапоги, туфли на высоких каблуках, запоздалые босоножки и преждевременные валенки. Озабоченный комендант с молотком

в руке и портретом под мышкой пробирался между танцующими. Он охранял портрет от толчков с таким бережным старанием, словно нес полотно знаменитого художника.

В углу зала на сдвинутых скамьях навалом лежали плащи, пальто, ватники. По стародавнему поселковому обычаю, нетанцующие девчата выстроились у одной стены, а ребята — у противоположной. Шумная ватага сгрудилась вокруг подвыпившего Фили. Парни дружно дымили папиросами, не обращая внимания на застенчивые запретительные таблички, и от нечего делать громко обсуждали достоинства танцующих девчат.

Любители «козла» отчаянно стучали костяшками домино, будто собирались проломить крышку стола. Перекликаясь с их стуком, поминутно хлопала наружная дверь. Все новые и новые лесорубы поодиночке и парами входили в зал. У двери пары расставались: девчата сворачивали к *женской* стенке, а парни — к *мужской.*

Вот в зал вошла Катя под руку с неуклюжим Сашкой, а вслед за ними прошмыгнула Тося. Сашка с заметным сожаленьем выпустил Катину руку и, подчиняясь обычаю, шагнул к парням, а Катя — к девчатам. Мешая входящим лесорубам, Тося растерянно замерла у порога, не зная, куда ей податься. И тут как раз замолкла радиола. Танцующие отхлынули от середины зала, одна лишь Тося осталась стоять на виду у всех, с боязливым любопытством озираясь вокруг.

— Эй, новенькая, шагай сюда! — крикнул Филя.

Тося подалась было к нему, но увидела смеющиеся рожи ребят из Филиной ватаги, испуганно отпрянула и побежала к женской стенке. Ватага заулюлюкала ей вслед.

— Зря вы...— пристыдил парней Сашка.

Он терпеть не мог, когда сильные обижали слабых, а тем более измывались над такими вот беззащитными девчонками, как Тося-повариха. Когда Сашке доводилось читать в газете, что бригадмильцы, а то и просто правильные ребята приструнили где-то распоясавшихся хулиганов, он всегда приветствовал такие добрые дела и радовался, что порок наказан, а справедливость восторжествовала. Сам Сашка никогда ничего постыдного не делал, а всякое хулиганство прямо-таки ненавидел. Если б его воля, он собрал бы хулиганье со всей страны, погрузил бы на какой-нибудь старый, отслуживший свое корабль,

вывел бы его в океан и утопил всю эту человеческую шваль в самой глубокой ямине. Вот какой непримиримый человек был Сашка!

Но при всем том у себя в поселке Сашка как-то не замечал, что Филя со своими дружками сплошь и рядом творит точно такие же дела, против которых воюют бригадмильцы из газеты. И не надо думать, что Сашка боялся Фили. Никого в поселке он не боялся, и если б дело дошло до драки, Сашка один раскидал бы добрую половину Филиной ватаги. Просто он никак почему-то не мог догадаться, что Филя со своими дружками хулиганит. Сашка не хитрил сам с собой, ища спокойной жизни, а в самом деле не догадывался. И вроде неглупый был парень, а вот поди ж ты...

В газете сразу было видно: такой-то — хулиган, пакостник, бить его надо в морду или сажать за решетку. А Филиных дружков равнять с таким отпетым хулиганьем было никак нельзя. Те, чужие, газетные хулиганы были только хулиганы, и все. А многих ребят из Филиной ватаги Сашка знал с детства: они работали вместе с ним в лесу, и неплохо работали — «вкалывают будь здоров», как любил говорить Сашка. Все их пакости Сашка, конечно же, не одобрял, но приструнить своих приятелей детства и товарищей по работе у него как-то рука не поднималась. Он все надеялся, что они одумаются, но время шло, а Филина ватага что-то не очень спешила одумываться.

В общем, Сашка был убежден, что тем стойким парням из газеты, которые мужественно хватали своих хулиганов за шиворот, было гораздо легче, чем ему. Им все было ясно и сразу было видно, где черное, а где белое. А в родном Сашкином поселке все как-то смешалось и перепуталось. Тот же Филя, только что зря обидевший забавную девчушку Тосю, до этого целый день, не жалея себя, вкалывал вместе с Сашкой на делянке; он дал Сашке закурить, когда у того кончились папиросы, а завтра они сядут за одну парту в вечерней школе...

Комендант с портретом под мышкой подошел к Тосе. Выбирая место для портрета, он бесцеремонно передвинул Тосю сначала в одну сторону, потом в другую и стал заколачивать в стену большущий гвоздь. Комендант повесил портрет, отступил на шаг, любуясь делом своих рук, и, просвещая Тосю, важно сказал:

— Передовик!

Тося почтительными глазами глянула на портрет, на котором был изображен парень в пыжиковой шапке, с бензомоторной пилой в руках. Он показался вдруг Тосе знакомым, хотя она могла бы поклясться, что никогда в жизни не видела этого носа-сливы. Всю силу своего таланта местный художник вложил в то, чтобы поточней выписать бензопилу. Шапка тоже удалась ему, а вот лицо парня вышло неживое и постное. С бензопилой в руках и благочестивым лицом праведника лесоруб смахивал на новейшего лесозаготовительного святого механизированной формации.

Стайка любопытных девчат подбежала к портрету.

— Ой, кто это?

— Да вроде Илюха...

— Не похож!

— А ты на шапку глянь.

— Шапка его...

Тося попристальней вгляделась в портрет и узнала вальщика леса Илью Ковригина. Не дай бог, если такой вот художник-мазила вздумает и ее нарисовать. Вот чучело получится!

Большая рыхлая девица с крупными серьгами, добровольно обслуживающая радиолу, поставила новую пластинку. Сашка пригласил танцевать Катю. Тося надеялась, что и ее тоже кто-нибудь пригласит, но всех девчат вокруг давно уже расхватали, а она все еще стояла под портретом, словно приставлена была караулить его.

От нечего делать Тося стала следить за танцующими. Скоро она заметила, что лесорубы не очень-то церемонятся с девчатами: танцевали они с таким снисходительным видом, будто делали невесть какое одолжение. Попадались среди них и такие кавалеры, что не вынимали папирос изо рта, а самые отпетые даже бросали девчат в разгар танца.

«Что делают, ироды!» — ужаснулась Тося. Ее удивило, что местные девчата не протестуют и, по всему видать, давно уже свыклись с таким обращением. «Вот телушки!» — негодовала Тося. Ей вдруг захотелось, чтобы какой-нибудь лоботряс с папиросой пригласил ее, а потом бросил бы посреди танца. Она бы ему показала, как вести себя с девушкой!

Но танец сменялся танцем, а Тосю никто не приглашал, и ей так и не удалось поучить лесорубов уму-разуму. Все нетанцующие девчата сбились вокруг радиолы,



а Тося одна-одинешенька стояла под портретом Ильи. Пела-заливалась радиола, насмехаясь над Тосей:

На скамейке, где сидишь ты,
Нет свободных мест...

Танцевать хотелось так, что у Тоси даже похолодели кончики пальцев. «Хоть какой-нибудь заваляшенький пригласил бы!» — молила Тося, перезабыв все свои мстительно-воспитательные планы. Но молодые лесорубы стойко подпирали плечами стены и совсем не замечали Тосю, будто ее и в зале не было. Катя проплыла мимо в танце с Сашкой и улыбнулась ободряюще Тосе. Хорошо ей было улыбаться, на ее месте Тося и не так бы еще заулыбалась!

А может, и зря позавидовала Тося своей подруге. Неуклюжий Сашка танцевал плохо и поминутно наступал Кате на ноги.

— Ох и пентюх ты! — упрекнула его Катя, морщась от боли.

— Под гармошку у меня получается,— защищался Сашка.— А радиола эта шепелявит, ничего не разберешь... Только ради тебя и танцую!

— Потому и терплю,— призналась Катя.

Сашка счастливо заулыбался и большущим сапожищем припечатал Катину туфлю.

— Может, передохнем? — покаянно предложил он.

— Танцуй, чего уж там! — сквозь слезы сказала Катя.

К Тосе подошла Вера. Ее тоже никто не приглашал танцевать, но у Веры был такой вид, будто она этого даже и не замечает. Тося пристально посмотрела на нее, но так и не поняла, на самом деле старшей подруге не хочется танцевать или она только притворяется. Кто их, тридцатилетних заочниц, разберет...

— Ну, как тебе наш клуб? — спросила Вера.

— Клуб ничего себе,— честно признала Тося, окидывая взглядом просторный зал.— А вот культурной работенки у вас кот наплакал!

Вера кивнула головой, соглашаясь с Тосей, и тут же, не сходя с места, разъяснила ей все по-научному:

— Такое несоответствие часто бывает. Надстройка всегда отстает от материальной базы... Ведь так?

Тося сразу заскучала. Ей почудилось, что высокообразованная Вера как-то нескладно распорядилась своей наукой и вроде бы даже оправдывает ею все поселковые

безобразия. Но спорить с ученой подругой Тося не отважилась и сказала уклончиво:

— Мы этого в вечерней школе еще не проходили...

Раскатисто хлопнула наружная дверь, и в зал вошел Илья. В живом Илье не было ничего иконописного, только по шапке и можно было признать в нем парня, увековеченного на портрете. Попыхивая папиросой, Илья прошествовал через весь зал, на ходу пожимая руки танцующим парням и небрежно кивая девчатам. Он остановился в трех шагах от Тоси. При мысли, что ее сейчас наконец-то пригласят танцевать, у Тоси перехватило дыхание, и она, потеряв всякий стыд, чуть было не шагнула первая навстречу Илье.

— А это что за птица? — спросил Илья, скользнув глазами по своему портрету.

Нетанцующие девчата сбежались со всего зала, подобострастно захихикали:

— Себя не узнал!

Илья придвинулся к портрету и искренне удивился:

— Да разве это я?

— А шапка?

— Шапка моя...— признался он и покрутил головой.— Искусство!

Не отрывая глаз от портрета, Илья с ленивой уверенностью первого в поселке парня протянул руку в сторону девчат. Рука его повисла в воздухе между Тосей и девицей с серьгами. Тося невольно подалась вперед. Она тут же сама ужаснулась тому, что натворила, но было уже поздно. Слепая рука Ильи нашла ее и увлекла в танце. Чтобы не опозориться перед знатным лесорубом, Тося старательно семенила ногами, а лицо у нее стало таким напряженным, будто она решала трудную алгебраическую задачу с буквенными коэффициентами. И только Тося приноровилась к широкому свободному шагу Ильи, как радиола замолкла.

— Не везет тебе, Дуся! — посочувствовал Илья.

Тося растерялась, не зная, обижаться ей или можно стерпеть и такое.

— Меня Тосей зовут...— тихо сказала она.

— Это все равно! — уверил Илья и отошел к парням.

Тося немножко надеялась, что и на следующий танец Илья пригласит ее, но он куда-то запропал, а потом вынырнул из толпы уже вместе с Анфисой. Они промчались в танце мимо Тоси, обдав ее теплым ветром,— высокие,

красивые, под стать друг другу. Рядом с ними Тося самой себе показалась вдруг невзрачным заморышем. Даже не верилось, что минуту назад Илья танцевал с ней. И чего она, такая замухрышка, ерепенится? Только чужие портреты ей и сторожить! Красотой обделили — так хотя бы росту набавили, все, глядишь, на человека была бы похожа,— так нет, и тут Тосе не повезло. Видно, в первый год ее жизни мать недодала ей каких-то витаминов, решила Тося, припомнив брошюру, которую читала она у доцента с аспиранткой, чтобы подковаться теоретически и по-научному воспитывать их девочку. Оно и понятно: война тогда кругом бушевала, не до витаминов тут было...

Мальчишки-безбилетники под руководством коменданта устанавливали скамейки перед экраном. Хоть бы поскорей начинали картину крутить, и чего расплясались!

— Станцуем? — вкрадчиво спросил чей-то голос над ухом Тоси.

Она живо обернулась и увидела перед собой Филю, одергивающего пиджак. Что ж, на безрыбье и рак — рыба... Тося придвинулась к Филе, доверчиво положила руку ему на плечо — и тут же отпрянула, брезгливо скривив лицо.

— Чего ты? — не понял Филя.

— Постыдился бы приглашать: водкой от тебя несет.

— Да не водка это! — оправдался Филя.— Самогон...

— Какая разница? — удивилась Тося.

— Ну, разница-то есть! — просвещая Тосю, снисходительно сказал Филя и пообещал: — Слышь, я отворачиваться буду...

— Тут уж как ни отворачивайся!

— Да что ты корчишь из себя! Получка у нас была, опять же премия... Я всего вот столько и хватанул.

Филя чуток расклеил пальцы, показывая придирчивой Тосе, как мало он выпил.

— Иди-иди, не буду я с тобой танцевать.

— Пожалеешь, девушка...— ласковым голосом сказал Филя, грозно посмотрел на Тосю и двинулся к своей ватаге.

— А ты отчаянная! — удивилась девица с серьгами.— Видать, не учили еще тебя.

Тося презрительно махнула рукой:

— Все вы тут какие-то чокнутые!

В перерыве между танцами она видела, как Филя подошел к Илье, шепнул ему что-то на ухо и повел головой в ее сторону. Илья усмехнулся и с любопытством глянул на Тосю. И хотя до них было шагов двадцать, Тосе показалось, что смеялся Илья не над ней, а над Филей.

Катя пришла проведать свою неудачливую подругу. У нее был такой откровенно счастливый вид, что Тосе даже как-то неловко стало, будто Катя начала вдруг раздеваться на людях. Судя по всему, Сашка не только наступал ей на ноги, но и успел шепнуть какое-то заветное словцо. Дальновидная Тося тут же дала себе клятву: какое бы счастье в грядущие дни ни свалилось ей на голову, у нее никогда не будет такого вот глупого, обидного для подруг, нестерпимо счастливого вида.

— Ты что ж не танцуешь? — спросила Катя.

— Пол у вас... сучковатый,— нашла Тося причину.

— А я что-то не заметила... Хочешь, Сашка с тобой потанцует?

Вот-вот, Тосе только и осталось разбивать чужие пары! И до чего же любят удачливые девчата выручать своих несчастных подруг! Прямо медом их не корми, а дай сотворить без спросу доброе дело! И Тося не удержалась, чтобы не преподнести Кате пилюлю:

— Спасибочко, а только ноги мне еще пригодятся. Не всем же быть инвалидами, хватит и тебя одной!

— Как знаешь...— обиделась Катя за своего косолапого Сашку и отошла прихрамывая.

Одну полечку Тося все-таки оттопала с девчонкой-школьницей из тех бойких девчонок, которые вечно крутятся возле взрослых и больше всего на свете любят смотреть запретные кинокартины. Девчонка и еще набивалась танцевать, но Тосе не понравилось, что та держится с ней как с равной, и она ее прогнала.

Тося стояла и скучала, дожидаясь начала сеанса. Мимо нее опять промчался в танце Илья — на этот раз уже не с Анфисой, а с другой девушкой, работающей калькулятором в поселковой столовой.

«Когда много — значит, нет ни одной!..» — подумал вдруг в Тосе кто-то незнакомый ей, дремавший до поры до времени, а теперь вдруг проснувшийся. С непривычки к таким мыслям Тося сначала даже не поверила, что она сама, без чужой подсказки все это подумала,— прямо как мудрая заочница Вера! Но как следует порадовать-

ся неожиданному своему таланту она не успела: мимо нее снова промчался Илья с хихикающей калькуляторшей.

На миг Тося встретилась глазами с Ильей, и ей почудилось, что он, как в открытой книге, прочитал все ее тайные мысли — прочитал и понял: не от хорошей жизни занялась она не своим делом и ударилась вдруг в умственность. Кажется, Илья даже пожалел ее — маленькую, некрасивую, никому здесь не нужную. Только жалости его Тосе и не хватало! Она закусила губу и выбежала из клуба.

На крыльце шла совсем другая жизнь: безбилетные мальчишки и девчонки уговаривали старичка контролера пустить их в клуб на свободные места. Парнишка лет четырнадцати курил в рукав, осторожно озираясь по сторонам. Тося сразу будто вывалилась из взрослой жизни, к которой начала было приобщаться, в недалекое, но уже позабытое ею детство.

— Ага, вот ты где! — хищно сказал Филя, выходя из клуба вслед за ней.

Тося шаром скатилась с крыльца и отодрала от земли примерзший горбыль.

— Только подойди!

— Кислицына, брось палку! — строго сказал Филя и шагнул с крыльца.

— Милок, да разве так за девкой ухаживают? — прошамкал вдогонку ему контрольный старичок.

Тося занесла горбыль над головой и пригрозила:

— Ка-ак стукну!

— Ты что, шуток не понимаешь? — удивился Филя, плюнул под ноги и вернулся в клуб.

Волоча за собой горбыль-спаситель, Тося прогуливалась по ночному поселку. Первый морозец сковал землю, молоденький ломкий ледок со стеклянным хрустом трещал в лужицах под ногами. Циркульная пила на шпалорезке угомонилась на ночь, и в поселке было непривычно тихо. Лишь на нижнем складе глухо рокотали скатываемые с платформ бревна. Тося взобралась на высокий дощатый тротуар. Настил не хлюпал больше под ногами, как в недавнюю слякоть, а сухо гремел под Тосиными каблуками. Вот бы где танцевать!

В небе один-одинешенек гулял молодой тонкий месяц. Тосе вроде даже легче на душе стало, когда увидела, что не одна она коротает в мире свое одиночество.

Месяц стоял боком к земле, чтобы трудней было попасть в него космической ракетой. Тосе вдруг сильно захотелось, чтобы именно сейчас, сию вот минуту, когда она смотрит на месяц, в него ударила бы ракета и высекла искру и чтоб на всем белом свете это видела одна лишь она. Ну... пусть еще ученые, которые дежурят у своих зорких труб и получают за это ордена и высокую зарплату. Против ученых Тося ничего не имела.

Она стояла целую минуту, задрав голову к небу и надеясь, что заказанное ею чудо сбудется. Может быть, Тося и дождалась бы своей ракеты, но тут в клубе погас свет.

— Начинают! Начинают! — загалдели безбилетники на крыльце.

Тося отшвырнула горбыль и припустила к клубу.

ЖИЛИ-БЫЛИ...

За окном общежития завывал студеный ветер, и время от времени с нижнего склада доносились приглушенные стенами гудки паровозика, лязг буферов и дробный стук сгружаемых бревен.

Вера оторвалась от книги и оглядела комнату. Все девчата были в сборе, одна лишь Тося куда-то запропастилась. Надя жарила картошку для Ксан Ксаныча. Анфиса причесывалась перед зеркалом, собираясь на ночное дежурство. Принаряженная Катя, готовясь к решительному свиданию с Сашкой, смотрелась в зеркало из-за плеча Анфисы и, послюнив палец, расправляла белесые брови.

Со дня Тосиного приезда прошло уже две недели. Вера и не заметила, как привязалась к непоседливой, взбалмошной девчонке и стала близко к сердцу принимать все ее радости и беды.

Любимые Тосины киноактрисы, прикатившие в поселок в бауле, успели уже перекочевать на стенку. Вперемежку с ними висели пестрые картинки, которые Тося выдирала из иллюстрированных журналов. Даже и тут она была верна поварской своей профессии и всем самым красивым пейзажам предпочитала вкусные натюрморты. Любила Тося краски ярчайшие. Стена над ее койкой стала самым экзотическим уголком во всей комнате. У Веры при одном лишь взгляде на пеструю Тосину экзотику сразу же рябило в глазах...

Дверь со стуком распахнулась, и в комнату ступила радостная Тося с великим множеством разнокалиберных кульков и пакетов в руках. Не оборачиваясь, она закрыла дверь ногой — с ловкостью инвалида, давно уже привыкшего обходиться без помощи рук, и высыпала покупки на стол.

— Налетай!

Тося разворошила кульки, отыскала любимые свои конфеты. С раскрытым кульком обошла девчат.

— Красные берите, вкуснее!

Себе Тося взяла желтую, чтобы подругам досталось побольше красных. И Анфису-злюку не миновала Тося, высыпала на тумбочку перед зеркалом горсть конфет. Анфиса удивленно покосилась на Тосю и машинально сунула конфету в рот.

— Весь аванс угробила? — полюбопытствовала Вера, на правах старшей подруги осуждая юное Тосино расточительство.

Тося беспечно махнула рукой:

— А чего там! Я так считаю: деньги для того и зарабатывают, чтобы тратить. Ведь правда, мама-Вера?

— Открыла Америку! — фыркнула Анфиса.

Тося обернулась было к ней, чтобы дать отпор, но тут в поле ее зрения попала прихорашивающаяся Катя, и мысли Тоси сразу же настроились на другой лад.

— Это платье тебе не к лицу! — решительно объявила она.— Надень лучше Верину блузку и Анфискину черную юбку.— Недолго думая, Тося вытащила из шкафа чужие одежины и примерила издали к Кате.— Девчонки, правда, лучше?

Анфиса пожала плечами. Надя на миг оторвалась от плиты, безучастно посмотрела на Катю и снова занялась своей картошкой. А Вера даже головы не повернула.

— Единоличники вы несчастные! — пристыдила Тося девчат.— Подруга на первое свидание идет, а вам хоть бы хны!

— Одни женихи у вас на уме,— отозвалась уязвленная Вера.— Занялись бы чем посерьезней.

— Эх, мама-Вера! Как тридцать стукнет, обещаю только про международное положение думать. С утра до вечера, без перерыва на обед!..— Тося кинула юбку с блузкой Кате.— Переодевайся!

Катя многозначительно повела глазами в сторону Анфисы.

— Мам-Вера, Анфиска, можно? — запоздало спросила Тося.

Вера разрешающе кивнула головой, а Анфиса снова неопределенно пожала плечами, удивляясь детдомовской Тосиной бесцеремонности.

Катя поспешно стала переодеваться, боясь, что Анфиса передумает и отнимет у нее лучшую свою юбку.

— Глянет Сашка — и наповал! — убежденно говорила Тося, тормоша Катю и изо всех сил стараясь сделать подругу покрасивей.

Болтая ногой в тонком чулке, Анфиса сидела на койке и насмешливо-снисходительно следила за Катей и без толку суетящейся возле нее Тосей: так ветераны смотрят на сборы новобранца. И Надя у плиты украдкой поглядывала на Катю. В коротких Надиных взглядах было жадное любопытство человека, обделенного в жизни многими радостями, выпавшими на долю ее более счастливых подруг, в том числе и этой вот молодой трепетной радостью первого свидания, какой полна была сейчас Катя.

— Он как тебе сказал? Приходи, мол, буду ждать? — выпытывала у Кати малолетка Тося, которой еще никто в жизни не назначал свидания.

— Да что-то вроде этого...— неуверенно ответила Катя, смущенная всеобщим вниманьем.

— Счастливая ты, Катька! — позавидовала Тося.— Слушай, возьми мою брошку.

— Да ее под пальто и не видно будет.

— Все равно возьми. Пусть хоть брошка моя на свидании побывает!

Тося живо нырнула под койку, достала из баула крупную брошку — единственное свое украшение — и нацепила ее на грудь смирно стоящей Кате. Тосина бескорыстная забота о подруге неожиданно заразила и Анфису, она тоже внесла свою посильную лепту в Катины сборы.

— Целоваться без спросу полезет — ты вот так руку держи,— посоветовала опытная Анфиса и выставила руку локтем вперед.

Тося запоминающе повторила полезный Анфисин жест: на всякий случай — может, когда и пригодится.

— А совсем обнаглеет — бей прямо по мордасам, это их успокаивает! — Критически осмотрев Катю, Анфиса

решила: — Да куда тебе!.. Ты хоть не бросайся ему сразу на шею, поманежь хорошенько, крепче привяжешь.

— А зачем Кате притворяться, раз она и сама Сашку любит? — удивилась Тося.

— Лю-убит? — насмешливо переспросила Анфиса, рассматривая флакон с одеколоном на свет.— Никакой любви нету.

— Нету любви? — опешила Тося.— А куда ж она подевалась?

— А ее никогда и не было! — сказала Анфиса, наслаждаясь Тосиным изумлением.— Врут люди, сочинили себе сказочку, чтоб веселей жить было... Поверь мне: всем мужикам лишь одно нужно!

Тося растерянно огляделась вокруг, ища подмоги.

— И... Пушкин, по-твоему, врет?.. «Я вас любил, любовь еще, быть может...»

— «Быть может»! — передразнила Анфиса.

— Хватит тебе девчонку пугать,— остановила ее Вера.— Не слушай ты ее, Тось.

— У меня своя голова на плечах есть,— обиделась вдруг Тося и пристально посмотрела на Анфису.— Жалко мне тебя, Анфиска, если ты всерьез так думаешь...— Она придвинулась к Кате и тихонько, как говорят о тайном и стыдном, спросила: — Ты и на Камчатку с ним пойдешь, если позовет?

За две недели Тося узнала уже все местные обычаи. У Камчатки были свои неписаные, но всем в поселке известные законы. Для девушки пойти с парнем на Камчатку — значило на весь поселок объявить о своей любви, все равно что обручиться. Вместо старомодных «жених и невеста» здесь говорили: «Они на Камчатке сидят». Почти все молодые семьи в поселке прошли через Камчатку, и многие пожилые ныне дяди и тети частенько поминали ее добрым словом.

— Там видно будет...— уклончиво ответила Катя.

Тося с молодым ужасом посмотрела на нее и с решительным видом повернулась к Анфисе:

— Дай одеколонцу для Катерины, будь человеком!

Анфиса молча протянула Кате флакон с одеколоном. Тося бесцеремонно перехватила флакон, понюхала.

— Дай другой, у тебя лучше есть, я знаю.

— Ага! — торжествующе выпалила Анфиса.— Наконец-то я тебя поймала, вечно по чужим тумбочкам лазишь!

Тося воинственно подступила к Анфисе:

— А ты видела?!

Анфиса нырнула рукой в тумбочку, достала из дальнего угла маленький заветный флакончик, глянула на свет.

— Так и есть! Я как знала, царапину вчера сделала, а теперь царапина на весу... Поймаю на месте — руки поотрываю!

— Попробуй...— без прежнего пыла молвила Тося, отодвигаясь от Анфисы.

Хитрая Анфисина царапина, кажется, не на шутку озадачила Тосю. Пряча смущение, она подошла к своей койке и срочно занялась покосившимся натюрмортом.

Катя взглянула на ходики, испуганно ойкнула:

— Ой, опаздываю! — и выбежала из комнаты.

У Нади на плите громко зашипела на сковородке картошка. Анфиса брезгливо поморщилась:

— И охота тебе каждый вечер с ужином возиться? Ведь столовая есть.

— Охота...— хмуро ответила Надя.

— Да не слушай ты ее, Надежда! — вступила в разговор оправившаяся Тося.— Ей только волю дай — на всех станет кидаться. Тигра лютая, а не человек! — Вызывая Анфису на бой, Тося храбро шагнула к ней и сказала с запоздалой яростью: — Если кто и брал твой паршивый одеколон, так почему я? Что я, крайняя?

— Больше некому! — убежденно ответила Анфиса.

— Нужен мне твой одеколон,— не сдавалась Тося.— Захочу — целое ведро куплю!

— Вот и купи, а чужой не бери.

— И куплю!

— Купи, купи... Не забудь и пудру заодно, вечно в мою пудреницу заглядываешь!

— В твою пудреницу? — возмутилась Тося.— Ну, знаешь... Когда у меня пудры нету, я могу и зубным порошком попудриться. Цацу из себя не корчу, как некоторые!

— Кончайте базар,— строго сказала Вера.— Слушать противно. А ты, Тось, просто удивляешь меня...

Тося топнула ногой и пропела:

Она всех вечно удивляла,
Такая... уж она была!

— Поэтесса! — фыркнула Анфиса.— Пушкин в томате!

— Как умею!..— обиделась Тося и злопамятно посмотрела на ехидную Анфису.

— Тось, ты уроки сделала? — поспешно спросила Вера, чтобы помешать новой стычке.

— А нам, мама-Вера, кажется, не задавали...— схитрила Тося и стойко выдержала сомневающийся Верин взгляд.

— То-ося!

— Ох и надоели вы мне все! Зря я в вечернюю школу поступила...— не в первый раз пожалела Тося, но послушно достала из тумбочки учебники и тетрадки и села за стол.

Она зло полистала учебник, нашла нужную задачку, по школярской привычке сразу же заглянула в ответ и скорчила кислую мину, не зная, как ей этот ответ заполучить. Тишина — редкая гостья общежития — ненадолго установилась в комнате. Анфиса вернулась к зеркалу, а Вера снова легла на свою койку-гамак и уткнулась в пухлый роман.

— Как там они, еще не поженились? — вкрадчивым голоском спросила Тося.

— Ты решай задачу, решай...— посоветовала Вера.

— Ох и вредные вы все! — возмутилась Тося.— Все воспитывают, воспитывают... И как вам не надоест? — Обхватив голову руками, Тося с лютой ненавистью уставилась в задачник и забормотала: — Поезд отошел от станции...

В дверь тихонько постучали.

— Входи, кто там такой вежливый? — крикнула Тося, радуясь, что есть предлог оторваться от ненавистной задачки.

Дверь самую малость приоткрылась, и в комнату бочком проскользнул Надин жених Ксан Ксаныч.

В поселке Ксан Ксаныч был незаменимым человеком, и все его уважали. Числился он пилоправом, но знал толк и в плотницкой и в слесарной работе, а при неотложном случае мог и лебедку наладить, и отпереть без ключа замок, и даже дамские часики починить. Работящие руки Ксан Ксаныча постоянно искали какое-нибудь занятие, и, мастеря что-либо, он чувствовал себя увереннее, а в редкие минуты вынужденного безделья ему было как-то не по себе, будто он людей обманывал.

В комнате своей невесты Ксан Ксаныч всегда смущался и неуклюже пробовал скрыть это смущение за

несвойственной ему шутливой развязностью. Вот и сейчас он обошел комнату по кругу, осторожно пожимая руки девчатам и приговаривая:

— Вере Ивановне почтение... Учись, Тося, профессором станешь!.. А Анфиса наша все хорошеет...

Выполнив этот обязательный, как он считал, обряд, Ксан Ксаныч подошел к Наде, заглянул ей в глаза, спрашивая, не оплошал ли он сегодня, и на правах жениха нежно пожал ей руку выше локтя. Надя ободряюще кивнула ему и водрузила на угол стола сковородку с дымящейся жареной картошкой.

— Хорошо ты, Надюша, картошку жаришь! — с чувством сказал Ксан Ксаныч.

Они сидели рядышком и ужинали по-семейному.

— Насчет квартиры, Ксан Ксаныч, ничего нового? — поинтересовалась Вера.

Ксан Ксаныч безнадежно махнул рукой:

— Что-то не пойму я нашего Игнат Васильевича: сам же первый нам с Надюшей сочувствует, а стройку опять заморозил.

— План его поджимает,— сказала Вера.— Не научились мы еще сочетать производство с бытом...

— Так-то оно так, да только нам с Надюшей от этого не легче. Как подумаешь, что счастье двух человек зависит от кусочка жилплощади...

Ксан Ксаныч не договорил и снова махнул рукой.

— Безобразие это! — вспылила Тося, чуткая к чужой беде, и даже кулаком по столу стукнула.— Комната пустая стоит, а вам не дают. В газету надо написать!

Тося боязливо скосила глаза на Верин гамак. Но все в общежитии принимали такое горячее участие в устройстве семейного благополучия Нади и Ксан Ксаныча, что даже строгой Вере на этот раз Тосина вспышка показалась уважительной, и она не заикнулась о задачке.

— Вот ты писала про своего агронома,— напомнила Анфиса,— а что вышло?

Тося на секунду смутилась, будто по ее вине Ксан Ксанычу с Надей до сих пор не дают квартиру.

— До агронома еще доберутся! — убежденно сказала она.

— Ту комнату для технорука берегут,— робко объяснил Ксан Ксаныч.— Говорят, инженер к нам скоро приедет...

— Инженер? — переспросила Анфиса.— Расставляйте карман пошире. Так вам настоящий инженер и заявится в наш задрипанный лесопункт! На вашем месте, Ксан Ксаныч, я вселилась бы — и все. Пусть потом попробуют выселить!

— Как же так, самовольно? — удивился Ксан Ксаныч.— Ведь там замок висит...

— Эх вы! — пристыдила Анфиса.— Любой замок умеете открыть, а тут скромничаете.

— Правильно! — одобрила Тося.— Хоть и Анфиса сказала, а правильно. Я... это самое, присоединяюсь!

— А почему «хоть»? — высокомерно спросила Анфиса.

— Да ну тебя! — отмахнулась от нее Тося, вскочила с табуретки и азартно предложила: — Ксан Ксаныч, миленький, айда замок ломать! Ну что вам стоит? А завтра свадьбу закатим! Я еще ни разу в жизни на настоящей свадьбе не гуляла... Ну, Ксан Ксаныч?

Ксан Ксаныч покосился на Надю, безучастно сидящую рядом с ним, покачал головой и сказал с сожалением:

— Нет, так не пойдет... Мы уж лучше с Надюшей дождемся, пока нам комнату законно дадут.

Тося разочарованно шлепнулась на свою табуретку.

— Я жду,— напомнила Анфиса.— Почему ты сказала про меня...

— Почему, почему! — вспылила Тося.— Жи́ла ты! Из-за капли одеколона удавишься!

— Я же еще и виноватая...— Анфиса понимающе усмехнулась.— Не можешь простить, что ребята не с тобой танцуют, а со мной? Видела я, как ты в клубе очи пялила!

Вера на койке опустила книгу.

— Постыдилась бы такое говорить! Ребенок она еще...

— Хорош ребеночек! — фыркнула Анфиса.— Ты, Верка, со своими книжками где-то в девятнадцатом веке застряла. Теперь такие вот ребенки спят и во сне видят, как бы поскорей замуж выскочить!

— Нужно мне! — презрительно сказала Тося.— Я еще, может, старой девой останусь!

— И останешься! — Анфиса резко сменила фронт атаки и цепкими глазами обежала Тосю с макушки до

пяток.— Много о себе воображаешь, а ноги у тебя, между прочим, вульгарные!

— Какие, какие? — не на шутку забеспокоилась Тося и недоуменно покосилась на свои ноги, которые всю жизнь верой и правдой служили ей, не раз выручали Тосю из беды, а теперь вот, выясняется, были не такие, как надо.

— Вуль-гар-ны-е. Загляни в словарь, все польза будет!

По неучености своей Тося не ведала, что означает Анфисино ругательное слово, и от этого ей стало еще обидней.

— А ты...— бессильно начала она.— Ты женское звание позоришь, вот!

— То-ося! — предостерегающе окликнула свою подопечную Вера.

Но Тося уже вышла из повиновения, и на этот раз остановить ее не удалось даже Вере со всем ее солидным авторитетом старосты комнаты, разметчицы верхнего склада и заочной студентки техникума.

— Что Тося? Я уже семнадцать лет и полтора месяца Тося!.. Вы лучше на Анфису гляньте. Все знают, а молчат, даже противно... Ну чего ты, спрашивается, вырядилась? Ведь на дежурство идешь.

— Не твоя забота! — озлилась Анфиса.— В каждую дырку затычка!

Они стояли по обе стороны от Ксан Ксаныча и кричали друг на друга через его лысину. Стеснительный Ксан Ксаныч низко склонился над сковородкой и делал вид, что даже и не подозревает, какая буря грохочет над его головой.

— Нет, моя! — настаивала Тося.— По всему поселку слава идет, как к тебе на коммутатор по ночам кавалеры шастают! И как ты не боишься? Вот останешься матерью-одиночкой, тогда наплачешься!

— Эх, Тосенька! — с чувством превосходства сказала Анфиса.— Такие дела надо умеючи обделывать...— Она взяла со стола нож, спрятала в свою тумбочку.— Сколько раз говорила, чтоб не брали без спросу... Поужинаете, Ксан Ксаныч, стул на место поставите.

Смущенный Ксан Ксаныч вскочил со стула. Анфиса надела красивую беличью шубку, на секунду задержалась у двери.

— Счастливых снов, девы. Тоське во сне батальон женихов увидеть! Любовь — ах, ах!

Анфиса с хохотом выбежала из комнаты. Надя пододвинула Ксан Ксанычу другой стул, а Анфисин отнесла к ее койке и со злым стуком поставила возле тумбочки.

— Ничего,— успокоил невесту Ксан Ксаныч.— Я себе как-нибудь табуретку сделаю. Заживем самостоятельно!

Тося подошла к заманчивой Анфисиной тумбочке, будто ее сюда магнитом притянуло. Для начала она пнула ногой стул и передразнила Анфису:

— «Без спросу не трогайте»!.. «Сколько раз говорила»!..— Потом перебрала флаконы на тумбочке, понюхала один из них.— И где она такой пахучий одеколон достает? — удивилась Тося и украдкой от подруг подушилась запретным одеколоном.

— То-ося! — окликнула ее Вера.

— Чужой всегда лучше пахнет! — убежденно сказала Тося.— Не бойсь, красотка наша ничего не заметит.— Подняв одеколон к свету, Тося осторожно долила его водой из чайной ложечки.— Чихала я на ее царапину, не на таковскую напала!..— Разглядывая себя в зеркале, размечталась: — Эх, девчонки, если б вы знали, как хочется быть краси-ивой!.. Я бы тогда ни одного парня и на три шага к себе не подпустила, за всех обманутых девчат отомстила бы! Вот иду я, красивая, по улице...

Тося сорвала с Анфисиных подушек покрывало, накинула себе на голову и, неумело поводя плечами, стала гордо расхаживать по комнате, наглядно показывая, как разгуливала бы она по главной улице поселка, если б исполнилась заветная ее мечта и она заделалась бы вдруг красивой.

— Все встречные ребятки столбенеют, а какие послабей в коленках — так и падают, падают, сами собой в штабеля укладываются!

Не жалея материала, Тося вылепила руками из воздуха высоченный штабель.

— Ой, Тоська, и смешная ты! — сказала Надя и улыбнулась впервые за весь вечер.

А Вера поддела Тосю:

— Лежит разнесчастный парнишка в штабеле и ломает себе голову: «И что за кнопка тут ходит?»

Тося обиженно шмыгнула носом.

— Ну, не такая уж я маленькая, а взберусь на высокий каблук — и совсем средний рост будет!.. Заметила, все женщины в модельных туфлях сразу красивей становятся?

Вера отложила книгу.

— Далась тебе эта красота... А ты думала — красивым трудней жить, соблазна больше?

— Мне бы их трудности...— пробормотала Тося и вдруг стукнула кулаком по столу.— А все-таки неправильно это! Несогласная я!

— О чем ты? — не поняла Вера.

— Все о том же! Ну, хоть нашу Анфиску взять: она и пальцем не пошевелила, а ей задарма все досталось: красота, успех и прочее. А чем мы хуже? Скажи, чем? Ага, не можешь ответить! — торжествовала Тося победу над Верой-заочницей.— Или так и должно быть: одним вершки, а другим корешки?.. Если б еще нас перед рожденьем спрашивали: хочешь такой быть? А то ведь не спрашивают. Произведут на свет — и живи как умеешь. Сидел бы бог на небе — так хоть знали бы, кто тебе свинью подложил. А теперь бога сковырнули — и ругать некого. Природу ругать не будешь: это как головой об стенку!.. И зачем только говорят, что у нас все равны?

— Равны, но не одинаковы,— ответила Вера.

Тося растерянно поморгала, удивляясь по простоте душевной тому, сколько люди навыдумывали сходных и в то же время чем-то отличных друг от друга слов, за которые можно прятаться.

— Конечно, мне с тобой трудно спорить, ты вон сколько книжек проглотила, а только все это... одна умственность! А с этой самой красотой получается вроде денежно-вещевой лотереи: все платят по трояку за билет, один выигрывает золотые часы, а другому достается привет от Министерства финансов!.. В общем, наломала тут природа дров.

— Так ее, природу! — вступил в разговор Ксан Ксаныч.— Закати ей, Тося, выговор.

— И закачу! Это ж совсем не по-нашему выходит: прямо сплошной капитализм! Родятся красивыми, а потом всю жизнь... Как это называется? — Тося растопырила пальцы ножницами и задвигала ими.— Купоны стригут, да, мама-Вера?

Вера молча кивнула головой.

А Надя сказала сердито:

— Пустая это все болтовня! И чего завели?.. Так было, так и останется. Даже при полном коммунизме одни красивыми будут, а другие... так себе. Ничего тут не исправишь.

Кажется, все эти мысли о несправедливости природы были Наде не в диковинку.

— Нет, исправим! — убежденно заявила Тося.— Наука дойдет!

Она присела к столу и придвинула к себе задачник с таким решительным видом, словно собиралась ускорить победу науки. Но при первом же взгляде на ненавистную задачку с поездом вся похвальная Тосина решимость сразу испарилась, и стало ясно: не такое это легкое дело — торопить победный шаг науки.

— Наука, она, конечно, движется...— пробормотал Ксан Ксаныч, не понимая, почему Надя так близко к сердцу принимает весь этот шутейный разговор.— Может, еще доживем до такого дня, когда откроют мастерские для ремонта человеков. Надоел тебе, скажем, твой родной нос — забежал в такую мастерскую, сменил нос и пошел себе дальше с новым носом: хочешь — прямой, хочешь — с горбинкой!

Ксан Ксаныч сам первый засмеялся и тут же смущенно закашлялся, прося извинить его за такое непростительное для пожилого человека легкомыслие.

— Приходишь с новым носом в общежитие,— радостно подхватила Тося,— а тебя не пускают: «Гражданка, вы тут не прописаны!»

— Хватит вам ерунду молоть! — угрюмо сказала Надя.

И Вера пристыдила Тосю:

— Узко ты на жизнь смотришь, с одной лишь точки. Как будто красота — это все! Можно быть счастливой и без особенной красоты, если семья дружная, любимая работа, все тебя уважают...

Тося пренебрежительно махнула рукой:

— Это все умственность и фантазия! Так только говорят, чтобы нас, горемычных, утешить... Ты покажи мне счастливую-рассчастливую из самой дружной семьи, чтоб она о красоте не мечтала. Что-то таких не видать!..— Тося зевнула.— И почему, мама-Вера, меня сразу в сон кидает, когда со мной говорят про умные вещи?

— Не доросла ты еще до умных разговоров! — уязвленно сказала Вера и взялась за толстую книгу.

— Вот это точно! — охотно согласилась Тося и вдруг заулыбалась: — Ой, чего придумала-а!.. Если б я была природой, я бы так сделала. Рождается человек... *Никакой.* Ни красивый, ни страхолюдный, а совсем-совсем никакой, понимаете? А потом, когда он определится, годам этак к семнадцати, я на месте природы и стала бы выдавать красоту — кто чего заслужил. Все учла бы: и как работает, и как к подругам относится, жадный или нет, мечты разные — все-все... Получай по заслугам — и живи себе на здоровье! Вот тогда было бы по справедливости, а теперь и на росте норовят сэкономить, и личико тебе подсунут какое-нибудь завалящее, носи его до самой смерти!.. Ну, как, мама-Вера, ловко я придумала?

— Чем бы дитя ни тешилось...— отозвалась Вера и еще раз попробовала наставить заблуждающуюся Тосю на путь истинный: — И как ты не поймешь: мало одной красоты для настоящего счастья! Ведь и Анфиса наша красивая. Может быть, красивей нас всех в комнате...

— Не может быть, а так оно и есть! — перебила Тося: любовь к справедливости пересилила в ней неприязнь к ехидной своей соседке.— Вот только злая она, как ведьма! А красивый человек, я так считаю, должен быть добрый-предобрый: чего ему злиться, раз он уже красивый?.. Правда, Надя?

— Откуда мне знать? — удивилась Надя.— Это не по моей специальности: мне папа с мамой красоты недоложили...

— Надюша! — упрекнул невесту Ксан Ксаныч, зачищая сковородку корочкой хлеба.— Вечно ты на себя наговариваешь!

Надя начала убирать со стола. А Тося вдруг увидела мусор у порога, подошла к расписанию дежурств, приколотому к боковой стенке шкафа, и сказала с великим сожаленьем:

— Эх, не знала я, что сегодня Анфиса дежурная! Я бы ей показала, как на живых людей кидаться. Привыкла на чужих горбах выезжать, а все потому, что красивая... Да пропади она пропадом со своей красотой!

— Поболтала, Тося, и хватит,— решительно остановила ее Вера.— Сегодня я за тебя задачку решать не буду, не надейся. На твоем месте я бы не о красоте ду-

мала, а об учебе... Неужели тебе, кроме красоты, ничего на свете не хочется?

— Хочется...— тихо ответила Тося.

Заинтересованная Вера приподнялась на локте:

— Чего, если не секрет?

Тося зажмурилась и заговорила — быстро и горячо, как говорят о давней своей мечте:

— Ты только не смейся. Больше всего в жизни я хотела бы, чтоб у меня старший брат был... Родной старший брат! — Тося зачастила, опасаясь, что ее перебьют и не дадут досказать: — Чтоб и фамилия у него была, как у меня, и отчество, чтоб совсем-совсем родной, понимаешь? И чтоб старший — ну, хотя бы на два годика, а еще лучше — лет на пять... Чтоб он сильный был, умный и все в жизни знал. Чтоб с ним можно было посоветоваться в случае чего и все ему рассказать. Понимаешь: все-все!.. В общем, настоящий старший брат, как у других девчонок бывает... Ты не думай, он у меня как сыр в масле катался бы! Я бы ему рубашки стирала, галстук самый модный с получки купила, обеды из трех блюд готовила. Мы бы с ним вместе в кино ходили, и рано утром я бы его на работу будила!.. И еще... чтоб он не женился и всегда со мной жил. Ну зачем ему жениться? Попадется какая-нибудь модница или вертихвостка, только со мной рассорит... Чтоб его все хулиганы, вроде Фили, боялись и чтоб он на батю нашего был похож — хоть немножко...

Тося замолчала и боязливо открыла глаза. Ей показалось вдруг, что она слишком уж размахнулась в несбыточных своих мечтах и безудержно много требует от судьбы. И еще она боялась, что девчата поднимут ее на смех, но никто в комнате не усмехнулся даже, и только Ксан Ксаныч закашлялся ни с того ни с сего. Покореженное войной, детдомовское Тосино детство заглянуло в общежитие — и все вокруг притихли.

— Да-а...— с философической ноткой в голосе сказал Ксан Ксаныч: на правах единственного в комнате мужчины он считал себя обязанным как-то утешить Тосю.— Война, будь она трижды неладна...

Надя дернула его за рукав,— и Ксан Ксаныч сразу прикусил язык. А Вера не выдержала выпытывающего Тосиного взгляда и отвела свои глаза, будто была в чем-то виновата перед Тосей. Ей стало вдруг неловко, точно Тося по девчоночьему своему неведенью нарушила ка-

кой-то неписаный житейский закон и распахнула перед ними свою душу гораздо шире, чем повелось между людьми, даже если они живут в одной комнате и испытывают друг к другу взаимную симпатию.

Больше всего Веру поразило, что Тося осмелилась мечтать лишь о брате. Видно, еще в самом раннем детстве она уже настолько свыклась с круглым своим сиротством, что сейчас ей даже в голову не пришло попросить у судьбы отца с матерью и пределом ее мечтаний стал всего лишь старший брат, похожий на отца.

Щурясь от яркого света, Тося стояла перед Вериной койкой. Она не догадывалась, почему это все в комнате напустили вдруг на себя постный вид, как на поминках, и воинственно озиралась по сторонам, готовая дать достойный отпор каждому, кто вздумает неуважительно отозваться о ее несуществующем старшем брате.

Вере показалось вдруг, что ершистая девчонка эта и не подозревает даже, чего недодала ей жизнь. Она приподнялась на койке, рывком притянула к себе упирающуюся Тосю и с никогда прежде не испытанной ею сладкой, почти материнской болью в сердце стиснула хрупкие Тосины плечи и зарылась подбородком в мягкие ее волосы, от которых шел резкий и чуждый запах Анфисиного одеколона.

— Пусти, вот сумасшедшая! — крикнула Тося, вырываясь из непрошеных объятий.— Я по-хорошему, а ты...

Тигренком отскочила она от Вериной койки, азартно вскинула руку.

— Если бороться хочешь — так и скажи! Я тебе покажу кой-какие приемчики. Ты не думай, от меня все мальчишки в школе ревели! — похвасталась Тося, припомнив былые свои подвиги.

Она перехватила Верин взгляд — какой-то новый, обнаженно ласковый и чуть-чуть виноватый — и растерянно заморгала.

— Иль ты чего другое удумала? — заподозрила Тося неладное и в упор уставилась на смутившуюся вдруг Веру.

— Глупая ты еще...— тихо сказала Вера, нашарила рукой книгу и отвернулась к стене.

Тося пожаловалась Ксан Ксанычу:

— Вот моду взяли: как что не по-ихнему — так сразу дурочкой обзывают!

И после этого ей уже ничего другого не оставалось, как присесть к столу и начать наобум черкать в тетрадке — в слепой надежде, что ненавистная задачка, может быть, решится как-нибудь сама.

Надя с женихом ушли в свой угол, сели на койку. Не переставая черкать в тетрадке, Тося осторожно огляделась вокруг. Убедившись, что за ней никто не следит, она украдкой высунула ногу из-под стола, придирчиво осмотрела ее со всех сторон и пожала плечами, решительно не понимая, какой недостаток ехидная Анфиса выискала в ее ногах...

— В ответе, должно быть, опечатка! — предположила Тося, сверяя скоропалительное свое решение с ответом.

— У тебя и в прошлый раз была опечатка,— сказала Вера потвердевшим голосом.

А Ксан Ксаныча терзали совсем другие заботы.

— Пора уже нам, Надюша, о мебели подумать,— озабоченно говорил он.— А то, не ровен час, дадут нам комнату, а у нас ничего не готово. Шкаф, стол, табуретки я сам сделаю не хуже фабричных, доски сухие у меня уже есть на примете. А кровать давай лучше купим. Знаешь, есть такие, с шишечками по углам. Соберем деньжат и купим...

— Что ж, — согласилась Надя,— можно и купить. В этом месяце я сотни две сэкономлю...

— Ты только не жмись! — испугался вдруг Ксан Ксаныч.— Если тебе конфеты приглянутся или там какая-нибудь помада, ты смело покупай, у меня не спрашивай.

— Зачем мне помада? — удивилась Надя.— Помада мне без надобности.

— Я к примеру, Надюша. Мало ли чего захочется. Дело молодое, жаться нечего, а то ведь так и молодость пройдет.

— Хорошо, Ксан Ксаныч...— тихо сказала Надя, подавленная добротой своего жениха, и покосилась на девчат — не подслушивают ли они.

Насчет Веры можно было не сомневаться: она лежала спиной к ним и читала пухлый роман. А вот Тося что-то слишком уж глубокомысленно грызла карандаш — то ли искала в сердцевине его заблудившееся решение неприступной своей задачки, то ли сдерживалась изо всех сил, чтобы не расхохотаться над стариковской любовью Ксан Ксаныча.

Вера дочитала последнюю страницу и положила книгу на тумбочку. Тося тут как тут:

— Поженились?

Вера кивнула головой.

— Так я и знала! — торжествующе сказала Тося.— В романах всегда в конце женятся. Прочитаешь один — и можно больше не читать... Я потому и не читаю!

— Мели, Емеля! Лень-матушка не дает тебе книги читать... Ксан Ксаны-ыч!

Вера покрутила рукой в воздухе. Ксан Ксаныч сразу догадался, чего от него ждут, ответил по-военному:

— Есть! — и привычно повернулся лицом к стене.

Чтобы не сидеть без дела, пока Вера раздевается, работящий Ксан Ксаныч достал из кармана перочинный ножик и принялся загонять высунувшуюся паклю в пазы между бревнами. По всему видать, Ксан Ксаныч не впервой занимался этим полезным делом: все пазы на высоте рук сидящего человека были уже проконопачены, и теперь ему пришлось нагибаться к самому полу.

— Ксан Ксаныч, можно,— разрешила Вера.

Платье ее висело на спинке стула, а сама Вера уже лежала под одеялом. Она взяла с тумбочки новую книгу, посмотрела на Катину койку, потом на ходики.

— Что-то загуляла наша Катерина.

— Спорим,— сразу же отозвалась Тося,— она сейчас со своим Сашкой на Камчатке сидит!

Прежде чем войти в комнату, Катя на минуту остановилась в коридоре перед дверью, провела рукой по лицу, чтобы остудить горящие от Сашкиных поцелуев щеки. Притворно нахмурившись, она толкнула дверь и переступила порог.

Тося все еще корпела над задачкой, а Ксан Ксаныч уже распрощался с Надей и ушел спать.

— Ну?! — нетерпеливо спросила Тося и так поспешно вскочила с табуретки, что та с грохотом упала на пол.— Ну, Катя? — повторила Тося, поднимая табуретку и снизу вверх глядя на подругу заметно покрупневшими от жгучего любопытства глазами.

— О чем ты? — делая вид, что не понимает, спросила Катя и простерла руки над плитой.— Тепло ка-ак!

— Да брось ты притворяться! — осудила Тося ее лицемерие.— Любит?

Катя подумала-подумала, кивнула головой, сказала:

— Угу...— И еще раз кивнула — для большей надежности...

— Вот это по-нашему! — одобрила Тося, радуясь так, будто полюбили не Катю, а ее.— Поздравляю, Катистая! — Она порывисто обняла Катю и тут же оттолкнула ее.— Катюш, да от тебя табачищем несет! Ты что, курила на радостях?

— Это Саша курил...

Тося возмутилась:

— Все-таки дуры мы, бабы! И курят мужики, и самогон вонючий пьют, а мы их, барбосов, целуем! Попадись мне какой-нибудь, уж я его перевоспитаю!..

Стремясь расширить скудные свои познания в заповедных любовных делах, Тося вплотную придвинулась к Кате и спросила стыдливым шепотком:

— Он прямо так и сказал: «Люблю, жить без тебя не могу»?

Катя замялась:

— Ну да... В общем, признался...

— Признался? — удивилась вдруг Тося.— И до чего же глупое слово! Признаются в чем-нибудь паршивом, а тут...

Вера оторвалась от книги и с любопытством посмотрела на Тосю. С ней тоже иногда так бывало: знакомое, примелькавшееся слово вдруг как бы раскрывалось заново — и становилась видна вся его скрытая до времени нелепица или, наоборот, глубина и тонкость, о которых она и не подозревала раньше.

— Эх, люди-человеки! — накинулась Тося на непутевое человечество.— Тыщи лет на земле прожили, пирамиды строили и разной ерундой занимались, а для любви до сих пор не придумали точной термилоно...

Тося заблудилась в звуках длинного, непривычного для нее слова.

— До сих пор,— повторила она, пытаясь с разбегу преодолеть непослушное словище,— не сочинили для любви путной тер-ми-но-ло-ги-и... Вот!

— Выдумываешь ты все! — недовольно сказала Катя, снимая пальто.— Все так говорят: «признался». А как, по-твоему, про любовь говорить надо?

— А я почем знаю? — улизнула от ответа Тося.— Вот

объяснится мне какой-нибудь бедолага — и тогда в точности тебе растолкую.

Катя стряхнула соринку с пальто, распяла его на палке с крючком и бережно повесила на вешалку. Потом она достала из своей тумбочки большую чайную чашку, мешочек с вышитой птичкой, в котором держала сахар, и другой мешочек, уже без вышивки, предназначенный для сухарей. Тося во все глаза следила за ней, не понимая, как это Катя может так буднично вести себя и даже собирается пить чай в тот самый день, когда узнала, что ее любят.

Налив в чашку кипятку из чайника, Катя подошла к столу и придвинула к себе Анфисин стул.

— Не садись на ее стул! — суеверно сказала Тося.— Ну ее! Возьми лучше мою табуретку...— Она склонилась над Катей, выпытывающе заглянула ей в глаза.— Ты что сейчас чувствуешь, Катистая? Вроде ты большая-большая, до звезд выросла, да?

— Да отстань ты! Какие там еще звезды? Не умею я про это. Ну, вроде жить интересней стало...

Разочарованная Тося отошла от Кати.

— А мне всегда жить интересно, сколько себя помню. Вот только перед получкой бывает скучновато...— Она вынула из кулька конфету, поднесла ко рту и задумалась.— Девчонки, и почему я, как сюда приехала, все про любовь думаю? Раньше, бывало, разок в месяц вспомнишь, что есть на свете эта самая любовь, да и то после кино, куда до шестнадцати не пускают, а теперь прямо каждый день и без всякого-якого... Надо же: север тут у вас, медведи, а я — про любовь. С чего бы это, а?

— Возраст такой подошел,— сказала Катя.

— Возраст? — У Тоси был сейчас такой вид, точно она вдруг узнала, что незаметно для себя состарилась.— Значит, это у всех бывает? Как будильник натикает — так звонок?

— А ты думала, ты одна такая? — спросила Вера.

— Одна не одна, а все-таки...

Почему-то Тосе не хотелось, чтобы новое ее состояние — тревожное и заманчивое,— в котором она еще и сама толком не успела разобраться, объяснялось так просто. В будничности такого объяснения было что-то обидное, унижающее Тосю в собственных глазах. Будто она и не человек вовсе, а какая-нибудь бессловесная яб-

лоня: календарь показал весну — и, хочешь не хочешь, расцветай!

Катя вытащила из-под койки чемодан в чехле и вынула из него завернутый в розовую бумагу тюль — давно уже по случаю купленный для занавесок, без которых Катя и представить себе не могла семейной жизни.

— Продай нам с Ксан Ксанычем хоть на одну занавеску,— попросила Надя.— Хоть на коротенькую...

— Он мне и самой ведь понадобится,— неуступчиво ответила Катя, озабоченно рассматривая тюль на свет.

— Да ну вас! — оскорбленно сказала Тося.— Заладили: «тюль-мюль»... И это любовь называется! — Она подступила к Кате: — Отдай мою брошку... Да я когда полюблю, руками взмахну и полечу по воздуху!

— Полететь ты можешь,— согласилась Вера.— Завтра на уроке математики и полетишь! Неужели тебе перед Марьей Степановной не стыдно? Она старается, учит тебя, а ты все ловчишь, списываешь, на подсказке выезжаешь...

— А чего ж тут стыдиться? — искренне удивилась Тося.— Каждый из нас свое дело делает. И потом — Марь Степанна за это зарплату получает!

Вера бессильно развела руками.

— Ну а самолюбие у тебя есть? — теряя последнее терпенье, сказала она.

— А как же? — опешила Тося.— Не хуже других...

— Так что ж ты плевую задачку не осилишь? И вроде не глупая девчонка, а тут — на тебе...

— Это я-то не осилю? — уязвленно спросила Тося.— Эх, мама-Вера, как ты меня понимаешь!

Тося присела на кончик табуретки и стала напористо черкать в тетради. Катя аккуратно сложила свой тюль, упаковала его в розовую бумагу и вернулась к столу допивать чай.

— Что и требовалось доказать! — победоносно сказала Тося, захлопывая задачник.

Вера с сомненьем посмотрела на нее.

— Решила?

— Решила!

— И с ответом сошлось?

— Сошлось...

— А ну покажи.

— Ты что, не веришь? — поразилась Тося.— А еще подругой называешься! Я вот тебе всегда верю...

— Ты покажи, покажи.

— Надоела ты мне со своими придирками! — зло выпалила Тося.— Все вы мне надоели! Эксплуататорши вы, а не подруги!

— Тоська-а! — предостерегающе сказала Надя.

— И ты туда же! Я и сама знаю, что я Тоська. Если старшего брата нету, так вы думаете, меня поедом есть можно? Вышла из детдома — думала, вздохну свободно, нет, опять оседлали! — Тося качнулась к Наде, спросила язвительно: — Ты-то куда лезешь? Ну, Верку я еще понимаю: ей скоро тридцать стукнет, мужик сбежал, не выдержал ее красоты, своей семьи нету,— вот она и приспособила меня вместо дочки, материнские чувства на мне примеряет... А ты чего?

Вера отвернулась к стене. Надя стремительно шагнула к Тосе и ударила ее по щеке.

— Девчонка! Дура! Чего мелешь?

Тося виновато заморгала, и вся бойкость слетела с нее.

— А что я такого сказала? Нельзя уж и рта открыть, совсем замордовали...— Она подошла к Вериной койке, поправила подвернувшийся уголок одеяла.— Ну вот, уже и разобиделась... Забудь, чего я тут ляпнула, это я так, мам-Вера, нечаянно. И задачку эту решу, чтоб ей сдохнуть! — Передразнила: — «Поезд отошел от станции»!.. А я, может, пароходом хочу плыть, зачем мне этот дурацкий поезд подсовывают?

Катя гулко прыснула в кружку.

— А если там речки нету?

— Канал можно прорыть, очень даже просто!.. Ну, Веруся?

— Иди, глупая, я на маленьких не сержусь.

— Спасибо, Верунька, ты самая-самая!..

Тося преданно поцеловала Веру в плечо, села за стол и распахнула злополучный задачник. Стиснув голову руками, ожесточенно забубнила:

— Поезд отошел от станции ровно в двенадцать часов...— Вскинула глаза над книжкой, прошептала с великим сожаленьем: — И не опоздал ни на минуту, дьявол!

ПЕРВЫЙ СНЕГ

За одну ночь неузнаваемо изменился поселок. Свежий снег щедро выстлал все улицы, утеплил крыши, навесил бахрому на телеграфные провода, празднично разукрасил толстую елку у конторы, опушил немощные прутики, огражденные штакетником, и сделал их похожими на деревья. Мягкий серебряный свет разлился вокруг. Старые бревенчатые дома под снежными шапками заметно помолодели и выглядели теперь сказочными теремами.

Солнце еще не выкатилось из-за леса, но уже протянуло в вышине лучи над поселком. Дружно дымили печные трубы. В безветренном воздухе дымы поднимались прямыми столбами. Со стороны смотреть — казалось, будто поселок подвешен к небу на толстых витых канатах, белых, с прожелтью снизу, в тени, и пестро-радужных повыше, в лучах солнца. Налетел ветерок — и враз заколыхались все цветные дымы-канаты. Поселок качнулся и поплыл, как на качелях.

Все живое оставляло на снегу свои следы. Робкая пунктирная тропка пролегла от общежития к колодцу: это Надя, вставшая раньше всех в комнате, ходила за водой для умывальника. Ворона отпечатала на снегу аккуратные крестики, а собака — пятачки. Крестики и пятачки издали устремились друг к другу, сошлись под углом и разбежались ножницами.

Посреди улицы пролегли следы трактора, спозаранку ушедшего в лес,— две ленты примятого, спрессованного снега, разрезанные траками гусениц на длинные ровные кирпичи.

Заспанная Тося вышла из общежития и, пораженная праздничным видом поселка, замерла на крыльце, захмелевшими от снежного раздолья глазами глянула вокруг. Зачерпнув горсть снега, Тося скомкала скрипучий снежок и стала румянить им щеки. Снег был молодой, ватный и совсем не холодный.

— Эй, барбосик, зима пришла! — крикнула Тося и запустила в собаку снежком.

Собака остановилась, осуждающе посмотрела на Тосю, дивясь ее несолидности, и затрусила дальше по своим неотложным делам.

Тося припомнила, что ей надо получать продукты для кухни, и двинулась вслед за собакой, стараясь не затоп-

тать узорные ее пятачки. Дворняга на бегу оглянулась на Тосю с таким видом, будто хотела сказать: «И чего привязалась?» Легкой танцующей походкой Тося шествовала по поселку, обновленному зимой, и озиралась по сторонам, боясь пропустить что-нибудь интересное.

Мастер Чуркин широкой деревянной лопатой расчищал дорожку возле своего дома. Чуть в сторонке младший сынишка мастера Петька мыл снегом чернильницу-непроливайку. Яркие фиолетовые пятна расцветили снег далеко вокруг школьника.

У крыльца мужского общежития умывался снегом голый по пояс Сашка. При одном лишь взгляде на него у Тоси холодок пробежал по спине. Она порадовалась, что в одно время с ней на свете живут такие стойкие физкультурные люди, и зябко передернула плечами.

Первый снег выманил на улицу ребятишек. Они барахтались, визжали, падали «солдатиками». Тося с завистью покосилась на них и тут же отвернулась, чтобы не поддаться соблазну. И вот уже вспыхнул первый бой — и зазвенело первое в эту зиму оконное стекло, выбитое неточно пущенным снежком.

— Я вас! — крикнула толстая тетка, выбегая с веником из дому.

Ребятишки порскнули кто куда и сразу словно сквозь землю провалились. Тетка подозрительно уставилась на Тосю — и та на всякий случай напустила на себя деловой взрослый вид, чтобы не пришлось, чего доброго, отвечать за чужую проказу.

Из недр темной кладовой длинноногий комендант охапками выносил деревянные лопаты с присохшей прошлогодней грязью и сокрушенно качал головой, разглядывая расколотые половинки.

До самой столовой сопровождала Тося дворнягу, а тут пути их разошлись. Собака заняла свой пост у кухонной двери, где ей частенько перепадали подачки, и оттуда с видом существа, находящегося при деле, стала следить за Тосей, ожидая, что еще выкинет сегодня этот далеко не самый солидный представитель человеческого рода.

А Тося свернула к главному входу, увидела на крыльце Илью, и руки у нее зачесались. Она живо слепила увесистый снежок, хищно прищурилась и метнула его, целясь в нарядную пыжиковую шапку. Илья вскинул голову, и снежок угодил ему прямо в ухо. И радуясь своей меткости, и ужасаясь тому, что она натворила, Тося

кинулась бежать со всех ног. Илья в три прыжка настиг ее и стал щедрой пригоршней совать снег за шиворот.

— Пусти... Ой, Илюшка, пусти, не буду больше! — взмолилась Тося.

Сначала она честно пыталась вырваться из крепких рук Ильи, но силенки у нее не хватило. Тося притворно захныкала, потом проказливо затихла и украдкой придвинулась к Илье. Не то чтоб Тосю так уж тянуло к нему, что она никак не могла удержаться,— чего не было, того не было. Просто ей давно уже не терпелось узнать, что испытывают девчата, когда их обнимают, и так ли уж им на самом-то деле хорошо, как это показывают в кино. Правда, Илья и не думал обнимать Тосю, а лишь прочно держал ее за шиворот, чтобы она не убежала, но эта мелочь казалась Тосе несущественной. А когда она вдобавок боязливо прислонилась к Илье, то все выглядело так, будто обнимают ее по-настоящему: Тося недаром ходила в вечернюю школу и прочно усвоила, что от перестановки слагаемых сумма не меняется.

Была и другая причина лихого Тосиного эксперимента, совсем уж уважительная. Еще работая в совхозе, Тося открыла, что она никак не подготовлена к некоторым неизбежным событиям в своей жизни, например к тому неминучему часу, когда ее наконец-то полюбят. И полюбит не какой-нибудь забулдыга вроде Фили, а совсем другой, не очень понятный еще Тосе человек, который и ей тоже понравится. И хотя по молодости лет Тосю еще никто и никогда не любил, она была почему-то убеждена, что заманчивое время это не за горами, а уже спустилось с этих самых гор и на всех парах катит к ней.

Кое-что любопытная Тося выведала из кинокартин, особенно из тех, на которые не пускают несчастных мальчишек и девчонок моложе шестнадцати лет. Но в кино Тосю поджидало и сильнейшее огорчение. Своими зоркими глазами она заприметила, что все героини, даже самые молодые и неискушенные, всегда откуда-то знают, что и как им делать, когда к ним приходит красивая кинолюбовь.

В заграничных фильмах иноземные девчата храбро кидались на шею своим избранникам, прятали у них на груди свои зарубежные головы с нерусскими прическами и, потеряв всякий стыд, целовались, целовались, целовались... Все это, на зависть Тосе, они проделывали так умело, будто загодя окончили какие-то курсы, где их

всему этому обучили. В наших кинокартинах Тосины соотечественницы творили такие дела малость поскромней, но тоже сразу было видно, что они не лыком шиты и распрекрасно знают, почем сотня гребешков. За их плечами угадывались все те же полезные курсы, хотя и не такие капитальные, как у их товарок за рубежом,— в общем, что-то краткосрочное, без отрыва от производства.

И даже у Кати с Сашкой, судя по всему, дело тоже шло не хуже, чем в кино. Эта всеобщая чужая умелость повергала Тосю прямо-таки в смятение. На себя она не надеялась и боялась, что вот так сразу, с бухты-барахты, без предварительной подготовки, ей ни за что не справиться с нелегкой задачей, которая маячила перед ней. И дальновидная Тося дала себе слово как-нибудь ненароком потренироваться при удобном случае, чтобы во всеоружии встретить грядущую свою любовь и не опозориться, когда придет ее черед прятать голову на чужой груди, обнимать чью-то шею и, может быть, даже целоваться.

Тося знала свое место и на любовь Ильи не питала никаких надежд, ну, а для такой вот тренировки Илья вполне годился — куда уж лучше. Да и случай сейчас представился вполне безопасный, просто грех было его пропустить.

Ну, а кроме всего этого была и еще одна причина — не причина, а так, не последняя зацепка. Где-то в дальнем закоулке Тосиной души шевельнулось вдруг мстительное чувство к Илье: «Вот ты на меня вниманья не обращаешь, даже имени моего не можешь запомнить и называешь меня Дусей, а я обведу тебя вокруг пальца и потренируюсь на тебе, непутевом!..»

Делая вид, что борется с Ильей, Тося зажмурилась от страха, приподнялась на цыпочки, ткнулась головой ему под мышку и затихла в предчувствии больших и важных открытий.

От ватника Ильи душно пахло бензином и чуть слышно смолой. Привычные будничные запахи эти мешали Тосе сосредоточиться и понять, испытывает она сейчас что-нибудь новое, *женское,* или долгожданная взрослая благодать и на этот раз обошла ее стороной.

Илья перестал потчевать Тосю снегом и спросил насмешливо:

— Слышь, поварика, ты там не заснула?

Застигнутая врасплох, Тося живо отпрянула от Ильи,

так и не разобравшись толком, хорошо ей было у него под мышкой или всего лишь так себе. А вот снег у нее за шиворотом начал таять, и тут уж никак не могло быть двух мнений — хорошо это или плохо.

— Пусти, тебе говорят! — сердито сказала Тося.

Илья конечно же не догадался о тайных Тосиных планах, но несмелую ее экскурсию к нему под мышку он заметил и несказанно удивился:

— Тось! Да ты никак втюрилась в меня?

Вот тебе и потренировалась! Кляня себя за дурацкое любопытство, которое завело ее слишком далеко, Тося энергично замотала головой, изо всех сил стремясь разуверить Илью, заставить его в самом зародыше отказаться от всех своих нелепых догадок. Тося видела, что он не очень-то верит ей, и разозлилась на Илью так, как еще ни на кого в жизни не злилась.

— Да пусти ты, чего прицепился! — выпалила она с ненавистью, скинула с плеча тяжелую руку Ильи и пошла прочь — маленькая и прямая, как оловянный солдатик.

Тося шагала по-взрослому неторопливо, с трудом удерживаясь, чтобы не пуститься по-девчоночьи наутек. Мельком она заметила давешнюю дворнягу: та грызла честно заработанную кость и не интересовалась уже больше Тосиными делами. Спиной Тося чувствовала на себе взгляд Ильи и неприступно тянула острый свой подбородок все выше и выше. А что ей еще оставалось делать, когда она так глупо опозорилась? Ведь Илья теперь невесть что будет про нее думать. И черт ее угораздил!.. Смятение чувств сковало левую Тосину руку, зато правой она размахивала — сильней некуда.

А Илья во все глаза смотрел вслед Тосе, удивленный ее выходкой. Он слишком привык считать Тосю зеленой девчонкой-малолеткой, у которой еще ветер гуляет в голове, чтобы вот так сразу переменить свое мнение о ней. И хотя Илья и теперь, после того как поймал Тосю на месте преступления, не очень-то верил в силу ее любви к нему и склонен был видеть в этой скоропалительной любви минутную девчоночью блажь, да и не нужна была ему вовсе неспелая Тосина любовь,— но все ж таки, что там ни говори, по общей человеческой слабости Илью тешила мысль, что из всех парней поселка смешная девчушка Тося выбрала именно его...

И в конторе по-своему отмечали первый снег. За одну ночь лесопункт перешагнул из осеннего сезона лесо-

заготовок в зимний, и, как это всегда почему-то бывает, зима застала врасплох, не хватило двух-трех дней, чтобы как следует подготовиться к ней. Для начальника лесопункта Игната Васильевича первый снег был отнюдь не красивым и поэтичным явлением природы, которым приятно любоваться, а стихийным бедствием, сразу отяжелившим и без того нелегкую и хлопотную его работу.

Игнат Васильевич спозаранку «сидел на телефоне», силясь втолковать начальству из леспромхоза, почему ночная смена вывезла мало древесины. Через распахнутую форточку по всей улице транслировались безнадежные переговоры Игната Васильевича с далеким и суровым начальством:

— ...Заносы, понятно? Потому и вывозка упала... Всю дорогу завалило, вы в окно гляньте, закопались в своих бумажках!.. Что ж снегоочиститель? Снегоочиститель в ремонте... Русским языком говорено: заносы... Да пошел ты!..

Первый снег!

ПЫЖИК ПРОТИВ КУБАНКИ

И снова в клубе гремела радиола, и Тося снова скучала. Посреди зала толклось в танце несколько пар с таким унылым видом, будто они не веселились, а делали постылую, давно уже надоевшую до чертиков работу. Только на Кате с Сашкой и отдыхали глаза. Любовь творила чудеса с косолапым Сашкой: он так сильно пообтесался за это время, что наступал теперь Кате на ноги не чаще трех раз за целый танец.

Культурная надстройка все еще отставала в поселке от материальной базы, и в клубе мало что изменилось с тех пор, как Тося повздорила с подвыпившим Филей. И сегодня так же томились у стенки девчата, которых никто не приглашал танцевать, гоготала Филина ватага, стучали костяшками домино отчаянные любители «козла», все еще не потеряв надежду проломить толстую крышку стола, и рыхлая девица с серьгами дежурила у радиолы и меняла пластинки. Бег времени можно было распознать лишь по тому, что рядом с иконописным портретом Ильи на стене обосновался портрет Веры, более удавшийся местному художнику, да еще в углу,

у входа в зал, раза в два выросла гора верхней одежды, с точностью календаря отмечая приход зимы в поселок.

Филя покинул свою ватагу и, попыхивая папиросой, прошелся по залу.

— Где же твои кавалеры, Кислицына? — с напускным сочувствием спросил он у Тоси, делая вид, что давно уже позабыл об их стычке.

— Ходи мимо! — неподкупно отозвалась Тося.

Филя пыхнул ей в лицо папиросным дымом и демонстративно пригласил танцевать девицу с серьгами, чтобы Тося почувствовала, как много она потеряла, поссорившись с ним.

Где ее кавалеры?.. Тося украдкой глянула в дальний угол зала, где за шахматным столиком сидел Илья, надвинув пыжиковую шапку на левое ухо — то самое, припомнила Тося, в которое она когда-то угодила снежком. Сегодня Илья почему-то не танцевал и даже не снял пальто, будто забежал в клуб всего на одну минуту.

После злополучной своей «тренировки» в день первого снегопада Тося боялась, что теперь ей житья не станет в поселке. Она была уверена, что Илья, по обычаю всех красивых парней, тут же растрезвонит на весь поселок о новой своей победе и Филя-пройдоха, конечно же, сразу обеими руками вцепится в такой выигрышный случай, чтобы свести с ней наконец-то счеты. Но день шел за днем, Филя на каждом шагу — и в лесу, и в вечерней школе — старался всячески напакостить Тосе, даже раздобыл где-то сонную лягушку и подкинул ее в Тосину парту, а про самую главную ее промашку почему-то не заикался. И Тося поняла, что Илья так ничего и не рассказал закадычному своему дружку.

Признаться, Тося никак не ожидала от Ильи такого благородства. Ей даже стыдно стало, как всегда бывало с ней, когда люди на поверку оказывались лучше, чем она о них сгоряча думала. Тося собиралась как-нибудь при случае отблагодарить Илью, но время двигалось своим чередом: миновали Октябрьские праздники; заматерела зима; тяжелые тракторы без опаски перебирались уже по льду через реку; недостроенный дом, в котором Наде с Ксан Ксанычем обещали дать комнату, завалило снегом и сравняло с соседними сугробами; поговаривали, что однажды ночью, когда Тося безмятежно спала на своей жесткой койке, над поселком играло уже северное сияние; приближался Новый год,— а подходя-

щий случай отплатить Илье добром за его добро все как-то не подворачивался Тосе.

Вот если б Илья плюнул сейчас на свои паршивые шахматы, скинул пальто и пригласил ее танцевать, она сумела бы его отблагодарить. На миг Тося представила себя танцующей с Ильей: все смотрят на них, девчата лопаются от зависти, а они несутся по залу, обдавая всех теплым ветром... Ей почему-то казалось, что она с Ильей быстро станцевалась бы и все у них вышло бы расчудесно,— если и не так красиво, как у Ильи с Анфисой, то уж, во всяком случае, гораздо лучше, чем у Кати с Сашкой.

«Ну что ему стоит пригласить? — думала Тося, поглядывая на Илью.— Я бы на его месте обязательно пригласила! Неужели интересней гонять по клеткам эти глупые деревяшки, чем танцевать со мной?»

Если б Тося твердо была уверена, что Илья правильно ее поймет, она и сама подошла бы к нему и первая пригласила его. Но такой уверенности у Тоси не было, она боялась, что Илья, чего доброго, решит, будто она вешается ему на шею,— и смирно стояла, караулила портреты Ильи и Веры и делала вид, что ей совсем не хочется танцевать.

Филя бросил девицу с серьгами посреди зала и, бесцельно слоняясь, подошел к столику, за которым Илья с комендантом играли в шахматы. Видно было, что Илья томится от скуки; ему даже лень было прикурить давно погасшую папиросу.

— Богатая у тебя шапка! — не впервой позавидовал Филя. На правах старого друга он снял с Ильи пыжиковую шапку, примерил, нехотя расстался с нею и водрузил Илье на голову, даже на левое ухо надвинул, чтобы не было никакого урона хозяину.— Продай, а то сменяем на мою кубанку? Придачи я не пожалею!

Илья отмахнулся от Фили, рывком схватил своего ферзя и застыл с ним над доской.

— Что ж не танцуешь? — поинтересовался Филя.

— С кем? — Илья зевнул.— Анфиса на дежурстве, а тут...

Он презрительно ткнул ферзем в сторону девчат, Филя глянул на Тосю, и в глазах его зажегся мстительный огонек.

— Не скажи! — неожиданно заступился он за поселковых девчат.— А с Тоськой-поварихой ты пробовал?

Илья поморщился:

— Да это ж детсад!

— Как посмотреть... Она в Воронежской области призы по танцам брала! — вдохновенно соврал Филя, набивая Тосе цену.

— Да ну? — удивился Илья.

— Вот тебе и ну! Сам грамоту видел.— Филя подзадорил приятеля: — Только, сдается мне, не пойдет она с тобой танцевать...

Илья припомнил, как копошилась Тося у него под мышкой в день первого снегопада, и снисходительно усмехнулся, великодушно прощая Филе его неведенье.

— Такая норовистая! — восхищался Филя, чтобы натравить Илью на Тосю.— Заметил, ни с кем в поселке она не танцует: «Нету, говорит, у вас тут, настоящих танцоров! Мало, говорит, каши ели!»

Илья недоверчиво покрутил головой, но сонное выражение сбежало уже с его лица.

— Потом доиграем, товарищ начальник! — повеселевшим голосом сказал он коменданту, смешал на доске фигуры и поднялся.

Филя покосился на Тосю, все еще стоящую на прежнем месте и не подозревающую, какие тучи собираются над ее головой. А Илья прикурил у Фили погасшую папиросу, громко, на весь зал, окликнул Тосю:

— Эй, повариха! — и согнутым в крючок пальцем поманил ее, будто поймал на удочку и подтаскивал к себе.

Тося послушно качнулась к Илье и тут же отпрянула. Так вот оно что... Липовое у него благородство! Все дело в том, что она со своим неудачным ростом и неказистой внешностью просто не существовала для Ильи, была для него пустым местом. Он потому и Филе ничего не сказал, что сразу же и думать о ней позабыл. А она-то, дуреха, по доброте душевной приписала ему благородство, которого у него и отродясь никогда не было.

Илья недовольно глянул на замешкавшуюся Тосю и требовательно покрутил пальцем в воздухе, показывая недогадливой поварихе, что приглашает ее танцевать. А смотрел он, даже сейчас, приглашая, мимо Тоси, будто и не было ее в клубе. По всему видать, он ничуть не сомневался, что осчастливленная его вниманием Тося сразу же подбежит к нему покорной собачонкой. Тося задохнулась от обиды и почувствовала: если заговорит сейчас с подлым человеком, так непременно станет заикаться.

«Ну погоди, ирод! — мстительно подумала она.— Я тебе покажу, как живых людей не замечать. В рыбку вытянусь, а докажу!»

Девица с серьгами толкнула Тосю в бок:

— Иди, сам Илюха приглашает!

Тося отмахнулась от непрошеной советчицы, неумело согнула палец крючком, старательно нацелилась на Илью и поманила его к себе. Илья поправил на голове знаменитую свою пыжиковую шапку и не спеша двинулся через весь зал к Тосе.

— А ты смелая! — одобрительно сказал Илья, не принимая Тосино сопротивление всерьез и с благожелательным любопытством разглядывая занятную девчонку, которая не побоялась передразнить его.

Илья остановился шагах в пяти от Тоси и снова, настойчивей прежнего, поманил ее пальцем и покрутил на этот раз уже кулаком. И тогда Тося самолюбиво вскинула голову, с решимостью отчаяния шагнула навстречу Илье и тоже поманила его пальцем и покрутила кулаком. Илья со снисходительным удивлением посмотрел на Тосю, не в силах понять, зачем она противится ему: ведь все равно будет так, как он захочет.

— Да ты в своем уме?! — выпалила девица с серьгами, выслуживаясь перед Ильей.— Иди-иди, чего там! И не таких у нас обламывали...

Заподозрив неладное, отзывчивый Сашка порывался прийти Тосе на помощь, но Катя повисла у него на руке и не пускала. Все танцующие сбились в кучу и замерли на месте, наблюдая за молчаливым поединком. Как-то сам собой потух в зале шум, и стала слышна музыка. Лишь оглохшие от стука игроки в домино ничего не замечали вокруг и самозабвенно доламывали в своем углу крышку стола.

Илья вплотную подошел к Тосе и положил руку ей на плечо, собираясь силой заставить упрямую девчонку танцевать. Тося напружинилась, скинула его тяжелую руку и язвительно спросила?

— Т-ты всегда с папиросой т-танцуешь?

Замолкли в углу громобойные игроки в «козла», лишь беспечно гремела-заливалась на весь клуб радиола.

Неожиданно для всех Илья усмехнулся, покладисто притушил папиросу о подошву сапога, отшвырнул окурок и наклонился к Тосе. Она остановила его движеньем руки:

— С-скинь шубу, нечего тут пыль разводить.

Катя прыснула, чувствуя себя рядом с силачом Сашкой в полной безопасности, робко заулыбались и другие девчата. Парни угрюмо молчали — из мужской солидарности.

Теряя последнее свое терпенье, Илья снял пальто и кинул его Филе. И тут же, перевыполняя Тосины требованья, он швырнул вдогонку пыжиковую шапку, до самого верху поднял на лыжной куртке застежку «молнию», причесался пятерней и, уверенный, что теперь уж Тосе придраться не к чему, приглашающе протянул ей руку.

— Так вот! — торжественно объявила Тося, оглядывая сбежавшихся со всего зала лесорубов.— С такими...— она приподнялась на цыпочки и помахала пальцем-крючком перед носом Ильи,— я не танцую, понятно?

Катя снова одобрительно фыркнула, а вслед за ней засмеялись и другие девчата, радуясь, что Тося и за них отомстила. Парни тревожно переглянулись, опасаясь, как бы Илья не нанес урона всему мужскому племени. Филя, не ожидавший такого поворота событий, озадаченно крутил головой и машинально пощипывал заманчивый мех Илюхиной шапки. А тут еще девица с серьгами захохотала вдруг громче всех, наверстывая все упущенное за прошлые годы и сама себе не веря, что она такая смелая.

Не спуская с Тоси взгляда, словно хотел получше ее запомнить, Илья лениво выкинул руку в сторону девицы с серьгами, приглашая ее танцевать. Та разом испуганно притихла, с привычной покорностью шагнула было к Илье, но покосилась на Тосю-победительницу и вдруг неожиданно для всех бочком-бочком придвинулась к ней, глыбой нависла над маленькой Тосей, становясь под надежную ее защиту.

И тут уж все разом громко захохотали девчата, и парни присоединились к ним, отмежевываясь от незадачливого Ильи. Даже хулиганы из Филиной ватаги, боясь противопоставить себя всем и остаться в жалком одиночестве, криво заулыбались и захихикали, предавая Илью. Из всех закоулков в клубе спешили любопытные, привлеченные всеобщим весельем.

Илья свирепо глянул на Тосю. От недавней его снисходительной доброжелательности и следа не осталось.



— Ладно, сквитаемся! — пригрозил он и ринулся к выходу, раздвигая толпу руками.

Тося на правах кавалера схватила девицу с серьгами и закружилась с ней в танце. Та покорно топталась и все переводила ошарашенные глаза с невзрачной Тоси на широко шагающего Илью, бесславно покидающего поле боя.

— Молодец, Тоська! — похвалила Катя, начисто позабыв уже о том, что всего три минуты назад не пускала Сашку ей на подмогу.— Если б все так, а то больно дешево у нас девчата ценить себя стали... Правда, Сашок?

Сашка переступил с ноги на ногу, подумал-подумал и согласился:

— Угу...

Филя догнал Илью у двери, надел ему шапку на голову и накинул на плечи пальто.

— Глянь, и тебя подковала! — посочувствовал он дружку и подивился: — И откуда что берется?

— Да ну ее! — отмахнулся Илья.— Цену себе набивает!

— Может, и цену, а только попадаются такие ершистые девчонки... И красоты особой нету, а не подступишься. Вот у нас в колхозе был случай...

— Ершистые, пушистые! — перебил Илья, напяливая пальто.— Все они на один фасон: свистну — и побегут за мной!

— Что ж ты Тоське не свистел? — резонно спросил Филя.

— Связываться неохота...— буркнул Илья.— Пойдем выпьем, надоели мне эти танцы.

Они вышли из зала. Пропуская Илью в вестибюль, Филя покосился на его пыжиковую шапку, сказал с подначкой:

— А все-таки не обломать тебе воронежскую!

Илья резко повернулся к нему:

— А вот увидишь... Спорим!

Не смея верить своей удаче, Филя нерешительно поднял глаза на заманчивую шапку Ильи.

— Идет! — догадался Илья.— Мой пыжик против твоей кубанки!

— И на Камчатку ее приведешь?

— Сама прибежит! — заверил Илья.

Филя довольно ухмыльнулся и с напускным видом «где наша не пропадала» шлепнул Илью по руке.

В клуб вошла Анфиса.

— Разруби, Анфиска,— попросил Филя,— рука у тебя легкая!

Анфиса равнодушно пожала плечами и, ни о чем не спрашивая, разбила сцепленные руки приятелей.

— А срок? — спохватился вдруг Филя.

— Договоримся,— пообещал Илья.— Тянуть я не собираюсь.

Прежде чем уйти из клуба, Илья еще раз заглянул в зал, точно убедиться хотел, что все случившееся не приснилось ему. Тося стояла на обычном своем месте под его портретом, а вокруг толпились самые шикарные поселковые кавалеры, наперебой приглашая ее. И, счастливая и смущенная, Тося озиралась по сторонам, не зная, кого ей выбрать, чтобы никто не обиделся.

Илья презрительно усмехнулся и зашагал к выходу. Филя поспешил за ним. Вслед им весело гремела радиола:

На скамейке, где сидишь ты,
Нет свободных мест...

ИЛЬЯ НАЧИНАЕТ ШТУРМ. ТОСЮ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ.

Тося кулинарила в лесу под кое-как утепленным на зиму кухонным навесом. По привычке человека, работающего в одиночестве, она напевала тоненьким голоском, совсем не вдумываясь в слова песни:

Меж высоких хлебов затерялося
Небогатое наше село...

Она давно уже освоилась на новом месте, привыкла к тому, что все, кроме Фили, хвалят ее обеды, и даже как бы устала немного от кулинарных своих успехов. Двигалась Тося споро и неторопливо, в ней появилось что-то сродни мастерущему Ксану Ксанычу. И вместе с тем Тося все еще оставалась несерьезной девчонкой-малолеткой, и в работе ее нет-нет да и проскальзывало кое-что от девчоночьей игры в кулинарию, будто обед она готовила не для здоровенных, проголодавшихся на тяжелой работе лесорубов, а для кукол или котят.

Из лесу вышел Илья, положил на пенек свою чудо-пилу и по узкой тропке, протоптанной в глубоком снегу,

не спеша направился к кухне. Тося повернулась к нему спиной, на всякий случай перевесила поближе к себе самый тяжелый черпак и запела громче прежнего:

Горе горькое по свету шлялося
И на нас невзначай набрело!

Чтобы Тося не думала, что он так уж рвется к ней замаливать вчерашние своих грехи, Илья остановился у костра, не спеша прикурил от перламутровой, подернутой пеплом головешки, поглазел на стеклянное зимнее солнце и лишь потом подошел к Тосиной избушке.

— Плесни-ка газировки из ручья,— попросил он обычным своим чуть-чуть небрежным голосом, каким всегда разговаривал с девчатами.

Тося покосилась на ведро, подернутое льдом. Против воли она пожалела вздорного человека и, недовольная собой, буркнула, глядя Илье в плечо:

— У меня отварная есть...

— Не употребляю,— с сожаленьем сказал Илья.

Не упуская из виду спасительного черпака, Тося сняла с гвоздя кружку, ополоснула ее кипятком и стала вытирать самым чистым на кухне полотенцем, чтобы Илья видел: личные их отношения — это одно, а сейчас она находится на работе и по долгу службы обязана прежде всего заботиться о гигиене. Илья с интересом наблюдал, как Тося готовит для него посудину. А Тося испугалась вдруг, что он может неверно истолковать ее старание, и пояснила:

— Чтоб микроба не заглотил...

Илья презрительно махнул рукой:

— Такой мелочи я не боюсь!

Тося прикинула, нет ли здесь скрытого намека на ее неудачный рост,— но попробуй разберись, когда имеешь дело с таким человеком, как Илья. Дном кружки она проломила ледок в ведре, зачерпнула густой студеной воды. Держа кружку на весу, Илья спросил с неумелой заботой:

— Ну как, не тяжело тебе у нас? — и на полшага придвинулся к Тосе.

Заподозрив неладное, Тося схватилась за черпак и сразу же почувствовала себя в безопасности, как испытанный рубака-кавалерист, дотянувшийся до своей боевой шашки.

Илья заметил Тосину мобилизацию и пошел напролом:

— А здорово мы тебя вчера разыграли!

— Как разыграли?! — опешила Тося, и черпак в ее руке сам собой опустился...

— Ну да! А ты думала, я всерьез приглашал тебя таким макаром? — Илья по-вчерашнему согнул палец крючком.

Тося растерянно заморгала: снова все рушилось, и ничего нельзя было понять. И что он за человек?.. Она с невольным страхом посмотрела на Илью, не вынесла взгляда его правдивых и безмятежных глаз и первая отвернулась, решительно не зная, как же теперь быть. Ей и поверить Илье хотелось, и полной веры все-таки не было. А с другой стороны, зачем ему обманывать и притворяться? Или замазать хочет вчерашнюю свою грубость? И опять же: зачем ему замазывать, если она для него — пустое место?.. Вот человек: сам запутался и других путает!

Тяжелый черпак оттягивал руку и мешал сосредоточиться. Тося повесила на гвоздь бесполезное оружие и мельком увидела, что работяга мороз снова начал плести в ведре паутину.

— Зачем же ты?..

Она согнула палец крючком, напоминая о вчерашнем.

— А у нас такой порядок,— сказал Илья самым честным своим голосом.— Всех новеньких испытываем: кто чего стоит, понимаешь? Вчера вот твоя очередь подошла... Припозднились мы с тобой, ты уж нас извини...

Она же еще должна и прощать!

— Ну и сколько же я стою? — с проснувшимся вдруг любопытством спросила Тося.

— Подороже других будешь! — заверил Илья и хотел было клятвенно приложить правую руку к сердцу, но кружка с водой помешала ему.— Из девчат мало кто испытание выдерживает, а ты вот выдержала!

Тося против воли польщенно улыбнулась, но тут же посерьезнела, погрозила Илье все еще согнутым пальцем и не в ладу со смыслом своих слов сказала подобревшим голосом:

— Так я тебе и поверила!

— Дело хозяйское...— тоном непонятого и незаслу-

женно обиженного человека проговорил Илья и поднес кружку ко рту.

— Ты еще скажешь, и Фильке обеды мои нравятся?

— Еще как нравятся: на два кило потолстел!

— А что ж он болтал: «Бывают хуже щи, да редко»?

Илья одобрительно усмехнулся:

— Запомнила?

— Я критику всегда запоминаю, даже глупую,— с достоинством сказала Тося.

— Так все сознательные люди делают...— припомнил Илья.— Слышь, Тось, ты все старое из головы — фью! — Он широко взмахнул свободной рукой, показывая Тосе, как должна она выбросить из головы все прежние свои обиды.— Раз ты такая боевая, значит, теперь у нас все по-новому пойдет. Если кто тебя обидит, ты только шепни мне, я ему сразу мозги вправлю! Договорились?

Тося призадумалась, не пожаловаться ли ей сейчас же на Филю, но природная ее нелюбовь к ябедничеству тяжким грузом повисла на языке и не давала ей слова сказать. Она и не заметила, как машинально кивнула головой в ответ на последний вопрос Ильи.

Тот облегченно вздохнул и, не давая Тосе опомниться, крепко стиснул острый ее локоток, закрепляя первую свою победу. Потом Илья мужественно осушил до дна кружку студеной воды, перевел дух и захрустел на закуску льдинкой. Тося стояла, бессильно уронив руки, и ей самой казалось, что ее здесь нету.

— Хороша газировка! — похвалил Илья напоследок, дружески подмигнул оглушенной Тосе, прося не забывать их уговора, и зашагал на делянку с видом человека, выполнившего свой долг и довольного собой и жизнью.

Тося смотрела ему в спину — пока лес не поглотил его. Только тогда она очнулась и первым делом, по женской своей природе, кинулась к ведру, разогнала морозную паутину, глянула в воду, как в зеркало, и убрала под шапку-ушанку выбившуюся прядь волос.

И тут к навесу подкралась вездесущая Катя.

— Ты не очень-то!..— предупредила она прихорашивающуюся подружку.— На твоем месте я Илюху за семь верст обходила бы!

— А что? — забеспокоилась Тося.

— В глаз заскочит — не вытащишь. С Анфисой он крутит почем зря и вообще... порхает!

— Чего-чего? — не поняла малолетка Тося и заинтересованно придвинулась к старшей подруге.

— Бабник, вот чего!

— Ба-абник? — удивилась Тося.— А так вроде незаметно...

— Заметно станет — тогда уж поздно будет!.. В кино еще не приглашал?

Тося замотала головой.

— Ну так жди, тактика у него известная... Дура будешь, если поддашься!

— Сама ты дура! — выпалила Тося, злясь на Катю за непрошеное ее вмешательство. У нее еще ныл локоть, сдавленный железными пальцами Ильи, а приходилось снова все переоценивать. Вот чехарда...— Ходят тут всякие!

— Ты слушай, что тебе старшие говорят! — рассердилась Катя.

...Илья уговорил Сашку и еще двух парней помочь Тосе, и к обеду они заявились на кухню с большущими охапками сухих смолистых дров. Девчата за столом осуждающе зашушукались: в поселке не принято было помогать поварам — даже таким мастерущим, как Тося. Парни подошли к печке и по сигналу Ильи свалили дрова, закрыв ими Тосю до самого подбородка.

— Сколько много-о!..— по-детски восторженно протянула Тося.— Вот спасибо, ребятки!

— Пустяки! — небрежно сказал Илья.

Тося припомнила вдруг, как осенью, когда она только что приехала в поселок и всего тут боялась, Илья первый оценил по достоинству ее кулинарию, а потом уж и другие лесорубы спохватились и стали ее нахваливать. Старая, поразвеянная временем признательность снова ужом вползла в Тосино сердце.

Скорая на расправу, Тося плеснула Кате жидких щей: пусть не наговаривает на достойного человека. А Сашку и других добровольных помощников она не обидела.

Последним к ней подошел Илья. Тося долго и старательно мешала черпаком в котле, боясь взглянуть на Илью, чтобы снова в нем не разочароваться. Илья терпеливо и покорно стоял возле печки с пустой миской в руке. За столом засмеялись девчата. Тося рывком

вскинула голову, с опасливым любопытством заглянула в веселые и ясные глаза Ильи.

— Между прочим, кино сегодня в клубе...— вкрадчиво сказал он.

Тося бухнула черпак в его миску и, вся подобравшись, готовая осрамить Илью со всей его испытанной тактикой бабника, настороженно спросила:

— Ну и что?

Илья внимательно посмотрел на Тосю, так крепко вцепившуюся в рукоятку черпака, что даже ногти у нее побелели. Он и сам не мог бы толком объяснить, откуда пришло к нему смутное ощущение опасности, угрожающей ему сейчас. Было такое чувство, будто по хлипкой жердочке он перебирается через поток, бушующий глубоко внизу: один неверный шаг — и поминай как звали... Илья раздумал вдруг приглашать Тосю в кино.

— А ничего... Говорят, цветная картина будет,— уклончиво ответил он и отошел от котла.

Тося хлопотала на кухне, украдкой наблюдая за непонятным Ильей. Лесорубы привычно потеснились за столом — и он сел. Вид у него, как у всякого обедающего человека, был мирный и вполне благонадежный. Илья придвинул к себе плетенку с хлебом, но горбушки уже не отыскал. «Расхватали, пока он дрова для меня колол...» — покаянно подумала Тося и прислонилась к свежей поленнице. Она как-то разом вдруг устала от всей этой путаницы и неразберихи.

А Илья с аппетитом хлебал хваленые Тосины щи, ничем решительно не выдавая, что он — презренный бабник и опасный для Тоси человек. Вот он доверительно склонился к уху Ксан Ксаныча и сказал — не тихо, не громко, как раз, чтобы Тося услышала:

— Отродясь я таких щей не едал!

— Наша Тося — всем поварам повар,— охотно согласился добрый Ксан Ксаныч.

— Да-а!..— ехидно протянул Филя, зачем-то снял с головы кубанку и помахал перед лицом.

В его кривлянии Тосе почудился какой-то обидный намек, но у нее не было уже ни сил, ни желания разбираться во всем этом. Совсем сбитая с толку, она жалобно шмыгнула носом, громыхнула черпаком в котле и промямлила:

— Добавки кому? Навались...

ТЕНИ НА ПОЛУ

Поздним вечером Анфиса дежурила на коммутаторе. Коротая время, она, позевывая, просматривала старую газету — последнюю страницу, где печатают объявления о разводе. По-ночному громко и раскатисто зазвонил телефон. Анфиса нехотя взяла трубку.

— Слушаю,— сказала она сухим, служебным голосом.— Успеется, весь лес все равно не вырубите.— Зажав трубку между щекой и плечом, Анфиса раскрыла тетрадь для телефонограмм, привычно огрызнулась: — От лодыря слышу... Ну что там у вас стряслось?

Она записала телефонограмму, достала из ящика стола продолговатый осколок зеркала, очертанием смахивающий на Африку. Когда Анфиса два года назад пришла работать на коммутатор, осколок этот был уже здесь, и никто не помнил, откуда он взялся. Осколок прижился на коммутаторе чуть ли не с довоенного времени и с тех пор верой и правдой служил всем телефонисткам. Иногда от нечего делать Анфиса гадала: кто принес это зеркальце на коммутатор? Ей почему-то казалось, что первая хозяйка осколка была чем-то похожа на нее — может быть, нескладной своей судьбой. Интересно, где она сейчас, что поделывает...

Анфиса взбила прическу, потуже натянула свитер на груди. Взялась было снова за газету и тут же ее отшвырнула. Ей давно уже все это надоело: и работа на коммутаторе, и объявления о чужом позоре в газете, и частое разглядыванье себя в зеркале, и даже собственная, всеми признаваемая красота.

Воровато скрипнула дверь, и на пороге показался Илья — в праздничном своем кожаном пальто, пыжиковой шапке, с толстой папиросой в зубах.

— Явился, ненаглядный? — с усмешкой спросила Анфиса.— А я уж думала, совсем ты меня... разлюбил!

С таким видом, будто он пришел на работу, Илья молча снял кожанку, привычно повесил ее на гвоздь у двери, вынул из кармана коробку пастилы и положил на стол перед Анфисой. Она лениво потянулась и задернула на окне куцую занавеску. Не теряя даром времени, Илья шагнул к Анфисе. Одной рукой он обнял ее, а другую, с дымящейся папиросой, держал на отлете.

Свет от яркой, по-конторски неуютной лампочки отбросил их тени на пол. Илья не впервой приходил на

коммутатор к Анфисе, но только сегодня заметил, какие здесь резкие черные тени.

Дверь распахнулась под сильным ударом, и в комнату вошла Надя. Илья запоздало отшатнулся от Анфисы.

— Закрываться надо,— хмуро сказала Надя.

— А мы не прячемся! — с вызовом отозвалась Анфиса.

— Ты хоть передо мной-то не козыряй!

Надя выдвинула нижний ящик стола, взяла оттуда забытые ею носки, которые вязала она для Ксан Ксаныча на дежурстве, и вышла из комнаты, ни разу не взглянув на Илью, будто его здесь и не было.

— Не бойся,— сказала Анфиса.— Она никому не скажет: не человек, а могила!

— Мне-то что? К мужику сплетня не липнет. Это вашей сестре опасаться надо!

— Вообще-то это правда,— согласилась Анфиса.— И тут вы нас обставили... Ну да ничего: на мне столько всего налипло — полтонны больше, полтонны меньше, теперь уж все равно!

Илья отодвинулся от Анфисы, спросил с застарелой досадой:

— И зачем ты на себя напраслину возводишь?

— А это я себе назло,— с вызовом ответила Анфиса.— Чтоб веселей жить было!

— Какое уж тут веселье?.. Вот и целуешь ты меня, а сама вся равнодушная, вроде номер какой отбываешь. Будто опротивело тебе все до чертиков.

— Ах, ах, какие мы стали требовательные! — попробовала отшутиться Анфиса.

— На людях весело с тобой, это точно. Все глазеют, завидуют... А останемся наедине — и все больше в молчанку играем. Почему так?

— Не знаю,— угрюмо ответила Анфиса.— И чего ты на ночь глядя в философию ударился?

Зазвонил телефон, приходя на выручку Анфисе. Она проворно взяла трубку, кивнула Илье на тетрадь для телефонограмм. С привычной сноровкой человека, понаторевшего в этом деле, Илья раскрыл тетрадь в нужном месте, обмакнул ручку в чернильницу и подал Анфисе.

Она застрочила в несвежей своей тетради, а Илья стоял рядом и через ее плечо читал телефонограмму. Со стороны смотреть — он был похож сейчас на придирчивого диспетчера, контролирующего работу подчиненной

ему телефонистки. Илья с ненавистью покосился на телефон и отошел от стола.

Он шагал по комнате и от нечего делать следил за своей тенью. То вытягиваясь, то сплющиваясь, черная тень металась по полу, карабкалась на стену, застывала в причудливом изломе в углу печи. Как и полагается всякой тени, тень Ильи старательно повторяла все его движения, но у нее движения эти выглядели уродливыми и нелепыми. Казалось, тень жила своей отдельной, самостоятельной жизнью и лишь из озорства прикидывалась похожей на Илью, чтобы легче было его передразнивать.

Когда Анфиса повесила трубку, Илья признался:

— Знаешь, я сперва, как с тобой познакомился, думал: на такой, в случае чего, и жениться можно. А теперь...

— На таких, как я, Илюша, не женятся,— твердо, как о давно решенном деле, сказала Анфиса.— Время провести — еще куда ни шло, а для женитьбы другие есть, морально устойчивые... Давай, Илюша, кончать этот вечер вопросов и ответов! И чего ты ко мне в душу лезешь? Ведь я же тебя не спрашиваю...

Телефонный звонок не дал ей договорить.

— Вот черт, всегда он не вовремя! — подосадовал Илья и сердито схватил трубку.— Какой там еще инженер Дементьев? Вас только и не хватало! — Он повернулся к Анфисе: — Слушай, чего ему надо?

— А ты спроси,— посмеиваясь, посоветовала Анфиса.

— Товарищ инженер Дементьев, спали бы и другим не мешали, время позднее... Да не кричи ты, пугливые у нас на лесопункте давно повывелись!.. Шумит чего-то,— сказал он Анфисе, передавая ей трубку.

Анфиса послушала, равнодушно переспросила:

— Задерживаетесь в тресте? Ну и задерживайтесь себе на здоровье... От бездельника слышу! — Она повесила трубку, повернулась к Илье: — Ой, знаешь, это кто? Новый наш технорук, скоро заявится.

— Зря мы с ним этак,— пожалел Илья.— Как бы у тебя неприятностей не было.

— Выкручусь как-нибудь...— беззаботно ответила Анфиса и вдруг, припомнив что-то, насмешливо посмотрела на Илью.— Ты что, всерьез под нашу Тоську клинья подбиваешь? Вот уж никак не ожидала: ты — и вдруг Тоська. Ну и парочка!

Илья досадливо отмахнулся. И тень его на стене тоже махнула рукой, передразнивая Илью.

— Поспорили мы с Филей,— неохотно сказал он.— Сама же разбивала.

— Ах вот оно что! — припомнила Анфиса.— Только, сдается мне, она и без спора льнет к тебе. И на кого нацелилась!

— Что ж, тем лучше,— пробормотал Илья и отвернулся.

Анфиса с любопытством посмотрела на него:

— А она-то, дура, небось надеется!.. Знаешь, раздражает меня Тоська. Как-то наперекор мне она живет: я — так, а она — этак...

Анфиса показала на противоборствующих руках, как по-разному живут они с Тосей.

— И чего вы с Филькой на нее ополчились? — осудил Илья.— Больно всерьез вы ее принимаете: девчонка как девчонка, вот только язык у ней неплохо подвешен, в самый раз поболтать от скуки. А насчет такого-сякого — зеленая она еще... как елка!

— Добрый ты к ней,— подивилась Анфиса.— Зачем тогда спорить было?

— Так получилось, я и сам не рад...

— Да тебе вроде стыдно? — спросила Анфиса таким тоном, будто поймала Илью на чем-то нехорошем.

— Была бы она хоть немного повзрослей...

Анфиса посочувствовала:

— На молодую напоролся!

— Года у нее кой-какие есть,— встал Илья на Тосину защиту.— Она даже и не глупая, а только разум у нее какой-то пионерский, в пятом классе застрял...

— Какие тонкости! — фыркнула Анфиса.

— Да ты, никак, ревнуешь?

— И рада бы, да не умею... Просто не ожидала, что ты меня на такую променяешь.

— Да не менял я! Это ж слепым надо быть, чтобы променять тебя на такого недомерка.

— Вот это точно,— согласилась Анфиса.— А уж воображает о себе! Проучи ты ее хорошенько.

Илья пересел к ней поближе, похвастался:

— Ключик я к ней подобрал безотказный: хвалю ее стряпню — она и лапки кверху. Даже смешно, до чего же ей мало надо! Завтра сделаю контрольную проверку — да и кончать пора... Ох и взовьется она, когда про

спор узнает! — Илья покачал головой и утешил себя: — Ну да ничего, сама виновата: не надо было в клубе фигурять. Вперед умней будет!

— Все-таки сволочи мы...— подумала вслух Анфиса.

— Скучно живем,— оправдался Илья.— Раньше я думал: главное — хорошо работать, а все остальное приложится. Черта лысого! Вот и портреты с меня малюют, а что толку?.. Вроде не весь я занятой, понимаешь?

— Каково мне это слышать? — деланно закручинилась Анфиса и посоветовала Илье: — А ты запишись в струнный оркестр, чем не занятие? Помирать — так с музыкой!

— Я с тобой серьезно...

— Позже десяти вечера, Илюша, я серьезно не разговариваю,— наставительно сказала Анфиса.— Валяй лучше с Тоськой в клуб на лекцию про любовь и дружбу!

— Вижу, ревнуешь?

Анфиса пожала плечами:

— Думай так, если тебе нравится.

Зазвонил телефон.

— Даю шпалорезку,— сказала Анфиса в трубку и кивнула Илье на доску коммутатора.

Илья быстро и умело переставил на доске шнуры.

— Освоил! — похвалила Анфиса.

Они взглянули друг на друга и расхохотались.

— Вот такая ты мне больше по душе! — одобрил Илья, радуясь, что перепалка их кончилась.

Он придвинулся к Анфисе — и вдруг замялся, не зная, можно ли вот так сразу обнимать ее после всех своих признаний. На миг возникло и тут же сгинуло нелепое чувство, будто Тося-малолетка видит их сейчас. Илья подивился игре своей фантазии и привлек Анфису к себе.

— Да ну тебя!

Анфиса притворно нахмурилась.

— Красивей тебя у меня еще не было,— признался Илья.

— Ох и комплиментщик ты! И ко мне ключик подобрал? — насмешливо спросила Анфиса, но глаза у нее подобрели.

Илья распечатал коробку пастилы.

— Угощайся, твоя любимая — бело-розовая.

И снова затрезвонил телефон. Анфиса держала трубку близко от уха Ильи, и тот услышал, как простуженный бас в трубке спросил:

— Как у вас с планом?

— Перевыполняем! — игриво ответила Анфиса, запуская руку в коробку с пастилой и прижимаясь к Илье плечом.

— Ну его к лешему! — разозлился Илья.— Нашел время о плане спрашивать.

Он водворил трубку на место, отшвырнул окурок к печке и решительно обнял Анфису. Илья позабыл уже о тенях, а они продолжали жить своей отраженной, передразнивающей людей жизнью. Тень Ильи обняла на полу тень Анфисы. Головы теней сблизились в поцелуе, и губы их встретились там, где на жестяном листе у печки валялся скрюченный окурок.

КОНТРОЛЬНАЯ ПРОВЕРКА

Тося бойко орудовала черпаком, наполняя миски лесорубов. Украдкой она поглядывала по сторонам, удивляясь, куда это запропастился Илья. Его не было видно ни в очереди, ни за столом среди обедающих. Вот и последний лесоруб отошел от котла. Тося с беспокойством осмотрелась вокруг.

— А где же... это самое, наш передовик? — спросила она у мастера Чуркина.

Чуркин махнул рукой в сторону делянки:

— Звали — не пошел. Деньгу твой передовик зашибает. Они, передовики, насчет денег лютые!

Тося прислушалась и за ближним звяканьем ложек различила далекий грохот сваленного дерева. Она живо налила щей в армейский котелок, прижившийся на кухне, в крышку от котелка горкой наложила каши, завернула самую поджаристую горбушку хлеба в чистое полотенце и, придав лицу строгое и независимое выражение человека, выполняющего свой долг, храбро двинулась в лесную чащобу. Головы всех обедающих девчат враз будто ветром повернуло вслед Тосе. Осуждающий шепоток прошелестел над столом... Вот люди, делать им нечего!

На трелевочном волоке Тосю переняла быстроногая Катя.

— Ты куда это правишься? — прокурорским голосом вопросила она, глядя на котелок, из которого валил пар.

— Да так... Не все пообедали...— Тося качнула котелком в сторону делянки.— Срочная работа...

— Срочная! — передразнила Катя и погрозила Тосе кулаком.— Чует мое сердце, ты и на Камчатку срочно побежишь!

— Ну и что? — захорохорилась Тося, перекладывая котелок из одной руки в другую.— Кажется, совершеннолетняя.

Катя осуждающе покачала головой и сказала убежденно — на правах человека, который никогда не делал ошибок в своей жизни:

— На Камчатке можно только с одним человеком сидеть. С одним, понятно? — Для наглядности Катя показала Тосе оттопыренный палец.— Семь раз отмерь, а потом иди. Вот как я с Сашей, бери с нас пример!

Катя нежно посмотрела на палец, олицетворяющий сейчас разлюбезного ее Сашку, заметила пятнышко, звучно плюнула и старательно вытерла о ватник.

— А будешь...— Катя презирающе оттопырила второй палец, обвязанный тряпочкой, а вслед за ним веером распустила всю пятерню.— Получится, как у Анфисы. Ты этого добиваешься?

Тося испуганно замотала головой. Кате понравилось, как покорно слушает Тося ее наставления, она смилостивилась над ней и подтолкнула к делянке:

— Одна нога там — другая здесь. Держись за меня, не пропадешь!

Тося благодарно закивала головой и припустила по волоку, развороченному тяжелыми тракторными возами.

На опустевшей делянке одинокий Илья переходил от дерева к дереву и валил их чудо-пилой.

— Чего ж ты обедать не идешь? — строго спросила Тося, держа котелок за спиной.

— Некогда! — буркнул Илья, уголком глаза наблюдая за Тосей. «Прибежала!» — Конец года, а план тю-тю!

— Вот оно что-о!..— почтительно протянула Тося.— Ну, знаешь, хоть ты и передовик и портрет твой в клубе висит, а так тоже нельзя: план планом, а поесть надо.

Тося засуетилась, раскинула на пенечке свою скатерть-самобранку и расставила принесенную снедь.

— Иди сюда! — позвала она Илью тоном радушной хозяйки, осмотрелась вокруг и пожалела: — Вот только сесть негде.

С недовольным видом человека, которого оторвали от

работы, Илья взглянул на пенек, сервированный Тосей. Глаза его прикованно застыли на парующем котелке.

— Что там у тебя? — придирчиво спросил он.

— Щи.

— Все щи да щи...— проворчал Илья, не желая так быстро сдаваться. Он с усилием оторвал глаза от вкусного котелка, сглотнул набежавшую слюну и неожиданно для себя самого поинтересовался: — С мясом?

— Угу... Иди поешь горяченького, не убежит твой план! — настойчиво звала Тося.— И ребята тоже хороши: сами обедают, а тебя в лесу бросили!

И такая взрослая, чуть ли не материнская забота о знатном передовике прозвучала в Тосином голосе, что Илья, позабыв о пиле, во все глаза уставился на Тосю. Пильная цепь вхолостую рассекала воздух.

Илья смущенно крякнул, отгоняя неведомые ему чары, примерился, свалил тоненькую березку впритирку к Тосиному пеньку и уселся на пружинящий ствол, как на скамейку.

— Ловко ты! — похвалила Тося.

— Долго ли умеючи,— небрежно отозвался Илья, запуская ложку в котелок.

— Ну, я пошла...— сказала Тося, не двигаясь с места. Она боязливо дотронулась пальцем до чудо-пилы и взмолилась: — Дай я попробую? Всего одно деревце? Не будь жадиной-говядиной!

Илья включил для Тоси пилу. С напряженным лицом охотника-новичка, выслеживающего дичь, Тося направилась было к ближней березке, но в последний миг пожалела ее и свернула к сосенке. Она прислонила пилу к коре — ж-жик, и деревце полетело в снег. Тося счастливо засмеялась и посмотрела на Илью, приглашая разделить ее радость.

— Ну как? — лениво спросил Илья, снисходя к зеленому Тосиному малолетству.

— Щекотно! — призналась Тося, держа гудящую пилу на вытянутых руках и дрожа вместе с ней всем телом.

Она свалила еще два тонких деревца и, войдя в лесопильный азарт, стала уже подкрадываться к вековой сосне, но тут Илья подошел к ней и выключил пилу.

— Еще покалечишься, отвечай потом за тебя...

— Веселая пилка! — похвалила Тося, бережно пристраивая пилу на пеньке и не замечая, что начинает уже говорить Илюхиными словами.

Тосе до слез вдруг понравилось, что Илья так заботится о ней. Прямо как старший брат, о котором мечтала она... Тося припомнила вдруг название пилы.

— «Дружба»! — уважительным голосом сказала она, взглянула на Илью и погладила крышку редуктора.— Ну, я побежала.

Тося качнулась всем телом, но с места не сдвинулась, будто ноги ее приросли к земле. Она забыто стояла возле пилы «Дружба» и смотрела на обедающего Илью. Вот он поднес ложку ко рту и покосился в ее сторону. На миг глаза их встретились. Тося сорвалась с места и припустила во всю прыть, боясь, что Илья разгадает все ее тайны и станет над ней смеяться.

— Долго ли умеючи...— пробормотал Илья, провожая глазами юркую фигурку Тоси, мелькающую между деревьями.

Ему вдруг скучно стало, как прозорливому игроку, убедившемуся, что противник его много слабей, чем он спервоначала думал. Илья знал, что доведет свою игру до конца, но интерес его к Тосе уже улетучился. И она оказалась на поверку такой же, как все другие девчата, которые встречались ему в жизни, разве что гонору чуть-чуть побольше.

«Все они на один фасон,— привычно обобщил Илья.— Только имена да волосы разные!»

Из-за бурелома вынырнул Филя, ковыряя щепочкой в зубах.

— Балует тебя ухажерка! — позавидовал он, кивая на котелок.— С доставкой на дом!

— Маленькая, а понимает...— согласился Илья, уплетая кашу.

Филя выпытывающе посмотрел на Илью:

— Ну как, поддается?

— Клюет помаленьку. Мне бы ее только поцеловать. Есть такие девчата: до первого поцелуя очень уж ерепенятся!

— Давай, давай...— уныло сказал Филя.— Учти только...— Он заголил левый рукав ватника и ткнул зубочисткой в часы.— Стрелки двигаются!

Илья бросил ложку в пустой котелок, небрежно предложил дружку:

— Загляни сегодня на Камчатку.

От неожиданности Филя даже к земле пригнулся, будто на плечо ему кинули мешок-пятерик.

— Неужто придет? — встревожился он.— На Камчатку?!

— Попробую привести,— скромно сказал Илья.— Из моих рук редко кто вырывался...

— Ну и женщины теперь пошли! — искренне возмутился Филя.

Он отбросил зубочистку и нахлобучил кубанку на уши.

Илья усмехнулся:

— Что, закачалась кубаночка?

ТОСИНО СЕРДЦЕ

Поздним вечером Тося возвращалась с занятий в школе, беспечно размахивая куцым своим портфеликом. В недвижном воздухе крупными мохнатыми хлопьями падал снег.

Нынешняя зима была богата снегом. Сугробы уже достигли окон, и все дома в поселке выглядели так, будто присели. А люди рядом с этими укороченными, вросшими в сугробы домами вроде подросли, и даже Тося-невеличка запросто теперь дотягивалась рукой до любой застрехи.

Из темного переулка навстречу Тосе шагнул поджидающий ее Илья.

— Можно с тобой пройтись?

Тося отодвинулась, освобождая рядом с собой место.

— Улица не купленная...

Вдогонку им пронзительно свистнул Филя, бредущий по улице в окружении непутевой своей ватаги.

— Так мы ждем! — напомнил Филя и махнул рукой в сторону Камчатки.

Илья покосился на ничего не подозревающую Тосю.

— Неприятный тип,— сказала она.

— Да, конечно! — поспешно согласился Илья, для пользы дела покривив душой.— А с другой стороны, не всем же быть хорошими. Тогда совсем уж скучно стало бы на свете жить...

Тося хмыкнула, удивляясь такой постановке вопроса, но тут же великодушно решила, что кое-какой резон в словах Ильи есть, и милостиво наклонила голову, соглашаясь с ним.

Они молча шли по тихой пустынной улице, то появляясь в конусах света у редких фонарей, куда охотно сле-

тались снежинки, то пропадая во тьме, где, казалось, и снег не падал. В промежутке между ними мог бы поместиться еще один человек — и даже довольно солидной комплекции. Когда Илья пытался приблизиться к Тосе, чтобы ликвидировать этот позорный для его мужского самолюбия зазор, она сразу же шарахалась от него, восстанавливая спасительную дистанцию. Тайком от Ильи она изо всех сил тянулась кверху и даже на цыпочки приподнималась, чтобы казаться выше ростом. А смотрела Тося прямо перед собой, точно и не подозревала, что рядом с ней шагает Илья.

Это была ее первая *взрослая* прогулка в жизни, и сейчас Тосей на равных правах владели и радость и страх. В последнее время она заметила, что Илья переменился к ней, но все еще терялась в догадках, не зная, как это понять. Вступая в новую, неизведанную и заманчивую полосу жизни, Тося больше всего боялась натворить по неопытности непоправимых ошибок и уронить девичье свое достоинство.

На перекрестке Илья свернул было влево, а Тося махнула портфелем вправо и сказала:

— Так короче.

— А так длинней! — отозвался Илья, отобрал у Тоси портфель и махнул им влево.

Тося подумала-подумала и, решив, что длинный путь иногда бывает лучше короткого, пошла за Ильей. Без портфеля она совсем не знала, что ей теперь делать со своими руками, и скованно размахивала обеими сразу то вперед, то назад, будто они были скреплены между собой и порознь не работали. Изо всех сил Тося старалась сдерживать шаг и идти медленно и степенно, как полагается ходить солидным девчатам, которых провожают кавалеры. Но Тося все время забывала, что она уже взрослая, и по-девчоночьи вырывалась вперед, опережая Илью. Никогда прежде она не думала, что вышагивать по-взрослому так трудно. А как же еще под ручку ходят? Вот где мука!

Илья попридержал ее за локоток:

— Да не беги ты как на пожар! Ты что, никогда в жизни не гуляла?

— Не умею я медленно ходить,— призналась Тося.— Ноги у меня, что ли, такие...

Они вышли на главную улицу поселка и столкнулись с Катей и Сашкой. Судя по толстым подушкам снега на

их плечах; те гуляли уже давно. Тося смутилась и промямлила:

— Погодка такая — грех дома сидеть...

— Грех! — подтвердил Илья.

— Эх, голуби! — молвил Сашка.

Он достал из кармана папиросы, а Илья спички. Пока кавалеры закуривали, Катя преданно смотрела на Сашку, а Тося, подражая ей, на Илью. Потом девчата глянули друг на дружку, и Катя ехидно кашлянула, радуясь, что поймала Тосю на месте преступления. Тося виновато опустила глаза. Она тут же с вызовом вскинула голову, но было уже поздно: Катя опять любовалась своим кавалером, будто на всем белом свете не было парня краше неуклюжего Сашки. Тосе даже смешно стало: до чего же влюбленные девчата слепые!

И тут она заприметила своими зоркими глазами, что на правом Катином плече снега — кот наплакал. «Левой рукой Сашка обнимает, чтоб ненароком не придушить Катерину!» — догадалась вдруг Тося с тем проникновением в запретные взрослые тайны, которое неизвестно откуда привалило к ней в последние дни. И Тосе захотелось, чтоб ее полюбил такой же чуткий, как Сашка, человек, но, если можно, не такой косолапый.

Пары разошлись. Сашка с Катей нырнули в благодатную темень переулка, а Тося с Ильей не спеша двинулись по главной улице к общежитию.

Илья откашлялся, сказал проникновенно:

— Когда я тебя впервые увидел...— и как бы невзначай положил руку на Тосино плечо.

Тося отпрыгнула от него как ужаленная.

— Здравствуйте! Ты чего это? — ужаснулась она.

— Привычка у меня такая...— пробормотал Илья, осуждающе глянул на свою провинившуюся руку, будто она одна была во всем виновата, и сунул ее в карман, чтобы ей больше не вздумалось самовольничать.

— Надо отвыкать,— посоветовала Тося.

— Постараюсь! — пообещал Илья, снова откашлялся и вернулся к прерванной лжеисповеди: — Так вот, когда я тебя впервые увидел...

...А на Камчатке в это время Филя проводил последнюю репетицию со своей ватагой. Он решил досыта поиздеваться над Тосей, раз уж из-за нее приходилось терять кубанку.

— Ты будешь Ильей, а я Тоськой,— сказал Филя вы-

соченному парню, своему любимцу, прозванному в поселке «Длинномером».— А вы все — кыш!

Ватага сгинула за сугробами и поленницами дров. Филя усадил Длинномера на завалинку, вспрыгнул к нему на колени и, кривляясь, стал изображать влюбленную Тосю. Потом он вскочил, по-разбойничьи свистнул — и вся ватага разом поднялась из-за укрытий и захохотала дикими голосами, заулюлюкала. Каждый шумел за двоих, но всех перекрыл Длинномер, бухающий кулаком в какую-то звонкую железяку. Филя по-командирски вздел руку — и все затихли.

— Так держать,— удовлетворенно сказал Филя.— Только жизни побольше!

Длинномер, согнувшись в три погибели, выглянул на улицу и объявил густым шепотом:

— Идут!

Филя взмахнул рукой, и ватага попряталась. Прихватив свою железяку, Длинномер тоже нырнул за дальний сугроб. Филя на цыпочках подкрался к углу общежития и выглянул.

— До свиданьица, Илюшка,— сказала Тося, останавливаясь у крыльца.

— А может, еще погуляем?

— Хорошего понемножку,— ответила Тося непреклонным тоном человека, знающего себе цену, и протянула руку за портфелем.

Илья отступил на шаг и даже руку с портфелем за спину спрятал, словно боялся, что Тося силой отнимет у него свой портфель. Тося торжествующе усмехнулась и ловко пристукнула носками валенок, стряхивая налипший снег. Взгляд Ильи прикованно застыл на ее валенках-невеличках.

— Какие же ты тогда туфли носишь?

— Тридцать третий размер...— виновато ответила Тося.

— Вот детсад! — удивился Илья.— Не хочешь гулять, давай посидим на завалинке.

Он небрежно кивнул в сторону глухой стены общежития, выходящей на пустырь. Филя, подсматривающий за ними, резко отдернул голову.

— На Камчатку?! — ахнула Тося.— Ох и жук ты, Илюшка!

— Никакой я не жук! Ты когда храбрая, а тут боишься.

— Я, Илюшка, только медведей боюсь,— призналась Тося,— да и то жареных! Будешь сидеть со мной, а думать про... другую, нужно мне! Ведь ты со мной только прикидываешься... Скажешь, нет?

На миг Илья смутился, решив, что Тося откуда-то разузнала о его споре с Филей. Но тут же каким-то охотничьим чутьем, которое всегда выручало его, когда он обхаживал девчат, Илья понял, что бояться ему нечего. Просто на эту ершистую и не очень-то красивую девчонку еще никто из мужского племени не обращал внимания, и теперь с непривычки Тося никак не может поверить, что такой видный парень, как он, всерьез заинтересовался ею, недомерком. Илья представил вдруг сумятицу, которая царит сейчас в неопытном Тосином сердчишке, и снисходительно усмехнулся:

— А чего мне прикидываться? Нравишься ты мне... Понимаешь? — проговорил он фальшивым голосом сильного и в общем-то справедливого человека, которого обстоятельства вынуждают обманывать ребенка.

Илья и сам расслышал фальшь в своем голосе и рассердился на себя, на заупрямившуюся Тосю, на Филю, который втянул его в этот дурацкий спор. Честней всего сейчас было бы бросить Тосю со всеми ее младенческими страхами и отправиться к Анфисе на коммутатор. Но дело зашло уже слишком далеко, и отказаться теперь от спора — значило на весь поселок объявить о своем поражении. Да и пыжиковую шапку терять за здорово живешь Илье тоже не хотелось.

«Сама виновата!» — не впервой оправдался перед самим собой Илья, припомнив все обидные Тосины выкрутасы на танцах в клубе.

— Очень уж ты мне нравишься...— терпеливо повторил он, из прежнего своего опыта зная, что девчата никогда не обижаются, когда такие вот вещи говоришь им по нескольку раз.— Крепко нравишься, понимаешь?

— Не верю! — сказала Тося, но голос у нее предательски дрогнул, и она с благосклонным любопытством взглянула на человека, который первым во всем мире по достоинству оценил ее.

— Я и дома о тебе думаю, и на работе в лесу! — без стыда и совести врал Илья, входя во вкус и чувствуя, что Тося начинает поддаваться.

— И ничуть я тебе не верю! — счастливо сказала То-

ся и стала валенком утаптывать свежий снег, заваливший дорожку: очень трудно стоять истуканом и ничего не делать, когда тебе впервые в жизни говорят, что ты нравишься и о тебе думают и дома и на работе.

— Как увижу тебя — так праздник на душе! — вдохновенно врал Илья, не очень-то утруждая себя ради такой мелкой сошки, как Тося.

— Все равно ни капли не верю! — ликующим голосом пропела Тося и поправила мальчишескую свою шапку-ушанку каким-то новым для себя, только сейчас народившимся движением руки — округлым и уже почти женским.

— Закрою глаза, и образ твой стоит передо мной! — выпалил Илья, чтобы окончательно доконать Тосю, и сам же первый прикусил язык, усомнившись вдруг, не хватил ли он через край.

Тося восхищенно шмыгнула носом и переспросила шепотом:

— Образ?

— Ага! Вот смотри.

Илья стал боком к Тосе, зажмурил глаза и затих, вглядываясь во что-то, доступное только ему.

— Ну как? — ошеломленно спросила Тося.— Видишь меня?

— Вижу!

— А... где?

Илья махнул рукой в сторону Камчатки. Любопытный Филя, высунувшийся из-за угла общежития, чтобы не прозевать, как Илья «охмуряет» повариху, поспешно отшатнулся. Тося добросовестно вглядывалась во тьму, но заметила лишь какую-то тень, метнувшуюся за угол дома. Может, образы такие и бывают? Она покосилась на Илью и увидела, что ресницы у него дрожат.

— Ты не подглядывай! — приказала Тося, закрыла лицо Ильи портфеликом и спросила требовательно: — А в каком платье мой... это самое, образ?

Илья переступил с ноги на ногу, припоминая небогатый Тосин гардеробишко.

— В... синем,— неуверенно сказал он.

— С белым воротничком? — доверчиво спросила Тося.

— С белым! — торжествующе выпалил Илья и поспешил открыть глаза, пока Тося не подловила его на ка-

кой нибудь манжетке.— Ну, убедилась? Пойдем теперь посидим.

Он взял Тосю за руку и слегка потянул к себе, проверяя, готова ли она уже идти на Камчатку, или придется с ней еще повозиться. Тося сделала один-единственный шаг и тут же уперлась детским своим валенком в ступеньку крыльца — и осторожный Илья сразу же выпустил ее руку, боясь раньше времени спугнуть дикую девчонку.

— Беда мне с тобой,— пожаловался он.

Тося виновато опустила голову и как заведенная принялась утаптывать снег вокруг себя. Она так старалась, будто работала сдельно. Ей и первого в жизни человека, которому она наконец-то понравилась, не хотелось огорчать, и в то же время очень уж боязно было идти на страшную Камчатку. Пойманным в капкан мышонком Тося снизу вверх глянула на Илью.

— Пошли, Тось,— настойчиво позвал Илья.— Посидим, поговорим... Не мы первые!

И вдруг Тося перестала трамбовать свой снег и, найдя выход, обрадованно вскинула голову:

— Давай лучше дружить, Илюшка, а?

Илья досадливо поморщился, будто вместо вина хлебнул сгоряча пресной воды.

— А мы на Камчатке и начнем дружить,— небрежно, как о само собой разумеющемся деле, сказал он.— Если хочешь знать, так там даже удобней, чем здесь на сквозняке... Пошли, Тось, чего уж!

— А Анфиса?! — ужаснулась вдруг Тося, не понимая, как могла она раньше позабыть про счастливую свою соперницу.— И что ты за человек? С ней... дружишь, а меня на Камчатку зовешь? Не пойду я, подруга она мне все-таки: в одной комнате живем и... койки рядом.

Илья с веселым изумлением посмотрел на Тосю и отвернулся, не выдержав гневного ее взгляда.

— Что ж Анфиса? — пробормотал он.— Было время, встречались мы с ней, а теперь я и думать про нее забыл... Ничего в ней особенного нету, вот разве прическа красивая.

— Прическа? — переспросила Тося.

— Да брось ты сознательность разводить! — разозлился Илья на неожиданную задержку.— Она бы на твоем месте не поглядела, что койки рядом!.. И чего тебе еще надо? Да я, если хочешь знать, уже... почти полюбил тебя!

Илья, сам не ведая почему, избегал говорить девчатам, что любит их. Не то чтобы он берег эти слова для кого-то, с кем надеялся встретиться в будущем. Просто Илья считал, что нечего девчат баловать, обойдутся и без любовных слов. И теперь он еще больше разозлился на Тосю, которая своим упрямством заставила его нарушить это правило.

— Почти полюбил! Можешь ты это понять или не доросла ты еще до этого? — с вызовом спросил он, начиная терять терпенье.

Сам того не подозревая, Илья затронул чувствительную Тосину струну. Больше всего на свете она боялась сейчас, что Илья увидит в ней девчонку-малолетку, не способную понимать чувства взрослых людей, прогонит ее спать и потом уж никогда больше к ней не подойдет.

— Я все понимаю, Илюшка, не маленькая...— тихо ответила Тося, не решаясь поднять голову.

Она утоптала уже весь рыхлый снег вокруг и замерла на месте, не зная, чем бы теперь заняться. Илья заметил Тосину безработицу и большущим своим валенком пододвинул к крыльцу целый сугроб свежего снега. Кивком головы Тося поблагодарила его и старательней прежнего принялась трамбовать снег.

— Так что ж ты? — пристыдил ее Илья.— Может, Вера Ивановна запрещает тебе на Камчатку ходить?

Тося рывком вскинула голову.

— А при чем тут мама-Вера? — уязвленно спросила она.— Кажется, совершеннолетняя, паспорт имею!

И чтобы доказать Илье полную свою независимость и взрослую самостоятельность, Тося демонстративно шагнула в сторону Камчатки. Она тут же испугалась своей храбрости и споткнулась на ровном месте, но было уже поздно.

Не теряя даром времени, Илья живо взял Тосю под руку и не спеша, размеренным шагом честного человека, которому нечего стыдиться, повел ее на Камчатку. А Тосе, после того как она ни к селу ни к городу похвасталась недавно полученным паспортом, ничего другого уже не оставалось, как покорно плестись рядом с Ильей с видом пойманного правонарушителя.

Она трусливо съежилась и вобрала голову в плечи, дивясь, как нескладно все у нее получается: вот и не хочет идти на Камчатку, а идет... И ничего тут нельзя

поделать: надо платить за свое приобщение к заманчивой взрослой жизни. Илья покосился на Тосю, старательно семенящую рядом с ним, увидел ее зажмуренные от страха глаза, и на миг ему даже жалко стало эту несуразную девчонку, которая хорохорилась-хорохорилась, а потом так глупо попалась.

— Вообще-то поздно уже, спать пора...— стала канючить Тося, ни на что уже не надеясь.— А то завтра с работой не справлюсь...

Илья пренебрежительно махнул рукой:

— Какая там у тебя работа?

— Как это какая?! — опешила Тося и остановилась как вкопанная.— Сам ведь щи хвалил, за язык не тянула... Если повар, так уж и не человек?

Она в сердцах выдернула руку и бегом вернулась на исходную позицию — к надежному пятачку, вытоптанному ею возле крыльца.

— Да я не в том смысле,— покаянно сказал Илья, жалея, что так не вовремя зацепил профессиональную Тосину гордость.

Он осторожно подступил к крыльцу, боясь снова спугнуть Тосю, и заранее согнул руку в локте, приглашая дикую девчонку довериться ему.

Тося неподкупно замотала головой.

Теряя последнее свое терпенье, Илья взял Тосю под руку и вполсилы попытался увлечь ее за собой на Камчатку. Тося напряглась, как стальная пружинка, вырвалась и вспрыгнула на крыльцо.

— Ты не очень-то! — возбужденно сказала она и поправила сбившуюся набок шапку прежним своим помальчишески резким и угловатым движением руки.

— А гордая ты, козявка! — восхитился вдруг Илья, невольно любуясь неприступной для него Тосей и сам толком не зная сейчас, все еще притворяется он, чтобы выиграть злополучный спор, или на этот раз говорит правду.— Не думал, что ты такая! Значит, хочешь со мной... дружить?

— Ты этим словом не кидайся,— строго предупредила Тося.— Знаешь, теперь я тебе и настолечко не верю!

Она высунула из дырявой варежки кончик мизинца.

— Не веришь? Совсем не веришь?! — пригорюнился Илья, пытаясь слезой в голосе разжалобить Тосю, и неожиданно для себя самого признался: — А вот такая ты мне еще больше нравишься!

— Н-не верю...— запнулась Тося.— Правильно мне про тебя говорили. Ох и личность ты!.. До свиданьица!

Тося выхватила у него из рук портфельчик, юркнула в общежитие и захлопнула за собой дверь. В коридоре она затопала ногами — сначала громко, а потом тише и тише, делая вид, что убежала к себе в комнату. А сама припала ухом к двери, чутко прислушиваясь к тому, что творится на крыльце. Кажется, Тося жалела уже, что так беспощадно расправилась с Ильей, и позови он сейчас ее, начни настаивать на своем, она, может быть, и вышла бы к нему.

Но Илья смирился с ее отказом. Тося слышала, как на крыльце под ногами Ильи мягко хрупнул свежий снег, потом под тяжестью его тела жалобно пискнула вторая сверху скрипучая ступенька — и все затихло. Она обиженно выпрямилась, недовольная, что Илья так легко поверил ей. Но выйти на улицу и первой позвать его Тося никак не могла — это было просто выше ее сил. Кто-то чужой и непонятный сидел сейчас в ней и распоряжался всеми ее поступками.

Так вот какая она, долгожданная взрослая жизнь!

Напуганная всеми этими неразрешимыми сложностями, Тося закусила губу и ожесточенно замолотила веником, обметая с себя снег. Но вот веник замер в ее руках, и она прижалась щекой к бревенчатой стене, нахолодавшей за зиму, и заплакала, жалея и себя, и разнесчастного Илюшку-бабника, смертельно обиженного ею, и всю ту недавнюю девчоночью ясность жизни, с которой пришла ей пора навеки расстаться.

В коридор выглянула Вера с чертежной линейкой в руке.

— Ты чего ревешь? Обидел кто?

Тося замотала головой:

— Я сама че-человека одного обидела...

— Ну и пусть твой человек плачет, ты-то чего заливаешься?

— Не заплачет, он крепкий... А мне все равно жалко!

— Совсем запуталась ты!

— Подзапуталась, мам-Вера,— охотно согласилась Тося.

— Ну, идем-идем, нечего тут сырость разводить.

Вера обхватила Тосю за плечи и увела ее в комнату.

А на улице Филя окликнул Илью, поравнявшегося с Камчаткой:

— Чего ж ты? Сорвалось?

Илья замысловато покрутил рукой в воздухе:

— Осечка... Цену себе набивает!

Филя разочарованно свистнул, ватага поднялась из-за укрытий и зашумела, заулюлюкала. Но, не видя перед собой Тоси, парни быстро затихли и окружили своих главарей. Самый маленький и плюгавый подошел к Илье и, клацая зубами от холода, взмолился:

— Со-совсем з-зазяб... Ил-люха, с-ставь п-пол-литра!

— Завтра, завтра! — досадливо сказал Илья и пошел прочь от ватаги.

Филя оглядел закоченевших дружков, хлопающих себя по бокам, чтобы согреться.

— Где Длинномер? — строго вопросил Филя тоном полководца, недосчитавшегося в своих рядах гвардейской части.

Парни переглянулись. Филя пронзительно свистнул. Из-за дальнего сугроба вскочил задремавший было Длинномер и, ничего не соображая спросонок, забухал кулачищем в гулкую железяку.

Филя сокрушенно покачал головой:

— Ну и кадры!..

Едва переступив порог комнаты, Тося тут же ринулась к Анфисиной тумбочке и впилась глазами в зеркало, беспощадно-придирчиво оценивая свою красу.

— Мам-Вера, как ты думаешь, могу я кому-нибудь... это самое, понравиться?

— Можешь...— равнодушно отозвалась Вера и склонилась над длинным листом миллиметровки, свисающим со стола.

Повеселевшая Тося швырнула портфель под койку, скинула жиденькое свое пальтецо.

— Задание из техникума? — почтительно спросила она, разглядывая непонятный Верин чертеж и гордясь тем, что живет в одной комнате с человеком, который разбирается в таких мудреных вещах.

Вера молча кивнула.

— А я бы заочно учиться ни в жизнь не смогла! — честно призналась Тося.— Это ж какую сознательность надо иметь: никто над тобой не стоит, а ты занимаешься!..

Она смерила пальцами толстый корешок справочни-



ка, взяла линейку со стола, почесала у себя за ухом и торжественно объявила:

— Мам-Вера, а ведь ты героиня!

— Будет тебе ерунду-то молоть!..

— А я говорю: героиня! — заупрямилась Тося.— Если б я была правительством, я бы всех, кто заочно учится, награждала: институт окончил — получай орден, техникум осилил — вот тебе медаль!

— Смотри, прокидаешься,— предостерегла Вера.— Металла не хватит: нашего брата много...

— Эх, ты! — пристыдила Тося.— Сама ты себя не понимаешь!

Балансируя руками, как канатоходец, Тося прошлась по узкой половице, снова заглянула в зеркало, осталась довольна собой, закружилась и опрокинула табуретку.

Вера с любопытством наблюдала за Тосей. А та вдруг помрачнела, подошла к окну и прижалась лбом к слепому зимнему стеклу.

— Чего ты мечешься? — спросила Вера.— Двойку схватила?

Тося презрительно отмахнулась:

— Если бы!.. Понимаешь, один человек душу мне открыл, а я нечутко к нему подошла... Знаешь, как мы, женщины, иногда умеем! Как-то не по-женски даже...

— Ну ничего,— утешила Вера.— Завтра улыбнешься своему человеку — и помиритесь.

— Завтра?

Тося глянула на ходики и вдруг, как была в одном платье, выбежала из комнаты, в два прыжка одолела коридор и выскочила на улицу — в самую гущу снегопада.

Илью она догнала уже возле мужского общежития.

— Ты чего? — удивился Илья.— Простудишься, дуреха!

— Илюшка, тебе плохо сейчас? — спросила Тося, снизу вверх виновато заглядывая ему в лицо.

— Ничего, терпеть можно...— Илья скинул с себя тяжелое пальто и накрыл Тосю.— Да ты, никак, пожалела меня?

— Немножко...

Всякое бывало у Ильи с девчатами: его и любили, и ненавидели, и убивались по нем, и гнали прочь, и серной кислотой в глаза грозились плеснуть,— а вот пожалеть его еще ни одна девчонка не догадалась. И сейчас с непривычки Илья растерялся. Стыда за свой спор он

не почувствовал: чего не было — того не было. Он даже и не подумал о споре — нужно было ему забивать свою голову разной ерундой. Ему просто смешно стало, что эта нецелованная зелень пожалела его, и в сердце без спросу шевельнулась признательная благодарность к Тосе. Что там ни говори, а все-таки приятно, когда тебя, здоровенного, жалеют,— по крайней мере, вот так неумело и необидно, как Тося пожалела его.

А Тося напялила чужую просторную одежину себе на голову капюшоном, дотянулась подбородком до ближней пуговицы, пахнущей табаком, и спросила чуть-чуть лукаво, бессознательно требуя награды за свой самоотверженный поступок:

— А теперь тебе лучше?

— Эх, повариха ты, повариха! Сама маленькая, а сердце...

— Сердце как сердце... Тридцать третий размер!

Рука Ильи привычно взлетела, чтобы обнять Тосю. Всем своим существом сердцееда он понимал, что главная преграда в Тосе рухнула и сейчас она не только позволит поцеловать себя, но и на Камчатку с ним пойдет. Но Илья вдруг усомнился, можно ли ему вести себя с Тосей так, как он обычно поступал с другими девчатами. Рука его замерла на полпути за спиной Тоси, повисела там, повисела, впервые в жизни устыдившись дешевой своей прыти,— и тяжело упала.

— Беги домой, а то застудишься...— хмуро сказал Илья, не понимая себя сейчас и сильно подозревая, что валяет дурака.

Тося побежала, обернулась, чтобы узнать, что там Илья поделывает без нее, оступилась на косогоре и шлепнулась. Она тут же вскочила и, припадая на одну ногу, держась за коленку, заковыляла к своему общежитию.

Илья неподвижно стоял посреди улицы и смотрел ей вслед.

ДЕНЬ ПОЛУЧКИ

В конторе лесопункта перед окошком кассы выстроилась очередь — нельзя сказать, чтоб длинная, но и не такая уж короткая,— в общем, как раз такая, когда наиболее нетерпеливые норовят получить зарплату без очереди. Лесорубы один за другим подходили к окошку и расписывались в ведомости сочащейся чернилами руч-

кой. Два раза в месяц неисправный канцелярский инструмент этот мерил в поселке поголовно всех лесорубов. Валяйся ручка на земле — никто и не нагнулся бы поднять ее, а вот недоверчивый кассир приковал это подотчетное имущество к косяку своего окошка толстым электрошнуром, способным удержать на привязи и слона.

В трех шагах от окошка за маленьким колченогим столиком по-семейному обосновались Катя с Сашкой. Катя продавала билеты денежно-вещевой лотереи, а верный Сашка помогал ей и время от времени покрикивал угрожающим голосом:

— Кому «Волгу»?.. Мотоцикл кому?.. А вот «Волга»!..

Чуть ли не впервые в жизни Илья честно стоял в очереди и все поглядывал на входную дверь, поджидая Тосю, которая вот-вот должна была прийти получать невеликий свой заработок. Если б его воля, Илья поднял бы Тосину зарплату до тысячи рублей... Даже до десяти тысяч — пускай тратит себе на здоровье.

Со знакомым скрипом приоткрылась дверь коммутатора, и в коридор выглянула Анфиса. Илья встретился с ней глазами и поспешно отвернулся. Посмеиваясь, Анфиса подошла к Илье и стала впереди него.

— Вечно без очереди норовят! — возмутилась пожилая Гавриловна, работающая судомойкой в столовой.— Тут с ревматизмом и то стоишь!

— Занимала она...— не очень уверенно сказал Илья.

В контору бочком вошел Ксан Ксаныч и направился было к Наде, стоящей невдалеке от окошка, но когда на Анфису ополчилась языкастая Гавриловна, он поспешно юркнул в хвост очереди, убоявшись скандала. Надя приглашающе замахала ему, но Ксан Ксаныч только руками развел, показывая, что уж лучше он честно выстоит свою очередь, а то крику не оберешься.

Анфиса с Ильей шаг за шагом продвигались к кассе. Они не разговаривали и даже не смотрели друг на друга, как совсем чужие, случайно встретившиеся в очереди люди. Вот они достигли заветного окошка. Расписались в ведомости, как и все до них, перепачкались чернилами — осторожная Анфиса поменьше, а Илья побольше. Получили деньги — Анфиса тощую пачечку, а Илья целый кирпич, стянутый полосатым банковским пояском матрасной расцветки,— и отошли от кассы.

— Я уж думала, ты меня из очереди вытуришь! — насмешливо сказала Анфиса и кивнула на близкую дверь

коммутатора.— Зайдем, совсем ты ко мне дорогу забыл.

— Да все как-то некогда...— буркнул Илья и тут же сам устыдился своей лжи, глянул Анфисе в глаза: — Что ж нам в прятки играть? Небось и сама знаешь?

Анфиса наклонила голову, подтверждая, что добрые люди рассказали ей, как в последние дни он увивается вокруг поварихи и, по слухам, ничего не может от нее добиться.

— Слышала, Тоська из тебя веревки вьет?

Илья смутился, вяло запротестовал:

— Так уж и веревки?

— Даже канаты! Со стороны, Илюша, виднее. Я одного не пойму: ты все еще споришь на нее или теперь уж всерьез?

— Я и сам толком не разберу! — признался Илья.— Как-то перепуталось все...

Он поймал себя на мысли, что хорошо было бы поговорить о Тосе с каким-нибудь опытным, дружески расположенным к нему человеком: выложить все свои недоумения, посоветоваться, как вести себя дальше. Но открыться насмешнице и зубоскалке Анфисе — значило попросту предать то хрупкое, не до конца ясное, но уже чем-то непривычно святое для Ильи, что с каждым днем все крепче и крепче привязывало его к Тосе.

— И... нравится тебе такая жизнь? — с искренним любопытством спросила Анфиса, и в голосе ее прозвучала зависть — не зависть, а так, проснувшееся вдруг желание и самой испытать то неведомое, что чувствовал сейчас Илья.

В ответ Илья лишь руками развел, как бы говоря: «А что поделаешь?»

— Прямо подменила тебя Тоська! — удивилась Анфиса.— Был парень как парень, а теперь монах какой-то!.. И зачем тебе сдалась эта любовь? Ну, зачем? Вбил себе в голову!

— Да нету у меня никакой любви, и чего ты все выдумываешь?! — рьяно запротестовал Илья, готовый на все, лишь бы оградить и Тосю и свое — пока без названия — чувство к ней от наскоков ехидной Анфисы.— Просто любопытная девчонка, я еще таких не встречал...

— Вот-вот, Илюша, с этого все и начинается!

Анфиса сочувствующими глазами глянула на непонятного ей сейчас Илью и поспешно отвернулась, чтобы не расхохотаться над его покорным видом.

— Ты не смейся! — угрожающе предупредил Илья.

— Прости, Илюша, но все-таки смешно,— мягко, как говорят с больными, сказала Анфиса.— Ты и Тоська — это ж надо вообразить! Такое учудил — на голову не наденешь!

— Ты Тосю не трогай! — запальчиво посоветовал Илья.

Анфиса шутливо вздела руки:

— Не буду, не буду! Но ведь сам же говорил: «Недомерок»... Или мне тогда послышалось?

Илья тяжело переступил с ноги на ногу, неохотно сказал:

— Я тогда как слепой был...

— Вот теперь все понятно,— живо подхватила Анфиса.— Сослепу ты и ко мне на коммутатор хаживал!

— Да я вовсе не о тебе! — выпалил Илья, удивляясь, как трудно говорить ему сегодня с Анфисой.

— Не бойся, я не обиделась,— успокоила его Анфиса.— Мне бы только понять: и чем она тебя приворожила? Женское любопытство, Илюша! Ты меня извини, но и смотреть-то ведь не на что...

Илья вдруг испугался, что после того как Анфиса еще разок-другой вдоль и поперек пройдется по беззащитной Тосе злым своим языком, он и сам невольно станет смотреть на Тосю глазами Анфисы. И тогда прости-прощай та несмелая радость, которая в последние дни зародилась в нем.

— А тебе не все ли равно? — злей, чем ему самому хотелось бы, спросил Илья, грудью становясь на защиту маленькой Тоси.— Тебе-то какая печаль? Ведь не любили мы с тобой, только время от скуки проводили... Скажешь, не так?

Анфиса нехорошо усмехнулась:

— Хоть и невеселая была наша любовь и ты мне не так уж нужен, а все-таки не привыкла я, чтоб первую меня бросали. Женская жадность, Илюша! А насчет скуки ты это тонко подметил...

Илья расслышал в привычно колких словах Анфисы подспудную обиду и пожалел, что сгоряча оскорбил ее. И чего он с ней развоевался? Последнее это дело — ругаться с женщиной, от которой уходишь. Да и делить им вроде бы нечего... Ему тут же захотелось как-то утешить Анфису, может быть, даже попросить у нее прощения. Но

Илья на своем веку еще ни у кого прощения не просил, тем более у женщин, и в глубине души считал такое малопроизводительное занятие слюнтяйством, недостойным настоящего парня. И сейчас он легко переборол все покаянные свои мысли и лишь сказал примирительно:

— Ты вот что, не лезь-ка в бутылку.

Но не избалованной лаской Анфисе даже и этой грубоватой малости, кажется, было уже достаточно. Она мельком глянула на Илью, и привычные насмешливые огоньки в ее глазах погасли, будто она прочитала все его подпольные добрые чувства к ней.

— Мог бы и предупредить, раз такое дело,— без прежней злости сказала она.— Мешать тебе я не стала бы, не бойся... Не ты первый, Илюша! Ведь все вы со мной только так, до поры до времени, а как чего покрепче захочется — так ищете на стороне какую-нибудь Мусю или... Тосю! Мне не привыкать.

И такая застарелая тоска прозвучала в ее голосе, что Илье стало как-то не по себе, как всегда бывало с ним, когда он смутно чувствовал, что должен сейчас же сделать что-то, а что именно — и сам не знал.

— Опять ты на себя поклеп возводишь,— неуверенно проговорил он.

И тут с улицы в контору вбежала веселая Тося, крикнула:

— Сашок, приготовь мне самый счастливый билет! — и стала в очередь.

Она огляделась вокруг, заметила в глубине полутемного коридора Илью с Анфисой и отпрянула, будто налетела с разбегу на стенку. Тося попробовала отвернуться, чтобы не видеть подлого бабника, но глаза ее вдруг забастовали и отказались подчиняться. Одно дело было знать, что в стародавние времена, еще до ее приезда в поселок, у Ильи что-то там такое было с Анфисой и он, кажется, даже «крутил» с ней. И совсем другое — увидеть собственными глазами, как стоят они рядышком на виду у всех, нежно смотрят друг на друга и болтают о чем-то бесстыжем.

Сперва Тося решила, что они говорят о ней, перемывают ей косточки и Илья-изменщик, посмеиваясь, рассказывает Анфисе, какая Тося дуреха: всему верит и чуть ли не кидается ему на шею. Но, присмотревшись получше, Тося поняла, что ошибается: Илья с Анфисой говорили о чем-то своем, сокровенном, а про нее и ду-

мать забыли. Нужна она им была, как же! И они совсем не смеялись: чего не было, того не было. Но уж лучше бы они хохотали до упаду, чем вот так нежно и доверчиво смотреть друг на друга. Тося была уверена, что на нее Илья никогда еще так не смотрел!

Тосю поразила какая-то новая, незнакомая ей грустинка в лице и во всем облике счастливой соперницы. Анфиса и красива была сейчас как-то по-новому, и от зоркой Тоси не скрылось, что эта новая, более умная, что ли, красота Анфисы была еще привлекательней ее прежней, яркой и чуть-чуть бездумной красоты. И опять, как когда-то на танцах в клубе, Тося рядом с Анфисой против воли почувствовала вдруг себя человеком как бы второго сорта, чуть ли не домработницей у распрекрасной Анфисы.

«Нет уж, дудки! — разозлилась Тося.— Такому никогда не бывать!»

Катя перехватила мрачный Тосин взгляд, толкнула локтем Сашку в бок и повела головой в сторону Ильи с Анфисой. Чтобы хоть немного развеять похоронные Тосины мысли, сердобольный Сашка завопил на всю контору:

— Кому «Волгу» за три рубля?!

Катя сидела ближе к Илье с Анфисой, но при всем своем любопытстве сумела разглядеть лишь, что они стоят рядом и, как встарь, о чем-то дружески болтают. А обостренные молодой любовью и первой жгучей обидой глаза Тоси различили, что Илья испытывает сейчас к Анфисе признательную нежность и она тоже благодарна ему за какие-то добрые слова, только что сказанные им.

По всему видать, они оба знали о жизни что-то такое, о чем Тося еще и понятия не имела. Она вдруг как-то разом догадалась, что Илью с Анфисой связывает большее, чем простая дружба. Они были похожи сейчас на мужа с женой, встретившихся после размолвки, еще не успевших окончательно примириться, но уже протянувших друг другу руки.

Тося увидела всю их взрослую любовь — до самого дальнего и тайного закоулка. И рядом с этой уже все испытавшей, привычно-бесстыжей любовью Тося самой себе показалась вдруг зеленой девчонкой-школьницей — со всеми своими полудетскими мечтами о любви-дружбе с Ильей и осторожными прикидками: позволить Илье сегодня поцеловать себя или еще повременить...

И Тося разом сверзилась с заоблачных высот, куда она самозванно вскарабкалась в последние дни. У нее даже дух захватило и в ушах зашумело от головокружительного своего падения.

Ей даже и не себя жалко было сейчас, а того чудесного праздничного чувства своей полноправности, которое прижилось в ней в последние дни. Как-то незаметно для себя Тося привыкла считать, что она нужна другому человеку и сравнялась теперь со всеми счастливыми девчатами, которых любят в Сибири и на Украине, в Китае и в Америке, в близкой Болгарии, на далекой Кубе и... какие там еще есть страны?..

Катя покинула своего Сашку и подошла к Тосе.

— У них давно это,— сказала она с довольным видом.— Я же тебе говорила!

— Ты всегда правду говоришь...— вяло согласилась Тося.

Обидная догадка настигла вдруг Тосю: ясное дело, Илья потому и вертелся в последнюю неделю возле нее, что Анфиса дала ему отставку. А теперь стоило только Анфисе поманить этого бабника — и он сразу же снова переметнулся к ней.

Злая, не по-девчоночьи жгучая обида ударила Тосе в сердце, неведомой раньше женской болью отозвалась там. Вот она когда пришла к ней, долгожданная ее взрослость! Чем так приходить — уж лучше бы Тосе на всю жизнь остаться несмышленой девчонкой...

— Ой, что с тобой, подруженька? — испугалась Катя, увидев, как запрыгали вдруг губы Тоси и кровь отхлынула от ее лица.— Да не переживай ты так, все мужики такие...— Катя покосилась на верного Сашку, торгующего лотерейными билетами, и тут же внесла срочную поправку в свое обобщение: — Один вот Саша не такой!

— Ну погоди же, погоди! — мстительно шептала Тося.— Узнает он у меня! Я ему припомню. За всех женщин отомщу!

Любовь к истине пересилила в Кате жалость к обманутой подруге, и она усомнилась:

— За всех женщин? Ну и масштабы у тебя, Кислица!.. Да что ты ему сделаешь? — Склонив голову набок, Катя старательно задумалась, прикидывая все Тосины возможности, и сама же ответила за Тосю: — И ничего ты ему не сделаешь!

— А вот увидишь! — пообещала Тося.— В рыбку вытянусь, а докажу!

Катя с великим сомненьем глянула на маленькую и решительную Тосю, но промолчала, чтобы зря не обижать несчастную девчонку.

На прощанье Анфиса сказала Илье:

— Ты все-таки при случае заходи... по старой памяти. Я тебя не съем и... даже целовать без спросу не стану, так что убытку тебе — никакого!

— Опять ты за старое? — упрекнул Илья.

— На том стоим!.. Хотела пригласить тебя сегодня к механику новые пластинки слушать, так ты ж теперь не пойдешь?

Илья качнул головой.

— Где уж тебе теперь!—согласилась Анфиса.— А жаль: там такие мотивчики есть — закачаешься!

Кажется, она жалела уже, что раскрылась перед Ильей больше, чем хотела, и теперь снова натягивала на себя привычную личину.

— Весело живешь,— сказал Илья.

— Так я ж не влюбленная! — прямо в лицо Илье с вызовом бросила Анфиса, легко повернулась на каблуках и ушла к себе на коммутатор.

А Илья шагнул к кассе. Глаза его сразу же выхватили из очереди незаметную Тосю, и он поспешил к ней — улыбающийся, на всю жизнь красивый, не чувствующий за собой никакой вины. Если бы Тося сама не видела, она ни за что не поверила бы, что он только что напропалую любезничал с красоткой Анфисой. Это лицемерие доконало Тосю. Она поскорей сцепила пальцы в прочный замок, боясь, что не совладает с собой, кинется к подлому обманщику и выцарапает бесстыжие его глаза.

Илья почуял неладное.

— Тось, чего это ты?

Он дружелюбно протянул руку. Тося сомкнутыми руками изо всей силы ударила его по запястью и сказала ледяным голосом:

— Отстань ты от меня, и ч-чего привязался? Я т-тебя в упор не вижу, п-понятно?

Илья насупился, заподозрив, что Тося разузнала кое-что о дурацком споре с Филей. Тося заметила испуг в его глазах и подумала с мстительной радостью: «Что, несладко?» В очереди зашептались, с пяток любопытных голов повернулись к ним. Катя замерла на полпути к ло-

терейному столику и добросовестно глазела на Тосю, ожидая, когда та начнет мстить за всех женщин.

Помедлив, Илья несмело подался вперед.

— Не подходи, а то взорвусь! — честно предупредила Тося.

Она расслышала неприятный бабий визг в своем голосе, но даже этот противный, унижающий ее достоинство визг отнесла на счет ненавистного человека, которого она опрометчиво чуть было не полюбила.

Илья придвинулся на полшага, Тося отпрыгнула и драчливо выпалила:

— И на кухне чтоб ноги твоей больше не было! А то... ложки пропадают!

— Ложки?! — взревел Илья, оскорбленный в лучших своих чувствах.— Ну, знаешь...

Он легко, как докучливую ветку на лесной тропе, отстранил Тосю, прогрохотал сапогами к выходу и, срывая свою злость, так оглушительно хлопнул дверью, что робкий Ксан Ксаныч, расписывающийся в ведомости, уронил ручку, а в окошко испуганно высунулся недоверчивый кассир, опасаясь за целость и сохранность своих финансов.

Катя подбежала к Тосе.

— Ловко ты его! — похвалила она подругу.— Я просто горжусь тобой, за всех девчат горжусь! — В порыве женской солидарности Катя обняла Тосю и стиснула ее плечи.— Радуйся, Кислица, упекла ты его!

— А я и радуюсь...— уныло отозвалась Тося, не спуская глаз с ручки, маятником качающейся на шнуре и роняющей чернильные кляксы на пол.

ПРОЩАЙ, КУЛИНАРИЯ!

Сашка с Ильей ходили по женскому общежитию и агитировали девчат, работающих в поселке, записываться в лесозаготовительные бригады. Сашка больше всего нажимал на сознательность, а Илья соблазнял высоким заработком.

— Еще бы одну барышню сагитировать — и поручение побоку,— сказал Сашка, выходя в коридор.

Илья поднял было руку, чтобы постучать в дверь комнаты, где жили наши девчата, но тут же отдернул руку, будто ожегся, и попросил приятеля:

— Стучи ты...

— А здорово тебе Тося насолила! — подивился Сашка и плечом толкнул дверь.— Гостей принимаете?

Все девчата были в сборе, не хватало лишь Тоси. Надя в своем семейном углу кормила ужином Ксан Ксаныча. Вера щелкала на маленьких ученических счетах, подбивая месячный итог работы верхнего склада. Катя с Анфисой сидели за столом друг против друга и пили чай — каждая со своим припасом.

Илья обежал комнату глазами и уперся взглядом в цветастые картинки. Он сразу догадался, будто его кто в бок толкнул, что пестрая галерея эта — дело Тосиных рук. И удивляться тут, собственно, было нечему: что-нибудь такое вот нелепое он и ожидал увидеть над койкой этой зеленой девчонки. Ей в куклы еще играть, а она из себя взрослую корчит!

— Вот что, девчата,— сказал Илья, спеша провернуть все общественные дела до прихода Тоси.— Времени у нас мало, да и агитаторы мы с Сашкой липовые, так что вы сразу соглашайтесь...

— Правильно! — подхватил Сашка.— Нечего тянуть, дело ясное, записывайтесь.

Сашка присел к столу и выложил перед собой блокнот.

— Да куда записываться-то? — спросила Катя, подвигая к Сашке пачку с печеньем.— Тоже мне, агитаторы!

Приятели переглянулись, недоумевая, как это они до сих пор не объяснили цели своего прихода. Сашка похрустел печеньем во рту, откашлялся и зачастил привычной скороговоркой человека, которому сегодня приходится в десятый раз повторять одно и то же:

— Не справляются в лесу на обрубке сучьев. Сами знаете, сколько снегу навалило. А многие комсомольцы в конторе прохлаждаются. Вот нам с Ильей и поручили выровнять это дело. Учтите, каждый комсомолец полтора процента тянет. В других комнатах записались, теперь вы давайте...— Для большей убедительности Сашка похлопал по блокноту с записями и оглядел девчат.— Ну, к Вере Ивановне и Кате это не относится, они и так в лесу работают. Надя — несоюзная молодежь. Значит, остается Анфиса... Слышь, Анфиса, переходи на основную работу!

— А чего я там потеряла? — спросила Анфиса.—Мне и на коммутаторе неплохо.

Сашка разочарованно посмотрел на Илью, не зная, с какого боку лучше подойти к заупрямившейся Анфисе.

— А может, все-таки пошла бы? — неуверенно предложил Илья.

Ему и молчать не хотелось, чтобы Сашка с девчатами не подумали, что он выгораживает Анфису, и язык у него как-то не поворачивался агитировать ее. Простые слова, которые он только что со спокойной душой говорил в других комнатах, совсем не подходили к Анфисе, теряли почему-то свой убедительный смысл. Илья припомнил главный свой козырь и вяло, по обязанности, сказал:

— Кроме всего прочего, учти: в лесу и заработок больше... Вот Катя не даст соврать.

— И правда, Анфиска, записывайся,— вступила в разговор Катя, пододвигая к Сашке кружку с чаем.— Силенка у тебя есть, будешь не меньше меня выколачивать.

— Мне и так денег хватает! — уперлась Анфиса.

— Эх, нету у тебя рабочей гордости! — пожалел Сашка.— Ладно, ты подумай, а я пока чаю попью.

— Агитируешь со всеми удобствами! — съязвила Анфиса и ушла в свой угол.

Илья недружелюбно покосился на нее. Хотела этого Анфиса или нет, но в нежелании ее идти на работу в лес сквозило обидное для Ильи пренебрежение к тем, кто давно уже там работал, а значит, и к нему. Впервые он подумал, что Анфиса не такая, как другие девчата: те никакой работы не боятся, а она все выгадывает, ищет свою окольную тропку в жизни. Илья отвернулся от Анфисы и стал разглядывать яркие натюрморты над Тосиной койкой.

— Ну, записывать, что ли? — нарочито бодрым голосом спросил Сашка.

В коридоре послышался мягкий топот валенок, дверь в комнату распахнулась, и на пороге выросла румяная с мороза Тося. Она скользнула взглядом по сразу поскучневшему лицу Ильи, заметила в руке Сашки карандаш над блокнотом и решила, что проворонила что-то очень интересное и поспела только к шапочному разбору: по молодости лет Тося считала, что все самое заманчивое в жизни происходит где-то в другом месте — там, где ее нет.

— Сами записываются, а про меня небось забыли! — с ходу упрекнула она подруг.— Пиши и меня, Сашок,

нечего зажимать! — Тося подошла к столу, склонилась над Катей, запоздало спросила: — Это куда записывают?

— На работу в лес.

— А-а...— разочарованно протянула Тося.— А я думала. Тогда не надо, Сашок, я и так в лесу работаю.

Илья сердито посмотрел на балаболку Тосю и сказал наставительно, чтобы она не равняла себя с ним:

— Ну ты-то, положим, хоть в лесу работаешь, а все-таки не на основной работе!

— То есть как это не на основной?! — опешила Тося.— Вы же сами с Сашкой каждый день обед мой лопаете, да еще и добавку берете, а теперь — «не на основной»... Ты эти штучки брось, нечего личные счеты сводить!

Илья смущенно крякнул и отошел от стола.

— Разные это вещи,— пояснил Сашка, приходя на выручку Илье.— Повариха ты хорошая, спору нет, а все-таки работа твоя подсобная. На основной люди лес заготовляют, кубики дают...

— Кубики? Посмотрела бы я, как ты, не пообедав, дашь кубики!.. Новое дело: выходит, вы все коммунизм строите, а я так себе, сбоку припеку? Теперь понятно, почему некоторые меня всерьез не принимают... Несогласная я! Пиши и меня на основную, буду кубики давать.

— Тоська, не дури! — попробовала остановить ее Катя.

Сашка спокойно пил чай и что-то не торопился записывать Тосю. А Илья вдруг поймал себя на том, что против воли сочувствует этой настырной девчонке, которой хоть кол на голове теши, а она от своего не отступится.

— Кому я говорю, записывай! — скомандовала Тося, вырывая из Сашкиных рук недопитую кружку чая.— Это самое... изъявляю желание!

— Вот дуреха! — подивилась Анфиса.

Они стояли рядом, как бы давая Илье возможность еще раз сравнить их и выбрать более достойную. Илья перевел глаза с маленькой, невидной Тоси на красивую Анфису и посоветовал ей:

— Чем других отговаривать, лучше сама записалась бы.

— А ты сагитируй меня, зажги энтузиазмом! — потребовала Анфиса.

Илья безнадежно махнул рукой:

— Тебя зажечь — во всем нашем лесу дров не хватит!

Тося одобрительно хмыкнула, радуясь, что даже Илья раскусил красотку Анфису. А Сашка насупился, не зная, как им быть. Все шло совсем не так, как он рассчитывал: сильная Анфиса наотрез отказалась от работы в лесу, и даже с маломощной Тосей выходило как-то нескладно. Она запросилась на основную работу не потому, что осознала свой комсомольский долг, а из-за смешной девчоночьей обиды.

— Да не слушайте вы Тоську! — сказала Катя.— И чего такая кнопка сможет в лесу наработать?

— Чего-чего... — не на шутку обиделась Тося.— Да хотя бы сучья рубить.

— Ты и топор-то не поднимешь!

— Еще как подниму! — не сдавалась Тося и лихо взмахнула спаренными руками, показывая, как станет она рубить сучья.— Как стукну по сучку — так и полетит к чертовой бабушке! Ты думаешь, с котлами легче возиться? Пойди попробуй... — Ища поддержки, Тося затравленно огляделась вокруг. Сердобольный Ксан Ксаныч ободряюще улыбнулся ей.— Ведь правда, Ксан Ксаныч?

— Оно конечно... — забормотал Ксан Ксаныч, боясь покривить душой и в то же время желая помочь доверившейся ему Тосе.— Котлы, они тоже разные бывают. Вот я в прошлом годе один лудил — чуть грыжу не нажил...

— Слышите?— торжествующе спросила Тося.— Ксан Ксаныч врать не станет! Пиши, Сашок, чего там...

Тося подхалимски долила Сашке чаю в кружку и бросила туда большой кусок сахару из Анфисиного кулька.

— Ладно,— сдался Сашка, отхлебывая чай,— все-таки полтора процента... А не получится у Тоси — мы ее обратно переведем.

— У меня да не получится? — возмутилась Тося.— Пиши: Кислицына Анастасия Поликарповна.

— Поликарповна? — удивился Сашка, записывая Тосю в свой потрепанный блокнот.— Вот не думал, что у тебя такое смешное отчество.

Тося терпеть не могла, когда хоть самую малость задевали ее отца.

— Отчество как отчество, не хуже иных прочих,— строго сказала она и посмотрела на Илью, ожидая от него нападок.

Илья торжественно наклонил голову, впервые после ссоры в кассе соглашаясь с Тосей.

— Анфиса, как, не надумала? — спросил Сашка.— Снег стает — опять к своему «алё-алё» вернешься.

Он смотрел на Анфису, взывая к ее совести, и не видел, как за его спиной Надя убрала посуду в тумбочку, смела крошки в ладонь и вдруг решительно шагнула к столу:

— А беспартийным можно?

Вера перестала щелкать на счетах — и в комнате сразу стало тихо. Лишь ходики беспечно щебетали на стене да с узкоколейки донесся далекий гудок паровоза.

— Вот всегда она так,— пожаловалась Анфиса.— Молчит-молчит, а потом и брякнет!.. Ты на кого коммутатор бросаешь?

— Найдутся желающие телефон караулить,— отмахнулась от нее Надя.— Ну, так как же, можно мне?

Ксан Ксаныч вскочил и затоптался на одном месте — как всегда в минуты волнения.

— Надюша, и чего ты надумала? — упрекнул он невесту.— Мы и так денег на мебель скопим, я на сверхурочных подработаю...

— Да не из-за мебели я,— тихо ответила Надя, стыдясь, что при всех подвела Ксан Ксаныча.— Просто времени свободного на коммутаторе слишком много: разные мысли лезут в голову...

— Вот чудачка!— удивилась Анфиса.— Времени свободного испугалась.

— Пишите,— упрямо сказала Надя и выбросила крошки в помойное ведро.

Тося захлопала в ладоши:

— Молодец, Надежда! Мы всем канцелярским крысам покажем, как надо работать!

Илья переглянулся с Сашкой.

— Что ж,— вслух подумал Сашка,— процента это нам не даст, потому — несоюзная молодежь, но я тебя поздравляю, Надя.

Он встал из-за стола и с чувством пожал руку Наде. Вслед за ним пожал Надину руку и Илья.

— А что же агитаторы меня не поздравляют?— обидчиво спросила Тося и первая протянула руку Сашке.

— Требование законное,— согласился Сашка, любящий во всяком деле справедливость и порядок.

Он утопил в богатырской своей ручище Тосину ручон-

ку и бережно, в четверть силы, припечатал ее большим пальцем. За ним, честно выполняя долг агитатора, к Тосе подошел Илья. Пристально глядя Тосе в глаза, он изо всех сил сдавил ее руку. Тося мужественно выдержала свирепое его рукопожатие и лишь потом украдкой пошевелила слипшимися пальцами.

— Терпеливая! — похвалил Илья и с новым интересом посмотрел на Тосю: ему вдруг показалось, что он многого еще о ней не знает.

А Тося в последний разок полюбовалась бравыми натюрмортами над своей койкой и стала безжалостно сдирать их со стены.

— Прощай, кулинария!

ТРУДНЫЕ ЕЛКИ.
КАПУСТА НА СНЕГУ

Давно уже известно, что все в жизни связано между собой.

Записываясь на основную работу, Тося меньше всего думала о том, кто придет ей на смену. И пожилая Гавриловна, с незапамятных времен работающая судомойкой в поселковой столовой, не очень-то интересовалась Тосей и молодым ее нежеланием быть в жизни подсобницей. Они жили рядом, чуть не каждый день встречались друг с другом, и Гавриловна даже не подозревала, что эта маленькая самоуверенная девчонка, которую все почему-то хвалили, подложит ей свинью.

На другой же день после опрометчивого Тосиного поступка тихая биография Гавриловны дала трещину: пожилую судомойку срочно произвели в повара и назначили на место, кинутое Тосей. А Гавриловна, надо сказать, была совсем не честолюбива и без всякой охоты сменилараноменклатурную свою должность в обжитой поселковой столовой на пост начальника дикой Тосиной избушки.

И утром третьего дня тепло одетая, неуклюжая Тося уже передавала великанский кухонный инвентарь новой поварихе:

— Миски тут, ложки-вилки здесь, ножей не полагается... Чего-чего, а дров хватает! Воду из дальней полыньи берите, вкуснее... А порции побольше, чем в столовой, делайте: они у меня к добавкам привыкли, на све-

жем воздухе работают... Ну, ни пуха вам, ни пера, а я пошла на основную!

Вскинув на плечо тяжелый топор, Тося побежала по узкой тропке вслед за Надей.

С наступлением зимы все девчата, работающие в лесу, облачились в ватные фуфайки и такие же брюки, заправленные в валенки. А поверх теплых, удобных в работе брюк ненужно и смешно топорщились юбки — короткие, ничуть не греющие,— не одежда уже, а так, всего лишь привычная примета пола, с которой девчата не решались расстаться, словно боялись, что их примут тогда за парней.

Закусив губу, Тося обрубала сучья с поваленных Ильей деревьев. Рядом с ней работала Надя. Там, где сильная Надя била топором один раз, Тосе приходилось тюкать два-три раза. С соснами и березами она еще кое-как справлялась, а ветвистые елки вгоняли ее в пот.

Надя по-мужски крякала при каждом ударе, и Тося, присмотревшись к ней, тоже начала крякать. Неумело подражая Наде, она с трудом поднимала тяжелый топор, громко крякала, вкладывая в солидный звук всю свою силу, а затем уж, обессиленная, вяло опускала топор на сучок.

— Да не хэкай ты без толку! — посоветовала ей Надя.— Это само потом придет. Умора с тобой, лешак тебя возьми.

Срубленные сучья Тося по снежной целине подтаскивала к костру. Там, где другим обрубщицам было по колено, маленькой Тосе — по пояс. Она уже набрала снегу в валенки, откинула на спину платок, расстегнула ватник, но не сдавалась и, подзадоривая себя, воинственно бормотала только что сложенный стишок:

Основная работенка,
Не боюся я тебя!

Илья работал неподалеку и хорошо видел, что Тосе приходится несладко. Он и жалел ее немного, но больше злился на глупую девчонку, которая из упрямства взялась не за свое дело и теперь мучается. Ему казалось, что вот-вот Тося свалится в сугроб и больше уж не встанет. Но время шло, а Тося все еще держалась. Экономя силы, она теперь уже не крякала, а отрубленные



ветки приноровилась таскать по волокам, проложенным другими девчатами.

«Соображает!» — одобрительно подумал Илья и подошел к Тосе.

— На вот...— сказал он с незнакомой ему прежде хмурой робостью, протягивая Тосе маленький топор.— Мой способней будет...

— Спасибочко! — Тося охотно схватила острый топорик, легко отсекла сучок и похвалила: — Веселый у тебя топоришко!

— Я тоже парень не скучный...

— Да уж! — Тося презрительно махнула рукой.— Ты лучше не гони так, а то закусил удила... Ведь в одной бригаде работаем.

Илья никак не мог упустить такого удобного случая, чтобы не поддеть Тосю.

— Что-то не пойму я тебя! Позавчера ты рвалась коммунизм строить, а сегодня — в кусты? Ведь план, понимаешь, план?! — Илья похлопал себе по шее.— То у тебя сознательности больше, чем надо, а тут рассуждаешь, как самый настоящий отсталый элемент!

Тося хотела обидеться на Илью, но собственная ее вина была настолько велика и очевидна, что она только тяжело вздохнула и призналась:

— О плане я не подумала...

С детских лет Тося привыкла, что всякий план надо обязательно выполнять, и по тому, как люди у нас в стране выполняют план, они делятся на хороших и плохих: хорошие всегда план выполняли и даже перевыполняли, а плохие под всякими предлогами норовили его недовыполнить. И теперь она ужаснулась, что по легкомыслию чуть было не подняла руку на Всемогущий План.

Илья заметил испуг в Тосиных глазах и пожалел, что так уже крепко навалился на безалаберную девчонку.

— Зря ты с кухни ушла,— буркнул он, пряча за сердитым тоном все свои добрые чувства к Тосе, которая ни с того ни с сего испортила вдруг себе жизнь.

— И ничуть не зря! — заупрямилась Тося.— Я приноровлюсь, вот увидишь.

— Цыган тоже кобылу приучал,— напомнил Илья.

— Сам ты цыган! — выпалила Тося.

Илья поспешно схватил тяжелый топор, забоявшись,

что Тося раздумает теперь меняться, и пошел прочь, кляня ее за неуживчивый характер.

— Поговорили? — ехидно спросила любопытная Катя.

— Угу.

— Ой, смотри, Тоська! Сдается мне, ты все забываешь, что он бабник...— Катя посмотрела на Тосю долгим прокурорским взглядом.— Хочешь, я кашлять буду, чтоб помнила?

— Кашляй, если горла не жалко,— милостиво разрешила Тося.— А только запомни: влюбляться я пока не собираюсь. Просто я его... перевоспитываю... Ну да, перевоспитываю! — тверже прежнего сказала Тося, уверовав вдруг в тайный свой замысел.— Хочу человека из него сделать!

— Одна вот так же перевоспитывала-перевоспитывала, а потом матерью-одиночкой стала!

— Не говори глупостей! — обиделась Тося.— Вот смотри, как я с ним...— Она подбоченилась, набрала полную грудь воздуха и требовательно крикнула, демонстрируя перед Катей свою власть: — Эй, Илюха!

— Чего тебе? — недовольно отозвался Илья.

— Иди сюда, не бойся!

Тося подмигнула Кате, которая во все глаза глядела на маленькую девчонку, измывающуюся над первым парнем в поселке.

— Ну? — хмуро спросил Илья, останавливаясь на полпути к Тосе.

— Ты чего вредничаешь?! — накинулась на него Тося, не давая ему опомниться и собрать всю свою запропавшую куда-то сноровку бабника.

— Я вредничаю? — опешил Илья.

За легкий свой топорик он всего ожидал от привередливой Тоси, но только не упреков!

— Все елки да елки! — пристыдила его Тося.— Вали больше сосен, а елок поменьше. Уж больно ветвистые они! Пока обрубишь все сучья да стащишь...

— Так это ж не от меня зависит! — удивился Илья сумбуру в Тосиной голове.— Лес тут смешанный...

— А ты постарайся! — настаивала Тося.

Она смутно догадывалась уже, что сильному Илье доставляет удовольствие помогать ей, и хотела до самого дна использовать свое право слабого.

— Вот не было печали!..— буркнул Илья.

Катя громко закашляла, боясь, что Тося по молодой своей забывчивости опять запамятовала, какой опасный Илья человек. Тося успокаивающе помахала верной подруге рукавицей и потребовала у Ильи:

— Раз сагитировал, так помогай!

Она уже почувствовала какую-то непонятную власть над Ильей и по женской своей природе бессознательно спешила закрепить эту заманчивую власть, приучить к ней Илью, чтобы не было ему ходу назад. При всем том Тося была убеждена, что делает все это для его же пользы — выводит на правильную дорогу заблудившегося в жизни человека. А мириться с Ильей-бабником она и не думала: зачем он ей такой, после Анфисы?

Илья сразу же ощутил Тосин аркан на своей шее, побоялся навеки утерять свою независимость и попробовал взбунтоваться:

— Кто тебя агитировал? Ведь сама напросилась!

Тося со скучающим видом слушала Илью, будто читала все его невысказанные мысли и заранее знала, что ничего нового он ей не скажет.

— Все у тебя не как у людей...— уже сдаваясь, признавая Тосину власть над собой, проворчал Илья для виду и ушел валить деревья во славу Тоси.

Торжествуя победу, Тося похвасталась Кате:

— Я с него семь шкур спущу!

— Ну и ну!..— только и сказала Катя.

Откровенно говоря, Кате больше нравилось, когда с Тосей случалась какая-нибудь беда и ее можно было жалеть, учить уму-разуму и чувствовать над ней свое превосходство. А вот такая, вознесшаяся выше всех девчат в поселке, она даже неприятна была Кате, как наглядное свидетельство того, что можно жить совсем по-другому, чем собиралась прожить свой век Катя.

— Слепой сказал: увидим! — спряталась она за поговорку и бросила смолистую ветку в костер.

Мерзлая хвоя жарко затрещала и разбудила мастера Чуркина, клюющего носом на пенечке.

— Поднажмем, ребятушки! — крикнул Чуркин хриплым голосом.

— Да не ребятушки мы, а девчатушки,— поправила мастера Катя, которая, полюбив Сашку, незаметно для себя прониклась его нетерпимостью ко всяческим ошибкам и непорядкам.

Чуркин почесал в затылке, философски изрек:

— Все едино! — вытащил часы-блюдце и покосился на солнце.

Признаться, Тося не очень-то надеялась, что Илья сразу же послушается ее. Но он, нарушая все правила, стал валить лишь сосны и лиственные деревья, а трудные для Тоси елки обходил стороной, будто и не росли они на делянке.

— Это что еще за выборочная рубка? — загремел Чуркин.— Кончай фокусы, Илюха!

И пришлось Илье вернуться к пропущенным елкам и спилить их все до единой.

Гавриловна неумело заколотила топором в буфер. Выстроившись цепочками, лесорубы заспешили по тропкам к навесу — молодые, вволю наработавшиеся, проголодавшиеся.

Разом несколько ложек нырнуло в миски. Отведав щей, приготовленных новой поварихой, лесорубы недоуменно переглянулись. Общее мнение выразил Филя.

— Да,— сказал он, выплескивая щи на снег,— в ресторане она не работала!

Кругом зашумели:

— Да это пойло какое-то!

— Я сам лучше сварю!

— Ну и повариха!

Вслед за Филей многие лесорубы выплеснули щи и пошли за кашей. Лохмотья капусты валялись на снегу, исходя паром.

И вторым своим блюдом Гавриловна не угодила лесорубам.

— Сырая каша!

— И пригорела!

— Наша Тося лучше готовила!

Растерявшаяся Гавриловна вспомнила Тосины наставления и совсем некстати предложила:

— Может, кто добавки хочет?

— Сама ешь! — сердито посоветовал Филя, всухомятку жуя хлеб.— Это ж смех: до старости дожила, а щи не умеет сготовить!

Почуяв, что в воздухе запахло скандалом, Длинномер и еще один парень из ватаги — Мерзлявый — стали за спиной своего атамана.

— Теперь понятно, почему мужик ее на сплав подался,— сказал Длинномер, развивая мысль Фили.

— Интеллигенцию из себя корчит! — подхватил Мерзлявый: помимо главного своего качества, отмеченного прозвищем, он был известен еще в поселке застарелой неприязнью ко всем поголовно интеллигентам.

— Постыдились бы, она вам в матери годится,— вмешался Сашка, чувствуя себя неловко, как всегда, когда ему приходилось призывать к порядку своих товарищей по работе и друзей детства.

Длинномер с Мерзлявым разом перевели глаза на атамана, ожидая команды: стыдиться им или можно еще повременить. Филя, не любящий скандалить на голодный желудок, молча пододвинул к себе миску с хлебом. Парни переглянулись и разом запустили руки в хлебницу.

И другие лесорубы последовали их примеру, живо расхватали весь хлеб и отошли от кухни. Ксан Ксаныч заботливо положил перед Надей здоровенный ломоть, выхваченный им из-под носа зазевавшегося Длинномера, вынул из кармана кисет с махоркой и тонко пошутил:

— После сытного обеда можно и закурить...

Лишь четверо остались за столом. Сашка смущенно покрякивал и листал свой блокнот, куда он позавчера так необдуманно записал Тосю. Надя сосредоточенно ела хлеб, время от времени сдабривая его ложкой забракованных всеми щей, и вид у нее сейчас был такой, будто она не обедала, а делала очередную работу. На другом конце стола рядышком, как добрые друзья, сидели Тося с Ильей, искоса поглядывая друг на друга, и полоскали ложки в мисках.

Мастер Чуркин поскользнулся на капусте, щедро разбросанной вокруг кухни, обескураженно сказал:

— Дела-а!..— и почесал в затылке.

АНФИСА ВСТРЕЧАЕТ ДЕМЕНТЬЕВА

Грузовик обогнал Анфису, идущую на дежурство, и остановился у гаража. Из кабины вылез молодой инженер Дементьев, назначенный в лесопункт техноруком. На нем — высокие охотничьи сапоги и новенькая велюровая шляпа, сбитая на затылок.

Дементьев вынул из кузова чемодан и огляделся по сторонам, не зная, куда идти.

— Где тут у вас контора? — спросил он у Анфисы, поравнявшейся с грузовиком.

Анфиса обернулась — и лицо молодого инженера разом посветлело. Машинально он провел рукой по небритой щеке.

— Идемте, я покажу,— предложила Анфиса, довольная произведенным ею впечатлением.

По дороге Дементьев украдкой разглядывал красивую Анфису.

— Вы кем здесь работаете? — поинтересовался он.

— Я... артистка,— неожиданно для себя сказала Анфиса, сама не понимая, зачем понадобилась ей эта ложь.— В театре поручили мне роль девушки из лесного поселка, вот я здесь и вживаюсь в образ.

— Вот оно что! — уважительно проговорил Дементьев и добавил с изрядной долей разочарования: — А я думал, вы здесь работаете... И долго вам еще осталось... вживаться?

— Теперь уж немного. Узнаю только, как девчата в лесных поселках влюбляются,— и сразу уеду...— фантазировала Анфиса.— А шляпу, между прочим, не так носят.— Бесцеремонно, на правах артистки, она поправила шляпу на голове инженера.— Вот так лучше будет.

— А я их никогда не носил! — признался Дементьев с внезапной откровенностью человека простого и доверчивого, готового при случае посмеяться над своим незадавшимся щегольством.— Знаете, купил для солидности! Глупо, конечно... Я ведь только в прошлом месяце институт окончил.

Анфиса с любопытством посмотрела на инженера.

— Зачем вы все это рассказываете? — удивилась она.— Ведь вам же это невыгодно.

— А чего там! — со смехом ответил Дементьев.— Видно птицу по полету.

— Вот и пришли.— Анфиса показала на двухэтажное здание конторы.— До свиданья.

— Как, уже? — вырвалось у Дементьева.— До чего же маленький поселок!.. Мы так и не познакомились.

Он поставил чемодан на снег и протянул руку. Оглушив Дементьева с Анфисой визгом, по улице промчалась стая мальчишек, вооруженных деревянными саблями.

— В Чапаева играют,— со знанием дела сказал Де-

ментьев и задержал руку Анфисы в своей.— Вы в областном театре работаете?

— В областном...— не очень-то уверенно ответила Анфиса, начиная жалеть уже, что пустилась на этот ненужный ей обман.

Преследуемый своими дружками, Петька Чуркин пулей пролетел между Анфисой и Дементьевым, разъединив их руки.

— Шустрый постреленок! — кисло похвалил Дементьев и пообещал Анфисе: — Буду в городе — обязательно спектакль с вашим участием посмотрю!

— Милости просим.

Анфиса ушла, гордо вскинув голову и держась преувеличенно прямо: так, по ее мнению, должны были ходить настоящие артистки. Окончательно очарованный Дементьев долго глядел ей вслед, потом сбил шляпу на затылок и поднялся по ступенькам в контору.

А Анфиса, дойдя до угла, бегом вернулась к конторе, прошмыгнула воровато в коридор и скрылась за дверью коммутатора.

У аппарата дежурила девица с серьгами, заменившая Надю.

— Ты что такая веселая? — удивилась она, присматриваясь к возбужденной Анфисе.

— Человека одного встретила.

— Ну и что?

— Так...

Анфиса вынула из ящика стола осколок зеркала, похожий на Африку, подержала в руке и снова спрятала в ящик, позабыв взглянуть на себя.

НЕЗАМЕНИМАЯ ТОСЯ

После позорного провала в первый день своей работы поварихой Гавриловна приняла все меры, чтобы избежать вторичной неудачи. Избушка украсилась плакатами: «Мойте руки перед едой» и «Мухи — разносчики заразы». На самой середке кухонного стола по-хозяйски возлегала замусоленная поваренная книга. Гавриловна поминутно заглядывала в нее, шевелила по-школярски губами и в точности следовала ученым советам.

А Тося раздобыла ватные брюки, и сугробы сегодня были ей уже не страшны. После вчерашней работы у нее

ныли все косточки, но Тося внушила себе, что главные трудности уже позади. Белоручкой Тося никогда не была, за свою недолгую жизнь ей приходилось и дрова колоть, и картошку копать, и коровники чистить. Ее выручила давняя рабочая хватка, и теперь с некоторым даже щегольством бывалого лесоруба она ловко орудовала легким, остро наточенным топориком.

С утра Тося поглядывала на Илью, приглашая его убедиться, что слов на ветер она не бросает и уже приноровилась к новой работе. Но Илья сегодня упрямо валил дерево за деревом, а в Тосину сторону даже и не смотрел. Тося никак не могла понять: то ли о плане он так заботится, то ли считает, что слишком ласков был с ней вчера. «Ладно,— решила она,— сочтемся».

Она подошла к толстой ветке, высоко занесла свой зеркальный топорик и вдруг увидела, что ветка отпилена от ствола. Илья валил деревья неподалеку, повернувшись спиной к Тосе, словно был тут совсем ни при чем. Вот он свалил ветвистую елку и по пути к следующему дереву отчекрыжил бензопилой самые толстые ветки, чтобы облегчить Тосе работу.

Сначала Тося надеялась, что девчата ничего не поймут, но вскоре заметила, что они старательно обходят спиленные ветки, догадавшись, для кого они предназначены.

— Неспроста все это,— сказала Надя, чуткая к чужому счастью.

— Старается, ирод! — беспечно откликнулась Тося, чтобы девчата не думали, что она от радости потеряла дар речи.

А Катя невинно спросила:

— С чего бы это, Тось, а? Такого у нас сроду не было.

— Чего-чего! — разозлилась Тося.— Помаленьку перевоспитывается человек, о всей бригаде заботится... На план нажимает!

— Знаем мы этот план! — фыркнула Катя.— Этот план у него всегда перевыполняется!

Она отошла к другому дереву, но Тосины муки на этом не кончились. Молчаливая Надя огляделась по сторонам и шепнула Тосе с таинственным видом:

— Нравишься ты ему...

— А что ж тут такого? — вызывающе спросила Тося, топнула ногой и пропела Наде в лицо:

Она ему понравилась.
А он ей... он ей...

Тося и раз и два топнула ногой, но то ли потому, что валенки никак не могли добраться до твердой земли и застревали в сугробе, то ли еще по какой причине, но стихи сегодня у нее что-то не вытанцовывались.

— Не выходит нынче...— виновато призналась она.

— И что он в тебе нашел? — удивилась Надя, придирчиво рассматривая Тосю.

— Как что?! — притворно рассвирепела Тося, пряча за своим громогласием тайную обиду.— Походка у меня красивая и опять же... глаза: один левый, другой правый!

— Тараторка ты! — разочаровалась Надя: кажется, она ожидала, что Тося откроет ей свою тайну и научит, как прибирать к рукам самых видных парней в поселке.

«А ты старая дева!» — подумала Тося, но вслух ничего не сказала: не потому, что боялась Нади, а просто язык как-то не поворачивался обижать ее, горемычную.

Надя потащила ветки к костру, а Тося усомнилась вдруг, правильно ли она делает, безропотно позволяя Илье помогать. Конечно, польза тут была явная, взять хотя бы легкий топорик, подаренный ей вчера, или эти вот отчекрыженные ветки. Но с другой стороны, если копнуть поглубже... Тося испугалась, что за какой-нибудь десяток паршивых елок навеки станет должником Ильи. И потом, принимая его помощь, она как бы признавала молчаливо, что одной ей не справиться с новой работой. Да и совсем не в работе тут было дело!

Она еще вчера заметила, что Илье нравится помогать ей, и смутно догадывалась, что он испытывает при этом какое-то особое, неведомое ей удовольствие. А Тося, к стыду своему, ничего такого не чувствовала и заподозрила, что Илья обхитрил ее: подсунул ей топор-железяку, а сам заграбастал золотые россыпи.

Скорей всего, Тося просто осторожничала на пороге новой для нее взрослой жизни. По неопытности своей она боялась продешевить и дать Илье гораздо больше, чем получить от него. Но какой-нибудь выгоды для себя Тося не искала: она хотела лишь во всем сравняться с Ильей, Катей и другими взрослыми людьми.

А Илья вошел во вкус и стал отсекать своей чудо-пилой не только толстые ветки, но и такую мелочь, какую Тосе ничего не стоило отрубить одним махом. Дав-

но уже никто так не заботился о Тосе... Она припомнила детскую мечту о старшем брате и поверила вдруг, что старший брат, окажись он у нее, непременно был бы похож на Илью. Не обязательно тютелька в тютельку, но брат ее наверняка был бы таким же сильным и добрым, как Илья, а может быть, даже таким же красивым... Ведь бывают же у неказистых сестер вполне приличные и видные собой братья? Не всегда, даже не часто, но все-таки бывают: наследственность — такое темное дело!

И Тося устыдилась недавних своих скопидомских мыслей. Чего ради вздумалось ей торговаться, ведь сама же терпеть не могла жадных людей? Прямо как на толкучке: ты — мне, я — тебе... «Ладно, пускай помогает!» — великодушно решила Тося, и ей самой понравилось, что, при всех своих недостатках, она в общем-то человек щедрый и не мелочный, и старшему брату, объявись он вдруг, не пришлось бы за нее краснеть.

Случилось так, что, когда Тося подтащила к ближнему костру охапку веток, с другой стороны в это же время к костру подошел Илья. На виду у всех, как оправдание, он держал в руке незажженную папиросу.

— Ну как,— дружелюбно спросил Илья,— елки в могилу еще не вогнали?

— А что поделаешь? Лес тут смешанный!

Илья припомнил, как просвещал вчера Тосю насчет местного леса, и подумал одобрительно: «Пальца в рот ей не клади!» Посмеиваясь, Тося молча смотрела на Илью, и вид у нее сейчас был такой, будто она не только читала все его мысли, но и знала о нем что-то такое подспудное, о чем он и сам еще не догадывался. Илья не выдержал ликующего ее взгляда и отвел глаза.

— Ты чего это? — забеспокоился он.

— Знаешь,— доверчиво сказала Тося,— в клубе на танцах ты один, а в лесу совсем другой!

— Какой еще другой? — настороженно спросил Илья, подозревая очередной подвох.

— На человека похожий... Даже смотреть на тебя можно!

— Что ж, смотри,— разрешил Илья,— не жалко.

Катя кашлянула раз, другой, напоминая о вчерашнем их уговоре. Тося насупилась, но виду не подала, что слышит ее. Тогда верная Катя, стойко охраняя Тосю от нее же самой, зашлась в надрывном, прямо-таки чахоточном

кашле. Тося сердито взмахнула рукавицей, подтверждая, что сигнал достиг цели.

— Что это с Катериной? — полюбопытствовал Илья.

— Плеврит-аппендицит... Слышь, ты мелких веток не пили, а то... совсем у меня топор заржавеет.

— Ишь ты! — подивился Илья и зашагал к своей бензопиле.

Тося видела, как по дороге он сунул в рот папиросу, которую так и не успел прикурить у костра, и чиркнул спичкой. Значит, спички у него были, зачем же он тогда подходил к костру? И все-то он хитрит! Облачко дыма выпорхнуло изо рта Ильи, сизой тенью пробежало по белому стволу березы и воровато нырнуло в густую темень елки.

— Вот тебе и смешанный лес...— пробормотала Тося.

Она подумала, что на старшего брата Илья все-таки не тянет, но сожаления почему-то не почувствовала.

— Все перевоспитываешь? — ехидно спросила Катя, швырнула в костер тяжелую ветку и вдруг запела высоким голосом первой в поселке певуньи:

Хороша я, хороша...

Тося весело подхватила:

Да плохо одета!

Катя погрозила ей кулаком, чтобы Тося не портила неуместным своим весельем старинную грустную песню, и они в лад повели:

Никто замуж не берет
Девушку за это...

И другие девчата присоединились к песне, одна лишь Надя работала молча: сильными мужскими ударами отсекала ветки и целыми возами стаскивала их в костер. Мысли ее бродили где-то далеко. Она так яростно рубила сучья, словно вымещала на них злость за обидную свою некрасоту и за всю свою незадавшуюся жизнь. Похоже, и в лесу Надя не избавилась от невеселых дум, которые выжили ее с коммутатора.

Гавриловна в последний раз попробовала варево, сама себе удовлетворенно покивала головой, захлопнула поваренную книгу и затрезвонила топором в буфер, сзывая лесорубов на обед.

— Посмотрим, чем нас сегодня порадуют! — загадал Филя, подставляя миску.

Он хлебнул щей и тут же выплеснул их на снег. И другие лесорубы выплеснули. Сегодняшняя парующая капуста встретилась на снегу со вчерашней замерзшей.

— Опять двадцать пять!

— Тосю назад давайте!

— Только продукты переводит!

— Тоську-у!..

Гавриловна оправдывалась, размахивая поваренной книгой:

— Ничего вы не понимаете! Я по всем правилам варила, как в книге написано: и капусту крупно крошила, и морковку звездочкой резала!

— Вот у вас и получилась морковка с капустой, а у Тоси настоящие щи были,— сказала Вера.

— Это все Сашка с Илюхой надумали, за процентом погнались! — крикнула Катя.— Вернуть надо Кислицу!

Наиболее дальновидные лесорубы вынули из сумок бутылки с молоком. Сашка шепнул Илье:

— Обмишурились мы с тобой.

— Кто ж знал, что она такая незаменимая?

Илья с невольным почтеньем покосился на Тосю, и та вдруг показалась ему красивей, чем он привык считать.

— Ничего, есть можно,— покривила Тося душой, зажмурилась и проглотила ложку щей.

— Да брось ты, Тоська, благородство показывать! — налетела на нее Катя.

Мерзлявый подошел к мастеру Чуркину и, барабаня ложкой по столу, запел ему в лицо:

Подавай расчет, хозяин,
Мне работа не мила...

Чуркин пробормотал:

— Дела-а...— и по стародавней своей привычке занес было руку, чтобы почесать в затылке, но Филя, подкравшись сзади, перехватил его руку.— Тебе чего?

— Принимай, мастер, меры! Я чегой-то скучный становлюсь, когда в животе у меня пусто!

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА

В кабинете начальника лесопункта за столом сидели Игнат Васильевич и Чуркин. Дементьев стоял у стены

и рассматривал схему лесовозных путей. Как всегда, за письменным столом у Игната Васильевича был такой вид, точно он на минуту забежал в кабинет и по ошибке сел на чужое место в ожидании всамделишнего начальника.

— И с замужними я говорил, и с девками,— докладывал Чуркин,— никто не хочет в стряпухи идти. Помнишь, после войны отбою не было, а теперь дефицитная стала профессия. И как мы выкрутимся — ума не приложу...

Вошел Илья, таща за собой упирающуюся Тосю. Игнат Васильевич так живо вскочил, будто в кабинет к нему пожаловал сам председатель совнархоза.

— Вот что, товарищ Кислицына,— бодрым голосом сказал он, услужливо придвигая к Тосе стул,— придется тебе вернуться на кухню.

— И не подумаю! — Тося с непримиримым видом затянула потуже концы платка.— Не имеете такого права!

Игнат Васильевич смущенно крякнул и покосился на Дементьева. Ему хотелось и Тосю поскорей уломать, и перед новым техноруком выказать себя с лучшей стороны, чтобы тот не думал, будто заехал в такую глушь, где в начальниках лесопункта медведи ходят.

— Да ты погоди, не лезь в бутылку,— попытался урезонить он Тосю.— Ты пойми: тебя, девчонку, сколько народу просит. И товарищи по работе, и все мы... Ты уважь нашу просьбу, девушка, уважь!

— Все равно не пойду,— не сдавалась Тося.— Этак вы все гуртом навалитесь, что от меня останется? Я в газету напишу, грамотная!

— Да постой ты, затараторила... Не захочешь — не пойдешь, никто тебя насильно не заставит. Но ты о нашем лесопункте подумай: вчера из-за этой ерунды с питанием ваш участок недодал четырнадцать кубиков, а сегодня уже двадцать два. Если и дальше таким макаром пойдет, мы из-за тебя весь квартальный план завалим... Где-то люди ждут древесины, а мы им — кукиш с маслом. «Почему?» — спросят. «Да вот Тося Кислицына не хочет вам помочь!» Они дом заложили, а достроить нечем. Дорогу в пустыне тянут, а шпал нехватка. В шахту рабочие спустились уголек рубать, а крепежного лесу нету, и получается у шахтеров сплошной перекур с дремотой... И все из-за тебя!

Тося сникла было под тяжким грузом, взваленным

на ее плечи, но тут же рассердилась на себя за то, что так легко клюнула на нехитрую удочку Игната Васильевича.

— Вы меня не агитируйте! Я и сама знаю, куда наш лес идет, стенгазету читаю. И почему я одна в ответе? Что я, крайняя?.. Виновата разве я, что у меня щи получаются? Я ведь ни на каких курсах не училась: просто варю и пробую на вкус, солю в меру и луку для заправки не жалею. Так-то каждый сумеет, были бы продукты.

— А вот Гавриловна не сумела! — живо сказал Игнат Васильевич.— Сама видела. Не прибедняйся, Тося, талант у тебя к этому делу!

Тося криво усмехнулась:

— Так уж и талант? Скажете тоже!

— Талант, и самый настоящий! — уверил Тосю начальник лесопункта.— Это все равно как Пушкин: берет чистый лист бумаги и пишет увлекательные стихи: «Роняет лес багряный свой убор» или «Одна в глуши лесов сосновых давно, давно ты ждешь меня...»

Игнат Васильевич победоносно покосился на Дементьева. А Тося сперва сильно удивилась тому, что их начальник, оказывается, так хорошо знает Пушкина. Но тут же она припомнила, что оба стиха были о лесе, и решила, что знать такие стихи, наверно, обязаны все руководящие работники лесной промышленности.

— ...А я, к примеру, возьму тот же лист,— Игнат Васильевич для наглядности взял со стола чистый лист бумаги и помахал им в воздухе,— и у меня получится: «Та-ра-ра, выезжали трактора»... Ведь так?

— Вам видней, что там у вас получится,— дипломатично ответила Тося.— Что ж, раз мне щи удаются, так я теперь на всю жизнь к кухне привязана? Из-за этой кулинарии... некоторые думают, что я не только на работе, а и в жизни подсобная...

Тося быстро взглянула на Илью, который, опустив голову, смирно сидел в сторонке и мял в руках пыжиковую свою шапку. К столу подошел Дементьев. Сначала его забавляла та серьезность, с какой грузный начальник пытался убедить маленькую повариху вернуться на кухню, и даже Пушкина себе в подмогу мобилизовал. А потом разговор не на шутку заинтересовал молодого инженера.

— Можно мне? — спросил он у Игната Васильевича

и по студенческой привычке даже руку приподнял.— Вы одно поймите, товарищ Киселева...

— Кислицына я! — самолюбиво перебила его Тося.

— Виноват, товарищ Кислицына, вы одно поймите: дело к тому идет, что скоро мы всех женщин освободим от тяжелой работы в лесу. Что ж вы, одна против всех? Против всей нашей политики в женском вопросе?

Заслышав, что ее обвиняют в таких тяжких прегрешениях, Тося сразу оробела. Она испугалась вдруг, что ее и отсюда попрут, как вытурили из совхоза, и она так и не доведет до конца одной важной перевоспитательной работы.

— Да не против она! — заступился Илья за Тосю.— Просто ветер еще у нее в голове!

— Ты по себе не суди! — посоветовала ему Тося, а начальству сказала: — С обрубки сучьев я могу и уйти, но только не на кухню. Я... это самое, расти хочу, овладевать новой профессией, вот!

— И расти себе на здоровье,— разрешил Игнат Васильевич посвежевшим после передышки голосом.— Будешь хорошо работать — переведем в столовую, главным поваром станешь... У тебя такие перспективы!

— Да ну их! — забраковала Тося все перспективы.— Не буду я подсобницей, так и жизнь пройдет.

Игнат Васильевич сердито посмотрел на Илью.

— Откуда ты взяла, что питание — подсобная работа? Хорошенькое дело! Сама видишь: не пообедали лесорубы — и выработка сразу упала. Питание — такая же основная работа, как и лесозаготовки, ведь правда? — обратился начальник к Чуркину.

— Самая что ни на есть основная! — с готовностью подтвердил Чуркин и вытер губы, будто только что вкусно пообедал.

— И кто тебе такую чушь ляпнул?! — загремел Игнат Васильевич, нащупав слабое Тосино место.— Скажи, кто — и я ему, дезорганизатору, сразу выговор закатаю!

— Да так, один человек...— нехотя проговорила Тося, а про себя решила: «Хоть режьте — не скажу!»

Игнат Васильевич вытер платком вспотевшее лицо.

— Дайте ей подумать,— снова заступился Илья за Тосю.— Нельзя же так сразу требовать...

Тося с благодарностью посмотрела на единственного человека, который защищает ее. Но тут же ей пришло в голову, что Илья действует сейчас как бригадир, заин-

тересованный в добавочной рабочей силе. И потом: если она уйдет с обрубки сучьев — кому он станет тогда помогать? Наде не очень-то поможешь! Вот тут и разберись, для кого он старается...

— Раньше требовалось думать, когда сманивал ее с кухни! — накинулся Игнат Васильевич на Илью.— Я еще до вас с Сашкой доберусь. Тоже мне, агитаторы!.. Ну так как же, Тося? Ты учти: человек не всегда делает то, что ему хочется, а чаще то, что другим нужней... Надо! Понимаешь?

Тосе вдруг стыдно стало, что она отнимает так много времени у солидного Игната Васильевича, который ей в отцы годится. Она опять оробела и украдкой покосилась на Илью, спрашивая взглядом, как ей быть. Все-таки он бригадир и должен руководить своей бригадой...

Игнат Васильевич отвернулся, чтобы не мешать сепаратным их переговорам. Илья развел руками и закивал головой, советуя Тосе согласиться.

— Если основная и... всем надо,— сдалась Тося,— тогда что ж, конечно...

— Вот спасибо, удружила! — обрадовался Игнат Васильевич и двумя руками тряхнул Тосину руку.— Но ты уж постарайся, а то ребята совсем отощали.

— А я просто не умею плохо готовить,— виновато сказала Тося.— Так уж у меня получается, и сама не рада... Только в завалюхе этой работать дальше я несогласная!

— Видишь ли,— доверительно объяснил Игнат Васильевич,— мы в том массиве уже заканчиваем лесоразработки. Нет смысла строить там капитальную столовую... Нерентабельно, понимаешь?

Но Тося, живя в одной комнате с Верой-заочницей, привыкла уже к ученым словам, и сбить ее с позиции было не так-то просто.

— Значит, раньше надо было строить,— твердо сказала она.— Когда... это самое, рентабельно было!

Илья одобряюще усмехнулся, а Игнат Васильевич ненужно переставил на столе пресс-папье и покосился на Дементьева.

— А ты что, зябнешь там? Хочешь, мы тебе полушубок со склада выпишем?

Тося хмыкнула и сказала наставительно, на правах человека с общепризнанным талантом:

— В полушубке щей не сваришь! Да и не во мне

дело: я-то закаленная. А вот картошка зябнет! Я уж укутываю ее, укутываю, ничего не помогает... И люди обедают, не раздеваясь. Против гигиены это! Я в газете читала: есть такие вагончики-столовые, можно по рельсам гонять. Сегодня здесь, а завтра там! Вот бы нам такой...

— Пока вагончика добьешься — так и зима пройдет! — умудренно проговорил Чуркин.

— А вы добивайтесь,— посоветовала Тося.— На будущий год пригодится: эта зима не последняя.

— Яйца курицу учат...— пробормотал Чуркин.— Дожили!

А Дементьев поддержал Тосю:

— Верно, есть такие вагончики: на одной половине кухня, а на другой столовая.

Игнат Васильевич не принял борьбы на два фронта.

— Ладно, мы этот вопрос отрегулируем,— хмуро сказал он и снова переставил пресс-папье на столе.

Тося вопросительно посмотрела на Дементьева. Тот кивнул головой, обещая спасти ее картошку и постоять за гигиену.

— Значит, договорились,— подвела итог Тося.— До свиданьица.

Она пошла к выходу. Даже не оборачиваясь, Тося знала, что Илья идет за ней, и надбавила шагу, чтобы он не думал, будто она его поджидает. Пусть уж лучше он ее догонит, если она ему так нужна.

— Ну и чертова девчонка! — пожаловался Игнат Васильевич техноруку, вытирая шею.— В пот вогнала... Вот чем мне приходится тут заниматься, а вы говорите «модернизация»...

А Тося с Ильей вышли на крыльцо конторы и остановились. Илье казалось почему-то, что Тося ждет от него сейчас, чтобы он поблагодарил ее. Признаться, его и самого подмывало сказать Тосе что-нибудь хорошее, порадовать незаменимую повариху. Но Илья слишком редко чувствовал себя кому-нибудь обязанным, мог по пальцам перебрать всех, кого он благодарил в своей жизни, и так уж получилось, что девчат среди них пока что не было. И теперь с непривычки он просто не знал, с какого боку подступиться к этому нелегкому делу.

Вообще-то Тося не очень нуждалась во всяких там благодарностях, но на этот раз, после того как она выручила весь лесопункт со всеми его тракторами, бензопилами, штабелями, лесорубами и начальством, ей

все-таки хотелось услышать от Ильи хотя бы одно словечко: «Спасибо». Небось не отвалился бы у него язык! Уж если сам ничего доброго к ней не чувствует, так мог бы поблагодарить от имени бригады, неужели им до сих пор не надоели помои Гавриловны?

— Эх, зря я картинки тогда порвала! — пожалела Тося, великодушно давая Илье возможность собраться с мыслями.

Илья молча полез в карман за папиросами. Лафа этим ребятам! Как что — так закуривают! Пока папиросы со спичками достанут, да чиркнут, да пустят дым — глядишь, самое трудное время и пробежит. Вроде и не делают ничего, а все при деле. Умеют, черти стоеросовые!

А Тося была некурящей, и ей ничего другого не оставалось, как торчать истуканом на крыльце конторы. Она завистливо покосилась на Илью, разминающего папиросу — ведь папиросу еще и разминать можно целую минуту, а потом еще полминуты стучать мундштуком по спичечному коробку или по ногтю — выбирай, чего душа желает,— и строго предупредила:

— Ты только ничего такого не думай. Я совсем не из-за тебя на кухню вернулась, а... для пользы дела. Надо, понимаешь?

— А я ничего и не думаю,— угрюмо отозвался Илья, постукивая папиросой по ногтю большого пальца.

Значит, он предпочитает ноготь...

— Вот это правильно! — одобрила Тося и сбежала с крыльца, не дожидаясь, пока Илья начнет чиркать спичкой и пускать дым.

НОВАЯ МЕТЛА

Дементьев с Чуркиным обходили делянку.

— Волоки у вас никудышные, только тракторы калечить! — распекал мастера Дементьев со всем пылом начинающего начальника.— А если эти... подснежники не уберете, вам не поздоровится!

Он пнул ногой хлыст, занесенный снегом.

— Новая метла, она, конечно...— пробормотал Чуркин.

Они подошли к кривобокой и щелястой Тосиной кухне, переделанной из летнего навеса. Выпавший ночью снег запорошил постыдные лохмотья капусты, оставшие-

ся от Гавриловны, и теперь ничто не напоминало о том, что Тося покидала кухню и пробовала свои силы на основной работе. И, как встарь, от котла валил дразнящий аромат.

— А это что за избушка на курьих ножках? — поинтересовался Дементьев и проглотил набежавшую слюну.— Неужто столовая?

— Она самая...— Чуркин отвернулся от неказистых Тосиных хором и уточнил: — Филиал.

Убогий сарай выглядел особенно нелепо рядом с мощными трелевочными тракторами.

— Я думал, повариха привередничает, а за такие инженерные сооружения судить надо. Это ж позор для всего лесопункта! — стал горячиться Дементьев.

Чуркин почесал в затылке.

— Так-то оно так, но есть и своя выгода. Не засиживаются у нас в перерыве: пообедают — и сразу за работу.

— В такой халупе не засидишься!

— Я же и говорю,— поспешно поддакнул Чуркин.— Народ привычный, опять же костры...

— Костры! — с ненавистью выпалил Дементьев и зашагал к ближнему трактору.

Он сосчитал все чокеры и сам опробовал тракторную лебедку. За придирчивой строгостью Дементьева угадывалась робость новоиспеченного инженера. Еще на институтской скамье он решил, что участок его будет передовым, но с чего начинать сейчас, не знал и хватался за все сразу.

— Товарищ технорук! — окликнула Дементьева бойкая Катя.— Ракету уже на Луну запустили, а мы тут все по старинке топориками тюкаем! Летом еще туда-сюда, а зимой до того в снегу вываляешься, не разобрать, кто ты: женский пол или дед-мороз?.. И домой придешь — сразу в сон кидает, хоть вечернюю школу бросай.

— Поменьше на Камчатке сиди,— выслуживаясь перед техноруком, сказал Чуркин.

— Спасибо за совет,— поблагодарила мастера Катя.— До ваших лет доживу — так и сделаю...— И, повернувшись к Дементьеву, Катя дала наказ: — Придумать что-нибудь надо, товарищ технорук. Пошевелите своей инженерной мыслью!

Филя, крепивший неподалеку чокеры, с удовольст-

вием прислушивался к тому, как языкастая Катя «дает прикурить» новому начальству. А Дементьев, внимая Катиному наказу, все старался стать так, чтобы не видеть жарко пылающего костра.

— Тут и думать нечего, все давно уже придумано. Будем вместе с вами ломать эту кустарщину.

— Я хоть сейчас! — согласилась Катя.— Что это вы все от костра отворачиваетесь? Дым глаза ест?

— Хуже: душу! Стыдно смотреть, как миллионы на ветер летят.

— А я тут при чем? — опешила Катя.— Мне как приказывают...

— Я вас, девушка, и не виню.

Дементьев махнул рукой и пошел прочь от костра.

— Чует мое сердце, хватим мы с ним горя,— опасливо сказал Длинномер.

А Мерзлявый, верный себе, добавил:

— Из этих интеллигентов самые лютые начальники и получаются!

— Нет, здесь что-то другое...— предположил Сашка.

Веселый звон поплыл над лесом. Тося охаживала топором буфер и кричала-заливалась:

— Обе-ед! Навались, основные работнички! Поспешай, отощавшие!

По пути на верхний склад Дементьев с Чуркиным снова подошли к Тосиной избушке. В охотку работали ложками лесорубы.

— Отобедайте с нами,— пригласил Чуркин инженера.

Лесорубы потеснились, и Дементьев сел за стол. Несознательная Тосина рука самовольно, без ведома хозяйки, зачерпнула было для Дементьева щей погуще, но Тося тут же заметила этот подхалимский поступок, опрокинула в котел нечаянный свой улов и плеснула в миску начальника самых что ни на есть жидких щей — жиже некуда.

Илья высыпал к ногам Тоси охапку сухих звонких дров.

— На вот...— смущенно сказал он, старательно смотря мимо Тоси.

— Илюшка, ну зачем ты! Тут я и одна управлюсь.

— Привык тебе помогать...— буркнул Илья и, пря-

часъ за науку, придирчиво спросил: — Ты про условный рефлекс слыхала?

У Тоси глаза полезли на лоб.

— Так это ж у обезьян бывает...

— И на том спасибо.

— Ой, Илюшка! — спохватилась Тося.

— Ты как меня называешь? — заинтересовался вдруг Илья.

— Илюшка... А что?

— Вроде и не очень нежно, а у тебя как-то ласково получается! — подивился Илья.

— Голос у меня такой...— оправдалась Тося.

Отведав знаменитых Тосиных щей, Дементьев сказал громко и раскатисто, будто на митинге:

— Я думал, преувеличивают, а она и в самом деле вкусно готовит!

«Видать, не очень-то тебя в институтской столовке баловали»,— подумала Тося и пожалела, что кормит вчерашнего студента одной жижей.

Дементьев отодвинул пустую миску.

— Самый настоящий талант!

— Талант! — как эхо повторил Чуркин, прикидывая: простым выговором он отделается на этот раз или молодой технорук влепит ему «строгача».

Тося насупилась и сердито загремела черпаком. Илья с миской в руке придвинулся к ней:

— Ты чего?

— Еще и смеются... У всех таланты как таланты: сплясать или спеть, машину там сочинить, а тут надо же! — Она в сердцах пнула котел, ушибла ногу и скривилась от боли.— Ох и невезучая я!

АНФИСА ЗАНИМАЕТСЯ САМОКРИТИКОЙ

Коротая время на дежурстве, Анфиса делилась новостями с Марусей — телефонисткой соседнего лесопункта:

— Живу помаленьку, замуж пока не собираюсь... Новый технорук? Говорят, строгий... Ты своего охмуряй, а нашего не трогай!.. На микропорке туфли и у нас выбросили...

Вот уже целый год Анфиса говорила с Марусей чуть ли не каждый день, а в глаза ее так и не видела. Про себя она давно уже решила, что Маруся похожа на Ка-

тю — не нынешнюю, а такую, какой станет Катя, когда выйдет замуж, поживет год-другой с Сашкой и разочаруется в семейной жизни. Позевывая, она перечисляла Марусе, какие товары есть у них в магазине, когда дверь отворилась и в коммутатор вошел Дементьев.

— Вы?! — удивился он.

Анфиса поспешно повесила трубку.

— Да вот...— виновато сказала она, обводя рукой комнату.— И сама не знаю, зачем я тогда артисткой назвалась... Вы уж извините меня, Вадим Петрович.

— Что вы, что вы! — обрадовался Дементьев.— Это же чудесно, что вы здесь работаете и вам не надо ни в кого... как это?.. вживаться. Не знаю, как другие, а я бы не хотел, чтобы в меня вживались... Брр!.. И главное, вам никуда не надо уезжать. А талант артистический у вас определенно есть: так меня разыграть!..— Он восхищенно покрутил головой, припомнив первую их встречу.— Тут вот какое дело: не смогли бы вы отпечатать на машинке небольшую бумаженцию? Секретарша заболела, а я только одним пальцем стучу. Как дятел!

Дементьев показал, как стучит он на машинке одним пальцем.

— Могу, конечно, могу, что за вопрос,— охотно согласилась Анфиса.— Прежнему техноруку я все печатала. Вот только...

Она кивнула на аппарат.

— А я сюда машинку принесу. Нет такого положения, из которого не было бы выхода!

Пока Дементьев ходил за пишущей машинкой, Анфиса успела взглянуть на себя в зеркало, внесла кое-какие срочные поправки в прическу и поубавила помады на губах.

Дементьев водрузил старенький «Ундервуд» на стол.

— Ну, что там у вас? — небрежно спросила Анфиса, вкладывая чистые листы бумаги в машинку.

— Вверху: «Главному инженеру леспромхоза», а потом все по порядку.

Дементьев положил на стол листок черновика. Анфиса усмехнулась его крупному ученическому почерку и бойко застучала на машинке.

— Как вы печатаете! — восторженно сказал Дементьев.— Вы что же...

— И машинисткой работала... Кем только, Вадим Петрович, я не работала!

Не переставая печатать, Анфиса снизу вверх глянула на Дементьева. Пальцы ее уверенно порхали над машинкой, безошибочно находя нужные клавиши.

— Вот тут неразборчиво.

Дементьев склонился над черновиком:

— «Давно уже пора в корне перестроить всю технологию лесоразработок на участке: вывозить лес в хлыстах»... И так далее.

Анфиса быстрей прежнего застучала на машинке. Дементьев шагал по комнате и старательно отводил глаза от Анфисы, чтобы не выдать своего восхищения. Он отводил глаза, а они снова и снова искали и находили ее, будто их магнитом притягивало. Обманывая себя, Дементьев думал, что любуется лишь ловкими пальцами Анфисы, а красота ее тут совсем ни при чем. Зазвонил телефон.

— Послушайте, кто там,— попросила Анфиса.

Дементьев с готовностью поднес трубку к уху.

— Шпалорезку требуют.

— Вот тот шнурок переставьте туда,— показала Анфиса и, глядя на неуклюжего Дементьева, застывшего с шнурком в руке, припомнила вдруг, как ловко выполнял все ее команды Илья.— Да не туда! И ничего-то вы не умеете, а еще институт окончили...— Анфиса встала и, прежде чем соединить нетерпеливого абонента со шпалорезкой, заботливо спросила: — Обиделись?

— Нет, что вы! — весело сказал Дементьев, будто Анфиса похвалила его.

Вот удивился бы Чуркин, если б увидел сейчас Дементьева! Анфиса словно подменила его: придирчивый начальник бесследно исчез, а в комнате стоял смущенный, робковатый человек, неопытный в житейских делах.

Переставляя шнур на доске коммутатора, Анфиса проговорила в трубку:

— Ничего, подождете, не горит у вас.

— В самом деле! — возмутился Дементьев, целиком становясь на сторону Анфисы.— Уж и полминуты подождать не могут. Трудно вам тут работать...

Анфиса прилежно стучала на машинке. Кажется, ей доставляло истинное удовольствие печатать для молодого технорука. Было сейчас в Анфисе что-то новое, неспокойное. Изо всех сил она хотела бы понравиться Дементьеву, но обычное ее дешевое кокетство куда-то запропало.

А Дементьеву надоело бороться с самим собой. Он стоял теперь рядом с Анфисой и, не таясь, в упор смотрел на нее восхищенными глазами. Анфиса чувствовала на себе пристальный, любующийся взгляд Дементьева, но у нее не хватало смелости поднять голову и посмотреть на него. Она печатала все быстрей и быстрей, словно убежать хотела от Дементьева, испугавшись вдруг того нового и непрошеного, что входило в ее жизнь. Пишущая машинка стучала пулеметом. Кажется, Анфиса позабыла на время о хваленой своей красоте, и даже непривычная робость проглядывала в ней.

И может быть, прежде мы несколько поспешили, безоговорочно зачислив Анфису в хищницы...

Анфиса громко поставила последнюю точку и вынула листы из машинки.

— Большущее вам спасибо! — с чувством поблагодарил Дементьев.— И чисто как! Я бы никогда не сумел... Вот только здесь мы с вами недосмотрели: «вследствие» на конце «е» надо...— И поспешно добавил, боясь, что обидел Анфису: — Конечно же, это опечатка. В такой обстановке...

Он кивнул на доску коммутатора.

— Нет, Вадим Петрович, это не опечатка,— очень серьезно сказала Анфиса, будто говорили они о чем-то неизмеримо более важном, чем ошибка ее в правописании.— Просто...— Она запнулась и докончила скороговоркой: — Не теми вещами я в школе занималась, отличная учеба меня не прельщала!

Дементьев недоверчиво посмотрел на Анфису, но и тут быстро нашел выход:

— А знаете, для телефонистки и... артистки это не такой уж большой грех! Ведь правда? Вот если б вы учительницей были — тогда совсем другое дело...— И закончил убежденно: — В общем, не горюйте, вы и так чудесная девушка!

— Так я вам и поверила! — привычно-игриво сказала Анфиса.— Шуточки, Вадим Петрович! — Она взглянула в открытое, чуждое всякой хитрости, как бы распахнутое настежь лицо Дементьева и неожиданно для себя призналась: — И не такая уж я хорошая.

Анфиса тут же прикусила губу, не понимая, чего ради она сама себя разоблачает. Зазвенел телефон.

— А на лыжах вы ходите? — быстро спросил Дементьев, ловя руку Анфисы, протянутую к трубке.— По-

дождут... Пойдемте в воскресенье на лыжах? Покажете мне здешние места, должны же вы помогать молодому специалисту знакомиться с его участком?

— Сходим,— согласилась Анфиса, порываясь взять трубку.— Только имейте в виду, у нас это не принято. Можете на сплетню напороться.

— А пусть их! — беспечно сказал Дементьев.— Вы сами-то не боитесь?

Анфиса покачала головой.

— Вот и отлично!

Он унес пишущую машинку. Анфиса с застывшей на лице улыбкой засуетилась у доски коммутатора, сказала в трубку с неведомой ей раньше виноватинкой в голосе:

— Сейчас, Маруся, сейчас! Да не сердись ты, здесь такое дело...

ИЛЬЯ НАДУМАЛ УЧИТЬСЯ

— Седьмой класс тут занимается?

Илья стоял в дверях и с любопытством разглядывал тесный школьный класс. На доске еще сохранились каракули малышей из дневной смены. Великовозрастные ученики вечерней школы с важным видом восседали за низенькими партами. Илья хорошо знал всех этих парней и девчат, встречался с ними каждый день на работе, но сейчас в них было что-то новое, пока еще не до конца ясное ему. Даже хулиганистый Филя, оставаясь дебоширом и пройдохой, заметно переменился и выглядел теперь этаким сорванцом-второгодником, фигуряющим своей бесшабашностью перед тихими зубрилами-отличницами.

И Тосю, затерянно сидящую на задней парте в углу, Илья заметил сразу же, но в ее сторону не смотрел. Он боялся, что Тося, чего доброго, вобьет себе в голову, будто он пришел в школу ради нее, и станет слишком много о себе воображать.

— Здесь седьмой непромокаемый! — отозвался Филя.— А ты что, тоже на старости лет надумал учиться?

— Да вот решил подковаться теоретически...

— Садись,— разрешил Филя,— мест свободных много.

Не глядя на Илью, Тося подвинулась на своей парте, освобождая местечко рядом с собой. Илья подсел к Тосе,



с трудом втиснувшись в малюсенькую парту. И сразу мысли его как-то сами собой настроились на ученический лад; он даже заподозрил, что тоже, наверно, смахивает сейчас на прилежного школяра.

— А у нас новичок! — порадовал Филя учительницу математики.

— Что же это он в середине года?

— Так я ведь...— начал было объяснять Илья.

— Встань! — горячо шепнула Тося.— Вот человек!

Илья непонимающе покосился на нее и заметил, как Тосины глаза округлились от страха.

— Встань!.. Встань!..— дружно подсказывали со всех сторон новичку, давно уже перезабывшему все школьные порядки.

Илья неохотно поднялся.

— Седьмой класс я еще до армии кончил. Припомню, а с осени в восьмой пойду.

— Что ж, логично,— сказала учительница.— Садитесь. А к доске мы попросим...

Она оглядела разом поскучневшие лица здоровенных своих учеников и задержалась взором на Тосе. Отгородившись портфеликом от Ильи, Тося отчаянно засигналила растопыренными пальцами, прося не вызывать сегодня к доске. Смотрела Тося так умоляюще, что учительница пожалела ее.

— Что ж, Кислицына у нас недавно была, потревожим-ка товарища... Спиридонова.

Филя крякнул и пошел к доске с видом человека, обреченного на верную гибель. Девчата на первой парте зашушукались, с проказливым любопытством поглядывая на Илью. Тося отодвинулась от своего соседа, жалея уже, что пустила его к себе за парту, и стала возиться с портфелем, который сегодня никак не хотел открываться. Илья с интересом наблюдал, как Тося безуспешно воюет с портфелем.

— Ну, чего пришел? — грозным шепотом спросила она.— Ведь каждый день в лесу видимся. Мало тебе?

— Ты и учиться мне запретишь?

— Не притворяйся, терпеть не могу обманщиков! — прошипела Тося, презирая Илью за все его хитрости, шитые белыми нитками.

Она неподкупно отодвинулась на самый краешек парты и с новой силой стала теребить забастовавший портфелик. Сжалившись над Тосей, Илья легонько нажал на

замок — и портфель, будто только этого и ждал, сразу же послушно раскрылся.

— Просили его!

Тося вынула из портфеля клеенчатую общую тетрадь и застрочила с места в карьер, повернувшись боком к Илье.

— А быстро ты пишешь! — удивился Илья.— Прямо стенографистка!

Платя добром за добро, Тося выдрала из середки тетради двойной лист и положила на парту перед Ильей. Тяжело вздохнув, Илья пошарил в одном кармане, в другом — и вытащил на свет божий тупой огрызок карандаша. Тося тут же отобрала у него жалкий огрызок, позорящий высокое звание ученика вечерней школы, и забросила под парту, а взамен вручила Илье большой, остро отточенный карандаш. Илья вздохнул мрачней прежнего, пододвинул к себе лист и покорно начертал: «Урок № 1».

НАДЯ С КСАН КСАНЫЧЕМ ОБЗАВОДЯТСЯ МЕБЕЛЬЮ

Склонившись над полотнищем стенгазеты, Вера рисовала карикатуру на мастера Чуркина, спящего в медвежьей берлоге. Надя только что принесла с улицы мерзлое белье; негнущаяся рубашка Ксан Ксаныча пугалом растопырила рукава. Катя штопала чулок, напялив его на перегоревшую электрическую лампочку. Заложив руки за голову, Анфиса лежала одетая на койке поверх одеяла и смотрела в потолок.

В комнату вбежала румяная с мороза Тося, погрела руки над плитой.

— Кусается морозяка! — Она вынула из кармана письмо, помахала в воздухе.— Мам-Вера, заказное!

Вера протянула руку за письмом.

— Дудки! Сначала спляши!

— Не умеет она,— строго сказала Надя.

— А чего тут уметь? — Тося топнула ногой, вдохновляя себя на сочинительство, и, приплясывая, зачастила:

Письмецо я получила,
Пятки все свои отбила.
Вот так барыня!
Ай да ба-а-а...

Надя выхватила у Тоси письмо и подала Вере. Глянув на конверт, Вера шагнула к плите и бросила письмо в огонь.

— ...рыня-а...— растерянно докончила Тося, во все глаза смотря на Веру: она все еще не могла привыкнуть к тому, что Вера сжигает письма, не читая их.

— От мужа? — тихо спросила Катя с видом человека, который знает, что причинит своим вопросом боль, но никак не может преодолеть жгучего любопытства.

Вера коротко кивнула в ответ и склонилась над стенгазетой.

— Какие часики в магазине выкинули! — восторженно сказала Тося, чтобы отвлечь внимание девчат от Веры.— Маленькие-маленькие, а стекло такое выпуклое, увеличительное...

— Видела я эти часики,— мрачно отозвалась Катя.— Цена у них тоже увеличительная.

Тося плеснула в кружку кипятку, заглянула через Верино плечо и одобрила карикатуру на Чуркина:

— Так его, соню, не жалей красок!.. Ох и здорово ты, мам-Вера, медведей рисуешь!

— Сюда бы еще стишок... Тось, подкинь, а? — попросила Вера.— Ты же сочиняешь, я знаю.

— На заказ я не могу...— виновато ответила Тося, по малой своей образованности не подозревая, что повторяет слова, которые до нее говорились многими.

Надя сунула в печку полено и разворошила пепел, оставшийся от Вериного письма.

— Слишком строгая ты, Веруха,— осудила она подругу.— Все-таки муж он тебе...

— Муж объелся груш! — вставила Тося, допивая чай.— А я так понимаю: разошлись — так насовсем, нечего людей смешить!

— Ты бы помолчала, когда старшие говорят,— посоветовала Надя.— Как-нибудь без тебя разберемся.

— Молчу, молчу... И до чего же все любят командовать, халвой не корми!

Удивляя подруг, Тося сама, без единого напоминания, вынула из тумбочки куцый свой портфелик, высыпала из него все учебники и тетради, села за стол и торжественно объявила:

— Ученье — свет, а неученье — тьма!

Вера с Катей тревожно переглянулись, не понимая,

что это творится с Тосей, а та, не теряя ни минуты, уже распахнула задачник и прилежно забормотала:

— Два поезда вышли...

Вера так изумилась, что даже нарушила клятвенное свое обещание никогда не делать уроков за Тосю.

— Дай я тебе помогу,— сердобольно предложила она.

Тося с готовностью пододвинула было к Вере задачник, но тут же отдернула его назад.

— Я сама... Раньше мне как с гуся вода, а теперь стыдно чего-то у доски ушами хлопать... С чего бы это, мам-Вера?

— Должно быть, взрослеешь.

— Что ж, логично! — сказала Тося голосом старой учительницы математики.

Катя ехидно кашлянула.

— Ой, не финти, Кислица! Это перед Ильей не хочется тебе позориться.

Тося подумала-подумала, покрутила головой и призналась:

— Что ж, и это логично: не хочу, чтоб ирод этот радовался! — Она уткнулась в задачник и вдохновенно забубнила: — Два поезда вышли навстречу друг другу...— На секунду Тося вскинула голову и, по давней привычке, по-своему прокомментировала условия задачи: — И не столкнулись, дьяволы!

Сама не отдавая себе в этом отчета, Тося уселась за стол спиной к Анфисе, чтобы не видеть ее перед собой и понапрасну не вспоминать, что Илья крутил с ней. Тут уж вспоминай не вспоминай — ничего не исправишь. Да и много чести для них, чтобы Тося ломала себе голову над бесстыжими их делами!.. И надо же было так случиться, что она живет с Анфисой в одной комнате и даже койки их стоят рядышком. А все комендант! Не мог, черт длинноногий, поселить Тосю в другую комнату. Правда, тогда она не подружилась бы с Верой, Надей и Катей... Вот жизнь: и так криво, и этак перекос!

Вера дорисовала карикатуру, легла на койку-гамак, взяла книгу, но читать не стала. Она с тревогой посмотрела на Надю, угрюмо сидящую в своем углу, уставясь в пол перед собой.

— Надежда, ты чего ужин не готовишь? Ксан Ксаныч скоро придет.

— Ужин? — очнулась от забытья Надя.— Да, ужин...

Она вытащила из-под койки корзину с картошкой и перерыла всю тумбочку в поисках ножа.

— Тоська, ты куда нож задевала?

Тося, старательно скрипевшая пером в тетрадке, замахала свободной рукой, показывая, что ни о каком ноже ничего знать не знает и вообще просит не мешать ее учебе. Анфиса молча вынула из тумбочки свой нож — тот самый, который всегда так ревниво оберегала от посягательства девчат,— и протянула его Наде.

— А ты подобрела, Анфиска, даже не верится! — удивилась Надя, беря нож.— Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить.

— Смотри на дежурство не опоздай,— не отрываясь от книги, сказала Вера.

Анфиса молча оделась и вышла.

— Чего это с ней? — спросила Надя.— Вроде призадумалась?

— На инженера она нацелилась,— пояснила всезнающая Катя.— Думает на скромность его подловить.

Надя кинула очищенную картофелину мимо миски с водой.

— Неужели и этого к рукам приберет?

— Уже клюнул,— отозвалась Катя и переложила лампочку из одного чулка в другой.

В дверь тихо постучали. Тося по старой памяти вскинула было голову и даже рот открыла, чтобы крикнуть свое любимое: «Входи, кто там такой вежливый!» — но вдруг раздумала и вернулась к задачке, довольная, что пересилила нелегкий соблазн.

— Да,— сказала Надя.

В комнату бочком проскользнул Ксан Ксаныч с новенькой самодельной табуреткой в руке.

— Вот! — торжествующе объявил он, выставляя табуретку посреди комнаты на всеобщее обозренье.— Обзаводимся с Надюшей помаленьку мебелью!

И тут уж Тося не выдержала, вскочила из-за стола и со всех сторон осмотрела табуретку. «Мебель» Ксан Ксаныча была хорошо oстругана, крепко сколочена и выкрашена в яркий зеленый цвет. Все предусмотрел дотошный Ксан Ксаныч, даже вырезал полумесяцем отверстие в сиденье, чтобы удобней было переставлять табуретку с места на место.

— Ох и мастерущий вы, Ксан Ксаныч! — похвалила

Тося, обводя пальцем полумесяц.— Мне бы такую табуретку ни в жизнь не сделать!

— А ты присядь! — попросил Ксан Ксаныч, счастливо улыбаясь.

Чтобы доставить доброму Ксан Ксанычу удовольствие, Тося шлепнулась на табуретку.

— Ну как?

— Век сидела бы, не вставала! Такая табуретка, я думаю, рубликов двадцать стоит?

— Попробуй купи такую за двадцать,— захорохорился Ксан Ксаныч.— И за четвертную не найдешь!

— Да, продешевила я,— поспешно согласилась Тося.

Ксан Ксаныч подошел к Наде, на правах жениха нежно пожал ей руку выше локтя и поставил табуретку в их семейный угол.

— Припозднилась я сегодня...— виновато сказала Надя и засуетилась у плиты.

— Ничего, Надюша,— успокоил невесту Ксан Ксаныч,— нынче я совсем не оголодал.

Он поправил на стене покосившуюся картинку-сюрприз, сел на свою табуретку с дырочкой и поделился коронной новостью:

— В конторе говорили, Надюша, всех плотников на стройку возвращают... А все этот инженер! — Ксан Ксаныч понизил голос.— Я так понимаю, из этих он... *из новых...*

Надя сразу догадалась, о чем идет речь, и закивала головой, соглашаясь со своим женихом.

Здесь уже пришло время сказать, что Ксан Ксаныч был совсем не так прост, как кое-кто в поселке о нем думал. Несмотря на то что он тихо-смирно сидел в своем углу и никуда, как он сам говорил, не рыпался, Ксан Ксаныч имел свое собственное мнение решительно обо всем, что творилось на нашей планете. И лишь изредка, когда какое-нибудь событие было очень уж запутанное и происходило за тридевять земель от поселка, Ксан Ксаныч говорил тихим своим голосом, что издали он не может судить, ему надо хоть одним глазом взглянуть, как оно там, в натуре.

И уж само собой, было у Ксан Ксаныча свое мнение обо всех начальниках, с какими довелось ему повстречаться в жизни. Всех больших и малых начальников, известных ему, Ксан Ксаныч для собственного удобства

делил на старых и новых. Старых начальников он поругивал, а к новым благоволил, считал, что идут они правильным путем, и желал им всяческих успехов на этом нелегком пути, а главное — не сбиться на дорожку, натоптанную старыми начальниками.

И совсем не в возрасте начальников тут было дело. На примете у Ксан Ксаныча были и совсем молодые начальники, которым еле-еле набежало два десятка лет, а у него они все-таки ходили в стариках. Другим же начальникам и шестьдесят стукнуло, а для Ксан Ксаныча они были все-таки новыми.

Бравый вид, амбиция, высшее-перевысшее образование, ловко подвешенный язык, даже умение хорошо работать, взятое само по себе,— все это Ксан Ксаныч тоже не очень-то жаловал. Главным и решающим для него было, куда начальник *нацелен,* для кого он живет и старается, для себя или для всех простых людей, вроде самого Ксан Ксаныча, Нади и той же Тоси-поварихи, которые вручили ему печать — в представлении Ксан Ксаныча все начальники были с печатями — и доверили командовать собой.

Сам мастер на все руки, Ксан Ксаныч больше всего ценил тех начальников, которые умели не только командовать, но знали еще и какое-нибудь простое, не начальническое ремесло: умели, к примеру, валить лес, плавить сталь или выращивать хлеб. Таким начальникам Ксан Ксаныч верил больше всего, ибо считал, что мастер мастера никогда не подведет.

Наслушавшись, как инженер покрикивает на Чуркина, Ксан Ксаныч совсем уж собрался зачислить его в старые начальники. Но стоило лишь ему узнать, что Дементьев убедил Игната Васильевича вернуть всех плотников на стройку дома, в котором Ксан Ксанычу с Надей была обещана комната, позарез нужная им для семейной жизни,— как он тотчас же, без всякой волокиты, перевел Дементьева из старых начальников в новые.

Впрочем, успокаиваться Дементьеву и почивать на лаврах было еще рановато. В той богатой коллекции начальников, какую собрал на своем веку Ксан Ксаныч, попадались и такие, которые начинали совсем как новые, новей некуда,— а потом прямым ходом скатывались к старым начальникам и становились еще похлестче тех, кто отродясь был старым и никуда не рыпался.

Прежде чем вернуться к нашей приостановившейся повести, осталось еще добавить, что мысли свои о началь-

никах робкий Ксан Ксаныч считал ужасно смелыми и даже малость крамольными. Он не только никому не навязывал этих своих мыслей, но тщательно скрывал их ото всех. На собраниях, даже самых бурных, Ксан Ксаныч сидел себе в уголке, внимательно слушал ораторов, а сам благоразумно с критикой на рожон не лез. И заметок в стенгазету под псевдонимами «Оса» и «Жало», полюбившимися всем правдолюбцам, он тоже никогда не писал.

Заветные мысли свои Ксан Ксаныч поведал одной лишь Наде, ибо в глубине души считал уже Надю своей женой, а настоящая семейная жизнь, как понимал ее холостой Ксан Ксаныч, требовала, чтобы никаких секретов меж супругами не было. Может быть, Ксан Ксаныч потому так и стремился к семейной жизни, что с годами надоело ему молчать и копить свои мысли в одиночку, захотелось на пороге старости всегда иметь под рукой хоть одного, но терпеливого и преданного слушателя...

— Я так думаю, Надюша,— сказал Ксан Ксаныч,— если наш инженер и дальше не подкачает, пригласим его на свадьбу... Ты как, не возражаешь?

— Что ж,— отозвалась Надя, высыпая начищенную картошку на сковородку,— пускай приходит.

Тося решила свою задачку с двумя поездами, заглянула в конец учебника и несказанно удивилась тому, что самодельный ее ответ, выцарапанный из множества цифр, тютелька в тютельку совпал с недосягаемым прежде для нее книжным ответом.

— А они легкие, задачки, если их решать! — поделилась Тося своим открытием.— Если и дальше так пойдет, я еще, чего доброго, и в отличницы выйду. Вот чудеса-а!..

— Если б тебе правильное воспитание,— наставительно сказала Вера,— ты совсем человеком была бы. Возможности в тебе заложены.

— Здравствуйте! — изумилась Тося.— А разве я сейчас не человек?

Вера отмахнулась:

— Сейчас в тебе все перемешано — и хорошее, и плохое. Натощак даже не разобрать, чего больше.

— Так не пойдет! — решительно заявила Тося, с шумом захлопывая задачник и придвигая к себе грамматику.— Нельзя живого человека пополам пилить: от макушки до пупка беру, заверните, а от пупка до пяток сдайте в утильсырье. Я так считаю: все хорошее во мне —

мое, ну и все плохое — тоже, куда ж оно денется? Так что берите меня всю целиком, какая я есть, сдачи не надо!

— Ну, затараторила,— осудила Катя.

Она терпеть почему-то не могла, когда Тося начинала вдруг вот так разглагольствовать. В такие минуты Кате всегда почему-то казалось, что Тося возносится над ней и все это видят.

Но, готовясь ко сну, Катя быстро восстановила душевное равновесие. Стоило лишь ей перевести глаза с высокой горки пуховых своих подушек на одну-разъединственную Тосину подушку, набитую к тому же слежавшейся казенной ватой,— и Катя сразу же почувствовала прочное свое превосходство. Ей даже смешно стало, что она вздумала обижаться на неимущую Тосю, которой, по всему видать, никогда не нажить таких пышных подушек.

— Ксан Ксаны-ыч! — окликнула повеселевшая Катя, разбирая постель.

— Есть! — догадался Ксан Ксаныч и отвернулся к стене.

И сейчас же рука его сама собой потянулась в карман за ножиком — кажется, даже без ведома хозяина. Ксан Ксаныч нагнулся было к нижним венцам бревен, но все пазы там были уже проконопачены, и ему пришлось, постелив предварительно газету, взобраться на свою знаменитую табуретку с дырочкой и заняться верхними пазами.

ДЕМЕНТЬЕВ ВОПРОШАЕТ ЭХО

Анфиса шла по старой запорошенной лыжне, а Дементьев — рядом, снежной целиной. Дикий, не тронутый человеком лес расступался перед ними, показывал заповедные свои тайны. Лыжи скользили легко, чистый снег празднично сверкал под солнцем, и мороз сегодня настроен был миролюбиво: он лишь покусывал, не давал стоять на месте, а на ходу не трогал и угадывался лишь по отвердевшим чужеватым губам и струйкам пара, вылетающим изо рта.

— Брусники тут — завались,— деловито рассказывала Анфиса, знакомя Дементьева с местными достопримечательностями.— А из той вон пади наши хозяйки ведрами грибы таскают. Вот женитесь у нас — будете рыжики солить.

— Рыжики? — счастливо переспросил Дементьев и от

полноты чувств ударил лыжной палкой по ближнему стволу.

Еловая лапа, отягощенная непосильной снежной ношей, дрогнула в вышине и уронила ком снега. Дементьев вскинул голову и подставил разгоряченное лицо щекочущей изморози.

— А мне у вас нравится! — признался он, догоняя Анфису и любуясь ею.— Жаль, не знал я раньше про... про этот лесопункт! — Анфиса недоверчиво покосилась на него.— А это место чем знаменито?

— Эхо тут интересное. Вот послушайте,— Анфиса остановилась и по-хозяйски требовательно крикнула: — Эй!

Застоявшееся без работы эхо охотно подхватило крик Анфисы и пошло перекатывать его со ступеньки на ступеньку, удаляясь и затихая. И Дементьев тоже крикнул — и настороженно прислушался к ступенчатому эху. Крик Дементьева ринулся вдогонку за Анфисиным, в дальней глухомани настиг его и слился с ним.

— Правильное эхо! — одобрил Дементьев.

Они взобрались на вершину невысокой горушки. Дементьев взмахнул лыжной палкой, приглашая Анфису полюбоваться дикой лесной чащобой, заваленной снегом.

— Каково, а? Прямо на полотно просится!

Анфиса добросовестно осмотрелась вокруг. Откровенно говоря, она никогда не понимала тех людей, которые приходили в нестерпимый восторг при виде красивенького пейзажа, какой-нибудь замысловатой тучки в небе или румяного заката. А уж восхищаться лесом Анфиса и совсем не умела. Она выросла в лесном краю, перевидала на своем веку многие тысячи деревьев — зимой и летом, утром и вечером,— и лес в любом своем обличье был для нее слишком обычным и примелькавшимся явлением, чтоб им стоило восхищаться.

Но сейчас ей захотелось вдруг увидеть лес глазами Дементьева — и, кажется, это удалось Анфисе.

Зима нахлобучила пышные шапки на макушки деревьев, выгнула стылые ветки, опушила инеем каждую иголку — ни одной не пропустила. Строгим холодком веяло от густого молодого ельника, у подножья которого на снегу залегли размытые сизые тени. А от мачтовых сосен пахнуло вдруг на Анфису теплом. Казалось, бронзовые стволы досыта напитались летним солнцем и оно просвечивает сейчас изнутри сквозь тонкую чешуйчатую кору.

В чащобе раз-другой робко стукнул невидимый дятел — и замер, боясь нарушить царственную тишину.

Анфиса была уверена: еще немного — и она поняла бы скрытую от нее прежде красоту леса. Но в это время к ней пришло вдруг неуютное чувство, будто не только она смотрит на лес, но и он — на нее. И не только смотрит, но и видит всю ее целиком, со всей ее неправильной, запутанной жизнью, которую она хотела бы скрыть от Дементьева.

— Пойдемте, холодно стоять,— угрюмо сказала Анфиса и скользнула на лыжах с горки.

Дементьев нагнал ее в низине и сразу же похвалил:

— Хорошо вы на лыжах ходите, я бы вам первый разряд дал!

— Не все такие добрые! Я же местная... Тут поблизости и родилась.

— Странно...— вслух подумал Дементьев.— А мне все почему-то кажется, вы издалека сюда приехали...— Он замолк на миг, проверяя себя, и выпалил убежденно: — Заморская принцесса вы!

— Так уж и принцесса?

— Самая настоящая! Я еще таких не встречал.

Анфиса посерьезнела, но, не зная, как ей быть, ответила в привычной своей поддразнивающе-завлекающей манере:

— Да бросьте вы, Вадим Петрович! Так я вам и поверила. В Ленинграде учились — и не встречали? Да там небось такие принцессы на каждом углу газировкой торгуют... Комплиментщик вы!

Дементьев резко остановился, будто споткнулся на ровном месте. И Анфиса остановилась, испуганно и виновато глянула на него. С каждой новой встречей ей все трудней и трудней стало разговаривать с Дементьевым. Анфиса никак не могла найти правильный тон: держаться с Дементьевым так, как она обычно держалась с Ильей и другими своими кавалерами, было нельзя, это Анфиса хорошо чувствовала, а как надо — не знала и частенько срывалась.

— Вы это серьезно? — с тревогой в голосе спросил Дементьев.— Плохо же вы меня знаете... А мы сейчас проверим! — Он повернулся к чащобе и набрал полную грудь воздуха.— Ведь не встреча-ал?

Эхо чуть помедлило и отозвалось:

— Не-э-ал!.. Не-э-э-а-ал!.. Э-а-о...

— Слышали? — торжествовал Дементьев победу.— Лес врать не будет.

Анфиса поспешно отвернулась.

— Чудик вы!

И первая двинулась вперед. Незнакомая прежде ласковая, признательная и лишь самую малость снисходительная улыбка скользнула по лицу Анфисы.

Они вышли к скованной морозом реке. На противоположном берегу открылись длинные штабеля бревен, приготовленных к сплаву.

— А это что? — удивился Дементьев.— Неужели наш поселок?

— Он самый...— Анфиса помрачнела, будто спустилась с небес на землю.— Догоняйте!

Она решительно свернула с лыжни и помчалась прочь от реки. Дементьев ринулся за ней.

В поселок они вернулись уже в сумерках. На крыльце общежития Анфиса сняла лыжи, сбила налипший снег. Прыгая на одной ножке, по улице пробирался Петька Чуркин с авоськой, из которой наружу высовывался русалочий хвост крупной трески. Дементьев схватил Петьку и поднял в воздух.

— Куда путь держишь, гражданин хороший?

— Пусти! — завопил Петька, размахивая авоськой и норовя мазнуть Дементьева русалочьим хвостом по лицу.

— Скажи чей, тогда отпущу.

— Ты моему папке выговор влепил, не буду я с тобой разговаривать.

— Ага, значит, ты Чуркин!

— Не говорил я этого... Пусти, бюрократ несчастный!

Дементьев счастливо засмеялся, будто похвалу себе услышал, и отпустил парнишку.

— Это меня так в их семье величают, поняли, Анфиса? — И крикнул Петьке: — Заходи как-нибудь, интересную книжку с картинками дам почитать.

В ответ на приглашенье Петька скомкал снежок и запустил Дементьеву в спину.

— Боевой! — одобрительно сказал Дементьев, поеживаясь от удара.— Люблю детей, а вы?

Вопрос застал Анфису врасплох.

— Н-не очень... Беспокойные они...

— Ну что вы! — Дементьев впервые не согласился с Анфисой. — Это такие чудесные человечки!..

НА ТОРМОЗНОЙ ПЛОЩАДКЕ

На делянке догорали, чадя, костры. Садилось солнце, расцветив снега всеми цветами побежалости. Тени деревьев вытянулись так далеко, что трудно было понять, какая тень от какого дерева.

Лесорубы спешили к поезду. Тося уже привыкла к тому, что каждый вечер Илья шел рядом с ней, и лишь потом, при посадке на поезд, им не всегда удавалось остаться вместе. А сегодня он бросил ее на полпути и умчался зачем-то вперед. «Ну погоди!» — затаила Тося обиду.

Завидев лесорубов, чумазый машинист «кукушки» дал долгий гудок. Лесорубы кинулись к составу занимать лучшие места. Илья первым подбежал к поезду и вспрыгнул на тормозную площадку.

— Занято! Занято! — отбивал он все атаки.— Тося, давай сюда!

Тося подошла к тормозной площадке, независимо спросила:

— Чего тебе?

— Иди сюда, плацкартное место!

Илья протянул руку. Тося заколебалась, нерешительно огляделась вокруг. Лесорубы, которым не хватило места на тормозных площадках, лезли на груженые платформы и устраивались на бревнах. Катя с Сашкой обосновались над головой Ильи, предусмотрительно повернулись спинами к паровозу и, не сговариваясь, оба враз подняли воротники. Тося давно уже заприметила, что «женатики» сплошь и рядом ведут себя как одно существо. На словах Тося высмеивала подругу за утерю самостоятельности, а в глубине души завидовала единодушию Кати с косолапым Сашкой.

— Давай, давай! — заторопил Илья.— Продует тебя на верхотуре.

Он помог Тосе взобраться на высокую площадку. Паровозик с трудом сдвинул тяжелый, будто примерзший состав. Из конторки выскочила Вера и побежала к поезду, придерживая кирзовую сумку, бьющую ее по боку.

— Веруха! — позвала Тося и подосадовала: — Эх, не слышит!



— Да зачем она нам? — запротестовал Илья.— Третий лишний!

Вера села на соседнюю тормозную площадку. Поезд набрал ход. Колеса завели дорожную бухгалтерию: считали стыки рельсов, сбивались на поворотах и снова принимались считать. Заснеженный лес по бокам дороги разворачивал перед Тосей зимнюю свою красу.

— Красиво...— тихо сказала Тося: она успела уже заметить, что тот лес, где они не работают, всегда почему-то кажется красивей.

— Что? — не расслышал Илья.— Ну да, красотища!.. Пойдем сегодня в кино?

— А какая картина?

— «Смелые люди».

— Пойдем. Четыре раза видела, а все интересно... Я про лошадей уважаю смотреть.

Илья обнадежил Тосю:

— У нас эту картину часто показывают!

Присматривая за Тосей, любопытная Катя свесилась с верхотуры. И Вера на соседней площадке не спускала глаз со своей подопечной.

— Да не съем я ее! — с досадой крикнул Илья. Голова Кати отпрянула.— Ох и много же у тебя опекунов!

Тося поддержала Илью:

— Делать им нечего... Будто я маленькая!

— А ты шугани их,— посоветовал Илья.

— Придется...

Площадку мотало из стороны в сторону, словно хотело вырвать из-под ног Тоси.

— Не холодно тебе? — с неумелой нежностью спросил Илья.

Тося покачала головой. Илья стащил с себя теплый шарф и заботливо укутал ее горло.

— Вот и еще один опекун объявился! — сказала Тося.

А Илье захотелось вдруг сейчас же все рассказать Тосе о споре, чтобы ничто грязное из прежней его жизни не стояло больше меж ними. Этот дурацкий спор на каждом шагу мешал теперь Илье, отравлял всю его радость, дня единого не давал ему спокойно прожить на свете.

Он откашлялся и совсем уж собрался покаяться перед Тосей в самом тяжком своем грехе, но увидел рядом с собой ее блестевшие первым молодым счастьем глаза —

и у Ильи язык не повернулся заговорить в такую минуту о споре. Это было все равно что исподтишка ударить Тосю в спину. «Потом как-нибудь...» — благоразумно решил Илья.

Смеркалось, и Тося спешила в последние светлые минуты досыта налюбоваться диким лесом. Изредка, с трудом ворочая туго спеленатой шеей, она снизу вверх доверчиво смотрела на Илью, и тот каждый раз горделиво кивал ей головой с таким видом, точно сам собственноручно сотворил для Тоси всю эту сказочную лесную красу.

А потом Илья как-то странно посмотрел на нее, и Тосе показалось, будто он знает про них обоих что-то очень интересное, а вот сказать почему-то не хочет. Тося терпеть не могла, когда люди ни с того ни с сего начинают вдруг секретничать, и спросила неодобрительно:

— Ну чего ты? Вот человек!

— Знаешь, я даже не думал, что такие девчата бывают! — признался Илья.— Какая-то ты такая...

Он неопределенно покрутил растопыренными пальцами, не в силах найти нужное слово. Тося польщенно шмыгнула носом.

— Такая-сякая?

— Сначала ты мне только нравилась, а теперь...— Голос Ильи дрогнул.— Полюбил я тебя, Тося... И не хотел, а полюбил! Ты только не смейся...

— Вот еще! — сказала Тося и прижалась вспыхнувшей щекой к ледяной стойке.

Она искоса глянула на Илью, ожидая, что он ей еще скажет, чем порадует. А у того вдруг все слова вылетели из головы.

— По-настоящему полюбил, понимаешь? — лишь повторил Илья и снова замолк.

Он показался вдруг Тосе похожим на неуклюжего Сашку. Все ребята, видать, как до любви дойдет,— косолапые...

— «Знаешь-понимаешь»...— обиженно пробормотала Тося и напомнила Илье: — Когда-то ты лучше говорил: «Увижу тебя — и праздник на душе, закрою глаза — и образ твой стоит передо мной!»

Илья смущенно крякнул и пожалел, что так много говорил Тосе раньше.

— Тогда я еще... глупый был! — покаялся он.— И слова те дешевые были, ты их забудь... Это теперь вот

праздник у меня на душе! Знаешь, я ведь даже все недостатки твои люблю!

— Какие там еще недостатки? — настороженно спросила Тося.

Илья замялся, боясь обидеть самолюбивую девчонку.

— Ну?! — потребовала Тося.

— Нос у тебя немножко того... подгулял,— боязливо сказал Илья и тут же поправился: — Совсем чуть-чуть!

Тося машинально провела кулаком по лицу, безуспешно пытаясь прижать вздернутый кончик носа. Самокритичное ее молчание придало Илье храбрости.

— Ну, и рост...— Он кашлянул.— Средний... Знаешь, я даже думаю теперь, что никогда не смог бы полюбить высокую... На кой ляд мне такая каланча?

Тося наклонила голову, целиком и полностью разделяя мнение Ильи насчет каланчи. Она ожидала, что после суровой критики ее недостатков Илья перейдет к восхвалению ее достоинств — ведь должны же у нее быть хоть какие-нибудь достоинства, не за одни же недостатки Илья полюбил ее,— но он опять замолчал.

Все те привычные бесстыжие слова, которые Илья, не задумываясь, говорил прежним своим ухажеркам, Тосе сказать было никак нельзя, а других слов он просто не знал.

— Эх, не умею я про любовь! — горячо пожалел он.— Хочешь, я лучше ради тебя с поезда спрыгну?!

Илья шагнул к ступенькам. Тося испуганно схватила его за рукав:

— Еще разобьешься!

Она тут же отодвинулась от Ильи, огляделась вокруг и как бы заново увидела: затоптанную многими ногами неказистую тормозную площадку с лохмотьями древесной коры на полу, ржавое колесо тормоза, нацеленные на нее с соседней платформы торцы бревен, меченные фиолетовым Вериным мелком, и совсем близко от себя — несвежий ватник Ильи с прожженным у костра боком. Так вот, значит, как ей впервые в любви объяснились!

Не умом, а всем своим существом Тося вдруг почувствовала неуловимую быстротекучесть времени. Не ухватить его за какой-нибудь хвостик секунды, не попридержать... И это в ее жизни уже позади! Питайся она одним кислым молоком и проживи на свете еще хоть двести лет — а первому объяснению никогда уж не бывать. Если посчастливится, ей могут объясниться во второй

раз, в пятый, в двадцать... девятый. Больше, пожалуй, и не надо, ведь каждый раз придется что-то отвечать. Слишком хлопотное это дело.

Раньше Тося была почему-то уверена, что, как только ей объяснятся в любви, вся жизнь ее сразу переменится. А сейчас она увидела, что все в общем-то осталось попрежнему: с равнодушным железным грохотом катились колеса под полом платформы, по сторонам дороги в густеющих сумерках мелькали темные ели и серые расплывчатые березы. И даже собственный Тосин палец, порезанный сегодня на кухне и завязанный тряпочкой, все так же, как и до признания Ильи, мерз в рукавице.

Тосе казалось, что Илья все напутал и объявил о своей любви совсем не так, как надо было. Слишком уж все произошло буднично и как-то между делом. А затрапезным своим видом Илья, сам того не подозревая, вконец испортил долгожданный Тосин праздник. Тося не была бюрократкой и не требовала, чтобы Илья ради такого торжественного случая вырядился в парчу и бархат, но и в ватнике с прожженным боком ему тоже, пожалуй, объясняться в любви не следовало...

Илья пристально смотрел на Тосю, ожидая ответа. Ему теперь что: оттараторил свое — и отдыхай. А ей надо было все взвесить, даже вперед заглянуть до самой старости, чтобы не допустить промашки. А тут еще прожженный бок ватника, дразня Тосю, все время маячил перед ее глазами. Она плохо понимала себя сейчас и, чтобы выгадать время, спросила, уточняя обстановку:

— Значит, признаешься?

Тося вдруг припомнила, как когда-то спорила с Катей из-за этого слова, и усомнилась теперь: а стоило ли спорить? Слово как слово, не хуже других,— и чего она тогда придиралась? Пусть даже и немного нескладное слово, зато смысл... А смысл, это же всем на свете известно,— самое главное!

— Признаешься? — переспросила Тося.

— В чем? — опешил Илья.

— Как в чем? Здравствуй, Марья, где твой Яков!.. Признаешься, что... это самое, любишь меня?

Тося придирчиво глянула на Илью, заподозрив, уж не морочит ли он ей голову.

— Ну, признаюсь...— неохотно буркнул Илья, решительно не понимая, что же это происходит.

— Ты без «ну» давай! — потребовала Тося и покосилась на прожженный ватник, чтобы укрепить себя в твердости и изгнать всякую жалость к Илье, которая непрошено шевельнулась в дальнем, самом *женском* закоулке ее сердца, плохо поддающемся контролю.— Ну, так как?

— Сказал же... Тебе, может, справку написать?

Тося пропустила мимо ушей колкость Ильи и важно наклонила голову, принимая к сведению его признанье.

— А как ты меня... любишь? Так себе или прямо жить без меня не можешь?

Она говорила чуть посмеиваясь, и Илья никак не мог понять, всерьез она спрашивает или издевается над ним по девчоночьему своему обыкновению.

— Не могу,— угрюмо признался Илья.— Такого со мной еще никогда не было...

Илье вдруг показалось, что они говорят с Тосей на разных языках и она никогда не поймет, как нужна ему. С этой малолеткой все у него шло как-то не по правилам. Тося поминутно загоняла Илью в тупик, и никогда нельзя было заранее предугадать, что она выкинет в следующую минуту. А вопросы она задавала такие необычные, не принятые между другими людьми, что только много позже, на досуге, Илье приходили в голову ловкие, достойные его самолюбия ответы.

— А во сне ты меня видишь? — выпытывала Тося.

Мужская гордость возмутилась в Илье. Он вдруг представил, как смешно выглядит сейчас со стороны: стоит здоровенный парень перед кнопкой Тосей и отчитывается в своих снах. И хотя Илья уже не раз видел Тосю во сне, но сейчас назло ей замотал головой, чтобы хоть немного сбить с нее непомерную спесь.

— Значит, у тебя еще не настоящая любовь,— авторитетно разъясняла Тося.— Запомни,— может, когда пригодится: надо проснуться ровно в полночь, перевернуть подушку — и тогда обязательно увидишь во сне, кого хочешь!

Заслышав такое, Илья даже злиться на Тосю перестал.

— Эх, Тосенька! — со вздохом сказал он, жалея, что прирос сердцем к такой зеленой девчонке, которая еще двумя ногами стоит в детстве и ничегошеньки не понимает в чувствах взрослых людей.

— А ты попробуй, а потом эхай. Верное дело! Я все-

гда подушку переворачиваю, и один человек снится мне как миленький!

— Это кто же тебе снится? — ревниво спросил Илья.— Я ему все ноги переломаю!

— Не переломаешь! — Тося лукаво посмотрела на недогадливого Илью.— Как бы самому потом не пришлось на костылях шкандыбать...

В глуховатом, чуть хриплом от простуды голосе Тоси прорезалась вдруг зажатая до времени *девичья* струна и ликующе зазвенела, лаская Илью. Выдавая тайну своей хозяйки, струна эта поведала Илье, чтобы он не очень-то верил показной Тосиной холодности и уж совсем бы не обращал внимания на то, что Тося говорит. Пусть он больше верит вот этой тайной струне, да еще, пожалуй, пусть хорошенько призадумается над последними словами о костылях, на которых придется ему ходить, если он переломает ноги тому, кто часто снится Тосе...

Илья вдруг понял все.

— Тось! — Он задохнулся от нежности.— Значит?..

— Значит! — пропела струна.

Рука Ильи привычно взлетела, запнулась в воздухе, наткнувшись на невидимую преграду, и робко дотронулась до Тосиного плеча. Но стоило лишь Тосе покоситься на его самовольную руку, как Илья тут же поспешно отдернул ее, будто ожегся. И Тосе понравилось, что он стал таким послушным, хоть на выставку его посылай. Ей вдруг захотелось добром отплатить за добро, да и лестно было, что она может так запросто сделать другого человека счастливым. Обеими руками она подняла тяжелую руку Ильи, водрузила себе на плечо и сказала покладисто:

— Пускай уж...

На верхотуре запоздало закашляла Катя.

ТОСЕ ОТКРЫВАЮТ ГЛАЗА

Вера отложила книгу и оглядела комнату. Надя, как всегда по вечерам, возилась у плиты. В ожидании ужина работящий Ксан Ксаныч с масленкой в руке колдовал над скрипучей дверцей шкафа, полный решимости навсегда избавить девчат от противного скрипа. Катя с Анфисой собирались в кино на «Смелых людей». Анфиса уже

перепробовала штук пять самых разнообразных причесок, и все они сегодня ей что-то не нравились: то казались слишком уж вызывающими, то чуть ли не старушечьими.

За окном, поджидая Катю, тихонько наигрывал на гармони верный Сашка. Начальный веселый мотив заметно помрачнел: видно, Сашкино терпенье в единоборстве с морозом подходило к концу.

— Делаем вид, что ничего не случилось? — сердито спросила Вера.

— Ты о чем это? — не поняла Катя.

— Да вы что, ослепли? Надо нам Тоську выручать. Прямо на огонь летит, дуреха доверчивая!

— Да-а...— шумно вздохнул Ксан Ксаныч.— Такой возраст! Можно сказать, весна жизни...

Девчата ожидали, что после философского вступления Ксан Ксаныч все растолкует им, но он тут же и замолк и сунул голову внутрь шкафа.

— Как бы эта весна осенью не обернулась! — сердито сказала Вера.— Пусть Тося ничего не видит, но мы-то не слепые? Спохватимся потом, да уж поздно будет.

— Она думает, Илья женится на ней,— Катя прыснула.— Вот комик!

— Тебе бы только посмеяться...— Вера снова обежала взглядом комнату.— Ну, так как же? И молчать дальше нельзя, и как такому детенышу все растолковать — ума не приложу...

— Чуткое отношение к подруге? — насмешливо спросила Анфиса.— Ох и много еще, Веруха, в тебе показного!

Вера рывком повернулась к ней:

— Всего я от вас с Ильей ожидала, но уж такого... Связался черт с младенцем!

— А я тут при чем? — удивилась Анфиса.— Илья спорил, с него и спрос...

Она испуганно прикусила губу.

— Спорил? Этого еще не хватало! Чуяло мое сердце, что тут нечисто...— Вера решительно подступила к Анфисе.— А ну, выкладывай!

— Точно не знаю... С Филей он... кажется.

— Ты уж не прячься теперь! Одна у вас шайка-лейка. Хочешь пристроить Илью, чтоб не мешал Вадима Петровича околпачивать?

В голосе Веры зазвучала давняя, с трудом сдержи-

ваемая ненависть. Любопытная Катя придвинулась к Вере и испытующе заглянула ей в глаза. Она давно уже заприметила, что Вера терпеть не может Анфису, но никак не могла понять, чего они меж собой не поделили. Иногда Кате казалось, что они встречались когда-то, еще до приезда в поселок, и в той, прежней, неведомой ей жизни Анфиса перебежала Вере дорогу.

Катя была уверена, что Анфиса накричит сейчас на Веру, а та лишь сказала тихо:

— Хоть и много ты читаешь, Верка, а дура.

И расческу она опустила, будто не в силах была удержать ее на весу. У Анфисы мелко-мелко дрожала рука, и вся она была сейчас какая-то новая, точно окошко потайное приоткрылось в ней. Никогда еще Катя не видела Анфису такой, ей даже жалко ее стало.

А Вера ничуть не жалела Анфису и потребовала:

— Вот придет Тося, ты ей все расскажи.

— Еще чего! Спешу и падаю! — привычно выпалила Анфиса и тяжело подняла расческу.

Окошко захлопнулось, рука Анфисы больше уже не дрожала. Она снова стала прежней, самоуверенной красавицей, и такую Анфису жалеть уже было нельзя.

— Тогда мы сами скажем,— пригрозила Вера.

— Только попробуйте! — обозлилась Анфиса.— Я вам, как подругам, по секрету... Илья дознается, голову свернет!

— Ох и дрянь ты, о себе одной думаешь...— Вера брезгливо отодвинулась от Анфисы, оглядела девчат.— Теперь мы просто обязаны спасти Тосю! Вот только как?

— А что, если...— начала было Катя и сама же первая забраковала свою придумку: — Нет, не может этого быть! Мне померещилось: мы тут спасаем Тоську, а вдруг у Ильи к ней чувство? Самое настоящее, понимаете?

— Было б чувство, так не спорил,— сказала Вера.

Надя осуждающе загремела сковородкой на плите.

— «Чувство»! — передразнила она Катю.— От такого чувства матери-одиночки получаются!

— Вот я же и говорю,— поспешила оправдаться Катя,— померещилось...

— Так как же нам быть? — снова спросила Вера.— Решайте.

— Открыть надо Тоське глаза. Правду всегда лучше знать, какая бы она ни была! — убежденно сказала Надя.

— А чем Тоська лучше нас? — удивилась Анфиса.— Нам почему-то глаза не открывали.

— Вот и выросла цаца — смотреть противно!

— А ты не смотри,— посоветовала Анфиса.

Ксан Ксаныч высунулся из-за шкафа этаким добрым домовым, прописанным в этой комнате общежития, и заявил рассудительно:

— Пожалеть человека надо. Веселая сейчас наша Тося, смотришь на нее — и сердце радуется, а как проведает, что Илья обманщик... Прикиньте, каково ей будет?.. Молодые вы еще, вот и думаете: краше правды ничего на свете нету. Правда — вещь хорошая, а только иногда лучше ее и не знать: спокойней так-то жить...

Ксан Ксаныч покосился на Надю. Та загремела сковородкой на плите, и не понять было, слышала она своего жениха или нет. Вера сказала с досадой:

— Да не в спокойствии дело, Ксан Ксаныч! Хрупкая еще Тося, узнает, что Илья сволочь,— и всем людям перестанет верить. Так и душу сломать ей недолго. Бывали такие случаи...

— Вот чудеса! — удивилась вдруг Катя.— А ведь раньше мы ни о ком так не заботились! Как в общем бараке жили, а теперь... С чего бы это, а?

— Несамостоятельная Тоська, вот и хочется ей помочь,— предположила Надя.

Катя покачала головой:

— Нет, здесь что-то другое... Сдается мне, Кислица не только в тумбочки к нам забралась, а и в души... Вот проныра! От горшка три вершка, а поди ж ты, что вытворяет!

— Так что же нам все-таки делать? — напомнила Вера.— Неужели, девчата, мы все вчетвером...— Она покосилась на Анфису и поправилась: — Ну хотя бы втроем не убережем Тосю от одного сукина сына? Грош нам тогда цена!

— Что же нам теперь, часовыми при ней стоять? — усомнилась Катя.— Попробуй уследи за такой! Предупреждала ее, что бабник Илья, кашляла... Другая бы за семь верст обходила его, а наша разлюбезная Кислица...

Договорить Кате не пришлось: дверь со стуком распахнулась, и в комнату ступила тихая Тося. Двигалась она непривычно медленно, словно боялась расплескать молодое свое счастье. Стоящий на ее пути стул Тося обошла стороной, а не отпихнула, как непременно сделала

бы раньше. Было сейчас в ней что-то горделиво-важное, даже чуть-чуть высокомерное. Она как бы подорожала вдруг в собственных глазах, узнав, что и ее, недоростка, можно полюбить.

— Катерина, ты чего Сашку морозишь? Совсем закоченел парень! Слышишь, как жалобно выводит?.. А я на собрании поваров была, вот где смех!..— Тося оглядела примолкших девчат, непрочная солидность мигом слетела с нее.— Вы что, косточки мне перемывали? Ну, чего говорили, чего? Стыдно сказать, да? А еще подруги!

Она скинула валенки, крикнула азартно:

— Футбол! — и загнала их под койку.

Вера за ее спиной развела руками, как бы говоря девчатам: «Вот потолкуй с такой!»

— Никто ко мне не приходил? — спросила Тося, вываливая учебники из портфелика на стол.

Вера сразу насторожилась, почуяв недоброе.

— А кого ты ждешь?

— Одного человека...

Прикрывшись книгой, Вера лежала на своей койке-гамаке и поглядывала на Тосю, полная решимости спасти глупую девчонку — если потребуется, даже против ее воли. Потом сама спасибо скажет...

Надя молча поставила на угол стола сковородку с жареной рыбой. Ксан Ксаныч дал скрипучему шкафу передышку, вымыл руки и не спеша, с явным удовольствием почти семейного человека вытер их Надиным полотенцем. Он повесил полотенце на спинку кровати, одарил выцветшего петуха щелчком по гребню и поделился с Надей заветной новостью:

— Стропила уже начали ставить, Надюш! Если и дальше так пойдет — к Первому мая поженимся.

— Скорей бы уж...— тихо сказала Надя.

В дверь три раза постучали — с большими торжественными паузами между ударами. Надя осторожно приоткрыла дверь, и в комнату вошел празднично одетый Илья — в кожаном пальто и при галстуке.

— Мир дому сему! — провозгласил он и стал посреди комнаты так, чтобы не видеть Анфисы.

Тося мышонком притаилась за столом и из-за вороха учебников восторженно глазела на Илью, будто перед ней стоял сказочный Иван-царевич, прискакавший на сером волке. Илья не спеша вытащил целехонькую ко-

робку дорогих папирос, распечатал, пошуршал серебряной бумагой, вежливо, как и подобает человеку в галстуке, спросил:

— Разрешите? — и закурил.

Потом он вынул из нагрудного кармана пиджака два спаренных синеньких билета, разъединил их, один билет спрятал, а другой с торжественным поклоном преподнес Тосе:

— Звуковой художественный фильм «Смелые люди», перед началом танцы!

— Приглашаешь на свиданье, да? — обрадовалась Тося.

— Приглашаю...— нетвердо сказал Илья, подозревая, что малолетка Тося какой-то свой, неведомый ему смысл вкладывает в это приглашение, но не в силах догадаться, в чем тут дело.

— Никуда она не пойдет,— решительно заявила Вера, вставая с койки.— Видела уже эту картину, хватит!

— Нет, пойду! — заупрямилась Тося.— Уважаю про лошадей... Четыре раза смотрела и еще пойду, не остановишь!

— Правильно! — одобрил Илья.— Не слушай ты этих монашек: им дай волю — они тебя в монастырь замуруют.

— А ты, шикарный кавалер, помолчал бы. Знаем мы тебя как облупленного! Улепетывай отсюда, нечего тебе здесь делать.

— Эх, Вера Ивановна! — с укоризной сказал Илья и взялся за ручку двери.— Тось, я тебя на улице подожду.

— Я мигом! — пообещала Тося.

Илья вышел, пустив на прощанье кольцо пахучего дыма в глубь комнаты. Тося приподнялась на цыпочки, продела голову в расходящееся дымное кольцо и счастливо засмеялась. Вера с Надей тревожно переглянулись. А Тося как на крыльях носилась по комнате: она запихнула учебники с тетрадками в портфель, ногой поддела из-под койки запыленный баул, нырнула в него, достала брошку — единственное свое украшенье — и приколола себе на грудь, на бегу спросила у Анфисы:

— Можно? — и, не дожидаясь ответа, подушилась самым пахучим ее одеколоном. Сгоряча она нахлобучила было шапку-ушанку, которую надевала на работу, но

тут же скинула ее и повязалась платком: в платке Тося чувствовала себя больше женщиной.

Тосино нетерпенье словно передалось на улицу Сашке — он вдруг громко заиграл походный марш. Катя испуганно ойкнула и выбежала из комнаты.

А Тося протянула руку за пальтецом, но Вера оттолкнула ее от вешалки:

— Сказано же: никуда ты не пойдешь!

— Как это?! — опешила Тося.

— А так: не пойдешь — и все!

Вера загородила дорогу к двери. Тося затравленно огляделась, ища поддержки. Добрый Ксан Ксаныч виновато отвел глаза; он уже покончил с ужином и снова колдовал с масленкой возле шкафа. Анфиса скучающе смотрела на ходики, а Надя подошла к Вере и стала рядом с ней.

— Не имеете права! — выпалила Тося.— Совершеннолетняя... Паспорт имею!..

— Дура ты с паспортом,— сказала Надя.— Свиданья ей захотелось... Задрать юбчонку да отшлепать — вот тебе и все свиданье!

— Мы же добра тебе хотим,— попыталась Вера образумить Тосю.— Илья поиграет с тобой, как с котенком, и бросит!

— Пусть только попробует...— воинственно пробормотала Тося и тут же спохватилась: — А вам-то какое дело? И чего вы в мою личную жизнь носы суете? Взяли моду: то — нельзя, это — тоже, одни задачки решай. Да пропади они пропадом!

Тося запустила портфелик под койку.

— «Личная жизнь»! — передразнила Надя.— Нахваталась! Вот принесешь ребенка в подоле — узнаешь тогда личную жизнь.

— Мы еще и не целовались ни разу, что ты мне ребенка подкидываешь?! — не на шутку разобиделась Тося.— Отцепитесь вы все от меня, и чего пристали?

— Да полюбили мы тебя, непутевую, будь ты неладна! — призналась Вера.

— Уж лучше бы вы меня ненавидели, чем так-то любить... Меня Анфиса так не обижала, как вы сегодня. А еще подруги!.. И чего вы взбеленились? Или завидки вас берут? Боитесь, что раньше вас замуж выйду? Да я про это еще и не думаю, не суди по себе, Надежда. Больно нужно мне!

— Не бегай за Ильей,— посоветовала Вера.— И никто тебя обижать не будет.

— Кто бегает? — возмутилась Тося.— Слепые вы, что ли? Видели же: сам билеты принес!

И против воли Тоси высокомерная торжествующая нотка прозвучала в ее голосе.

— Вы вот что! — в сердцах сказала она.— Вы из себя... это самое, коллектив не корчите! Не прикидывайтесь чуткими, мне это без надобности. Живете как кошки с собаками, а туда же!

Вера припомнила недавние Катины слова.

— Это раньше было так, а теперь ты же нас и сколотила.

— Вот делай после этого добро людям! — искренне пожалела Тося.

Она улучила минутку и схватила с вешалки свое пальтецо.

Ксан Ксаныч неодобрительно покачал головой. Он уже утихомирил скрипучий шкаф и с масленкой наготове двинулся в обход тумбочек. Ни одна из них еще и не думала скрипеть, но дотошный Ксан Ксаныч в профилактических целях смазывал подряд все петли дверец.

— Послушай, Тось,— вкрадчиво сказала Вера, как говорят с тяжелобольными.— Взгляни на себя и на него: ты девчонка, а он...

— Не по себе дерево рубишь, Анастасия! — подхватила Надя так сердито, будто Тося, отстаивая право свое на любовь, нанесла ей смертельную обиду и чуть ли не на всю жизнь ее замахнулась.

— Сама ты дерево стоеросовое! — выпалила Тося.— Интересно вы с Веркой рассуждаете: с каким-нибудь завалящим парнем мне можно, а как с Ильей — так рылом не вышла? Каждый сверчок знай свой шесток, так, что ли?

— А хотя бы и так! Боишься правде в глаза посмотреть? — сердито спросила Надя.

— Не правда это, а самая настоящая кривда! Вот когда я тебя, Надька, насквозь раскусила. Жалко мне тебя: вбила себе в голову, что некрасивая, вот и маешься. И не стыдно тебе? Мы с тобой не хуже других, не второй сорт, не подсобные какие-нибудь. Да я бы сразу утопилась, если б так на самом деле было! Выше нос держи, понятно?

Надя презрительно махнула рукой.

— Это все красиво звучит, а на деле... Думаешь, ты самая умная, жизнь только с тебя началась? А она уже давно идет, и до тебя люди не глупей жили... Вот изломаешь свою судьбу, тогда наплачешься!

— Ну вот что, подруги мои дорогие,— устало сказала Тося,— почесали языки, и хватит. Нечего, это самое, диспут устраивать. С кем хочу, с тем гуляю. Моя жизнь: что хочу, то и делаю... А если будете мне палки в колеса вставлять, я в другую комнату переберусь, а то и в газету напишу: травят молодого рабочего. По головке вас за это не погладят!

Надя пристыдила Тосю:

— Мы с тобой по-хорошему, а ты за газету прячешься.

— Да как ты не поймешь,— удивилась Вера,— совсем он тебе не пара. Потаскун твой Илья!

— Это у него видимость такая, а сам он хороший! — стала Тося на защиту Ильи, топнула ногой и пропела с вызовом:

Она была ему не пара,
Но он любил ее... та-та!

— Да хватит с ней болтать! — рассердилась Надя, выхватила у Тоси билет и порвала его в мелкие клочья.

— Так вот ты какая?! — с презрением выпалила Тося.— Что ж валенки с меня не снимешь? На, тащи! — Тося протянула Наде ногу.— Тащи, чего ж ты стесняешься? Здоровая выросла, а ничего не понимаешь! Я и босиком по снегу побегу, не остановишь... Эксплуататорша!

Ударом ноги Тося распахнула дверь.

— Стой, глупая! — приказала Вера.— Ты думаешь, Илья всерьез к тебе, а он... спорил!

— Как спорил? — опешила Тося, замирая на пороге.

Ксан Ксаныч сокрушенно покачал головой, не одобряя забракованной им правды, без которой по молодости лет не смогли все-таки обойтись девчата.

— Об заклад с Филей бился, что влюбишься ты в него...— неохотно и брезгливо ответила Вера.— Вот хоть у Анфисы спроси.

— Об заклад? Да разве можно так, мама-Вера... На живого человека?! — жалобным голосом спросила Тося, прижимая кулачки к груди.— Анфиска, правда?

Анфиса отвернулась и зябко повела плечами. Поник-

шая и жалкая, разом растеряв всю свою боевитость, отошла Тося от двери. Она расстегнула пальто, но снять его силы у нее уже не хватило. Как березка, спиленная под корень, Тося рухнула на свою койку.

— Ты поплачь, легче будет,— сердобольно посоветовал Ксан Ксаныч.

Вера подсела к Тосе, обняла ее и пообещала:

— Мы тебя в обиду не дадим.

Тося рывком вскинула голову. Глаза у нее были сухие-сухие и как-то враз провалились.

— А на что он спорил?

Вера молча посмотрела на Анфису. И Тося перевела глаза вслед за ней. Анфиса привычно пожала плечами:

— Кажется, на шапку...

— Мало ему одной? — тихо спросила Тося.

Анфиса снова пожала плечами, глянула на Тосю и вдруг испугалась за нее:

— Ой, Тоська, да не принимай ты все это так близко к сердцу! Из мужчин одному Ксан Ксанычу только и можно верить.

Ксан Ксаныч церемонно поклонился Анфисе. Он закончил уже свою профилактику и прятал масленку в специальный кожаный мешочек.

Поторапливая замешкавшуюся Тосю, Илья с улицы забарабанил в окно.

Тося медленно поднялась с койки. Застегивая пуговицы пальто, она наткнулась пальцами на праздничную свою брошку. Рука ее замерла: кажется, Тося никак не могла припомнить, чего ради надела она сегодня лучшее украшенье. Навеки прощаясь с недавней своей незрячей радостью, Тося отцепила ненужную больше брошку, кинула ее под койку и шагнула к двери.

— Тось? — с болью в голосе окликнула ее Вера.

Неузнающими глазами Тося посмотрела на Веру и вышла из комнаты.

— Вот вам и правда,— сказал Ксан Ксаныч, вытирая руки тряпочкой.

ПЫЖИК МЕНЯЕТ ХОЗЯИНА

Суровая Тося молча шла рядом с Ильей по улице поселка. Обеспокоенный Илья долго приглядывался к ней сбоку, не в силах понять, что приключилось с Тосей за

те считанные минуты, пока он поджидал ее на крыльце.

— Тось, ты чего такая? — осторожно спросил он, прикидывая, какие еще испытания уготовила ему судьба.

Шагов десять Тося прошла молча.

— Так... Надоело на свете жить.

— Вроде подменили тебя,— пожаловался Илья.— А я как вышел от вас, все о тебе думал. Будто ты все время со мной была. Даже вот тут...

Он несмело ткнул себя кулаком в грудь.

— Это уж как водится! — презрительно сказала Тося, не веря ни единому его слову.

— Вижу, настропалили тебя монашки...— Илья покаянно вздохнул.— Что ж скрывать, я и до тебя тут кой с кем встречался. А только ничего я тогда в настоящей любви не понимал, глупый был как пробка. Это ты меня, Тось, всего перевернула, умным сделала... И как я раньше без тебя жил? Даже не верится.

— Вот ты и опять заговорил красиво...— враждебно сказала Тося.

— Да разве это красиво? — усомнился Илья.— Про тебя совсем не так надо говорить, да жаль вот, не обучен...— Он помолчал и признался: — Мне, Тось, чего-то страшно стало. Вроде стоит что-то меж нами, не пускает тебя ко мне. Ты скажи, я все перегородки в щепу искрошу!

Тося подивилась, что Илья так хорошо понимает ее. В другое время она порадовалась бы такому их единодушию, а теперь лишь подумала: «Из-за шапки старается, барахольщик несчастный!»

Она еще больше ожесточилась душой против Ильи и наконец-то решила, что ей надо делать. Сейчас она и виду не подаст, что ей все известно о споре,— затаится и будет ждать. А вот придут они в клуб, и тут выведет она Илью на самую середку зала и при всем честном народе приварит ему звонкую оплеуху, чтобы он на всю жизнь запомнил, как спорить на живых людей. У нее даже руки зачесались, так захотелось ей поскорей залепить пощечину подлому человеку, и Тося невольно прибавила шагу, чтобы приблизить заветную минуту.

— Хочешь, я тебе лучше расскажу, какая ты? — предложил вдруг Илья.— Рассказать?

Желание наконец-то узнать, какая она есть, пересилило в Тосе все ее мстительные планы, и она ответила более добрым голосом, чем собиралась:

— Что ж, расскажи, послушаем... Глядишь, и дорогу скоротаем!

— Знаешь, ты совсем не такая, как другие! — убежденно сказал Илья.— Другие только девчата, а ты, Тось, человек. Человек, понимаешь?

— Валяй дальше,— угрюмо сказала Тося, изо всех сил стараясь не поверить подлому барахольщику, променявшему ее на Филину кубанку.

— Ты, может, и не такая уж красивая...

— Спасибочко!

— Да ты погоди... Ну зачем тебе красота? Это другим она нужна, чтобы пыль в глаза пускать, а ты и без красоты красивая... Тось, ты только не смейся!.. Красота вроде платья. Можно и красивое напялить, а под ним — ничего. А ты... ты *вся* красивая, и как только другие этого не видят! — пожалел вдруг Илья слепых своих земляков и современников, равнодушно проходящих мимо тайной Тосиной красоты.

Тося слушала Илью, верила ему и не верила, а сама все думала о том, как порадовали бы ее все эти слова, если б не было никакого спора и Филя со своей дурацкой кубанкой не затесался меж ними. Ей вдруг остро стало жаль и себя, проспоренную, и запутавшегося Илью, который, судя по всему, не очень-то обманывал сейчас ее, а говорил то, что думал на самом деле. Подобревшей незаметно для себя Тосе начало уже казаться, будто Илья виноват перед ней лишь в том, что так припозднился с нынешними, возвеличивающими ее словами, давно уже нужными ей для полного счастья!

Вот человек, не мог раньше сказать! И чего, спрашивается, тянул? Ну что ему стоило заговорить об этом прежде, хотя бы на той же тормозной площадке, когда они от нечего делать болтали о снах и всякой чепухе?..

А Илья говорил все горячей и горячей, доказывая Тосе, как она нужна ему. Кажется, он не на шутку испугался, что может потерять ее, и спешил сейчас под корень смести все громоздкие баррикады, воздвигнутые против него Тосиными подругами.

Что-то дрогнуло и надломилось вдруг в Тосе. Жесткие тиски, в которые зажала она свое сердце, неожиданно сдали, какой-то самый главный винт в них вдруг забастовал и отказался работать против Ильи. И с хваленой Тосиной душой тоже творилось что-то совсем уж неладное. По-девчоночьи резкая и непримиримая Тосина

душа нежданно-негаданно набухла слезами, размякла и стала такой женской, даже бабьей, что хоть выжимай ее или вывешивай на солнышко для просушки.

Тося заметила вдруг, что плачет. Она не вытирала слез, чтобы не выдать себя перед Ильей, лишь слизывала их кончиком языка и все круче и круче запрокидывала несчастную свою и счастливую голову.

На миг она представила, как обрадовалась бы раньше, на трясучей площадке, расскажи Илья тогда все, что он сейчас ей рассказывал. Тося тут же пожалела, что глупый Илюшка бессовестным и нелепым своим спором, помимо всего прочего, ограбил их любовь и убил вот эту ее несостоявшуюся радость...

Она неосторожно повернулась к Илье, и тот увидел ее лицо, залитое слезами.

— Тось, да что с тобой? — встревожился Илья.— Кто тебя обидел? Ты только намекни, я ему голову сверну!

Тося невесело усмехнулась и сказала, презирая себя за слабость:

— Вот и не хочу, а верю тебе...

— А ты верь! — горячо посоветовал Илья.— Верь, Тося! Вот увидишь, я тебя не подведу!.. Сильней верь — и все у нас хорошо будет!

И голос у него был такой честный и любящий, будто он никогда не спорил с Филей.

— А ну помолчи...— устало попросила Тося и, как встарь, отодвинулась от Ильи.— И откуда ты взялся на мою голову?

Они прошли мимо недостроенного дома, в котором Ксан Ксанычу с Надей обещали дать комнату. За последнюю неделю, благодаря стараниям Дементьева, новостройка заметно вымахала вверх. Свежие венцы бревен белели повыше старых, почерневших от непогоды, и издали многострадальный дом казался двухэтажным. Первая пара стропил-раскоряк обозначила высоту будущей крыши.

Из клуба выскочила девица с серьгами, преследуемая подвыпившими Филей и Мерзлявым. Она сбежала с крыльца, и тут парни настигли ее. Мерзлявый крепко держал свою жертву за руки, а Филя обеими пригоршнями совал снег за ворот ее платья, выпытывая:

— Будешь отказываться танцевать? Будешь?

— Ой, ребята, не буду! Не буду больше!..— истошным голосом вопила девица с серьгами.

Тося задержала взгляд на Филиной кубанке. Так вот, значит, на какую шапку ее променяли! Шапка как шапка — и даже изрядно поношенная... И на что Илья польстился! Если уж спорить, неужели получше шапки нельзя было во всем поселке найти? Дешево же ее оценили!

Она искоса глянула на Илью, и приутихшая было обида с новой силой стала закипать в ней.

— Что ж вы вдвоем на одну? — с досадой спросил Илья, чувствуя, что Тося опять отгораживается от него какими-то новыми баррикадами.— А ну, бросьте!

Филя подмигнул Илье, уверенный, что тот говорит лишь затем, чтобы выслужиться перед Тосей. Илья шагнул к закадычным своим приятелям.

— Ну?

— Да брось ты интеллигенцию из себя разыгрывать! — посоветовал Мерзлявый.

Илья легко оторвал Мерзлявого от визжащей девицы с серьгами и отшвырнул его к ближайшему телеграфному столбу. Хлипкий парень распластанной вороной пролетел над сугробом, обнял столб обеими руками и больно приложился к нему подбородком. Со стороны смотреть, казалось, будто Мерзлявый надумал вдруг целоваться с телеграфным столбом.

В другое время Тося, чуткая ко всему смешному, от души посмеялась бы над незадачливым хулиганом. Но сейчас ей было не до смеха, и она насупилась, не зная, что ей в конце концов думать про Илью. И когда он настоящий: когда спорил на нее или вот сейчас, когда выручил девицу с серьгами. Попробуй тут разберись...

— Спасибо, Илюша,— благодарно пролепетала спасенная от расправы девица, проверила, целы ли серьги у нее в ушах, и шмыгнула в клуб.

— Зря ты...— хмуро сказал Филя, помогая Мерзлявому выкарабкаться из сугроба.— Свой же...

Илья с Тосей поднялись на крыльцо. На нижнем складе горячо закричал паровозик, будто хотел прийти на выручку Тосе и подсказать, как ей лучше вести себя. Тося вздохнула, злясь и на Илью-спорщика, и на себя за то, что такая бестолковая уродилась и никак не может разобраться в нем, и на девицу с серьгами, которая так не вовремя выскочила из клуба и дала Илье возможность проявить сомнительное свое благородство, и на все поголовно человечество, которое черт-те когда произо-

шло от обезьян, а до сих пор не навело еще полного порядка во взрослой жизни и теперь всю свою многовековую неразбериху взвалило на несчастную Тосину голову...

Она купила в кассе билет взамен порванного Надей.

— Я же тебе давал! — удивился Илья.

— Посеяла где-то...

Они вошли в зал. Скамейки перед экраном только начали расстанавливать, танцы были в разгаре. Илья быстро скинул свою кожанку и помог Тосе снять невесомое ее пальтецо. Такого еще никогда не бывало в поселке — и вся женская стенка неодобрительно загудела. Тося перехватила любопытные и завистливые взгляды девчат, и ей что-то совсем расхотелось выводить Илью на середину зала и колошматить его при всем честном народе. Если б в зале остались только те люди, которых она уважает,— тогда другое дело. А забавлять всю эту ораву — больно много чести.

Чтобы выгадать время, она отобрала у Ильи свое пальто, стряхнула с него несуществующую пылинку и долго устраивала на груде одежды в углу зала. Потом сняла платок и, тщательно ровняя края, стала не спеша складывать его — вдвое, еще раз вдвое и еще. Илья с необычайно покорным видом стоял возле Тоси и терпеливо ждал, пока она приготовится к танцам. Кажется, он даже позабыл на время, зачем они пришли в клуб. Ничего другого ему и не надо было, а лишь стоять вот так рядом с Тосей и смотреть, как она копошится...

— Тось, ленточка у тебя развязалась,— шепнул Илья, радуясь, что может оказать Тосе хоть такую малую услугу.

Все взрослые обиды и печали сразу же улизнули от Тоси, она по-девчоночьи испуганно схватилась за ленточку в волосах, боясь опозориться перед завистливыми девчатами, и сама не заметила, как взглядом поблагодарила Илью. Ей понравилось, что Илья не похож сейчас сам на себя: такой у него был непривычно смирный, даже прирученный вид. И Тося знала, кто его приручил.

Пуще прежнего она засомневалась, правду ли сказали подруги, не напутали ли они чего-нибудь по неведенью или злому умыслу. Может, и был у Ильи какой-нибудь шутейный разговор с Филей, а Анфиса не разобрала толком и разнесла по всему поселку, как сорока на хвосте. Вот люди!..

Насчет спора судить еще было рано. Но уж одно было Тосе ясней ясного: Вера с Надей пугали ее стародавним Ильей и не разглядели в нем того нового, что проклюнулось в самое последнее время.

Филя неотрывно следил за ними, не понимая, что это стряслось с Ильей. Задумчивое Тосино лицо сбивало Филю с толку. Он никак не мог решить, близок Илья к победе или нет. На всякий случай, чтобы позлить отколовшегося своего приятеля, Филя вздел над головой руку с двумя оттопыренными пальцами и затряс ею в воздухе, напоминая Илье, что до конца их спора осталось всего лишь два денька.

Илья заметил красноречивый Филин сигнал, виновато покосился на маленькую Тосю, воюющую с ленточкой, и дал себе клятву сегодня же все рассказать ей о споре. Вот потанцуют они, посмотрят «Смелых людей», он проводит Тосю до общежития и покается на прощанье. Лучше самому все сказать, пока она от других не услышала...

Он услужливо склонился к Тосе:

— Вальс больше уважаешь или фокстрот?

Тося посмотрела на него далекими от всего окружающего глазами, не сразу поняла, о чем ее спрашивают.

— Все равно...

— Тогда вальс,— решил Илья и ринулся к радиоле.

Он сам не отдавал себе в этом отчета, но ему хотелось сейчас же, сию минуту что-то сделать для Тоси, хоть отчасти искупить немалую свою вину перед ней. Не обращая внимания на всеобщее недовольство, Илья снял пластинку, покопался в коробке и поставил другую. Грянул вальс. Илья поспешил к Тосе, бесцеремонно расталкивая танцующих.

А Тося вдруг испугалась, что он не найдет ее, не продерется к ней сквозь толпу. Или случится что-нибудь непредвиденное, например, поломается радиола, а то еще потолок рухнет — мало ли каких несчастий не бывает на свете,— и им так и не удастся потанцевать. Далекой и смешной показалась Тосе недавняя ее придумка — при всех шлепнуть Илью по щеке, навсегда опозорить его. И кому это надо?..

Илья вынырнул из толпы. Тося шагнула ему навстречу, руки их встретились. С первого же совместного шага они попали в такт музыке, но ничуть не удивились этому, точно иначе просто и быть не могло. У них обоих

было сейчас такое чувство, будто не они подчинялись музыке, а музыка ловила их движения и приноравливалась к ним. И выходит, Тося кругом была права, когда надеялась, что не опозорится в танце с Ильей и сможет танцевать не хуже красотки Анфисы.

Она и думать сейчас не хотела, виноват Илья перед ней или нет. Просто Тося жила вот этой короткой счастливой минутой, которую удалось ей выцарапать у жизни. Судьба словно притомилась испытывать Тосю и хотела показать им обоим, как расчудесно все могло бы у них быть, если б они оба были достойны своей любви. Тося и знать сейчас не хотела, как сложится все у них с Ильей дальше, когда окончательно выяснится, спорил он или нет. Пропади оно пропадом, это туманное будущее! Все равно как-нибудь да будет: не так — так иначе, ведь всегда как-нибудь да бывает...

Чтобы не разбивать впечатления, Тося закрыла глаза и отдалась широкой праздничной музыке. Она не хотела сейчас видеть ехидного Филю с его ватагой, Анфису, стерегущую кого-то у входа в зал, Катю, о чем-то шепчущуюся с женой механика, здоровенных девчат, выстроившихся у стены и ревнивыми глазами следящих за каждым Тосиным движением — в надежде, что она напутает и собьется. Ей даже Илью не очень-то хотелось сейчас видеть. С закрытыми глазами Илья казался Тосе лучше и почему-то легче верилось, что он не спорил.

— А ты хорошо танцуешь! — похвалил Илья.

Тося строго посмотрела на него. Она была так уверена, что сейчас им не надо ни о чем говорить, что эта ее уверенность сразу же передалась Илье. Он виновато прикусил язык и еще бережней повел Тосю в танце, словно она была стеклянная и могла разбиться от неловкого прикосновения.

Илья с Тосей неслись по залу, не видя никого вокруг. Им казалось, что они сейчас вдвоем не только в клубе, но и во всем поселке и даже в целом мире. Когда музыка вдруг оборвалась, они не сразу поняли, что случилось, и только заметив отхлынувшие к стенам пары, догадались, что их счастливый вальс кончился.

Илья подвел Тосю к девчатам и остановился под своим иконописным портретом. Картинная галерея лесопункта за это время пополнилась портретами Нади и маленького тракториста Семечкина. Художник-самоучка хотел польстить Наде и нарисовать ее покрасивей, чем

она была в жизни, но умения у него хватило только на одну половину лица. Яркий кумач с надписью «Передовики нашего лесопункта» полыхал над всеми портретами и выдавался далеко вперед, обещая принять под свое гостеприимное крыло еще с пяток знатных лесорубов.

Благодаря Тосю за танец, Илья почтительно склонил перед ней голову. Парни из Филиной ватаги оглушительно захохотали, восторгаясь шикарными манерами Ильи. Тот сердито глянул на них, но с места не тронулся, боясь и на минуту расстаться с Тосей.

Все кавалеры, подчиняясь обычаю, отошли от женской стенки, а Илья остался рядом с Тосей. Девчата вокруг зашептались, осуждающе поглядывая на Илью, нарушившего неписаный закон, которому с незапамятных времен все подчинялись в поселке.

А Тося припомнила вдруг слова Кати о том, что до ее приезда Илья крутил тут со многими девчатами, и резонно рассудила: если ухажерок этих было так уж много, то кто-нибудь из них должен быть и сейчас в клубе. Она передвинулась чуть в сторону, чтобы печка не закрывала ее. И Илья сейчас же покорно шагнул вслед за Тосей. «Прямо как нитка за иголкой!» — подумала Тося и горделиво выпрямилась. Пусть все прежние Илюхины ухажерки смотрят на нее и лопаются от зависти!

Она ничуть не злилась на этих покинутых симпатий и совсем не боялась их. По доброте душевной Тосе даже стало немного жаль всех этих невезучих здоровенных девчат, которые ни с того ни с сего втемяшили себе в головы, что Илья когда-то любил их. И уж конечно же Тося не ревновала к ним Илью. Во-первых, это еще тогда было, когда она не приехала в поселок и Илья не знал ее. А во-вторых... Хватит с них и одного во-первых!

Филина ватага снова зашумела громче прежнего. Тося покосилась на крикливых парней и насупилась. Сам Илья стерпел бы и не такое, но ватага замахнулась на Тосю, а уж этого он никак не мог вынести.

— Подожди, я сейчас,— сказал он Тосе и через весь зал напрямик двинулся к ватаге.

Тося хотела удержать Илью, боясь, что он из-за глупого мужского самолюбия ввяжется в драку с подвыпившими парнями, но не успела.

Илья вплотную подошел к недавним своим дружкам и пригрозил:

— Будете еще зубоскалить над Тосей — изувечу, как бог черепаху!.. Все понятно? Вопросы есть?

Горлопаны разом затихли, и вид у них стал такой унылый, будто шли они на веселую кинокомедию, а попали на лекцию о моральном облике молодого человека. Мерзлявый заскучал больше всех, потер подбородок, пострадавший при встрече с телеграфным столбом, и от греха подальше заспешил к выходу.

Тося не слышала, о чем говорил Илья, но догадалась, что он отчитывает прежних своих приятелей. Она подивилась, как быстро, прямо-таки на глазах, перевоспитывается Илья, и окончательно решила, что никакого спора и в помине не было. Ну зачем ему, такому сознательному, спорить? Просто не мог он спорить — и все! И она тоже хороша: так сразу и поверила всему, что наговорили ей девчата. Сама первая предала Илью, а ищет виноватых...

И скорая Тося загорелась желанием тут же добром отплатить Илье за все вздорные свои подозрения. Но Илья, как назло, задержался возле ватаги, а к Тосе подбежала озабоченная Катя:

— Слышь, Кислица, у тебя червонца не найдется? Жена механика уступает мне мулине... Почти по себестоимости!

— Какое еще мулине? — опешила Тося, не в силах понять, как может Катя в такую минуту думать о каком-то там мулине.

— Ленинградское, самое лучшее... Полный набор цветов! У Сашки все деньги выцыганила, а червонца не хватает. Хотела из лотерейных перехватить, все равно отчитываться не скоро, да Сашка — ни в какую... Категорически! Знаешь, что это за человек? — ликующим шепотом спросила Катя, восторгаясь Сашкиной честностью.— Чует мое сердце, хватану я с ним горюшка!

— Пойдем поищем,— сказала Тося и вместе с Катей направилась в угол, где на скамьях навалом лежала верхняя одежда.

Пока Тося разыскивала свое пальтецо, Катя окликнула Анфису, все еще стоящую у входа в зал·

— Что ж не танцуешь? Или ждешь кого?

Анфиса пожаловалась с заметной охотой:

— Договорились с Вадим Петровичем вместе в кино идти, скоро начало, а его все нет... Никого в жизни не ждала, а его вот жду! Как это тебе нравится?

— Дело хозяйское...— уклончиво ответила Катя и не удержалась, чтобы не похвастаться: — А я своего Сашку никогда не жду: досрочно приходит!

Анфиса улыбнулась тайным своим мыслям и сказала доверчиво:

— Знаешь, Вадим Петрович меня за кого-то другого принимает: все «вы», «вы», такой вежливый!.. А вообще-то он чудной: инженер, диплом, говорят, с отличием, а сам мальчишка мальчишкой. Бывают же такие!

Катя зевнула и покосилась на замешкавшуюся Тосю.

— Дает Тоська жизни! Все-таки молодец она,— впервые похвалила Анфиса свою соседку по койке.— Чихала на спор и все Веркины предупрежденья! Я даже не думала, что она такая самостоятельная... И правильно делает: нечего на сплетни молиться!

Последние слова Анфиса выговорила так горячо и заинтересованно, что Кате показалось, будто она имеет в виду не только Тосю с Ильей, а и себя с инженером....

— Значит, Кислица знает уже про спор...— с сожаленьем сказала Катя.

Она жалела не так Тосю, как себя. Открывая Тосе глаза, девчата обошлись без нее и лишили ее интересного зрелища.

А Тося разыскала наконец пальтецо, выгребла из кармана все свои невеликие капиталы — в смятых бумажках, серебре и медяках — и отдала Кате.

— Вот спасибо, подруга, выручила! — растроганно поблагодарила Катя и тут же, без передышки, пристыдила легкомысленную девчонку: — Ты что же это делаешь, а? Смотреть противно! Он спорил на тебя, а ты без никаких танцуешь. Имей хоть каплю гордости!

— Мало мне капли! — заупрямилась Тося.

— Ой, Кислица, не финти! — накинулась Катя на Тосю с видом человека, обманутого в лучших своих ожиданиях.— Обещала мстить — так мсти! — и напомнила язвительно: — За весь женский пол!..

— А ну, цыц! — оборвала ее Тося.— Заладили: «спорил, спорил»... Слышала звон, да не знаешь, где он! Будешь еще на честного человека напраслину возводить — я... Сашке пожалуюсь! Он тебя за сплетни по головке не погладит.

Катя оторопела, попав из прокуроров в обвиняемые, а Тося бросила ее и пошла через весь зал к Илье, ску-

чающему возле своего портрета. Илья радостно встрепенулся и поспешил к Тосе. Они встретились на полпути, опять с первого же совместного шага попали в такт, и музыка понесла их на широкой своей волне.

Между танцующими парами пробирался Филя, поминутно поправляя кубанку, чертом сидящую у него на макушке. Илья наскочил на него, отвернулся и увлек Тосю в самый дальний угол зала.

Но от Фили не так-то легко было избавиться. Доморощенным Мефистофелем из самодеятельного спектакля он высунулся из-за печки, как веером обмахиваясь двумя растопыренными пальцами. Встретившись с Тосей глазами, Филя живо стащил с головы кубанку и многозначительно покрутил ею в воздухе, словно тут же предлагал Илье обменять Тосю на потертую свою шапку.

Илья свирепо цыкнул на него — и Филя поспешно юркнул за печку. Но было уже поздно. Тося хорошо разглядела Филины манипуляции с шапкой. Все сомнения разом вылетели из ее головы. Она замерла на месте, будто уперлась с разбегу в стену, и с отвращением вырвала свою руку: ей теперь даже прикасаться к Илье было противно.

— Тось, послушай...— начал было Илья, но Тося в упор глянула на него, и все защитительные слова застряли в его горле.

Илья сразу догадался, что Тося все знает о споре. Он не выдержал ее гневного, откровенно презирающего взгляда, трусливо отвел глаза и с нашкодившим видом застыл рядом с Тосей.

Они стояли посреди зала, мешая танцующим. Пары натыкались на них и, недоуменно оглядываясь, обходили.

А парни из Филиной ватаги старательно глазели на Илью с Тосей, почуяв приближение скандала.

А Тосе даже и не себя было жаль сейчас, не своей оплеванной первой любви, а того, что Илья так опозорился: летал перед ней орлом, делал вид, что душа у него широкая, а на поверку оказался самой настоящей мокрой курицей. Если разобраться, он был даже хуже Фили! Тот хоть никого из себя не корчил: был мелким хулиганом — таким его все и знали.

И не в одном Илье тут было дело. Привыкшей к размашистым обобщениям Тосе обидно вдруг стало, что вся людская порода такая еще несовершенная. Никак люди

со своими постыдными пережитками не распрощаются, так и тащат их с собой в коммунизм. А уж болтают о себе, болтают...

На миг все люди, живущие вместе с ней на земле, все поголовно человечество сникло вдруг в глазах Тоси, пригнулось, как бы даже сплющилось, несмотря на все свои чудесные спутники и гордые космические ракеты. Будто его, это самое непутевое человечество, какой-то небывалой вселенской косой полоснули вдруг по ногам и разом укоротили вдвое... Эх, люди-человеки! И когда вы только лучше станете?..

А Филя набрался храбрости и высунулся из-за спасительной печки.

— Филя! — зазвеневшим от обиды и гнева голосом позвала Тося.— Отдай ему свою шапку...— Не оборачиваясь, жестом крайней гадливости Тося ткнула пальцем в сторону Ильи: — Он выиграл... А я тебе новую куплю... Отдай, ну!

И такая убежденность в своей правоте и великое презрение к ним обоим прозвучали в Тосином голосе, что ершистый Филя безропотно подчинился, стащил с головы кубанку и нерешительно протянул Илье, а тот, не смея перечить смертельно обиженной Тосе, послушно взял чужую шапку.

Замолкла радиола. Все танцующие замерли на своих местах.

— Эх, ты! — тихо сказала Тося, глядя Илье в плечо.

Она не договорила, махнула безнадежно рукой и пошла к выходу — маленькая и прямая, с окаменевшим от лютого горя лицом. Лесорубы молча расступались перед ней, давая дорогу. Илья намертво врос в пол и только голову поворачивал, провожая Тосю глазами. Девица с серьгами завела было радиолу, но все, как по команде, осуждающе глянули на нее, и она тут же выключила неуместную свою музыку. Тося закрыла лицо локтем и выбежала из зала.

Раскатисто хлопнула дверь. Илья увидел в своей руке кубанку и швырнул ее Филе. Тот машинально вскинул руку и поймал шапку. А Илья шагнул в угол зала, выхватил из вороха одежды приметный свой пыжик и послал его вдогонку за кубанкой:

— Держи!

Свободной рукой Филя по-обезьяньи ловко поймал знаменитый пыжик, увековеченный для потомства на



портрете Ильи, и спросил враз осевшим от волнения голосом:

— Это как же понимать?

— А вот как...— Илья наконец-то отыскал виновника всех своих бед и сильным ударом сбил Филю с ног.— Все из-за тебя!

Он кинулся к выходу вслед за Тосей, расталкивая лесорубов.

Оглушенный Филя медленно поднялся с пола, держа в каждой руке по шапке. Переводя глаза с пыжика на кубанку, Филя растерянно заморгал, не понимая, выиграл он спор или нет...

Илья выскочил на крыльцо клуба. Вдали, то появляясь в свете фонарей, то пропадая во тьме, по ночной пустынной улице бежала Тося. Илья спрыгнул с крыльца и ринулся догонять ее. И тут на пути Ильи, загораживая дорогу, стали трое парней из Филиной ватаги. Они шли смотреть «Смелых людей» и ничего не знали о том, что случилось в клубе.

— Когда ж ты на Камчатку ее приведешь? — ехидно спросил Длинномер.— Заждались мы...

Разъяренный Илья схватил Длинномера в охапку, перевернул его в воздухе и сунул головой в сугроб. Двое других парней испуганно попятились. Илья рванулся вперед и тут же остановился, не видя нигде Тоси. Барахтаясь в рыхлом снегу, Длинномер проваливался все глубже и глубже. Одни лишь длинные нескладные ноги торчали позади Ильи из сугроба.

Илья вбежал в женское общежитие и сейчас же выбежал, не найдя там Тоси.

— Тось, где ты? — крикнул он в сторону Камчатки.— Я тебе все объясню... Это еще когда было... Тось, отзовись... То-ося!..

Крупная луна стояла в небе. Гасли окна в домах. И в клубе разом погасли все огни — начался киносеанс. Пустой, молчаливый, будто вымерший поселок, залитый неживым лунным светом, лежал перед Ильей. На миг ему почудилось, что он остался один во всем мире.

Тося забилась под густую елку возле конторы. Илья пробежал мимо и не увидел ее. Он потоптался на углу, крикнул в переулок:

— Тось? — вернулся, опять пробежал мимо елки — и опять не заметил Тоси.

Боясь, что не совладает с собой и отзовется, Тося обеими руками зажала уши, чтобы не слышать жалкого и виноватого голоса Ильи.

Над притихшим поселком метался отчаянный крик:

— Тось, где ты?.. То-ось!.. То-о-ося-а!..

Лишь дальнее лесное эхо отвечало Илье.

БУМАЖНЫЕ ЗАНАВЕСКИ

В рубашке с расстегнутым воротом Дементьев сидел в своей комнате за столом, заваленным чертежами и раскрытыми справочниками, считал на логарифмической линейке и напевал фальшивым голосом:

Полюбила меня не любовью,
Как березу огонь, горячо...

На кровати обосновался Петька Чуркин. Он уже успел подружиться с инженером, не в первый раз пришел сегодня к нему и чувствовал себя здесь как дома. Петька с увлечением листал книжку с картинками и грыз медовые пряники. Кулек с пряниками лежал на краю стола — как раз посередине между Петькой и Дементьевым.

Они одновременно потянулись к кульку и столкнулись руками.

— Дядь Вадим, почему индейцы в Америке живут? — спросил Петька.— Индейцы должны жить в Индии!

— А это ты у Христофора Колумба спроси,— посоветовал Дементьев.

В дверь постучали — сначала тихо и тут же, беспричинно обозлясь, заколотили изо всей силы.

— Входи, открыто! — беспечно крикнул Дементьев.

Дверь распахнулась, и в комнату вошла Анфиса — обиженная, злая, готовая скандалить.

— Как вам не стыдно?! — едва переступив порог, накинулась она на Дементьева.— Договорились идти в кино, я, как дура, ждала, билеты купила, а вы...

Она бросила на стол скомканные билеты — вещественное доказательство дементьевского вероломства.

— А разве вам не передавали? — огорчился Дементьев.— Я заходил на коммутатор, вас не застал... А в кино никак сегодня не мог, Анфиса, поверьте! Срочная работа: завтра в леспромхозе важное совещание, вот готовлюсь к бою...

Он кивнул на стол и затряс в воздухе логарифмиче-

ской линейкой, пытаясь защититься от гнева Анфисы, убедить ее, что никак не мог пойти сегодня в кино.

— Надо было предупредить,— уже сдаваясь, но все еще хмуро сказала Анфиса.— Вот здесь, значит, вы и живете?

Она с любопытством оглядела по-холостяцки неустроенное и запущенное жилище инженера. Дементьев заметался по комнате, пытаясь навести хоть какой-нибудь порядок: валенки он запихнул под кровать, сорвал с табуретки перед печкой носки, не нашел, куда положить их, и сунул в карман, ногой сгреб дрова, разбросанные на полу, перевернул подушку на кровати.

— Поздно, Вадим Петрович, поздно! — поддразнила его Анфиса.

— Петя! — бодрым голосом обратился Дементьев к маленькому Чуркину.— Не пора ли тебе домой? Ведь ночь уже на дворе, мамаша беспокоится...

— Моя? — не поверил Петька своим ушам.— Ничуть она не беспокоится. Спит и во сне видит, когда я совсем из дому сбегу, сама говорила!.. Ты мне еще ничего про индейцев не рассказал.

— Перенесем, брат, индейцев на завтра. Приходи пораньше, я тебе расскажу, как они на бизонов охотятся.

— А не обманешь?

— Петя, слово мое — закон!

Дементьев клятвенно положил руку на сердце. Успокоенный Петька слез с кровати, накинул тулупчик и, демонстративно не замечая Анфису, запустил на прощание руку в кулек с пряниками.

— До свиданья, дядь Вадим.

— Бывай здоров, Петя!

Дементьев, как взрослому, пожал Петьке руку.

— И охота вам возиться с ним? — ссудила Анфиса, когда дверь за Петькой закрылась.— Нашли себе дружка!

— А у меня к таким ребятам особый интерес,— виновато сказал Дементьев, помогая Анфисе снять шубку.— Любопытный они народец! Вот и в одно время с нами живут, а другое уже поколение. Жить им дальше нас, умнее, чище... Ну, да мы об этом как-нибудь еще поговорим. А теперь вы посидите минут десять, я расчетец один прикончу, и чай будем пить. Ладно?

Дементьев поставил чайник на электроплитку и вернулся к логарифмической линейке. А Анфиса обошла

комнату, провела пальцем по полочке над умывальником и убедилась, как и предполагала, что пыль там есть, и даже мохнатая. С решительным видом Анфиса засучила рукава своего красивого джемпера и взялась за уборку комнаты.

— Зачем вы? — обеспокоился Дементьев.— Мне, право, неловко...

— Считайте себе на здоровье и помалкивайте,— посоветовала Анфиса, уверенная в своем праве наводить порядок в этой комнате.— Поимейте в виду, я вас еще за кино не полностью простила!

Она затопила печку, по-своему переложила все вещи в тумбочке, подмела пол веником из еловых лап, вытерла всюду пыль.

Увлекшись вычислениями, Дементьев опять зафальшивил:

Полюбила меня не любовью...

— Что это вы там поете? — поинтересовалась Анфиса.

— Да вот привязалась сегодня с утра... Бывает с вами такое?

— Бывает.

— А... пряники вы тоже любите? — Дементьев живо схватил кулек и протянул Анфисе.— Я на первом курсе полстипендии на пряники тратил.

— Люблю! — призналась Анфиса, и они порадовались тому, что привычки и вкусы их совпадают.

Анфиса отыскала в углу комнаты рулон синей бумаги, накрыла ею тумбочку и полку над умывальником и даже вырезала ножницами по краям зубчики. А неказистый жестяной умывальник она замаскировала газетами, соединив их канцелярскими скрепками.

Глядя сейчас на Анфису, никак нельзя было поверить, что она всячески отлынивала от уборки комнаты в общежитии, когда наступал ее черед дежурить. Вот подивилась бы Тося, если б увидела, как старается лентяйка Анфиса! Она работала так увлеченно и самозабвенно, будто всю свою прежнюю, не очень-то правильно прожитую жизнь только и мечтала о том, чтобы убирать комнату Дементьева.

— Ну, товарищ техноурк, закрывайте свою канцелярию! — решительно объявила она, когда чайник закипел.

Дементьев восхищенными глазами оглядел преображенную комнату:

— Вы — кудесница! У меня такое чувство, будто я на новую квартиру переехал.— Вконец покоренный Анфисой, он осторожно провел пальцем по зубчикам на бумажной скатерке: — А это зачем, если не секрет?

Анфиса смутилась, будто ее поймали на месте преступления.

— Для красоты...

Она попыталась вымыть руки, но в умывальнике воды не оказалось.

— Одну минуту! — воинственно сказал Дементьев, сорвал с гвоздя пустую жестянку и выбежал из комнаты. Вернулся он уже с умывальником, доверху набитым снегом — так, что крышка не закрывалась.— Вот! — торжествовал он победу.— Нет такого положения, из которого не было бы выхода!

Дементьев подержал умывальник у раскрытой печки, чтобы снег поскорей растаял. Помогая ему, Анфиса плеснула в умывальник кипятку из чайника, но снег что-то не спешил таять.

— Скрытый холод снеготаяния! — отыскал ученую причину Дементьев и повесил умывальник на гвоздь.— Нет такого положения...

Широким жестом он пригласил Анфису подойти и зачерпнул для нее снежной кашицы через верх умывальника. Сначала Анфиса, а потом Дементьев вымыли этой студеной кашицей руки и стали вытирать их одним полотенцем. Дементьев тщательно вытирал каждый палец и одобрительно поглядывал на полотенце, которое соединило его с Анфисой, перебросило между ними вафельный мост.

— Вы какой чай любите? — спросила Анфиса, на правах хозяйки наливая заварку.

— Такой же, как и вы! — живо ответил Дементьев.

— Тогда — крепкий.

— А где ж вы конфеты нашли?—удивился Дементьев.— Я их вторую неделю не мог разыскать.

— Ну, знаете, у вас в тумбочке...

— ...черт ногу сломит! — подхватил Дементьев, они встретились глазами и расхохотались.

Отхлебывая крепкий чай, Дементьев в упор, не таясь, смотрел на Анфису, радуясь, что открыл в ней сегодня новые богатства и она стала для него теперь ближе, понятней и еще дороже.

Он отложил в сторону горстку конфет.

— Это мы Петьке оставим, не возражаете?

Легкая тень скользнула по лицу Анфисы. Она отвернулась от Дементьева и увидела бумаги и справочники, отодвинутые на другой конец стола.

— Так какая же у вас срочная работа объявилась?

— Тут вот какое дело...— нерешительно начал Дементьев.— Настала пора совсем по-новому в лесу работать. Стыдно сказать, ведь мы до сих пор не доводим до ума больше половины заготовляемой древесины...

Он спохватился и примолк, боясь сразу же смертельно наскучить красивой Анфисе инженерной своей сухомятиной.

— Я слушаю,— напомнила о своем существовании Анфиса.— Больше половины древесины не доводим до дела... А дальше?

Дементьев уверился вдруг, что он зря обижал Анфису и все его лесные заботы ей так же интересны, как и ему. Он благодарно улыбнулся Анфисе, отбросил все свои предосторожности и горячо зачастил:

— Одни наши костры на делянках чего стоят! А потери при сплаве, пересортица, отходы лесопиления... Чует мое сердце, обложат нас потомки за бесхозяйственность каким-нибудь высококультурным ругательством. Скажут, к примеру: ну и велюровые шляпы жили на земле в середине двадцатого века! И это вегетарианское для нашего слуха ругательство прозвучит тогда обидней нынешней трехэтажной матерщины... Анфиса, вы думаете когда-нибудь о потомках, которые придут нам на смену, беспристрастно и справедливо оценят всю нашу с вами жизнь и все наши дела?

— Н-нет,— призналась Анфиса.— Не приходилось как-то.

— А я — так частенько! Как что-нибудь приличное сотворю — так и думаю: это им должно бы понравиться, а как напортачу — стыдновато становится перед потомками. Это мне учиться в институте помогало, как-то ответственности за собой больше чувствуешь... Ведь что бы мы сейчас о себе ни говорили, какие мы хорошие да пригожие, это все с нами уйдет, а на земле останутся только наши дела, и потомки по этим делам будут судить нас и вынесут нам приговор — окончательный и бесповоротный, обжалованию не подлежит! За добрые дела похвалят, а за лесные художества наши взыщут с нас полной мерой... Нагнал я на вас страху?

Анфиса пожала плечами:

— Мне-то что? Я только телефонограммы принимала, это вам отвечать придется!

— Нет,— запротестовал Дементьев.— Отвечать все вместе будем, все наше поколение... Так что работы тут непочатый край, только руки да голову прикладывай! Вот начинаем вывозить лес в хлыстах, а деревья трелевать с кронами. Вроде и не ахти что, а сразу многое переменится: и девчатам нашим легче работать станет, и выход деловой древесины подпрыгнет процентиков на пять, и костры на делянках потушим. Старички мнутся с непривычки, но выгода явная: я тут прикинул, одной чистой прибыли набежит в год полмиллиона.

— Полмиллиона? — ахнула Анфиса, впервые в жизни так запросто и по-семейному уютно сталкиваясь с большущими капиталами, о которых прежде только в газетах читала да слушала по радио.

— Не меньше! И это, заметьте, лишь при нынешнем плане, а на будущий год план увеличится — и прибыль соответственно возрастет.

— Соответственно? — переспросила Анфиса: ей вдруг понравилось это круглое, солидное слово.

— Соответственно! — весело подтвердил Дементьев, взглядом благодаря Анфису за то, что она так близко к сердцу приняла его проект.

Они одновременно улыбнулись, радуясь и этой немалой прибыли, которую даст перестройка, начатая Дементьевым, и еще сильней тому, что так хорошо, с полуслова, понимают друг друга.

— И это только цветики! — входя в преобразовательный раж, заявил Дементьев.— Из одних лишь отходов, которыми мы сейчас небо коптим, можно кучу полезнейших вещей делать. Помяните мое слово, Анфиса, мы с вами еще доживем до того дня, когда на месте нашего поселка город подымется с лесопильными заводами, бумажной фабрикой, техникумом, а то и институтом...

Он вдруг понял, что все это время, когда он возился тут с проектом и воевал с неподатливым Игнатом Васильевичем, ему не хватало вот этих глаз — внимательных, чуть удивленных, почему-то боящихся поверить ему и уже против воли верящих. Если б он чаще видел эти глаза, то давно бы уже положил на обе лопатки Игната Васильевича, закончил бы свой проект, и тот получился бы еще крепче и неуязвимей нынешнего. Да

что там проект! Смотри эти глаза на него год-другой — и он наверняка сотворит что-нибудь выдающееся, о чем придирчивые потомки вспомянут и через сотню лет...

— Лесохимию двинем! — фантазировал Дементьев.— И... театр в нашем городе воздвигнем не хуже областного. Вы там играть будете и на любимый свой спектакль пришлете мне через капельдинера в ливрее контрамарочку по старому знакомству... Не зазнаетесь, пришлете?

— Я сама принесу,— пообещала Анфиса.— Не будем разводить бюрократизма в новом городе!

— Так еще лучше! — согласился Дементьев.— Плесканите-ка мне горяченького...— Он откровенно залюбовался Анфисой, наливающей ему чай и очень похожей сейчас на молодую старательную хозяйку, только что обученную домоводству.— Знаете, мы с вами сегодня на молодоженов смахиваем!

— Не шутите этим...— суеверно сказала Анфиса.

У нее было такое чувство, будто Дементьев неосторожной шуткой торопит ход событий и нарушает те немного старомодные правила, которые они оба, не сговариваясь заранее меж собой, соблюдали прежде. И хотя Анфиса не так уж строго придерживалась в своей жизни правил, но на этот раз почему-то охотно пряталась за них, точно боялась остаться наедине с собой.

Она вообще плохо понимала себя сейчас. Прежде Анфисе сразу же становилось скучно, когда при ней заходил разговор о работе, а вот Дементьева она готова была слушать часами. И совсем не в красноречии инженера тут было дело! Этот простой открытый человек все больше нравился Анфисе, и ей казалось увлекательным все, о чем бы он ни заговорил. И если бы Дементьев углубился сейчас в дебри лесохимии и стал бы посвящать Анфису в премудрости какого-нибудь гидролиза древесины, то и скучный гидролиз полюбился бы ей крепче самого интересного романа из тех, какими зачитывалась Вера...

Анфиса вымыла чашки и спрятала их в тумбочку.

— Посуда и съестные припасы у вас вверху будут, а книги внизу. И чтоб не путать, проверю! — пригрозила она.

— Есть не путать! — Дементьев заглянул в тумбочку.— Анфиса, вы — чудо!

— Чудо-юдо...— счастливо пробормотала Анфиса, чем-то похожая сейчас на Тосю-малолетку.

— А у печки вы тоже любите сидеть? — с надеждой в голосе спросил Дементьев и поспешно добавил, подсказывая Анфисе ответ: — Я с детства люблю.

— Как сидеть? — не поняла Анфиса.

— А вот так...

Дементьев проворно повалил табуретку на пол, распахнул дверцу печки и погасил в комнате свет. Они сели рядышком на опрокинутую табуретку, касаясь друг друга плечами. Пламя выхватывало из темноты их колени, щеку Дементьева и маленькое точеное ухо Анфисы. Дрова в печке уютно трещали, в углах комнаты залегла густая тьма, и время, казалось, замедлило свой бег. Дементьев курил, старательно отгоняя дым в печку.

У Анфисы был такой умиротворенный вид, словно она наконец-то нашла свое настоящее место в жизни. Она совсем не притворялась и не очаровывала Дементьева. Ей было так хорошо и спокойно сейчас, как ни разу не было со всеми теми мужчинами, которые прошли через ее жизнь,— прошли, теперь она ясно видела это, лишь по обочине, не затронув заветной ее сердцевины. О глубоко запрятанной сердцевине этой и сама Анфиса еще недавно даже и не подозревала.

Ей бы радоваться полной мерой, но за нынешним безоблачным счастьем Анфисы нет-нет да и проглядывала грусть, будто Анфиса никак не могла чего-то позабыть, все время помнила о чем-то неотвратимом, что глыбой нависло над ней, каждую минуту грозило сорваться и раздавить ее неокрепшее счастье.

Но как бы ни сложилась дальше ее судьба, Анфисе на всю жизнь западет в память сегодняшний вечер: уборка запущенной комнаты, молодая и заразительная уверенность Дементьева, что нет таких положений, из которых не было бы выхода, мытье рук снежной кашицей, семейное их чаепитие, рассказ Дементьева о потомках и то, как сидели они на опрокинутой ребристой табуретке и смотрели в огонь. И главное запомнится Анфисе — чувство своего приобщения к тому большому, настоящему и крепкому, что до сих пор обходило ее стороной. А может быть, это она сама по своей слепоте не видела этого настоящего, считала даже, что и нет его вовсе на свете. Сейчас Анфисе просто некогда было

разбираться, как там оно было раньше и кто больше виноват.

И выходит, мы и в самом деле поспешили, так бесповоротно зачислив Анфису в разряд хищниц и людей-потребителей — не способных любить, убогих душой и немощных сердцем...

— Припекает,— сказала Анфиса, потирая колени.— Отодвинемся?

Они приподнялись и отодвинули табуретку подальше от печки.

— А как же ваша срочная работа? — припомнила вдруг Анфиса.

Дементьев небрежно махнул рукой:

— Успею: ночь длинная!

Анфиса задумалась, имеет ли она право обрекать инженера на бессонницу, ничего не решила и сказала:

— Давайте-ка еще отодвинемся.

Дементьев оглянулся через плечо:

— Отступать нам есть куда!

Они улыбнулись друг другу и отодвинули табуретку. Все сейчас, даже самые простые и обыкновенные слова полны были для них особого тайного смысла, понятного только им одним.

— И странно же устроен мир! — ударился вдруг в философию Дементьев.— Еще недавно учился я в институте, сдавал экзамены, подрабатывал к стипендии — и ничего, подумать только, совсем ничего не знал о вас. Не подозревал даже, что вы в одно время со мной на свете живете!

— Ухаживал за студентками...— подсказала Анфиса.

— Самую малость, только чтоб не прослыть монахом, верьте, Анфиса! Я точно предчувствовал, что найду вас, и другие девчата как-то совсем меня не задевали, будто мы встречались в непересекающихся плоскостях.— Для наглядности он показал на руках эти плоскости.— А вы тут жили и тоже ничего не знали обо мне, разве это не странно? А теперь мы встретились, и вся предыдущая жизнь кажется мне лишь подготовкой к этой нашей встрече. Никогда я в судьбу не верил, а в последнее время...— Он взял ее руку.— Анфиса!

— Не надо...— умоляюще сказала она и бережно, с неожиданной для прежней Анфисы чуткостью высвободила свою руку, боясь грубым движением обидеть Дементьева.

Малиновые угли притягивали ее взгляд, и Анфиса завороженно смотрела в печку, словно искала там ответа на все свои опасения и тревоги. Бессознательно ей хотелось продлить эту счастливую минуту — самую счастливую в ее жизни,— когда все уже было ясно, а в то же время решающее слово еще не произнесено, любовь их еще не названа вслух и Анфисе можно было еще не бояться за исход этой необъявленной любви.

— И надо же было так случиться, что меня направили именно в этот лесопункт. И первый человек, которого я тут встретил, были вы! Как хотите, а это судьба... Анфиса!

Дементьев наклонился и поцеловал ее руку.

— Зачем вы, ну зачем? — со слезами на глазах спросила Анфиса, вскакивая с табуретки.— Я пойду.

— Что вы? Если обидел вас, простите,— я совсем не хотел этого...

— Обидели? Нет, мне так хорошо сейчас, что даже страшно стало... Я пойду. Не провожайте, не надо... Спасибо вам, Вадим Петрович!

— За что? Это вам...

— За все...

Анфиса широко повела вокруг рукой.

Хлопнула наружная дверь. Кто-то стукнулся мягко о стену, чертыхнулся нетрезвым голосом и слепо зашарил в сенцах. Анфиса щелкнула выключателем и встревоженно посмотрела на Дементьева. Тот кивком головы успокоил ее и храбро шагнул к двери. Кажется, ему даже хотелось сейчас, чтобы Анфисе угрожала какая-нибудь опасность пострашней: он грудью стал бы тогда на ее защиту и она увидела бы, что с ним не пропадешь.

Дементьев широко распахнул дверь. Запнувшись о порог, в комнату ввалился Мерзлявый — как всегда озябший, со свежей нашлепкой на подбородке и скорей жалкий, чем страшный. Дементьев понял, что удивить Анфису своим мужеством и преданностью сегодня ему не удастся, и разочарованно отступил от двери.

Мерзлявый зябко передернул плечами, потер руки и заговорил так зычно, будто был не в комнате, а кричал с одной стороны улицы на другую:

— Петр Вади... Тьфу! Вадим Петрович! Извините, что потревожил вас на дому, но войдите в положение рабочего человека: четвертную до получки, а? — Он

хлопнул себя по тощему карману: — Будут у меня как в сберкассе! Вот хоть Анфиску спросите...

Он по-свойски подмигнул Анфисе, прося поддержать его. Но Анфиса молча повернулась к нему спиной. Щепетильному Дементьеву стало неловко, что Анфиса так невежливо обошлась с ночным их гостем. Он пошарил в кармане и протянул Мерзлявому деньги.

— Вот это по-нашему! Чутко, ничего не скажешь! — одобрил Мерзлявый заметно повеселевшим голосом и колупнул себя в грудь сизым от холода кулаком.— Хоть и интеллигенция вы, а понимаете рабочего человека!

Анфиса взяла со стола логарифмическую линейку и стала разглядывать мелкие деления. Она нарочно не обращала внимания на Филиного дружка, боясь, что тот разоткровенничается и сам не заметит, как подведет ее. Ей захотелось вдруг уехать в такие чужедальние благословенные края, где за тысячу верст ни один человек ничего бы не знал о ней.

Сжимая выпрошенные деньги в кулаке, Мерзлявый пошел было к двери, но вдруг остановился посреди комнаты. В нетрезвую его голову закралась мысль добром отплатить Дементьеву за добро и заодно сбить спесь с Анфисы, которая вела себя прямо как заправская инженерша и даже не хотела его узнавать.

— И чего вы с ней мерихлюндии разводите? — покровительственно спросил он у Дементьева и повел головой в сторону замершей у стола Анфисы.— Даже смешно: это же Анфиска, своя в доску! Извиняюсь, конечно... Идите прямо на коммутатор и действуйте, как мужику положено. Анфиска не прогонит!

Для большей убедительности Мерзлявый хотел ударить себя кулаком в грудь, но не соразмерил на этот раз своих движений и сунул кулак прямехонько под мышку.

Дементьев не только не поверил тому, что сказал незваный гость, но даже не понял толком нетрезвой его болтовни. Он лишь подивился, до какой подлости может спьяну дойти человек. И еще он пожалел, что впустил Мерзлявого к себе в комнату, а значит, хоть и косвенно, тоже был виноват в том, что на Анфису возвели такой грязный поклеп.

— А ну, убирайтесь отсюда! — приказал он парню и украдкой взглянул на Анфису.

Ничего в ней вроде бы не изменилось, и пожизненная красота ее тоже никуда не делась — и все-таки перед Дементьевым стояла теперь совсем другая, незнакомая Анфиса. В наклоне головы, в опущенных плечах, во всей ее враз надломившейся фигуре было что-то новое, жалкое, затравленное. И только маленькие аккуратные уши Анфисы остались прежними — такими же точеными и безмятежно красивыми. А вот глаза свои Анфиса прятала. Она чем-то напомнила Дементьеву озябшего неприкаянного Мерзлявого, когда тот ввалился в комнату.

Все еще ничего не понимая, встревоженный Дементьев шагнул к Анфисе, спеша к ней на выручку. Ему казалось: вдвоем они быстрей справятся с неведомой бедой.

Анфиса отпрянула от него, будто испугалась, что ее станут сейчас бить. На миг глаза их встретились. Анфиса тут же воровато отвела свои глаза, но было уже поздно: Дементьев не умом, а всем любящим существом понял, что Мерзлявый сказал правду. Он не ему поверил, а этому вот жалкому взгляду Анфисы.

И невозможная эта правда резким, беспощадным светом осветила вдруг все прежние их встречи. Дементьеву сразу стали ясны и все недомолвки Анфисы, и затяжное неверие ее в будущее их счастье, и насмешливые взгляды лесорубов, которые он иногда ловил на себе, и ехидный шепоток, шелестящий им вслед, когда они появлялись вместе на улице.

Анфиса поняла, что выдала себя, метнулась к вешалке, сорвала с крючка беличью шубку и выбежала из комнаты. Мерзлявый осклабился:

— Не любит критики!

— Пошел вон! — крикнул Дементьев и рванулся к человеку, который походя растоптал недолговечную его радость.

Он схватил Мерзлявого за узкие плечи, тряхнул так, что с парня свалилась жалкая шапчонка, и отбросил его к двери.

— Я жаловаться буду,— с неожиданным достоинством сказал Мерзлявый протрезвевшим голосом.— Один на телеграфный столб кидает, другой о косяк норовит расшибить...

Он разжал свой кулак, посмотрел на смятые дементьевские деньги. Кажется, Мерзлявого сильно подмывало швырнуть эти деньги в лицо инженеру, но он бла-

горазумно переборол гордые свои побуждения и лишь пообещал:

— Привлекут вас за превышение власти!

Дементьев шагнул к нему. Мерзлявый проворно сгреб шапчонку с пола и вьюном выскользнул из комнаты. Слышно было, как он выругался в сенях и проворчал:

— А еще интеллигенция... Учат вас, учат на народные деньги!..

Хлопнула наружная дверь, и тишина — густая, тяжелая, до звона в ушах — навалилась на Дементьева. Похорошевшая комната, убранная Анфисой, затаилась, ждала, что он теперь будет делать. И опрокинутая набок табуретка все еще лежала на полу возле печки, напоминая Дементьеву о недавнем, навек сгинувшем счастье.

А он еще разоткровенничался насчет потомков, в лесохимию зачем-то залез и даже судьбой козырял, слепой дурак! Дементьев отшвырнул ногой табуретку, сорвал с тумбочки и умывальника бумажные Анфисины занавески с зубчиками для красоты, скомкал их и сунул в прогоревшую печку.

ИЛЬЯ ПРОСИТ ПРОЩЕНИЯ

Многое переменилось на участке мастера Чуркина. Деревья теперь трелевали с кронами, и на делянке остались только вальщики леса и чокеровщики, а все девчата-обрубщицы перешли на верхний склад. Здесь на утрамбованной площадке они без помехи обрубали сучья и не сжигали их больше на кострах, а складывали в поленницы. Вывозили древесину с верхнего склада теперь в хлыстах, и Вера со своими раскряжевщиками перебралась на нижний склад.

И Тосина кухня перекочевала вслед за обрубщиками. Тося разбогатела: ей дали вагончик — на одной половине кухонька, а на другой — маленькая столовая, где лесорубы могли по очереди обедать в тепле. На стенке вагончика красовалась размашистая надпись мелом: «Ресторан «навались!» имени Т. Кислицыной».

Яркое февральское солнце слепило глаза в вагончике, где хозяйничала Тося. Все вокруг было новое, веселое, блескучее: и чистенькая кухонька, и эмалированные кастрюли, и ножи, и миски, и щеголеватый маленький будильник, уютно тикающий на полке. А вот Тося в пере-

крахмаленном, жестяном переднике и большом, наползающем на глаза колпаке была пасмурной и хмурой. Думая невеселую думу, она машинально резала хлеб ножом-хлеборезкой.

Равнодушные к Тосиному горю, весело булькали кастрюли. Вкусный пар волнами ходил по маленькой кухоньке. Тося оторвалась от хлеборезки, посолила варево, взглянула на чистенький будильник и заторопилась. Она разложила нарезанный хлеб по тарелкам и поставила тарелки у раздаточного оконца, над которым висела новенькая книга жалоб и привязанный к ней электропроводом неочиненный безработный карандаш.

Тося вошла во вторую половину вагончика, где была столовая. На скамейке в углу кто-то спал, с головой укрывшись полушубком. Из-за чугунной печки торчали валенки в калошах из красной резины. Тося расставила тарелки с хлебом на столах, подкинула в печку дров и неодобрительно покосилась на валенки, но ничуть не удивилась, обнаружив их в вагончике.

На верхнем складе загудел паровозик. Тося глянула в окошко поверх куцей занавески — завхоз пожалел ситца! — и громко сказала валенкам:

— Игнат Васильевич приехал!

Валенки живо спрыгнули на пол, полушубок сполз с головы и открыл заспанное лицо мастера Чуркина: он умел по-своему приноровиться к любым преобразованиям.

— Поднажмем, девчатушки!—крикнул Чуркин хриплым спросонья голосом и выбежал из вагончика.

Тося плеснула в рукомойник теплой воды, повесила на катушку чистое полотенце. Потом она открыла большой, чуть ли не амбарный замок, которым был заперт бачок с питьевой водой, вылила туда чайник остуженной кипяченой воды и снова навесила богатырский замок.

Тоненько прозвенел будильник. Тося придирчиво осмотрела столовую и себя, пришпилила к стенке загнувшийся уголок стенгазеты, поправила поварской колпак на голове и толкнула входную дверь. Высунувшись из вагончика, она зазвонила в маленький певучий колокол, примостившийся над дверью. Чистый серебряный звон поплыл над лесом. Тося послушала, подумала, как обрадовалась бы она этому колоколу раньше, и с чувством, что жизнь не удалась, вернулась в вагончик...

По волоку со стороны делянки гуськом двигались на

обед вальщики леса. Впереди шел Филя в лихо заломленной кубанке и с крупным синяком под глазом. В углу его рта стыла давно погасшая папироса, а из кармана ватника торчал пухлый газетный сверток. За Филей поспешал Мерзлявый, зябко спрятав кисти рук в рукава и по-бабьи держа их на животе. Нашлепка на подбородке потемнела, и издали казалось, что Мерзлявый отпустил себе испанскую бородку клинышком. А позади них широко шагал Илья в легонькой, не по сезону, летней кепочке.

Филя вынул из кармана зажигалку, и в это время его догнал Илья. Они долго шли бок о бок и молчали. Лишь снег визжал под их ногами да позади сопел испанистый Мерзлявый. Филя невольно стал тянуть ногу, приноравливаясь к широкому шагу бывшего своего дружка.

Илья покосился на зажигалку в Филиной руке, сунул папиросу в рот, демонстративно похлопал себя по карманам в поисках спичек, сплюнул табачинку и сказал угрюмо:

— Дай-ка огоньку.

Филя молча отмерил с пяток шагов и, не глядя на Илью, сердито сунул ему зажигалку. Илья высек огонь, дал прикурить Филе и сам прикурил. Они встретились глазами, оба враз пыхнули дымом в лицо друг другу.

— Филь, ты уж того... не сердись,—попросил Илья и виновато кивнул на синяк.

Филя почесал синяк с таким достоинством, будто это был шрам, полученный в славном бою.

— Не то слово...— неуступчиво произнес он, отбирая зажигалку и пряча ее в карман.

— Да брось ты! — миролюбиво сказал Илья.

— Мы благородные,— передразнил Филя.— У нас чистая любовь! А Филя — хулиган, его можно и в рыло...— Он пырнул воздух кулаком.— А ты припомни, кто спор затеял? Кто? Молчишь?.. То-то!

Илья смущенно пробормотал:

— Ну, так получилось... Под горячую руку ты подвернулся. С кем не бывает?

Филя снова почесал синяк — еще горделивей и неприступней прежнего.

— Опять же Мерзлявому бороду нацепил и Длинномера в снег воткнул... Зачем авторитет парням подрываешь? Так нас скоро никто в поселке бояться не станет!

— А зачем надо, чтобы нас боялись?

— Ты меня не агитируй, хватит одного Сашки! — озлился Филя.— Черт с ним, с Длинномером: сегодня он с нами, а завтра его нету. Но мы-то с тобой вроде дружили, что ж ты боксом? — От обиды у Фили даже голос дрогнул.— Я же не набивался тебе в друзья, припомни...

— Вот чудак! — притворно удивился Илья.— Ну ударь теперь ты меня, сквитаемся... На, бей!

Илья стал боком и подставил Филе свою скулу. Филина рука сжалась было в кулак, но тут же и разжалась.

— Ты что, баптист? — удивился Филя и пояснил с презреньем в голосе: — Влюбленных я не бью, пусть сами погибают!.. А будешь еще на мне благородство свое показывать — двину. Не посмотрю, что ты сильней!

Филя вытащил из кармана сверток, сорвал с него газету и протянул Илье пыжиковую его шапку:

— Возьми свой головной прибор. Чужого мне не надо.

Илья отодвинулся и потер озябшие уши.

— Ты выиграл, ты и носи.

— Опять благородство? — зло спросил Филя.— Испортила тебя Тоська! — Он обернулся через плечо: — Эй, Мерзлявый, ходи сюда!

Мерзлявый затрусил к Филе, держа сомкнутые руки перед собой.

— И чего ты все мерзнешь? — брезгливо спросил Филя, сорвал с парня паршивую его шапчонку с вытертым искусственным мехом и забросил на верхушку ближнего дерева, а взамен нахлобучил на голову своему соратнику пыжиковую шапку Ильи.

— И чтоб больше не мерз у меня! — пригрозил Филя.

Илья жадно курил и, сам того не замечая, любовался щедрым и сердитым Филей с подбитым глазом. Как ни крути, а мало кто в поселке был способен так запросто отказаться от дорогой шапки. Вот тебе и Филя-хулиган! Хоть Тося и ругает его, а толком в нем не разобралась: не так-то он прост, этот непутевый главарь поселковой ватаги. Кажется, Илья все-таки надеялся помириться с Тосей и все-все рассказать ей о Филе, с которым много у него было всякого — и хорошего и плохого...

— Ты чего это? — подозрительно спросил Филя, перехватив подобревший от тайных мыслей взгляд Ильи.— Сначала...— он ткнул воздух кулаком.— А теперь подлизываешься? Знаю я вас, благородных! Иди

к своей, звонила уже... Понавешали тут колоколов... Вот баптисты!..

Филя подтолкнул Илью к вагончику и долго смотрел ему вслед.

— А ведь был человеком! — подытожил он траурные свои мысли.

— Обабился! — выслуживаясь перед Филей, подхватил Мерзлявый и поправил на голове неожиданную обновку.

— Цыц! — гаркнул Филя, не давая никому ругать Илью, оставляя такое право лишь за собой одним.

Он покосился на Мерзлявого, жалкого и в пыжиковой шапке.

— Только тебе такие шапки и носить!

Филя презрительно махнул рукой и поплелся к вагончику вслед за Ильей.

Тося в вагончике, не щадя своих сил, внедряла гигиену.

— Руки мойте,— поучала она лесорубов.— Для кого я воду грела?

Илья добрых пять минут топтался возле умывальника и подошел наконец к раздаточному оконцу. По долгу службы Тося глянула на его покрасневшие от долгого мытья руки, налила в тарелку пахучего горохового супа и положила большой кусок мяса, чтобы подлый человек не думал, что она сводит с ним счеты и морит его голодом. Илья невесело усмехнулся, но от оконца не отошел. Пытаясь откупиться от него, Тося, явно обделяя кого-то из припозднившихся лесорубов белками и калориями, положила в Илюхину тарелку еще один кусок мяса — поменьше. Илья усмехнулся мрачней прежнего, но с места не сдвинулся.

Он стоял возле оконца, к которому один за другим подходили лесорубы. Тося наливала им в тарелки суп, и они спешили к столам, с любопытством поглядывая на Илью, примерзшего к своему месту.

Выждав время, когда возле оконца никого не было, Илья придвинулся к Тосе, откашлялся и сказал трудным голосом человека, не привыкшего извиняться:

— Тось, слышь, прости ты меня...

— Я тебя в упор не вижу,— отозвалась Тося, стара-

тельно глядя мимо Ильи и машинально помешивая ложкой в его тарелке.

Илья тяжело вздохнул, поняв, что помириться с Тосей будет не так-то просто.

— Да ты пойми, я же теперь совсем не такой!

Тося презрительно хмыкнула, осуждая все его жалкие хитрости.

— Этак ты банк обчистишь или человека укокошишь, а изловят тебя, субчика, запоешь: я тогда плохой был, а теперь хороший, отпустите меня на волю и дайте премию! Так, что ли, по-твоему?.. Это ящерица, когда ее прищемишь, хвост сбрасывает, а человек... он на всю жизнь один. И совесть у него одна, запасной не полагается.

— Ох и трудно с тобой говорить!..— пожаловался Илья.

И Тося посоветовала ему:

— А ты не говори, не больно-то нуждаюсь! — и тут же повернулась к Илье спиной и занялась какими-то срочными поварскими делами.

В вагончик вбежала Катя, напилась воды из бачка, запертого амбарным замком, и закашляла, напоминая Тосе о давнем их уговоре. Тося сердито махнула рукой, прося подругу зря не надрывать горло.

К концу подошел Филя.

— Руки помой,— накинулась было на него Тося, глянула на синяк и спросила с виноватинкой в голосе: — Филь, больно?

— Не твоя печаль,— с достоинством ответил Филя.— В котел лучше смотри...— Он запустил ложку в тарелку, пошлепал губами.— Опять пересолено. Хуже нет, когда повар влюбленный!

Филя ушел с тарелкой в самый дальний угол вагончика и сел лицом к стене, чтобы не видеть, как лучшие люди лесопункта унижаются перед воронежской кнопкой. И кто ее просил сюда приезжать? Жили без нее тихо-мирно — так нет, заявилась и рассорила старинных друзей...

— Не обращай на него вниманья, не в себе человек,— заступился Илья за нелюдимого Филю и снова придвинулся к оконцу.— Тось, забудь ты про этот спор... Мне теперь самому смешно вспомнить.

Тося вся подобралась, как кошка перед прыжком.

— Смешно?



— Ну... противно.

— Противно?..

— Ну, совестно... Не придирайся ты к словам. Лучше испытай меня, если не веришь.

— Ты что, трактор, чтобы тебя испытывать? Никогда я тебе не прощу, спорщик ты... Бабник! — припомнила Тося все прежние свои обиды.—Ненавижу тебя, не-на-ви-жу!

— Красивая ты сейчас...— с болью в голосе сказал Илья и отошел от оконца.

— Ну да? — опешила Тося, растерянно посмотрела в спину Илье и перевела глаза на нетронутую тарелку с супом.

Илья толкнул плечом дверь и вышел из вагончика, позабыв про обед. Крупная слеза выкатилась из несознательного Тосиного глаза и шлепнулась в Илюхину тарелку — как раз посередине между большим и маленьким кусками мяса. Завидев спешащую к ней Катю, Тося схватила луковицу и стала чистить ее, чтобы оправдать непростительные свои слезы. Катя сунула любопытную голову в оконце и с чувством произнесла:

— Не плачь, Кисличка! Правильно сделала, что прогнала его. Я снова горжусь тобой... За весь женский пол!

— Да ну тебя! — отмахнулась Тося.— Стану я из-за него плакать... Вот еще выдумала! Просто лук сильный попался. Должно быть... из совхоза.

— Из совхоза? — удивилась Катя.

— Ну да, совхозный лук посильней колхозного слезу гонит. Это все повара знают...

Слеза капнула Тосе на руку. Не вынеся горючей ее тяжести, Тося выронила луковицу, ткнулась мокрым лицом Кате в плечо и пожаловалась:

— И чего я плачу? Ведь ничуть мне его, ирода, не жалко-о!..

В столовую ввалилась новая партия лесорубов.

— Скоро там? — недовольно спросил маленький тракторист Семечкин.— Так и обеденный перерыв пройдет!

И как всегда, когда Тося была слабой и не возносилась над другими девчатами, верная Катя поспешила ей на помощь. Она заслонила собой оконце, не давая никому заглянуть в кухоньку.

— Сейчас, сейчас! Минуту терпенья: авария с поваром.

Анфиса сдала дежурство и вышла на крыльцо. К ночи подмораживало, в столовой громко, на весь поселок, хлопала вооруженная тугой пружиной дверь, к клубу парами и поодиночке тянулись лесорубы.

Идти в общежитие не хотелось. С недавнего времени Анфисе трудно почему-то стало бывать на людях. Раньше она просто не замечала, есть кто-либо рядом с ней или нет, а теперь любопытные девчата стесняли ее. Из гордости Анфиса и виду не подавала, что на сердце у нее кошки скребут после памятного вечера у Дементьева, и все время чувствовала себя как на сцене, где надо было играть фальшивую и надоевшую до чертиков роль. Вот когда пригодился ей артистический талант!

Еще меньше манил ее клуб с танцевальной своей толкотней. Но и на крыльце торчать, привлекая всеобщее внимание, тоже приятного было мало, и Анфиса, сбежав со ступенек, бесцельно побрела по улице.

Чтоб не встречаться с лесорубами, она свернула в переулок и лицом к лицу столкнулась с хмурым Ильей, сторонкой пробирающимся к себе в общежитие. Занятые своими мыслями, они молча разминулись и тут же оба враз остановились.

— Здравствуй, Илюша,—невесело окликнула Анфиса.— И ты уже меня не узнаешь?

Илья невольно огляделся по сторонам, поймал себя на том, что боится, как бы Тося не увидела его вместе с Анфисой, и тут же разозлился на себя, а еще больше на Тосю, которая сделала его таким трусом. Он решительно шагнул к Анфисе.

— Не бойся,— снисходительно и лишь самую малость насмешливо сказала Анфиса, разгадав все тайные его опасения.— В школе она сейчас, не увидит... А ты что ж не занимаешься?

Илья махнул рукой, зачеркивая всю свою недавнюю образцово-показательную жизнь.

— Отзанимался я!.. Ты-то чего сумная? Слышал, инженер души в тебе не чает.

— Устарели твои новости, Илюша. Нашлись добрые люди, порассказали ему обо мне.

— Вот оно что...

Илья увидел вдруг в горемычной Анфисе товарища по несчастью. Но ему, несмотря на все его беды, было

все-таки легче: он все еще надеялся, что гордая Тося сменит гнев на милость, а Анфиса, кажется, порастеряла уже все свои надежды. Илья подивился тому, что жизнь снова, совсем на другом своем повороте, свела его с Анфисой и перебросила между ними зыбкий мостик.

И, как встарь, Илья опять невольно сравнил Анфису с Тосей, но на этот раз в душе у него шевельнулась неприязнь к пронырливой Тосе. Ловко она устроилась! Ей все помогают наперебой, а неудачливой Анфисе никто не только руки не протянет в трудную минуту жизни, но даже и не посочувствует.

Что же, им с Анфисой пропадать теперь, если в прошлом наломали они по неведенью дров и не сумели вычертить свою жизнь по прямой линейке? Легко Тосе с Дементьевым осуждать их! Один учился чуть ли не до седых волос, высиживал диплом в инженерном инкубаторе, а другая в неполные свои восемнадцать лет просто и нагрешить-то еще не успела. Оба они — и ревнивый Дементьев, и придирчивая Тося — показались Илье самыми настоящими чистоплюями, больше всего озабоченными тем, чтобы пройти по жизни, не запачкав ног...

Наигрывая на гармони, в переулке показался Сашка. Катя висела у него на руке и пела частушку:

Твои серые глаза
Режут сердце без ножа...

Проходя мимо Анфисы, Катя обернулась через плечо, спросила с ехидцей:

— Старая любовь не забывается?

И Анфиса не осталась в долгу:

— Нужно в школу ходить, раз записалась.

— А нашему классу повезло,— поделилась Катя ученической своей радостью.— Марь Степанна заболела!

— Живут люди!..— позавидовал Илья чужому счастью.— А мы с тобой как проклятые. Все у нас наоборот получается: не любили — веселились, а полюбили — и хоть плачь... До чего же интересно жизнь закручена: прямо как коленчатый вал!

Анфиса посочувствовала Илье:

— Да, неуклюже у тебя с этим спором вышло.

— И черт меня дернул! — Илья замялся.— Как думаешь, простит она меня когда-нибудь?

— А кто ж ее знает? Вообще-то она не мелочная. Я к ней все приглядываюсь... Знаешь, в ней и в самом деле что-то такое есть.

Наконец-то и Анфиса признала Тосю!

— Вот видишь! — обрадовался Илья, но тут же и осекся, припомнив, что эта самая хваленая немелочная Тося гонит его от себя, как собаку, и никак не хочет понять, что спорил на нее один Илья, а расхлебывать его грехи приходится совсем другому, недавно народившемуся. Любила бы — так небось поняла.

— Ты поговори с ней по-хорошему,— посоветовала Анфиса.— Так, мол, и так... Не узнаю я тебя, будто робеешь ты перед Тоськой.

— Оробеешь тут! Сначала вроде нравился я ей, а теперь — как отрезало... Ледышка у нее вместо сердца!

Анфиса снисходительно усмехнулась:

— Знаем мы эти ледышки! Ты хоть сам-то не замерзай. Докажи, что любишь ее, ничего для нее не пожалеешь. Ну, подари ей что-нибудь.

Она разговаривала с Ильей так терпеливо и покровительственно, словно была старше его лет на двадцать. Илья встрепенулся было, но тут же сник.

— Не возьмет она от меня ничего... Это знаешь что за человек? — и восхищаясь против воли Тосей, и осуждая ее за жестокий нрав, сказал он.

— А ты все-таки попробуй,— настаивала Анфиса, жалея запутавшегося Илью.— Она хоть и бойкая на язык, а разум у нее еще детский, да и не баловали ее в жизни подарками... Я знаю, ей часы давно хочется, только не с простым стеклом, а с увеличительным.

— С увеличительным, говоришь? — переспросил Илья.

По улице прошли Дементьев и комендант с чьим-то новым портретом под мышкой. «Кому горе, а кому радость...» — мельком подумал Илья. Дементьев глянул в их сторону, узнал Анфису и резко отвернулся, будто ожегся.

— Вот как теперь у нас! — горько сказала Анфиса.

Рука Анфисы метнулась к горлу и затеребила шарфик, словно ей душно стало.

Чужая боль толкнулась Илье в сердце, отозвалась там его собственной натруженной болью. Не умом, а всей своей забракованной, ненужной Тосе любовью он понял вдруг, как плохо сейчас Анфисе. Илья чуть было не кинулся догонять Дементьева, чтобы силой вернуть его, но взглянул на Анфису — и не тронулся с места.

В ней появилось что-то новое, беззащитное, и теперь

уж решительно ничего не осталось от первой поселковой красавицы сердцеедки, к которой еще не так давно ходил он по вечерам на коммутатор. Куда подевалась былая ее самоуверенность и беспечность? Анфиса затаилась, как бы прислушиваясь к чему-то, чего никто, кроме нее, не слышал. Илья усомнился даже, с ней ли коротал он вечера на коммутаторе.

Он подумал запоздало, что, в сущности, совсем не знает Анфису, хотя знаком с ней уже больше года и между ними было все, что может быть между мужчиной и женщиной. Раньше он видел в Анфисе всего лишь красивую девчонку, с которой приятно провести время. Ему нравилось танцевать с ней в клубе, перехватывая длинные завистливые взгляды других парней, которым она предпочла его. Илья припомнил недавнее свое житье-бытье и подивился тому, до чего же мало ему раньше надо было, чтобы чувствовать себя счастливым. Жил как дерево растет, а считал себя человеком.

Похоже было на то, что после всех испытаний, выпавших на его долю, он стал лучше понимать не только себя, но и других людей. И кажется, не в одной Тосе тут было дело, а и в нем самом, в тех силах, которые подспудно дремали в Илье все прежние годы и которые Тося, сама того не ведая, разбудила к жизни.

Его настигло вдруг смутное чувство какой-то своей непоправимой вины перед Анфисой, будто это он развел ее с Дементьевым. Илье даже почудилось: если Анфиса не помирится со своим инженером, то и ему никогда уже не видать счастья с Тосей.

— Слышь, Анфиска,— тихо сказал Илья,— ты не очень меня ругай, если что у нас не так было...

Рука Анфисы снова метнулась к шарфику, но на этот раз замерла на полпути. Она отступила на шаг, глянула на Илью прежними зло-веселыми глазами и пропела насмешливо:

— Какие нежности при нашей бедности!

— Да ты хоть от меня не прячься,— упрекнул ее Илья.

Анфиса не выдержала его сочувствующего, все понимающего взгляда и отвернулась. А Илье пришло вдруг в голову, что если б не было на свете гордой и неприступной Тоси, он смог бы полюбить Анфису — вот эту новую, застенчивую и небойкую, только сейчас открытую им. Стороной, по самой обочине сознания, скользнуло

легкое ревнивое сожаленье, что не ему, а другому человеку суждено было сделать Анфису такой.

Все у них теперь было бы по-другому, совсем не так, как прежде, когда он хаживал к Анфисе на коммутатор. Кажется, Илья устал уже от бесконечных Тосиных выкрутасов, и ему захотелось простого и теплого счастья.

— Видать, одной мы с тобой веревочкой связаны,— сказала Анфиса, и Илье показалось, что она не только угадала все его тайные мысли, но и сама думает так же.

Им бы, чудакам, полюбить друг друга, а они, себе на беду, выискали любовь на стороне и теперь вот оба мучаются...

— Иди, а то еще наскочит на нас твоя зазноба,— спохватилась вдруг Анфиса.— Они ведь с Катериной в одном классе.

— А пусть! — храбро отозвался Илья.— Все равно уж... Да и сколько можно ей потакать?

Ему захотелось вдруг во всем сравняться с Анфисой. Вот Дементьев отворотил от нее нос — пусть и Тося что-нибудь такое же выкинет. Они с Анфисой полюбуются на ее прыть и решат, у кого из этих чистоплюев выходит лучше!..

Бросая вызов и Тосе-недотроге, и всей своей незадавшейся судьбе, Илья взял Анфису под руку и вывел ее из полутемного переулка на освещенную фонарями главную улицу поселка. Он шел с Анфисой посреди улицы, ни от кого не прячась и демонстративно выставляя себя напоказ всем друзьям и недругам.

— А вот теперь, Илюша, узнаю тебя,— похвалила Анфиса.— Люблю, когда люди бунтуют!

— Ничего,— пообещал Илья,— будет и на нашей улице праздник.

Больше всего на свете ему захотелось сейчас, чтобы Тося увидела его с Анфисой. Ведь наткнулась же она на них в конторе в день получки и закатила скандал. Но теперь, когда он сам искал ее, Тося конечно же куда-то запропастилась.

Илья проводил Анфису до самого общежития и даже на крыльце с ней постоял. Он нарочно говорил погромче, чтобы Тося, если прячется она сейчас в комнате, услышала его. Но Тося притаилась где-то и не подавала признаков жизни.

И то ли потому, что как-то незаметно поразвеялась его тоска, или дружелюбие Анфисы помогло ему, а мо-

жет, просто подоспела такая минута в его жизни,— но так или иначе Илья вдруг посмотрел на себя со стороны трезвым взглядом и подивился: и чего ради он так юлит перед несмышленой девчонкой? Сам еще не до конца веря себе, Илья понял вдруг, что освобождается от непрошеной любви, нежданно-негаданно нагрянувшей на него и скрутившей его по рукам и ногам. Похоже, он выздоравливал от той хвори, которую сам же на себя и напустил.

Боясь вспугнуть долгожданную эту минуту, Илья распрощался с Анфисой и пошел к себе в общежитие. И с каждым шагом слабела та невидимая, но прочная веревка, которой Тося приторочила его к себе. Хватит валять дурака! Всякое еще будет в его жизни, а он вбил себе в голову, что на неказистой Тосе свет клином сошелся.

Ему даже петь захотелось от радости, что он наконец-то скинул затянувшееся Тосино иго. Но петь Илья все-таки постеснялся, а вот любимое свое «Хэ-гэй!» крикнул вполголоса. Во дворе Чуркина в ответ залаяла собака — и Илья прибавил шагу, устыдившись легкомыслия, совсем уж непростительного для человека, который только что так успешно придушил вздорную свою любовь.

Он шел не разбирая дороги и не заметил, как ноги сами собой, на свой страх и риск, привели его к школьному окну. В последнее время он частенько наведывался сюда по вечерам, даже выбил в снегу под окном пятачок. Обнаружив обидную свою промашку, Илья повернул было назад, но тут ему захотелось еще разок взглянуть на Тосю — новыми уже, раскрепощенными глазами — и хоть напоследок понять, чем же она взяла его, как отшибла ему все памороки [1]. Предусмотрительный Илья хотел до конца разгадать недавнюю свою немочь, чтобы на всю жизнь застраховать себя от подобной нелепицы.

Сквозь глазок в морозном стекле Илья увидел свой класс и великовозрастных учеников вечерней школы, упакованных в тесные парты. И Тосю увидел он. Одна-одинешенька сидела она в дальнем углу за *их* партой и прилежно строчила в знакомой Илье клеенчатой тетради — маленькая, деловитая, начисто его позабывшая и самая родная для Ильи во всем мире.

Все скороспелые бунтарские мысли разом вывалились

[1] См. Словарь Вл. Даля: «Паморокъ — потеря памяти, сознанья».

из головы Ильи, будто их там никогда и не было. Незримая веревка опять натянулась и крепче прежнего взнуздала его. Илья понял с небывалой ясностью, что на веки вечные привязан к Тосе, и как бы ни обманывал он себя и чего бы ни навыдумывал со злости, прячась от горемычной своей любви, а никуда ему от Тоси не уйти, как нельзя уйти от себя самого.

ВЕРА С ТОСЕЙ ЗАКЛЮЧАЮТ СОЮЗ

Щедрое мартовское солнце всех выманило на улицу. Перед женским общежитием прогуливались принарядившиеся по случаю выходного дня лесорубы. Сашка, окруженный поющими девчатами, пиликал на гармони. Катин голос звенел над поселком.

Стрехи крыш ощетинились зубчатой гребенкой мокрых сосулек. Капли, срываясь с сосулек, вспыхивали на солнце слепящими огоньками.

Тося взбежала на крыльцо общежития, взялась за ручку двери и замерла, щурясь от яркого солнца. Ее поразила какая-то неуловимая перемена, будто в мире что-то стронулось вдруг со своего насиженного места. Тося придирчиво огляделась вокруг. Небо над поселком было еще по-зимнему белесым, но горизонт уже заметно раздался, воздух стал гуще и пахучей, и на солнце уже больно было смотреть. Тосе показалось, что земной шар со всеми своими материками и океанами, с лесами, городами и пустынями, со всеми хорошими и подлыми людьми, которые на нем живут, кружась, как ему и положено, вокруг солнца, только что, сию вот секунду, пересек какую-то невидимую границу и с разбегу вломился в весну.

Значит, северного сияния в этом году ей уже не увидеть...

По улице проплыл орсовский грузовик — тот самый, в котором Тося прикатила осенью в поселок. В кузове, среди поселковых модниц, едущих в город делать химическую завивку к знаменитому на весь район дамскому парикмахеру, затерянно сидел угрюмый Илья. На миг они встретились глазами. Илья поспешно отвернулся, а Тося независимо подпрыгнула раз-другой, пытаясь сорвать заманчивую сосульку, не достала и юркнула в общежитие.

Она толкнула дверь своей комнаты и застыла на по-

роге. Возле печки стояла Вера в расстегнутом пальто и приспущенном платке и держала в руке нераспечатанное целехонькое письмо, не решаясь кинуть его в огонь. Вера испуганно глянула на Тосю, рука ее рванулась к печке, на миг замерла в воздухе, будто уперлась в невидимую стену, и неохотно бросила письмо в топку.

— Ты это что? — встревожилась Тося.— Мам-Вера, ты меня удивляешь!.. Жалко стало мужа? Да не верь ты ему, ироду! Обманывает! По почерку видно — обманывает!

— О чем ты? — притворилась Вера непонимающей.

— О чем, о чем! — рассердилась Тося.— Терпеть не могу скрытных! Раньше ты письма вон как в печку бросала...— Тося лихо взмахнула рукой.— А нынче...— Тося плавно повела рукой в воздухе и похвасталась: — Меня не проведешь!

Вера смутилась:

— Выдумываешь ты все...

— Выдумываю? Ну, знаешь!..— оскорбленно сказала Тося.— И как ты по ночам в подушку ревешь — тоже выдумываю?

— Замолчи!

Вера бессильно опустилась на койку. Тося подсела к ней, обняла. Они как бы поменялись на время местами, и роль утешительницы и наставницы перешла от Веры к Тосе.

— Мам-Вера, не надо. Ты держись... вот как я! — Тося выпрямилась, наглядно показывая, как надо держаться под ударами судьбы.— Ну что ты так, в сам-деле?.. Ведь на тебя не спорили!

Кажется, по общечеловеческой слабости Тося немного хвасталась уже теми нелегкими испытаниями, которые выпали на ее долю.

— Эх, Тосенька, есть вещи и похуже спора...

Тося с великим сомнением посмотрела на Веру.

— Он что... это самое... изменял тебе? — осторожно спросила она, поглаживая Веру по плечу.

— Если бы еще по любви, а то встретил одну вертихвостку вроде нашей Анфисы. Так просто, от нечего делать, как мужики говорят: для счету!.. Всю любовь мою он оплевал. А как я его любила, как ему, дура, верила! Сколько ни проживу — никому уже так не поверю... Сейчас я уже отошла немного, а тогда во всех людях разочаровалась, во всем человечестве...



Тося испуганно глянула на Веру и тихо подсказала:

— Вроде всем людишкам ноги подсекли, и такие они паршивые стали, глаза бы на них не смотрели, да?

— А ты откуда знаешь? — удивилась Вера.

— Да уж знаю...— уклончиво ответила Тося, гордясь тем, что и она переживала такие же взрослые чувства, как замужняя Вера-заочница.— Ну, а ирод твой как? Небось сразу слезу пустил: испытай меня, я хороший?

Вера озадаченно покосилась на Тосю, словно заподозрила вдруг, что та подслушала последний ее разговор с мужем.

— Что-то такое говорил...

— Все они так говорят! — умудренно сказала Тося.— Натворят разных безобразий, а прищемишь им хвост — сразу заюлят: «Ты красивая, ты красивая!» А раньше почему-то одни недостатки видели. Терпеть таких не могу!

Тося сердито глянула на дверь, точно ожидала, что к ним в комнату пожалует сейчас человек, натворивший безобразий и упорно не замечавший прежде ее красоту.

Вера закончила свою исповедь:

— Нарочно подальше уехала, с корнем хотела вырвать его, да вот не получается. И забывать не забываю, и простить не могу...

— Да-а, и тебе нелегко,— великодушно признала Тося.— Правильно сделала, что бросила своего ирода. А что ж он пишет и пишет? Ни стыда у человека, ни совести!

— Не знаю, я же ни одного письма не прочла.

Вера украдкой посмотрела на печку. Письмо давно уже сгорело, но пепел не распался и сохранил форму конверта. Тося проследила за Вериным взглядом и ужаснулась:

— О, Верка! Да не поддавайся ты ему!..— Она помялась и спросила как равная равную: — А во сне ты своего видишь?

— Изредка...

— Редко — это еще ничего...— авторитетно сказала Тося.— А мой взял моду: каждую ночь снится! Вот только вчера у него выходной был, а сегодня опять приснился: будто плывем мы на пароходе... Зима кругом, а ему пароходы подавай, вот ирод! Я уж и подушку второй месяц не переворачиваю, а он все снится и снится... Никакого самолюбия у человека!

— Эк тебя занесло! — изумилась Вера и на миг даже позабыла свои горести.— Ведь ты же сама во сне его видишь!

— Ну да, я ж и говорю...— пробормотала Тося и вдруг догадалась: — А-а... Ты считаешь, раз я во сне его вижу, значит, я и виноватая?

Щадя молодую Тосину любовь, Вера предположила:

— Должно быть, думаешь ты о нем много.

— Вот уж неправда! — рьяно запротестовала Тося.— Нисколечко я о нем не думаю! Встречу — чуть подумаю...— Тося показала кончик мизинца.— ...И все... Тут другое...— Она зажмурилась и призналась: — Сдается мне, вроде я его... это самое, жалею...— Тося виновато взглянула на Веру и снова машинально показала кончик пальца.— Презираю, ненавижу и... жалею, вот оно, женское сердце!

В Тосином голосе зазвучало великое презрение к себе самой, к своему непостоянству и позорной слабости.

— И до чего же я нашу бабью породу ненавижу — нет слов-выражения! Медом нас не корми, а дай пожалеть какого-нибудь ирода! Да-а... Много еще в нас пережитков сидит! — Тося выпрямилась и бодро сказала: — Но ничего! Ты, Верка, как хочешь, а я своего никогда не прощу. Ни-ко-гда! Всю свою бабью породу переверну, а не дам жалости ходу! Давай вместе, а? Будем помогать друг дружке: ты дрогнешь — я к тебе на подмогу, а я... слабинку дам — ты ко мне спеши... Коллективно мы с тобой со всеми иродами справимся! А в одиночку трудно...— сокрушенно пожаловалась Тося, шмыгнув носом.— Так и лезут в душу, так и лезут!.. Договорились?

Вера не успела ответить. Весело напевая, в комнату вбежала Катя.

— Носит тебя нелегкая! — проворчала Тося.

Катя стащила с головы зимний платок.

— Девы, теплынь на улице, прямо весна! Там такое гулянье развернулось... А вы чего тут секретничаете?

— Тебе не понять,— строго сказала Тося.

— Это почему же? — обиделась Катя.— Кажется, не глупей тебя!

Тося пожала плечами:

— Ум тут ни при чем... Счастливая ты, Катька, а счастье глаза застит.

Вера удивленно покосилась на Тосю, недоумевая,

8 Зак. 1003

когда та успела повзрослеть. А Катя сменила теплый платок на легкую косыночку и пошла было к двери. Тося требовательно окликнула ее:

— А ну подойди!

Катя послушно подошла к подругам. Тося бесцеремонно стащила с Катиной счастливой головы простенькую косынку, открыла шкаф, который после щедрой смазки Ксан Ксаныча больше уже не скрипел, покопалась там, как в собственном бауле, вытащила на свет божий другую косынку, поярче, и повязала ее Кате.

— Глянет Сашка — и наповал! — Тося подтолкнула Катю к двери, повернулась к безучастной Вере и запоздало спросила: — Мам-Вера, можно?

Вера равнодушно кивнула. Катя взялась за ручку двери и оглянулась на горемычных своих подруг. Рядом с черной бедой, витающей над их головами, собственное простое и безоблачное счастье показалось вдруг ей каким-то грубым, почти неприличным.

— Вера, Кислица, хотите, никуда я не пойду? — дрогнувшим голосом самоотверженно предложила она.— Я же не виноватая, что у нас с Сашкой все гладко идет: встретились — полюбили, комнату дадут — поженимся... Мы с ним даже и не поссорились ни разу! — презирая себя за такую неинтересную любовь, призналась Катя.— Остаться?

Катя с готовностью отстегнула верхнюю пуговицу пальто.

— Иди, иди, без счастливых обойдемся! — неподкупно сказала Тося, не разрешая Кате-самозванке примазаться к ним и на даровщинку попользоваться их высокой печалью.

За окном Сашка призывно заиграл на гармони. Катя виновато потупилась, застегнула пуговицу и тихонько выскользнула из комнаты, стыдясь прочного своего счастья.

Тося по-старушечьи покачала головой.

— Как нитка за иголкой! — осудила она Катину покорность.— Вот она, женская судьба... Подумать только, как эти ироды над нами измываются! А ведь сами виноваты, сами!.. Вот мы вчера по истории проходили: было, оказывается, такое времечко, когда женщины всем на свете командовали. Всем-всем! Оч-чень правильное было время, я только названье позабыла... Вот дырявая башка!

Тося в сердцах шлепнула себя по голове.

— Матриархат, что ли? — подсказала Вера.

— Ты тоже знаешь? — удивилась Тося и хищно сжала руку в кулак.— Вот где они у нас сидели, голубчики! Так нет, пожалели их древние бабы, выпустили...— Великое разочарование прозвучало в Тосином голосе.— Если б сейчас... этот самый матриархат бы, уж я бы кой над кем досыта поиздевалась!

Сначала Вера рассеянно слушала Тосину болтовню. А потом нелепые исторические изыскания Тоси как-то незаметно отвлекли Веру от мрачных ее мыслей, и она невольно посветлела лицом. Все дело было, видимо, в том, что никак нельзя было долго слушать Тосю и предаваться печали: одно исключало другое...

— Любовь,— горько сказала Тося.— Сколько про нее нагородили!.. Я когда маленькая была, все думала: слаще меда эта любовь, а она — горче горчицы!

— Рано еще тебе так говорить,— остановила ее Вера.

— А оно всегда так: сначала все рано и рано, а потом уж и поздно, а в самый раз никогда не бывает...

— А ты поумнела! — снова удивилась Вера.

Тося отмахнулась от такого поклепа.

— Значит, и ты разочаровалась в любви? — с проснувшимся любопытством спросила Вера.

— Угу... разочаровалась! — охотно согласилась Тося, в глубине души по-детски гордясь тем, что ее чувства можно обозначить таким солидным книжным словом.

— И Пушкину больше не веришь?

Тося смутилась:

— Что ж Пушкин? Он еще в каком веке жил! А теперь...

Она безнадежно махнула рукой.

— Выходит, переметнулась ты на Анфисину сторону,— осудила Вера.

Сравнение с непутевой Анфисой озадачило Тосю.

— Анфиска вообще...— Тося начертала в воздухе крест, зачеркивая всякую любовь на всем белом свете.— А я... Может, где и есть любовь...— Она дважды взмахнула вытянутой до предела рукой, показывая на далекие загоризонтные края.— А у нас в поселке нету, за это я ручаюсь!

Тося клятвенно ударила себя кулаком в грудь и поведала самую свежую свою тайну:

— Знаешь, я вообще решила не жениться... это самое,

замуж не выходить. А ну их! Будем с тобой дружить — и проживем за милую душу. Вот увидишь! И кто это выдумал, что обязательно надо кого-то любить? Чего, в сам-деле! Это все одно воображенье!.. На жизнь себе я всегда заработаю, а то попадется какой-нибудь пропойца — мучайся потом с ним! Одной спокойней, правда, мама-Вера? Хочу халву ем, хочу пряники!

Она живо вскочила с койки, достала из своей тумбочки кулек с одним-единственным мятным пряником, разломила его пополам, одну половинку сунула Вере, а другую принялась жевать сама.

— Я мятные уважаю, можно потом зубы не чистить,— поделилась Тося давним своим открытием.

Сказала она это так же горячо и серьезно, как прежде говорила о любви и матриархате. И впервые за все время их беседы Вера улыбнулась — дивясь Тосе и против воли любуясь ею. Она вдруг подумала, что ей труднее было бы жить на свете и переносить застарелую свою боль, если б рядом не было вот этой безалаберной девчонки. Раньше, до встречи с Тосей, Вера уважала людей умных и образованных и даже мужа своего в общем-то полюбила за то, что он был очень вежливым и знал много иностранных слов. И теперь она не совсем понимала, почему так привязалась к Тосе. Глупой ее, конечно, назвать нельзя, но и умом особенным Тося не блещет. Скорей она умна не так головой, как своим сердцем...

— Ты чего это? — заподозрив неладное, придирчиво спросила Тося, и Вера снова подивилась тому, что Тося так хорошо чувствует ее.

— Как там... Илья поживает?

Тося поперхнулась пряником.

— Что ж Илья? Он сам по себе, а я сама по себе. Разошлись, как в море пароходы... Я думала, он страдать будет, убиваться,— разочарованно сказала Тося.— А он даже и не смотрит на меня. Вот пень! Школу забросил, обедать и то не ходит. Похудел весь, одни глазюки остались...— Тося жалостливо вздохнула и добавила с внезапно заклокотавшей в ней яростью: — Все насолить мне хочет: ты, мол, повариха, так вот, нá тебе, назло похудею, пусть тебе стыдно будет... Я его, ирода, насквозь вижу!

— Ох и молодая ты еще! — позавидовала Вера.

— Да уж не старуха... И еще взял моду, как воскре-

сенье — так в город правится. Метель, пурга, все ему нипочем. Это он тоже назло мне: вроде скучно ему здесь!.. Может, и завел там симпатию, мне-то что? Думает, я тут все глаза по нем выплачу, дудки! Без него тут легче дышится, воздух чище... Жена механика в ювелирном магазине его видела. Другой бы свой позор переживал, а этот на золотые цацки глаза пялит. Вот человек!

— Тебе никак не угодишь,— сказала Вера, глядя на взбудораженную Тосю.— Приходил извиняться — прогнала...

Тося важно наклонила голову, подтверждая, что такой факт имел место.

— ...Оставил тебя в покое — ты опять недовольна! Ну чего ты от него хочешь?

— А я почем знаю? Не надо было спорить!

— Теперь уж поздно...

— Нет, не поздно! — заупрямилась Тося.— Я ему до самой смерти этого не прощу. Что я ему... табуретка?

Тося пнула ногой табуретку Ксан Ксаныча.

— Эх, Кислица ты, Кислица! — по-матерински ласково сказала Вера.— Совсем ты запуталась.

— Есть маленько...— призналась Тося, привычно показала кончик пальца и подытожила затянувшийся их разговор: — Значит, договорились?

— Ты о чем это? — не поняла Вера.

— Здравствуй, Марья, где твой Яков! — изумилась Тося.— Я же тебя целый час агитирую, чтобы ты ирода своего не прощала!

— А я и не заметила,— насмешливо сказала Вера.

— Выкинь ты его из головы, вот как я Илюху вытурила!.. А письмо еще придет — давай так сделаем: ты сама не читай, а я, так и быть, прочту и перескажу тебе своими словами. Надо же узнать, чего он там пишет. А то все в печку и в печку — так тоже нельзя: каждый человек у нас... это самое, имеет право на переписку! — убежденно заявила Тося, по-своему трактуя статью Конституции.— Ну, договорились? Союз?

Тося протянула руку ладонью кверху. Вере захотелось приголубить забавную девчонку, чуть ли не с пеленок убежденную в том, что коллективно можно одолеть любую беду. Но она побоялась обидеть строгую свою наставницу и лишь пожала ей руку — серьезно и немного даже торжественно, как и подобает при заключении оборонительно-наступательного союза.

— Теперь я за нас спокойная... Ну, ироды, берегись! — вызвала врагов на бой Тося и нырнула головой под руку Веры.

Обнявшись, они сидели на койке и покачивались в такт песне, которую пели на улице. В окно было видно, как с сосулек все чаще срывались капли и вспыхивали на солнце.

Стараясь не потревожить Тосю, Вера за ее спиной украдкой глянула на печку. Дрова в топке осели, и пепел от письма рассыпался.

НА СТАРОЙ ЛЫЖНЕ

В это воскресенье Дементьев стал утром на лыжи и пошел посмотреть дальний массив леса, куда вскоре намечено было переносить лесоразработки. Нетронутый массив оказался богат вековыми соснами. Они стояли гонкие, ладные, одна к одной, и не подозревали, что дни их уже сочтены. Дементьев поймал себя на мысли, что он одновременно и живыми соснами любуется и как бы видит их уже в штабелях на нижнем складе. И одно не мешало другому. «Инженерное восприятие природы»,— решил он, начерно прикинул, где тут лучше разместить погрузочную площадку, и повернул назад в поселок.

Было еще рано, и Дементьев раздумал идти домой, в холостяцкую свою конуру. Он снова успел уже запустить комнату похлестче прежнего — может быть, назло Анфисе, которая так некстати навела в ней однажды порядок. В такой берлоге можно только спать, писать докладные вышестоящему начальству и еще, пожалуй, пить водку. Ничего этого Дементьеву сейчас не хотелось, а сидеть в комнате просто так и делать вид, что ты живешь правильно, не хуже других, ему давно уже надоело.

Он бесцельно побрел по лесу — куда глаза глядят. Лыжи вывели его к реке выше поселка. Дементьев пересек реку по льду, и на другом берегу шаг его сам собой стал четче, а лыжня позади прямее. Кажется, он знал уже, куда идет, хотя и не признавался еще себе в этом. Продираясь сквозь мелколесье, он забирал все левее и левее, пока не вышел к той пади, о которой Анфиса говорила когда-то, что поселковые хозяйки ведрами таскают оттуда рыжики.

Его тянули к себе те места, где он когда-то был счаст-

лив. Припомнилась вычитанная в студенческие годы книжная мудрость, утверждающая, что такое бывает с людьми лишь в преклонных летах, когда хочется оглянуться на всю свою прожитую жизнь. «Значит, старею...» — машинально подумал Дементьев.

Где-то здесь они проходили тогда с Анфисой... Дементьев осмотрелся вокруг и увидел у себя под ногами старую лыжню, еле заметную под толщей выпавшего позже снега. Он уверился вдруг, что это Анфисин след, чудом уцелевший со времени первой их лыжной прогулки. За три месяца, минувших с тех пор, навалило много снегу, но под пологом леса Анфисин след мог и сохраниться. Он сам шел тогда по открытому косогору, и его след замело, а Анфисин вот остался.

Ведь бывают же чудеса — даже в наш вдоль и поперек расчерченный век? Редко, но бывают. В конце концов, Дементьев просил у судьбы не такого уж сногсшибательного волшебства, затрагивающего основы мироздания, а всего лишь незначительного чуда местного значения.

Он пошел рядом с запорошенной лыжней, не решаясь ступить на нее, словно боялся топтать прежнее свое счастье. След частенько нырял в сугробы и надолго пропадал там, но каждый раз снова выходил на поверхность и четко обозначался на твердом насте. Он как бы боролся с забвением и все время силился о чем-то напомнить Дементьеву.

Поравнявшись с тем памятным ему местом, где Анфиса когда-то знакомила его с круговым эхом, Дементьев негромко крикнул. Эхо незамедлительно ответило ему. Все эти месяцы оно тихо-мирно жило здесь, притаившись в лесной чащобе. Дементьев подумал благодарно: что бы ни стряслось с ним в жизни, а круговое Анфисино эхо всегда будет здесь, пока растет тут лес; до самой неблизкой своей старости он может приходить сюда и окликать это доброе эхо. Приятно было убедиться, что есть еще на свете неизменные, прочные вещи, неподвластные сплетням, пересудам и прочим бедам, которыми люди портят себе жизнь.

Свежий лыжный след пересек старую лыжню, убежал было вперед, но тут же вернулся и зазмеился рядом с ней, добросовестно повторяя все ее изгибы и повороты. Дементьев горячо пожалел, что не обучен читать следы, как знаменитые следопыты из Петькиных книжек. Кто

прошел здесь, когда? Почему-то он был все-таки уверен, что неизвестный лыжник прошел здесь сегодня и совсем незадолго перед ним. Вот только непонятно было, почему незнакомец тоже не решился стать на старую лыжню, не захотел топтать чужой след. У Дементьева была своя догадка и на этот счет, но он гнал ее от себя, не решаясь поверить такому совпадению.

Дементьев и не заметил, как прибавил ходу. Он скользил все быстрей и быстрей и не очень-то удивился, когда с пригорка увидел вдруг впереди Анфису, медленно бредущую на лыжах по опушке леса. Кажется, и ее манили к себе эти счастливые для них обоих места.

Он догнал Анфису и пошел рядом. Старая лыжня непереходимой границей легла между ними. Было в ней и напоминание о былом их счастье, и память о том, что разлучило их.

Они долго шли молча. Слышался только свист лыж, сухой перестук палок да изредка глухой ватный хлопок, когда ком снега падал с веток в сугроб. Снег на деревьях обмяк, слежался и, срываясь, уже не пылил в воздухе, как во время первой их лыжной прогулки.

Дементьев сбоку жадно смотрел на Анфису истосковавшимися по ней глазами. Она была совсем не такой, как он представлял себе все это время. Все черты ее лица остались прежними, но эти знакомые и дорогие Дементьеву черты складывались теперь как-то по-новому и делали Анфису проще и строже, чем он ее помнил. Ему показалось, что она не такая уж красивая,— и это последнее открытие больше всего порадовало его: в глубине души Дементьев с самого первого дня их знакомства, когда Анфиса назвалась актрисой, побаивался, что он со своей заурядной внешностью совсем ей не пара.

Даже любуясь ею, Дементьев ни на секунду не забывал о том, что разлучило их. Но странное дело, вся эта грязь почему-то не пачкала Анфису, а существовала как-то сама по себе. Все, что сказал тогда Мерзлявый, было не с этой Анфисой, которую Дементьев все еще любил — и любил даже сильней, чем прежде,— а с какой-то другой, незнакомой и совсем не нужной ему.

Он не знал, как объяснить всю эту несуразицу. Или так всегда бывает с красивыми женщинами, и красота всегда права — даже тогда, когда совершает недостойное и пачкает себя? Или просто он так любил Анфису, что любовь его невольно очищала ее от всякой грязи и

видела лишь такой, какой хотела видеть? Или, наконец, все то, что разлучило их, было неизмеримо мельче, чем ему сгоряча показалось, и не стоило той боли, которую он пережил?

Анфиса все круче отворачивалась от него и все ниже опускала голову. Дементьев спохватился вдруг, что обижает ее молчаливым своим, как бы приценивающимся разглядываньем. И как он мог забыть: ведь ей сейчас гораздо хуже, чем ему.

— А наст хороший сегодня, правда? — поспешно спросил он первое, что взбрело ему в голову, и сам подивился той неуместной беспечности, которая прозвучала в его голосе.

Анфиса сразу остановилась, будто ее ударили, воткнула лыжные палки в сугроб перед собой.

— Вы бы еще про погоду, Вадим Петрович,—угрюмо сказала она.

И Дементьев остановился, воткнул свои палки в снег рядом с Анфисиными. Они стояли, кажется, на той же горушке, где во время первой их прогулки он приглашал Анфису полюбоваться красотой заснеженного леса. Дементьев решительно шагнул к Анфисе, сминая лыжами старый запретный след, и обеими руками бережно взял Анфисину руку в пестрой варежке. И шарфик у нее был такой же пестрый, под цвет варежек: наверно, еще задолго до их размолвки она любовно подобрала все эти наряды. Это давнее ее щегольство, не нужное теперь ни ей, ни ему, показалось вдруг Дементьеву неожиданно милым, беззащитным, почти детским.

— Все эти дни, Анфиса, я только о вас и думал,— сказал он и крепче сдавил ее руку, испугавшись вдруг, что она не дослушает его и убежит.— Я и ругал вас и проклинал, чего скрывать? Все так неожиданно на меня свалилось. Я ведь тоже человек — с ревностью и прочей ерундой... Только человек — в этом иногда обидно убедиться! Простите меня за все мои подлые мысли, за то, что я так легко отпустил вас тогда.

— Я вас ни в чем не виню...— Анфиса старательно смотрела на ближнюю сосну и не видела ее.— Ни в чем,— повторила она потвердевшим голосом.

— И напрасно! — в порыве самобичевания выпалил Дементьев.— Я старше вас и просто обязан был думать за нас обоих, а не предаваться глупой ревности. Тоже мне, Отелло из лесопункта!.. Если толком разобраться,

вы же передо мной ни в чем не виноваты. Ведь все это...— Он покрутил в воздухе рукой и сразу же отдернул ее, боясь обидеть Анфису презрительным своим жестом.— Все это еще тогда было, когда вы обо мне и слыхом не слыхали. Ведь так?

— Так...— с проснувшейся надеждой в голосе ответила Анфиса и впервые открыто посмотрела на Дементьева.

И откуда он взял, что Анфиса подурнела? Вся ее красота была при ней, никуда она не делась, вот только стала взрослее, строже, не так слепила глаза, как прежде. Она как бы обратилась внутрь Анфисы, растворилась в ней и осветила ее новым светом.

— Вот видите! — живо воскликнул Дементьев, будто всеми логическими и хитроумными построениями он не себя хотел убедить, а Анфису.— Мне бы, дураку, пораньше сюда приехать — и ничего не было бы... Так нет, образования ему высшего захотелось! — со злостью обругал он себя.

— Хороший вы...— глухо сказала Анфиса и отвернулась к спасительной своей сосне.

— Как хотите, Анфиса, а я все-таки верю, что нет таких положений, из которых не было бы выхода. И мы с вами найдем свой выход! Ведь найдем?

— Не спешите, чтоб потом не жалеть.

— Давайте у эха спросим? — азартно предложил Дементьев.— Лес врать не будет!

— Не надо, не надо! — боязливо сказала Анфиса, вырвала руку и шагнула к спуску в лощину.

На миг она замерла на вершине спуска, с силой оттолкнулась палками и скользнула вниз. Дементьев стал на ее место и залюбовался Анфисой. Она стремительно летела по крутому склону, конец ее пестрого шарфика призывно трепетал на ветру.

Солнце стояло за спиной Дементьева, и длинные тени деревьев далеко вытянулись по безлесному склону. Анфиса с лету пересекла четкую границу тени и света и вырвалась на лощину. И сразу пустая скучная лощина, залитая ярким мартовским солнцем, обрела в глазах Дементьева какой-то новый и самый главный свой смысл, будто она тысячи лет прозябала здесь в безвестности для того лишь, чтобы принять сейчас Анфису и покорно лечь у ее ног.

Дементьев испугался вдруг, что Анфиса умчится от

него, а он так и не успеет сказать ей главного, без чего дальше ему не жить. Единственно правильное решение это пришло только сейчас, когда он любовался летящей по склону Анфисой, но исподволь зрело в нем уже давно. Он ухнул вниз и догнал Анфису в конце поляны, у нового теневого рубежа.

— Анфиса, я уже все обдумал! — запыхавшись сказал Дементьев и решительно сбил шапку на затылок.— Уедем отсюда, чтобы ничто не напоминало... За Урал махнем, а? Чем дальше, тем лучше! Поженимся здесь, пусть все сплетники заткнутся, и уедем мужем и женой. На новом месте ни одна душа ничего знать не будет. А я вас никогда ни в чем не упрекну. Обещаю, Анфиса! ни-ко-гда!

Анфиса машинально теребила шарфик у горла. Кажется, она хотела, но никак не могла поверить, что сбываются тайные ее мечты. Глазам Дементьева вдруг больно стало смотреть на нее — благодарную, оттаивающую от того холода, который сковал ее. Он отвернулся, поднял литую еловую шишку и спрятал в карман.

— Петька коллекцию собирает,— пояснил он.

В глазах Анфисы мелькнул непонятный ему испуг. Она придвинулась к Дементьеву, несмело прильнула к нему, словно искала защиты от себя самой.

— Хороший мой, вам другую бы полюбить...

Анфиса закрыла глаза, потерлась щекой о его щеку и тут же отпрянула от Дементьева, зябко вздрогнула, будто ей холодно вдруг стало под высоким лучистым солнцем.

НАДЯ С КСАН КСАНЫЧЕМ РАССТАВЛЯЮТ МЕБЕЛЬ

Предусмотрительный Ксан Ксаныч хотел во всеоружии встретить неблизкий еще день, когда начальство начнет распределять заветную жилплощадь. Темным вечером он уговорил Надю побродить по недостроенному дому и загодя приглядеть себе комнату по душе.

— Все лучше, чем без толку топтать снег на улице,— сказал практичный Ксан Ксаныч.

Они не спеша обошли всю новостройку. В глухой тьме свет электрического фонарика таинственно вспыхивал в одной комнате, пропадал и снова вспыхивал в другой.

На Камчатке вползвука играла гармонь, и время от времени оттуда долетал девичий смех и ломкий настойчивый басок парня. А с нижнего склада у реки доносились бессонные гудки паровозика, раскатистый лязг буферов, стук бревен и возбужденные работой молодые голоса грузчиков.

— Строят, строят, а конца не видать,— рассердился Ксан Ксаныч.— Этак нам, чего доброго, до самой осени холостяковать!

Луч фонарика в руке Ксан Ксаныча обежал голую клетку комнаты, выхватил из темноты лицо Нади, стоящей рядом с ним в ночном дозоре, кучи строительного мусора на полу, густо припорошенные снегом, залетевшим через незастекленное окно и большую дыру в потолке. Ксан Ксаныч измерил комнату шагами.

— Четырнадцать метров, и окно на юг. Вот если б нам эту комнату дали, Надюша! Очень эта комната располагает меня к семейной жизни.

— Большая...— отозвалась Надя.— Бездетным не дадут.

— А это как рассудить! — запротестовал Ксан Ксаныч.— Нынче бездетный, а завтра совсем наоборот... Ведь так, Надюша?

— Я все забываю спросить... Ксан Ксаныч, ты детей любишь?

— Чужих — не очень,— честно признался Ксан Ксаныч.— А своего парнишку или там девку я полюбил бы... Своя ведь кровинка, Надюша!

С улицы донесся приближающийся сердитый голос Дементьева:

— Строители! За целую неделю крышу не успели накрыть!

Ксан Ксаныч с нашкодившим видом поспешно погасил фонарик, шагнул в пустой проем двери и потянул за собой Надю. Дементьев с пожилым прорабом подошли к дому и остановились возле приглянувшегося Ксан Ксанычу окна на юг.

— Обижаете вы строителей...— уныло сказал прораб.

Дементьев вспылил:

— Слушайте, вы, обиженный! Если к Первому мая не кончите этот дом, я вам биографию испорчу!

— Биографию? — удивился прораб.— А биография у меня обыкновенная, строительная: сто грамм премий и тонна выговоров.

— На этот раз выговором не отделаетесь. Не сдадите дом к маю — я вас... выгоню к чертовой бабушке! И характеристику такую дам, что строить вам больше не придется. Своей власти не хватит — в райкоме подзайму!

— К Первому мая? — деловито переспросил прораб.— Вадим Петрович, а может, недельку накинете? Видите ли...— попытался он обосновать свою просьбу,— не в традиции тут быстро строить.

— Ни одного дня! Вырабатывайте новую традицию.

— Легко сказать...

Дементьев с прорабом ушли. Ксан Ксаныч выступил на середину комнаты, с молодым задором пнул ногой кучу мусора и спросил повеселевшим голосом:

— Слыхала, Надюша? Скоро заживем с тобой не хуже людей! Вадим Петрович хоть и молодой, а слов на ветер не бросает.— Зыбким лучом фонарика он обежал комнату вдоль и поперек и сказал так уверенно, будто ордер на эти заманчивые четырнадцать квадратных метров лежал уже у него в кармане: — Кровать мы поставим в тот угол, а шкаф вот сюда. Просторней так будет в комнате... Пойдем, Надюша, а то, не ровен час, увидят нас тут, могут нехорошее подумать. Знаешь, какие бывают люди?

Ксан Ксаныч помог Наде вылезть на улицу через незастекленное окно и сам вылез вслед за ней. Но уйти так быстро от дома, где вскоре начнется его долгожданная семейная жизнь, Ксан Ксаныч был просто не в состоянии. Он замешкался у окна и направил луч фонарика в глубь комнаты.

— Стол, Надюша, лучше к окну придвинуть: будем летом чай пить и на улицу смотреть — вроде кино!

— А может, посредине? — предложила Надя, заражаясь уверенностью Ксан Ксаныча.— А то как-то голо будет в комнате.

— Можно и посредине,— покладисто согласился добрый Ксан Ксаныч.— Мы еще подумаем, Надюша, не завтра ведь переезжать...

Парень на Камчатке громко сказал:

— Не было ее тут, Вадим Петрович.

Дементьев, чем-то расстроенный, поравнялся с Ксан Ксанычем и Надей.

— Добрый вечер... Надя, вы Анфису не видели?

— На дежурстве она, должно быть.

— Нету ее там... И где она от меня прячется?.. Извините.

Дементьев ушел. Ксан Ксаныч осуждающе посмотрел ему в спину:

— И чего он за Анфиской бегает? Подмочит она ему репутацию.

— Да не в репутации тут дело! — с досадой сказала Надя.— Любит он ее...

— Любовь, она, конечно...— виновато пробормотал Ксан Ксаныч, снова зажег фонарик, заглянул в окно и озабоченно покачал головой: — А потолок все-таки низковат!

Надя шагнула вдруг к своему жениху, горячо и неумело обхватила его шею руками и поцеловала.

— Бог с ним, с потолком, Ксан Ксаныч! И чего мы ждем? Давай поскорей поженимся, а то я чего-то бояться стала... Прямо завтра и поедем в загс, Ксан Ксаныч?

Как всегда в минуты волнения, Ксан Ксаныч затоптался на одном месте.

— Ну что это за семейная жизнь у нас будет? Ты в одном общежитии, а я в другом... Потерпим еще, Надюша, больше терпели. Теперь уж недолго осталось: сама слышала, что Вадим Петрович говорил.

— Ну смотри, Ксан Ксаныч, смотри...

АНФИСА ПЛАТИТ СПОЛНА

Лихорадочно спеша, Анфиса бросала платья в раскрытый чемодан. Тося безмятежно спала на своей койке среди вороха раскиданных учебников, свернувшись калачиком и заслонившись от яркой лампочки надежной хрестоматией по литературе. Задетое рукой Анфисы, парадное зеркало с грохотом упало с тумбочки и разбилось. Тося села на койке, протерла глаза.

— Девчонки, какой я сон видела-а!.. Анфиса, ты чего?

— Отстань!

— Зря ты в другую комнату перебираешься... У нас лучше! — убежденно сказала Тося.

Анфиса сорвала наволочку с подушки, скомкала ее и кинула в чемодан.

— Да ты, никак, совсем уезжаешь! — догадалась вдруг Тося. Мягко ступая по полу ногами в чулках, она подошла к Анфисе, робко дотронулась до ее локтя.— Не уезжай, слышь?



— Пусти... В каждую дырку затычка!

— Это все из-за меня, да? — со страхом спросила Тося и зажмурилась.— Если уж так сильно Илью любишь, что не жить тебе без него, лучше я уеду, хочешь?

Анфиса удивленно посмотрела на Тосю, будто впервые ее увидела.

— Вот ты какая...— Она вдруг позавидовала зеленой Тосиной молодости.— Ох и глупая ты еще! Не нужен мне твой Илья, владей им на здоровье.

Тося облегченно перевела дух. Анфиса смахнула с тумбочки в чемодан всю свою парфюмерию, протянула Тосе маленький флакончик:

— На, твой любимый... с царапиной!

Тося покорно взяла флакончик, машинально понюхала. Анфиса захлопнула крышку чемодана, щелкнула замком.

— А Вадим Петрович? — ужаснулась Тося.— Если б меня так любили, я бы ни за что не уехала? Разве можно так?

— Добрая ты, Тоська! И он меня любит, и я его больше жизни, а вот...

Анфиса пнула ногой чемодан.

— Но почему, Анфиска? Говорят, он тебе, это самое, все простил?

— Эх, Тоська!

Анфиса бессильно опустилась на развороченную свою кровать. Тося подсела к ней.

— Через гульбу мою он перешагнул, а я ему новый гостинец приготовила...

— И охота тебе? — пристыдила Тося.— Терпеть не могу, когда люди на себя наговаривают!

Анфиса устало покачала головой:

— Никто не знает, тебе первой откроюсь... В общем, доигралась я: не будет у меня детей. Хоть сто лет проживу — не будет! В прошлом году аборт делала у одной знахарки, и вроде все хорошо обошлось, а вот надо же... Выходит, и не женщина я уже, а так, пустая оболочка... Все одно к одному ложится, здорово кто-то планирует!

Тося с ужасом смотрела на Анфису.

— Что, страшно? — Анфиса горько усмехнулась и запоздало спросила: — И чего мы с тобой все ругались?

Она потрепала Тосю по плечу. Было сейчас в ее отношении к Тосе что-то очень взрослое, ласковое, почти материнское.

— В общем, обманула меня жизнь, Тоська: сначала простой прикинулась, а теперь вот так обернулась!.. Я, дура, все думала: врут люди про настоящую любовь, сказочку красивую сочинили, чтоб скотство свое прикрыть. А теперь вижу: есть она, есть! Другим — в радость, а для меня — мука горькая... Знаю, смешно это и против науки, а в последние дни мне все мерещится: измывалась я над любовью — вот она и подкараулила меня, за все прежние штуки мои отомстила... Если б мне кто раньше сказал, что я Вадим Петровича встречу,— я бы совсем по-другому жила, его дожидалась... Нет, не сказали!

— А если... это самое, без детей? — тихо спросила Тося.— Ведь живут же люди?

— Не понять тебе, Тоська, молодая ты еще... Сгоряча он, может, и согласится, а потом, знаю, жалеть будет. Ведь он, как назло, детей любит, прямо души в них не чает. Даже странно: такой молодой — и так сильно любит их. У него это с потомками как-то там связано. Все против меня, и потомки даже!.. Нет, видно, не судьба нам. Не хватало еще, чтоб я и его жизнь заела... Уж лучше бы совсем его не встречала: так и жила бы как заведенная. А то показали мне кусочек настоящей жизни, поманили — и тут же цыкнули: куда прешь, такая-сякая!..

Анфиса ткнулась лицом в Тосины колени. Злые мелкие слезы бежали по ее щекам. Тося в одной руке забыто вертела дареный флакончик, а другой тихонько гладила красивые Анфисины волосы. Нечего было ей сказать Анфисе, нечем ее утешить. Тося вдруг припомнила, как еще совсем недавно ненавидела Анфису и боялась ее, и подивилась, до чего же она была слепая. Анфиса рывком вскинула голову:

— А все красота моя, будь она проклята! Еще девчонкой была, в школу бегала, а мужики липли уже. Пойми, я себя не оправдываю, но и они ведь... А теперь все в стороне остались, одна я в ответе. Это как, справедливо?..

Приближающийся железный гром заглушил голос Анфисы. Стекла в окнах забились в испуганной дрожи.

По улице мимо общежития тяжело прогрохотал трактор — спокойный, работящий, уверенный в своем праве глушить жалкую исповедь Анфисы.

Анфиса встала, вытерла кулаком слезы, потуже затянула платок на голове.

— Нагнала я на тебя тоску... А в общем, все идет правильно: за ошибки свои надо платить сполна. На этом мир держится.

Она взяла чемодан, пошла к двери. На пороге остановилась:

— А Илья тебя любит, верь. Меня он никогда так не любил. Если дорог он тебе, не мучь ты его понапрасну... Ну, бывай, Тоська. Желаю тебе...

Анфиса чемоданом распахнула дверь и вышла. Тося отбросила флакон, запрыгала на одной ноге, натягивая резиновые сапожки, и выбежала вслед за ней.

Непогожий мартовский вечер встретил Тосю на крыльце. Анфиса на миг мелькнула в свете дальнего фонаря и пропала во тьме. Тося обогнала прогуливающихся возле недостроенного дома Ксан Ксаныча с Надей и помчалась к конторе.

Она вихрем ворвалась в тихую ночную контору, миновала слепое окошко кассы, взлетела по ступенькам на второй этаж, подергала дверную ручку запертого кабинета Дементьева, прогрохотала вниз по ступенькам, упала, чертыхнулась и рванула на себя дверь коммутатора. Девица с серьгами, позевывая, дежурила у телефона.

— Вадим Петрович где?

— Дома, наверно... А что, крушение?

— Хуже! Анфиса...— начала было объяснять Тося, нетерпеливо махнула рукой и выскочила из коммутатора.

Она подбежала к дому Дементьева, забарабанила в окно, не жалея стекол.

— Кто там? — спросил Дементьев, высовываясь в форточку.

— Скорей! Чего вы спите? Анфиса...

Хлопнула дверь — Дементьев вырос на крыльце, на ходу напяливая пальто.

— Анфиса убежала!

— Как убежала? — опешил Дементьев.

— Ну, чего вы стоите? Догоняйте, если любите!

Дементьев ринулся к перекрестку дороги, где все уезжающие из поселка дожидались попутных машин. Тося еле поспевала за ним.

— Верните ее, Вадим Петрович... Вы же начальник! И любит она вас... Больше жизни, сама говорила!

Тося остановилась, запыхавшись, перевела дух и крикнула вдогонку Дементьеву:

— Без Анфисы не возвращайтесь! Силу... это самое, примените. Силу!

На перекрестке дороги Анфисы уже не было. Сырой мартовский ветер раскачивал деревья и гудел в дорожной просеке, как в трубе. Нетерпеливо вглядываясь в ночную тьму, Дементьев прождал долгих полчаса. Машины все шли со стороны железной дороги, а к станции — ни одной. Наконец показался попутный грузовик. Дементьев вскинул руку, но грузовик промчался мимо, обдав его ошметками мокрого снега и гремя пустым разболтанным кузовом.

Это было так неожиданно, так нелепо, что Дементьев не поверил своим глазам. Сгоряча ему почудилась какая-то промашка во всей жизни, какой-то существенный просчет — на меньшее Дементьев сейчас не мог согласиться. Поступку шофера нельзя было подыскать никакого оправдания, а беспричинная жестокость всегда почему-то угнетающе действовала на Дементьева. Все дело было, видимо, в том, что она унижала в нем человека.

Дементьев не мог больше ждать, надеясь лишь на слепой случай, бегом вернулся в поселок и поднял с постели заведующего гаражом. Тот долго не понимал, зачем техноруку среди ночи понадобился разъездной «газик».

— Личное дело, личное! — твердил Дементьев.— За бензин я заплачу!

Он помчался на станцию в неказистом «газике». Все-таки хорошо, что в институте он увлекался автоделом и научился водить машину. После всех сегодняшних невзгод это была первая удача, и Дементьев увидел в ней счастливое предзнаменование.

Всю дорогу до станции Дементьев просил у судьбы лишь одного: чтобы Анфиса не уехала прежде, чем он увидит ее. Он был убежден, что после того, как они встретятся, Анфиса уже не сможет уехать. Ведь стоит лишь им взглянуть друг на друга, и Анфиса сразу поймет, как нужна ему,— и тут же сама собой сгинет та непонятная причина, которая заставила ее бежать из поселка.

Как и предупреждал заведующий гаражом, в дороге сдал правый задний баллон, и Дементьеву пришлось менять его. Потом он застрял в снежном месиве, объезжая вагончик передвижной электростанции, брошенный кем-то посреди дороги. И напоследок, уже на окраине города,

«газик» долго держали у закрытого переезда через железную дорогу.

На запасных путях топтался и пыхтел маневровый паровоз, у будки стрелочника скулил щенок, за переездом в маленьком доме с большой вывеской беспечно горланило радио. После недавней бешеной езды и тряски у Дементьева было сейчас такое чувство, будто на крутом развороте он *выпал* вдруг из жизни: нетерпеливое желание догнать Анфису умчалось вперед, а его с «газиком» как бы выбросило на какой-то немыслимый остров, где время навсегда остановилось.

За полосатым шлагбаумом мокро блестели рельсы. По сравнению с лесовозной узкоколейкой, к которой успел привыкнуть Дементьев, здешний железнодорожный путь казался неправдоподобно широким. Дементьев ждал, когда откроют шлагбаум, а проснувшийся в нем инженер совсем уж ненужно припомнил вдруг, что наша отечественная колея на восемьдесят девять миллиметров шире западноевропейской. Он злился на себя, что в такую минуту думает о всякой ерунде, но ничего не мог с собой поделать.

На привокзальной площади Дементьев выскочил из «газика», густо заляпанного грязным снегом, вбежал в зал ожидания и лицом к лицу столкнулся с Анфисой, отходящей от кассы с билетом в руке.

— Анфиса! — крикнул он и схватил ее за руку.

На ней были пестрые варежки — те самые, что запали ему в душу во время последней их лыжной прогулки. И шарфик был тот же. Дементьев уверился вдруг, что все у них будет хорошо.

— Что случилось? — шепотом спросил он.— Мы же обо всем договорились...

Они стояли в проходе. Снующие взад и вперед пассажиры толкали их, заглядывали в лица, прислушивались к словам Дементьева. Мужчины, как водится, добросовестно пялили на Анфису глаза, а молодые женщины старательно обегали взглядами то место, где она стояла. Казалось, они даже и не подозревали о ее присутствии, вот только вид у них почему-то был уязвленный и такой кислострадающий, какой бывает у женщин, когда нещадно жмет обувь.

Красота Анфисы впервые не порадовала Дементьева, показалась ему на этот раз тяжким крестом, нести который через всю жизнь суждено не только ей самой, но

и тому, кто ее полюбит. Ему вдруг захотелось, чтобы Анфиса была не такой красивой, чтобы она стала как все и с ней можно было спокойно появляться в самом многолюдном месте.

Шагах в трех от них прочно обосновался какой-то верзила в помятом пальто и в упор уставился на Анфису. Дементьев с ненавистью покосился на него и заслонил Анфису от липкого взгляда.

— Спокойней, Вадим Петрович,— сказала Анфиса и пошла к выходу на перрон.

Дементьев на ходу отобрал у нее чемодан. Несколько пассажиров потянулись было за ними, думая, что поезд уже прибыл и началась посадка. Анфиса остановилась у заколоченного на зиму киоска «Пиво — воды».

Верзила в помятом пальто опять подошел было к ним, словно его магнитом притягивало. Дементьев со сжатыми кулаками шагнул к нему, и верзила благоразумно удалился, шаркая ногами и оглядываясь через плечо.

— Да бросьте вы этого дурака,— устало сказала Анфиса.

Дементьев устыдился своего мальчишества и оставил верзилу в покое. Он с тревогой посмотрел на Анфису, не узнавая ее. Кажется, она не очень-то ему обрадовалась! Было в ней сейчас что-то новое, незнакомое, почти враждебное ему. Анфиса как бы уехала от него навсегда, а он заставил ее снова вернуться к тому, с чем она успела уже распрощаться.

— Все-таки что случилось? Я ничего не понимаю... Уж не обидел ли я вас чем-нибудь?

Анфиса покачала головой, избегая встречаться с Дементьевым глазами.

— Ведь мы же договорились: поженимся и уедем вместе. Нет таких положений...

— Не бывать этому, Вадим Петрович. Есть, видно, и такие положения, из которых выхода уже не найти.

— Но почему же, почему?

— Слишком вы для меня хороший, пора и честь знать.

— Глупости вы говорите, глупости! — разозлился Дементьев.— Я люблю вас и никому не отдам!

— А я вас... не люблю,— тихо, но твердо сказала Анфиса, чтоб поскорей окончить весь этот ненужный разговор, который ничего не в силах был изменить в ее жизни.

— Ка-ак? — опешил Дементьев.

Все доводы, заготовленные им в пути и убедительно, с неопровержимой логикой доказывающие Анфисе, что она не должна, никак не может, просто даже не имеет права уезжать от него, разом вылетели у Дементьева из головы.

— А так: не люблю — и все... Думаете, если вы инженер и... диплом с отличием — так все должны вам на шею кидаться?

— При чем тут диплом? Какую ерунду вы говорите, Анфиса? Я вас не узнаю, мне казалось, что и вы...

— Ах, вам казалось!..— насмешливо пропела Анфиса, легко входя в привычную для нее роль девчонки-сердцеедки, какой была она до знакомства с Дементьевым.— А я... шутила! Я ведь вообще легкомысленная, сами знаете!

Дементьев пристально смотрел на нее: такой Анфисы он не знал.

— Не верю, вы что-то скрываете от меня... Почему вы глаза прячете?

— Глаза? Пожалуйста! — с готовностью выпалила Анфиса, кляня судьбу за то, что ей приходится не только бежать от своей любви, но еще и оплевывать ее на прощанье.

Не в лад с бойкими своими словами она с трудом подняла голову, глянула на Дементьева сухими запавшими глазами и даже усмехнулась ему в лицо — чтобы самой себе больней было. Вконец сбитый с толку, Дементьев ухватился за последний довод:

— Как же так? А Тося говорила, вы меня любите...

Анфиса фыркнула:

— Тоже мне авторитет! Ничего Тоська в этих делах не понимает. Вы бы еще... Петьку своего спросили!..

К перрону шипя подкатил поезд дальнего следования. Негромко звякнул станционный колокол. Из окна мягкого вагона высунулся сонный пассажир в полосатой пижаме, сладко зевнул и спросил с праздным дорожным любопытством:

— Какая станция?

Анфиса с Дементьевым не услышали его. Они молча брели по перрону. Вокруг, не задевая их, своим чередом шла шумная вокзальная жизнь. Сновали носильщики, в хвост поезда промчались здоровенные благополучные лыжники в детских шапочках, проводники ведрами тас-

кали кипяток, отъезжающие прощались с родными и близкими, в буфет рысью бежали легконогие транзитники с пустыми бутылками в руках.

Неуклюжая бабища, непробиваемо укутанная и для мороза градусов в шестьдесят, квочкой распласталась над корзиной с семечками и зазывно горланила, перекрывая весь разноголосый вокзальный шум:

— Кому семечек? Тыквенные, сладкие! С-под Полтавы! Два рубля стакан! Сама бы грызла, да зубов нету! А вот семечки...

Дементьев с Анфисой подошли к вагону. Дважды ударил колокол. Анфиса взяла чемодан, сказала почти весело:

— Ну, Вадим Петрович...

— Анфиса! — отчаянным голосом позвал Дементьев, поверив наконец, что она уезжает.

И Анфиса испугалась вдруг того, что она делает. На миг ей захотелось, чтобы Дементьев удержал ее силой, навязал ей свою волю и не дал уехать. Но она тут же переборола себя и поспешно сунула проводнице билет.

— Вы еще будете счастливы,— быстрым шепотом предсказала Анфиса.— А я свое разменяла... Не поминайте, Вадим Петрович...

Она в последний раз взглянула на Дементьева, запоминая его на всю жизнь и чувствуя, что против воли опрометчиво выдает себя этим взглядом. Дементьев с проснувшейся вдруг надеждой шагнул к ней. Анфиса рывком повернулась к вагону. С подножки навстречу ей свесился франтоватый морячок.

— К нам в купе давайте, нижняя полка свободная! — бойко пригласил он, беззастенчиво рассматривая Анфису.— Чемоданчик пожалуйте!

Он коснулся чемодана вытянутой рукой. Анфиса рванула к себе чемодан и, надвигаясь на морячка, выпалила с жгучей ненавистью:

— Я тебе пожалую, я т-тебе пожалую!

Морячок испуганно отпрянул, освобождая Анфисе дорогу.

Поезд тронулся. Все ускоряя шаг, Дементьев шел рядом с вагоном Анфисы.

— Напишите!.. Адрес!.. Я приеду!..

Поезд набрал скорость — и Дементьев побежал, чтобы не отстать. Паровоз еще наддал — и мимо Дементьева, обгоняя его, поплыли вагоны, беспечно щелкая ко-

лесами. Равнодушные к его горю проводницы стояли на ступеньках, охраняя покой пассажиров.

— Адрес, Анфиса-а!..

Заглох перестук колес. Фонарь на заднем вагоне мигнул в последний раз и косо завалился в ночную тьму.

Дементьев побрел к вокзалу. Вдогонку ему кричала-заливалась торговка семечками:

— А вот семечки! С-под Полтавы! Тыквенные, калорийные! Три рубля пара, разбирайте остаточек. Кто купит — спасибо скажет, кто мимо пройдет — век жалеть будет!

ТОСЕ ДАРЯТ ЧАСЫ

Тося сидела за столом над распахнутым учебником географии и крепко держалась обеими руками за концы платка, накинутого на волосы. Вера читала, лежа на своей койке. Катя вышивала кисет для Сашки и с любопытством посматривала на притихшую Тосю.

— Да скинь ты платок,— сердобольно посоветовала она.— Жарко ведь!

— Голова болит...

— Где-то теперь наша Анфиска? — вслух подумала Катя.

Тося покосилась на осиротевший Анфисин угол. Голый матрас немым укором распластался на койке; в распахнутой настежь бесхозной тумбочке были видны старая пуховка, начатая банка клюквенного варенья и лежащий плашмя пустой флакон из-под одеколона — все, что осталось от Анфисы.

Буквы запрыгали перед глазами Тоси. Она развернула карту в конце учебника и склонилась над Тихим океаном, который спокойно синел себе на бумаге, знать не зная ничего об Анфисе, Тосе и всех ее горестях.

Опрокинутое ведро загремело в коридоре. В дверь робко постучали. Ленивая Катя вопросительно глянула на Тосю, ожидая, что та, по давней своей привычке, первая откликнется на стук. Но Тося солидно молчала, уставившись в тихоокеанскую синь, и Катя недовольно крикнула:

— Стучи веселей! Не обедал, что ли?

Вошел Илья — такой же торжественный и праздничный, как и в тот вечер, когда приглашал Тосю в кино.

Вот только шапка на нем была другая, попроще, да самоуверенности заметно поубавилось.

Тося потуже натянула платок на голове и прижала ладони к ушам, чтобы посторонние люди пустыми своими разговорами не мешали ей заниматься. Глаз от карты она не отрывала, боясь и на секунду оставить Тихий океан без присмотра.

— Девчата,— напряженным голосом попросил Илья,— пошли бы вы погуляли, мне надо с Тосей покалякать.

— Новое дело! — осуждающе сказала Катя и пристально посмотрела на Тосю, ожидая от нее знака, уходить им или не надо.

Тося слегка раздвинула пальцы, прижатые к ушам, и еще ниже склонилась над картой. Захватив книгу, Вера вышла в коридор, а Катя приостановилась на пороге и громко объявила:

— Тось, мы тут поблизости будем. В случае чего...

Илья нетерпеливо глянул на нее — и Катю точно ветром сдуло.

Тося уткнулась в карту и стала водить по ней пальцем, прокладывая новые океанские маршруты. Илья подошел к столу, постоял, разглядывая платок на Тосиной голове, и осторожно потянул к себе учебник географии. Тося вцепилась в книгу за другой конец и не пускала.

— Порвешь...— прошептала она, всматриваясь в мелкую крупу Океании.

Илья потянул сильнее — и Тося, боясь за сохранность учебного имущества, выпустила книгу. Лишенная спасительного занятия, она медленно подняла голову. Не теряя даром времени, Илья запустил руку в карман, замялся вдруг и попросил:

— Закрой глаза.

— Вот еще!

— Закрой, не бойся.

— Никто тебя тут не боится...

Тося заинтересованно зажмурилась, на всякий случай оборонительно выставив локоть вперед, как учила когда-то опытная Анфиса. Илья живо вытащил из кармана маленькую коробочку, вынул из нее часики и положил их на Новую Зеландию. Тося открыла глаза:

— Ой, чьи такие малюсенькие?

— Твои... Чтоб вовремя обеды готовила,— пробормотал Илья, смущенно переступая с ноги на ногу,

Он и не подозревал раньше, что не такое это простое дело — дарить часы любимой девчонке!

Тося залюбовалась красивыми часиками. Стекло было толстое, увеличительное — мечты сбывались! Она поднесла часы к уху, послушала. Вся ее непримиримость куда-то запропала. Бесхитростная радость затопила Тосю и хлынула из ее глаз на Илью.

— Тикают!

Повеселевший Илья облегченно вздохнул и вытащил из кармана папиросы. У него сейчас был такой вид, будто он наконец-то перевалил труднейший в своей жизни перевал и вышел на прямую дорогу, ведущую к счастью.

А Тося с былой доверчивостью приспустила с головы платок — и открылась тайна, которую она с таким старанием прятала от девчат: чтобы потягаться красотой с Анфисой, Тося сотворила себе модную прическу и стала непохожа сама на себя.

— Ну как? — с надеждой в голосе спросила она.

Илья замялся, не в силах сразу привыкнуть к необычному Тосиному виду.

Тося похвасталась:

— Тридцать четыре с полтиной отвалила!

— По-моему... ничего...— неуверенно выговорил Илья и пальцем нарисовал в воздухе восьмерку.

— Я так и думала: тебе понравится!

Тося надела часы на правую руку и торжественно прошлась по комнате, упиваясь модной своей прической и первым в жизни ценным подарком. Снисходя к Тосиному малолетству, Илья поощрительно заулыбался, а Катя, подсматривающая в замочную скважину, прыснула в коридоре.

— На левую руку надо,— подсказал Илья.

— Я знала, да вот позабыла...— оправдалась Тося в непростительном своем невежестве и стала отстегивать ремешок.

Гулко, как в пустую бочку, закашляла за дверью Катя. Тосина рука испуганно дрогнула и накрыла часики, словно защитить их хотела от надвигающейся опасности.

Чтобы не мешать павлиньему Тосиному параду, Илья отошел в сторонку, присел на разоренную койку Анфисы и закурил. Тень набежала на лицо Тоси.

— Ты чего это расселся?



— Да брось ты,— миролюбиво сказал Илья и подмигнул Тосе, думая, что она его разыгрывает.

— А ну, встань! — приказала Тося и захлопнула дверцу Анфисиной тумбочки, чтобы не видеть пустого уже флакона.

Илья медленно поднялся. Тося затеребила ремешок на запястье.

— То-ось?! — с отчаяньем в голосе крикнул Илья и, опережая события, отвел свою руку за спину.

— Слишком они... дорогие,— попробовала схитрить Тося, протягивая Илье часы.

— Да для тебя...

— Для тебя, для меня... Не возьму — и точка! — выпалила Тося, отрезая себе все пути назад.

Она злилась сейчас не так на Илью, как на себя — за то, что успела уже всем сердцем привязаться к красивым часикам. «Ох и жадюга ты!— осудила себя Тося.— Показали тебе цацку — ты уже все готова простить...»

Что-то новое росло в ее груди, но Тося и на этот раз переборола несознательную свою женскую природу. Она широко замахнулась, чтобы швырнуть часы на стол, но в последнюю секунду пожалела ни в чем не повинную ценную вещь и бережно положила часы на раскрытый учебник географии.

— Значит, не возьмешь? — угрожающе спросил Илья.

Тося неподкупно замотала головой и, не глядя на часы, чтобы зря не соблазняться, придвинула их к Илье вместе с учебником.

— Анфиску выжил, теперь ко мне подбираешься?

Илья насупился:

— Что же, она всю жизнь меж нами стоять будет?.. Да и не я тут виноват.

— Все вы теперь невиноватые, а человека загубили... Молчишь? Иди-ка ты, парень!

Тося помахала рукой, выпроваживая Илью из комнаты.

— Ах, та-ак?!

Илья схватил со стола часы, шмякнул их об пол и изо всей силы ударил по ним кованым каблуком сапога. Завороженными глазами Тося смотрела на Илью, не подозревая, что вся его боль, как в зеркале, отражалась на ее лице. Опрокидывая стулья, Илья ринулся к выходу, хлопнул дверью, загремел в коридоре ведром.

Встревоженные девчата вбежали в комнату. Тося си-

дела на полу и подбирала осколки часов. Непрошеные слезы текли по ее щекам.

— Он тебя ударил, да? — выпытывала Вера.

— Да кто тебя так обкорнал? — изумилась Катя, разглядывая нелепую Тосину прическу.

— Тридцать четыре с полтиной...— прошептала Тося, поднялась с пола, роняя мелкие колесики и стекляшки, и спросила потерянно: — Да что же это такое, девочки? Ведь я его, ирода, полюбила-а!..

Она привалилась к столу, окунула опозоренную модной прической голову в равнодушную синь Тихого океана и заревела в голос.

КСАН КСАНЫЧ ПОЛУЧАЕТ КВАРТИРУ. ТОСЯ НА КАМЧАТКЕ

Апрель хозяйничал в поселке. Он заметно поубавил сугробы, оголил землю на буграх и солнцепеках, по-летнему подсинил небо и приподнял его над поселком. Тропки, стиснутые зимой высоченными сугробами, теперь, когда рыхлый снег вокруг наполовину стаял и осел, выперли наверх и высились грязными насыпными дамбами.

Возбужденный Ксан Ксаныч топтался на крыльце нового дома, врезая замок в наружную дверь. Вид у него был торжественный, счастливый и чуть-чуть виноватый, будто он немного стыдился, что такое большущее счастье привалило наконец к нему.

А вокруг Ксан Ксаныча шумел субботник. Десятка три лесорубов пожертвовали своим воскресным отдыхом и вышли на работу, чтобы наконец-то завершить затянувшуюся постройку многострадального дома, в котором Ксан Ксанычу с Надей обещали комнату. Они настилали полы, навешивали двери, вставляли стекла, тянули электропроводку от ближнего столба. На новостройке кипела дружная, празднично-шумная и малость бестолковая работа, какая бывает, когда за дело берется больше людей, чем надо, и не все из них знают, что и как им делать. Охрипший прораб метался по всему дому, безуспешно пытаясь навести порядок.

И поверх разноголосицы, шума и гама, давая тон всему, над стройкой раздавался неторопливый и размеренный стук топора, падающий сверху:

— Бум... Бум... Бум...

Это хмурый и нелюдимый Илья один-одинешенек трудился на крыше, закрывая последний просвет. Филя с Длинномером подносили ему доски.

Тосе и на субботнике досталась почти поварская работа: она разогревала в котле воду, готовила в корыте глиняный раствор, а в свободные минуты помогала Вере сортировать кирпич.

Надя с Катей носили кирпич на носилках. Ксан Ксаныч встретился глазами с Надей и многозначительно показал ей замок — этот наглядный символ их близкой уже семейной жизни. Надя поспешно закивала головой, радуясь, кажется, не так за себя, как за своего жениха, дожившего наконец до счастливого дня.

Больше всего народу набилось в той комнате, которую Ксан Ксаныч когда-то вечером облюбовал себе с Надей. Маленький тракторист Семечкин вместе со своей тихой невестой возились у окна, вставляя стекла. Чуркин с видом заправского печника возводил печь. Подручным у него был комендант, повязавший себе мешок вместо фартука. Чернорабочую силу Чуркин держал в ежовых рукавицах и, помахивая кельмой, строго покрикивал на коменданта:

— На кой ляд вы мне битый кирпич суете? Соображать надо, это вам не тумбочки учитывать!

Катя прыснула. Завидев на улице Дементьева, Чуркин высунул голову в пустую незастекленную фрамугу и привычно крикнул:

— Поднажмем, ребятушки! — Покосился на придирчивую Катю и добавил: — И девчатушки...

— Да не кричите вы,— с досадой остановил его Дементьев.— Люди и так на совесть работают.

— Кашу маслом не испортишь,— убежденно сказал Чуркин.

Тося принесла в ведре глиняный раствор и стала возле коменданта. Она удивлялась, откуда Чуркин знает, какой кирпич куда класть, и все норовила подсунуть мастеру приглянувшуюся ей четвертушку кирпича.

— Вот этот положите,— умоляла она.— А этот когда же? Гляньте, какой симпатичный!

По соображениям высшего порядка, недоступным Тосе, Чуркин терпеливо отводил ее руку и брал совсем другие кирпичи.

— Всему свой черед,— солидно говорил он, чувствуя себя на своем месте и наслаждаясь тем уважением, ка-

кое испытывали к нему сегодня все лесорубы и от которого он давненько уже отвык в лесу.— Погуще раствор разводи, это тебе не щи варить!

Тося обиженно вздохнула и поплелась к своему грязному корыту.

А Илья на верхотуре без передышки стучал топором.

Он так старался заколотить все гвозди, которые выпускала наша железная промышленность, что Тося даже усомнилась: клялся он когда-нибудь в любви или это только приснилось ей в те далекие и счастливые времена, когда она еще ничего не знала о споре, всему на свете верила и, чтобы увидеть Илью во сне, колесом вертела по ночам подушку?

К Дементьеву подбежал запыхавшийся прораб.

— Вадиму Петровичу,— хрипло сказал он, пожимая руку.

— Ну как, успеете теперь к маю?

— Кто ж знал, что столько народу откликнется? — удивился прораб.— Не удавались у нас прежде такие мероприятия. Помаленьку растут люди: коммунистическая форма труда и все такое прочее...— Он заметил непорядок в дальнем конце дома и сорвался с места.— Куда ты, куда? Эта дверь с другого подъезда. И кто эти субботники выдумал!..

Нагружая очередные носилки кирпичом, Катя глянула на верхушку телеграфного столба, где с монтерскими кошками на ногах висел Сашка, подключая электропроводку к новому дому.

— Смотри не сорвись! — боязливо крикнула Катя.

И Тося машинально покосилась на Илью. Он уже закрыл последний просвет в крыше и начал зашивать досками фронтон дома. Нашел себе работенку! Ему и горюшка мало, что топор его стучался прямехонько Тосе в сердце, тревожа ее и заставляя все время думать о нескладной своей любви.

Сашка на столбе помахал Кате рукавицей и крикнул в ответ:

— Кирпича поменьше накладывай, сколько тебе говорить? Ты себя с Надей не равняй!

— Вот феодал! — нежно сказала Катя.— Еще не поженились, а уже командует.

Тося проворно схватила большой ком мерзлой глины, замерла с ним над корытом и выжидающе посмотрела на Илью. Почувствовав на себе отчаянный Тосин взгляд,

Илья недовольно оторвался от работы, притормозил свой громкозвучный топор. Равнодушно, будто по пустому месту, скользнул он по Тосе глазами, буркнул кислым голосом:

— Эй, кто там? Гвозди кончаются...— И громче прежнего застучал топором.

О гвоздях он заботился... Тося бухнула в корыто тяжелый ком глины. Ей вдруг до слез жалко стало, что так уныло, за здорово живешь проходят лучшие ее годы. Тоже мне, жизнь! Хоть поскорей бы, что ли, состариться и выйти на пенсию. Тося позавидовала пенсионерам: вся любовь у них засыхает от старости, никаких тебе забот и мучений. Живи и радуйся!

Ксан Ксаныч привинтил замок, пощелкал туда-сюда ключом и остался доволен. Он внес в *свою* комнату охапку сухих дров, заранее припасенную им, вытащил из чехольчика складной нож собственной добротной конструкции и стал тесать лучину для растопки.

— Торопишься ты, Саня! — предостерег Чуркин.

— А ждал сколько? — Ксан Ксаныч кивнул на печку.— Алексей Прокофьич, ты уж того... За мной не пропадет! Сам знаешь: печь для семейной жизни...

Не находя нужных слов, он помахал зажатыми в кулаке лучинами. Все на свете умел делать Ксан Ксаныч, а вот с важнейшим печным ремеслом как-то разминулся в своей жизни.

Чуркин покосился на коменданта.

— Рассчитываешь на эту комнату? А если не тебе дадут?

— Игнат Васильич обещал...

— Обещают одному — дадут другому,— умудренно сказал комендант.

— Ты думаешь? — испугался Ксан Ксаныч.

— Бывает...

Чуркин почесал в затылке оттопыренным мизинцем — единственным своим чистым пальцем — и пояснил наивному Ксан Ксанычу:

— Администрация!

Ксан Ксаныч поспешно спрятал ножик в чехол и выскользнул из комнаты.

Дементьев скинул с себя пальто и стал расчищать подступ к крыльцу от строительного мусора.

Привычно помешивая палкой в котле, будто там варились щи, Тося тихонько сказала Вере:

— Тоскует человек... На месте Анфиски я ему написала бы. Хоть открыточку!

По грязному затоптанному снегу с частыми прогалинами первых луж промчался юркий солнечный зайчик от оконной рамы, которую Сашка тащил к дому. Сашка так спешил, что даже не успел снять монтерские кошки и бренчал ими, как кавалерист шпорами.

Илюхин топор вдруг замолк. И хотя пока топор стучал, никто, кроме Тоси, его вроде и не слышал, но как только стук оборвался, все разом вскинули головы. И Тосе просто грех было не воспользоваться таким удобным случаем, и она добросовестно запрокинула голову кверху.

— Гвоздей давай! — требовательно закричал Илья с чердака.

— И чего разорался? — проворчала Тося: она хоть и не забывала про свою любовь к Илье, но видела насквозь все его недостатки и совсем не собиралась прощать ему барских замашек.

Сашка остановился, озираясь вокруг и прикидывая, кому поручить отнести гвозди Илье. Солнечный зайчик заплясал на Тосином сердитом лице.

— Вера Ивановна, отнеси Илье вон тот ящик,— распорядился Сашка.— Тось, помоги!

— А сам он не может? Руки у него отсохли? — озлилась Тося, закрываясь рукой от въедливого зайчика.

Пока она воевала с солнечным зайчиком, Вера взялась за один конец ящика, приподняла его и вопросительно глянула на замешкавшуюся Тосю. Чтобы подруга не надрывалась, Тося подошла к ящику и неохотно взялась за другой конец.

Они втащили ящик с гвоздями по шатким сходням на чердак. Вера тут же сбежала вниз. И Тося заторопилась было за ней, но хлястик ее ватника зацепился вдруг за конец толстой проволоки, свисающей с крыши. Тося замерла на месте, думая, что это Илья держит ее.

— Пусти...— тихо сказала Тося.— И чего вытворяешь?

Она шагнула вперед, но хлястик натянулся и не пускал.

— Пусти, кому говорят! — прошипела Тося, все еще не оборачиваясь к Илье, чтобы не видеть подлого человека, который ловко заманил ее на чердак, а теперь издевается над ней.

Она опять рванулась вперед, но ее крепко держали за хлястик и не давали сойти с места.

— Пусти, ирод! — выпалила Тося, схватила обрезок горбыля и гневно обернулась.

Илья стоял спиной к ней и возился с досками, прилаживая их к поперечинам. Тося разочарованно отбросила свой горбыль, медленно отцепила хлястик от проволоки. Она шагнула уже к сходням, собираясь сбежать вниз вслед за Верой, но как раз в эту секунду Илья наконец-то приладил доску и, не глядя на Тосю, требовательно протянул руку в ее сторону.

Тося сначала не поняла, чего он от нее хочет, и отшатнулась, но тут же догадалась, немного помедлила, вытащила из ящика гвоздь и подала Илье — для пользы дела, чтобы поскорей закончить постройку дома, в котором Наде с Ксан Ксанычем обещали комнату. Илья забил гвоздь и снова протянул руку. Тося снова подала ему гвоздь, стала поудобней и заблаговременно приготовила следующий: растяпой она не была и работать умела.

Над стройкой опять поплыл неторопливый размеренный стук:

— Бум... Бум... Бум...

Повернувшись спиной к Тосе, Илья работал как автомат: одним ударом топора заколачивал гвоздь, протягивал назад руку, в которую Тося совала новый гвоздь, и тут же заколачивал его. Нельзя было даже понять, знает он, кто подает ему гвозди или нет. Тося насупилась и самолюбиво закусила губу.

Илья протянул руку за очередным гвоздем и, не находя его, нетерпеливо пошевелил пальцами.

— Ну где ты там?

— Нашел себе подсобницу! Вот тебе, держи! — с ненавистью выпалила Тося, схватила ящик с гвоздями, понатужилась, подняла его и швырнула к ногам Ильи.

Ящик всей своей тяжестью пришелся на носок Илюхиного сапога. Илья охнул и запрыгал на одной ноге, морщась от боли.

Неведомая Тосе властная сила сорвала ее с места и кинула к Илье. Снизу вверх заглядывая ему в лицо и страдая больше его самого, она спросила виновато и покаянно:

— Илюшка, больно тебе?

Илья попытался улыбнуться Тосе, но тут же скривился от боли.

— Ничего...— выдавил он из себя.— Терпеть... можно!

От конторы лесопункта к новостройке, разбрызгивая первые весенние лужи, бежал не разбирая дороги счастливый Ксан Ксаныч.

— Дали, Надюша, дали!..— кричал он, размахивая узенькой бумажкой.— Ту самую, окно на юг!..

Лесорубы шумной гурьбой окружили Ксан Ксаныча с Надей.

— Ксан Ксаныч, с тебя приходится!

— Новоселье не зажимать!

— Ребятки! — растроганно пообещал Ксан Ксаныч, весь какой-то взъерошенный от счастья.— Все будет, дайте только нам с Надюшей на квартиру перебраться. И свадьба будет, и новоселье!

— Горько! — дурашливо крикнул Филя.

— Ну, а это уж ни к чему...— обиделся Ксан Ксаныч.

Все вокруг разом вскинули головы. Над стройкой и поселком несся радостный и ликующий стук топора:

— Бум!.. Бум!.. Бум!..

И лесное эхо отвечало вдали — старательно и прирученно, как верная домашняя собачонка:

— Пуф!.. Пуф!.. Пуф!..

Вера понимающе улыбнулась. А Филя с Длинномером тревожно переглянулись и бегом потащили доски на чердак.

Чуркин вмазал чугунную плиту в кладку.

— Шабаш!

Комендант горделиво обошел вокруг первой в жизни печки, сложенной при помощи и его рук.

— Ну как, будет она греть?

— А кто ж его знает? — осторожно отозвался Чуркин.

Распахнулась дверь — и Ксан Ксаныч торжественно ввел Надю в комнату. Он снисходительно показал коменданту узкий листок бумажки, непостижимым образом вместивший в себя все радости будущей его семейной жизни.

— Бывает,— сказал комендант.

А Чуркин почесал мизинцем в затылке, развел руками и повторил свое любимое:

— Администрация!..

Они помыли руки и ушли. Напоследок Чуркин многозначительно подмигнул Ксан Ксанычу, напоминая ему о недавнем его обещании.

— Дождались, Надюша! — сказал Ксан Ксаныч.

Ему вдруг показалось, что комната их стала меньше, чем была три недели назад, когда они с Надей ночной порой держали совет, как получше расставить мебель. Ксан Ксаныч озабоченно перемерил комнату шагами и убедился, что все отвоеванные им у судьбы четырнадцать квадратных метров жилплощади остались в целости и сохранности и терпеливо ждут, чтобы принять их с Надей на свои просторы.

Ксан Ксаныч кинулся растапливать печь, а Надя стала мыть пол. В комнате запахло распаренной глиной. Печь пошла сухими пятнами и поначалу отчаянно дымила.

— Ничего! — бодро сказал Ксан Ксаныч.— Свой дым глаза не выест!

Он обследовал все свои владения, подергал ручку двери, повертел шпингалеты на окне и пообещал:

— Все метизы, Надюша, мы сменим!

Надя не узнала его голоса и удивленно посмотрела на жениха. В Ксан Ксаныче появилось что-то новое, незнакомое ей. Он будто вырос на целую голову и во всех повадках стало проступать что-то самоуверенное, немного даже кичливое. Поистине, долгожданная собственная комната творила с Ксан Ксанычем чудеса и вытащила на божий свет все спрятанное до времени. Надя вдруг подумала, что она не так уж хорошо знает своего жениха.

Он приложил ухо к печной трубе и пригласил Надю:

— Иди послушай!

С тряпкой в руке Надя подошла к трубе и стала рядом с Ксан Ксанычем. Касаясь друг друга плечами, они слушали, как гудит в трубе теплый воздух.

— Строго гудит! — одобрительно сказал счастливый Ксан Ксаныч.— Видать, с характером печка... А в общежитии, Надюша, совсем не тот коленкор. Там у печки одна забота: температуру давай. А тут она уют создает. Хоть и бессловесный предмет, а понимает, что требуется для семейной жизни!

Надя закивала головой, соглашаясь с Ксан Ксанычем, и ушла домывать пол.

Стало смеркаться. Сашка постучал топорами, обух по обуху, возвещая конец субботника. И когда все лесорубы покинули уже новостройку и шум вокруг затих, мимо пожилому запотевшего окна в комнате Ксан Ксаныча прошествовали Илья с Тосей.

Тося шагала чуть впереди, а Илья по-адъютантски почтительно сопровождал ее.

— Тось? — робко окликнул он нетвердым голосом человека, до конца еще не уверенного в том, что все беды его миновали.

— Молчи! — суеверно шикнула Тося.— А то опять поругаемся...

Илья послушно замолк. Они шли рядышком, искоса поглядывали друг на друга. По стародавней своей привычке Тося вскоре вырвалась вперед. Илья набрался смелости и попридержал ее за локоток. Тося виновато глянула на Илью и укоротила свою прыть. Они ступали теперь нога в ногу и дружно молчали...

Печь нагрелась и перестала дымить. Ксан Ксаныч принес с улицы чурбан и уселся посреди комнаты.

— Иди посиди со мной,— позвал он Надю.— Успеется!

— Вот домою, тогда уж...— отозвалась Надя.

Ей стало почему-то неловко оставаться с Ксан Ксанычем наедине, словно что-то недосказанное выросло вдруг между ними.

— Игнат Васильич сразу согласился эту комнату дать,— припомнил Ксан Ксаныч.— Он тебя очень уважает, Надюша!

— И тебя...— отозвалась из темного угла Надя.

Кажется, она пыталась хоть такой малостью отплатить Ксан Ксанычу за все его добрые чувства к ней.

— Тебя больше,— правдолюбиво сказал Ксан Ксаныч.— И ребятки тоже молодцы, гуртом навалились, досрочно дом закончили. Все не везло нам, не везло, а под конец подул ветер и в нашу сторону...

В дверь постучали.

— Входи, открыто! — по-хозяйски крикнул Ксан Ксаныч.

Дверь распахнулась, и на пороге показались маленький тракторист Семечкин и его невеста — тихая девушка, работающая на шпалорезке.

— Значит, вы тут? — спросил Семечкин, ревнивыми глазами оглядывая жилище Ксан Ксаныча и Нади.

— Тут...— счастливо ответил Ксан Ксаныч и пошлепал рукой по подсыхающему боку печки.

— А мы рядом...— Семечкин повел головой в сторону.

— Что ж, соседями будем. Добро пожаловать! — гос-

теприимно сказал Ксан Ксаныч и торжественно пожал руку маленькому трактористу.

Надя вымыла пол, долго и тщательно вытирала его чистой тряпкой. Кажется, она больше всего боялась сейчас остаться без дела. А Ксан Ксаныч вдруг не на шутку встревожился:

— Кончай, Надюша... Перебраться надо сегодня же, верней так-то будет! А то мало ли чего: начальство ненароком передумает или вселится нахрапом какой-нибудь проныра, попробуй потом его выселить...

Он набил печь дровами, запер комнату и спрятал ключ в самый дальний и надежный карман.

— Я побегу за раскладушкой, а ты иди собирай вещи. Сама не надрывайся, я зайду... Сегодня как-нибудь переночуем, а завтра в загс!

Помолодевший от счастья Ксан Ксаныч сорвался с места и пропал в сизых апрельских сумерках. Зараженная его нетерпеньем, Надя быстро пошла по пустынной улице. Но чем ближе к общежитию подходила она, тем короче и нерешительней становился ее шаг, точно сильный встречный ветер мешал ей идти.

Спрямляя дорогу, Надя пересекла пустырь позади Камчатки и вдруг отпрянула назад, спряталась за поленницу дров.

— А северного сияния я так и не видела...— пожаловался голос Тоси.

— Ничего,— пообещал голос Ильи,— на будущий год увидишь!

Ветер раскачивал фонарь на углу улицы, и зыбкое пятно света бежало по грязному апрельскому снегу, выискивая что-то среди осевших сугробов. Вот любопытный пятачок вскарабкался на глухую стену общежития, скользнул вдоль старых почерневших бревен, беспощадным прожекторным лучом выхватил на миг из темноты Илью с Тосей, тесно сидящих на заветной завалинке. Тося зажмурилась от яркого света, стала совсем некрасивой и показалась Наде самозванкой, захватившей чье-то чужое место. А Илья смирно сидел рядом с Тосей и так преданно любовался сморщенным ее лицом, будто она была бог весть какой красавицей.

Пятачок побежал вспять — и темнота спрятала от Надиных глаз счастливую парочку.

В этот день в поселке переломила весна: вечерний морозец попробовал было потягаться с теплым юго-за-

падным ветром, но не совладал с ним и отступил. С крыши общежития падали последние сосульки, апрель бессонно точил сугробы, и если прислушаться, можно было разобрать, как оседал снег — с шорохом и стариковским кряхтеньем. А редкая капель еще не умела тенькать. Капли пулями впивались в ноздреватые сугробы и шуршали там юркими мышатами, разыскивая и пока еще не находя друг дружку.

Тося поймала на лету мокрую сосульку, откусила кончик и протянула Илье:

— Попробуй, сладкая!

Илья послушно захрустел пресной льдинкой.

— Сидим прямо как взрослые! — со смехом сказала Тося.

Ей было так непривычно хорошо сейчас, что невольно хотелось как-то снизить свою радость, чтобы та не слепила ее.

— А мы и есть взрослые,— немного обиженно отозвался Илья.— Хочешь, пойдем завтра и поженимся — и никто нам слова поперек не скажет.

— Ну и семейка получится: Илюшка — муж, Тоська — жена... Умереть со смеху можно!

— Глупая ты еще...— нежно сказал Илья.

— Вот моду взяли: как что не по-ихнему — так дурочкой обзывают. И мама-Вера, и ты... Поищи себе умную!

— Да я ж любя... С тобой все время как на экзамене. Ох и трудная ты!

— Пойди легкую поищи!

— А мне как раз такая, как ты, и нужна.

— Тогда терпи! — посоветовала Тося.

Илья попытался обнять ее. Она ужом выскользнула из его рук.

— Ишь моду взял! Руки!

— То-ось?..

— Сиди смирно и любуйся моей красотой!

Тося хмыкнула, торжествуя полную свою победу. Илья вновь попробовал поцеловать ее.

— Ох и агрессор ты, Илюшка! — сказала Тося, высвобождаясь из его объятий.

— Ну хоть так-то можно? — с великой надеждой в голосе спросил Илья и неуверенно положил руку на Тосино плечо.

Тося подумала-подумала и милостиво разрешила:

— Так можно...

Затаив дыхание слушала Надя их горячий шепот и веселую возню.

Ближний сугроб напитался полой водой, и капли стали тенькать. Сначала каждая капля звенела в свой колокольчик и не догадывалась слиться с соседней каплей. А потом в толще сугроба чисто и певуче пропела струйка, и в соседнем сугробе ей сейчас же отозвалась другая. Они послушали друг дружку, примолкли, и вдруг под спудом снега, пробуя голос, на милом детском языке несмело залопотал первый ручеек. Он тут же замер, придавленный осевшим сугробом, но через минуту зажурчал уже чуть погромче. И снова затих.

Казалось, молодая, только что рожденная из талого снега вода все силилась и никак не могла припомнить, как вела она себя в прежних жидких своих существованиях, еще до того, как стать снегом,— когда она низвергалась с заоблачной выси в ливнях, кипела в родниках, пересчитывала камни на перекатах, лениво струилась в степных реках, клокотала в турбинах электростанций, сонно плескалась в озерах, поила потрескавшуюся от засухи землю в оросительных каналах, ревела в морских ураганах, винтом вздымалась к небу в смерчах и тайфунах, тяжко била в далекий коралловый берег крутой океанской волной...

— Тоже мне, любовь называется! — разочарованно сказал Илья.— Ребята уже невесть что про нас болтают, а я тебя и не поцеловал ни разу... Узнают — засмеют!

— Чихала я на твоих ребят,— отозвалась Тося.

— И на меня?

— Снова начинаешь, да? — пристыдила Тося.— Ох уж эти мне мужики! Неужели ты без этого самого поцелуя никак не можешь обойтись? Так-таки не можешь? Ты только не притворяйся!

— Чудачка ты! — удивился Илья.— А зачем обходиться?

Тося замялась:

— Все вокруг целуются — так и мы давай наперегонки! Так, что ли, по-твоему?

— Ну конечно! — обрадовался Илья.— А как же иначе? Что-то я тебя не пойму...

— А мы вот давай... не будем,— нетвердо предложила Тося, сама не зная, чего она хочет.

— Придумала!..— разочарованно буркнул Илья.



— Так ведь страшно же! — доверчиво призналась Тося. — Были чужие, а теперь ни с того ни с сего...

Илья молча снял руку с Тосиного плеча и отодвинулся от нее.

— Уже обиделся? Ох и личность ты!.. Ну ладно, так и быть...

Тося повернулась боком к Илье, зажмурилась и ткнула себя пальцем в щеку, показывая, куда целовать. Илья осторожно коснулся губами ее щеки и вопросительно посмотрел на Тосю. Она все еще сидела с закрытыми глазами: то ли переживала первый свой поцелуй, то ли ждала еще чего-то. Илья решительно обнял Тосю, крепко поцеловал ее в губы и тут же предусмотрительно отшатнулся, предвидя неминуемый нагоняй.

А Тося вдруг засмеялась. Всего ожидал от нее Илья, но лишь не этого смеха, обидного для мужского его самолюбия.

— Чего ты? — хмуро спросил он.

Тося замотала головой.

— Не скажу... Никогда не скажу! И не упрашивай.

Илья придвинулся к ней:

— Ну, Тось?

— Да стыдно про такое говорить...

— Так ведь мне же, не кому-нибудь.

— Знаешь... я раньше все думала: и как это люди целуются, ведь носы должны мешать... А теперь вижу: ничуть они не мешают!

— Вот детсад! — изумился Илья.

Ему и смешно было немного, что Тося, при всей своей бойкости, на поверку оказалась такой зеленой, и мужскому самолюбию его льстило, что он у нее самый первый, первей некуда, и в то же время Илья как бы укор себе почувствовал в этом Тосином признании. Его кольнула вдруг непривычная, совсем еще не обжитая им зависть к Тосе, к тому, что она только-только начинает взрослую свою жизнь, а он уже поколесил, поколобродил в этой жизни больше, чем надо. Собственная опытность, которой раньше он всегда гордился, обернулась теперь для Ильи грязной своей стороной.

Илья вдруг остро пожалел, что ничего в прошлом нельзя переделать и никогда уже не вычеркнуть ему из своей жизни ни горемычной Анфисы, ни других девчат — лишних, случайных, ничуть ему, если толком разобраться, не нужных. И с Тосей все было бы у него совсем по-

другому, если б встретился он с ней в позапрошлом году, когда только что вернулся из армии и местные девчата еще не вешались ему на шею.

Но долго горевать о чем-либо, а тем более о том, чего нельзя уже было исправить, Илья не умел.

— Иди сюда, замерзла небось? — позвал он Тосю строже, чем сам хотел, невольно пряча от нее покаянные мысли.

Он расстегнул свое пальто, полой прикрыл Тосю и снова поцеловал ее, чтобы она поскорей к нему привыкла.

— Ну как, не мешают носы?

— Не мешают!.. Ты только не задавайся. А то ребята как добьются своего от девчонки, так прямо петухами ходят. А нам это обидно, понимаешь?

— Я тебя больше никогда не обижу...— пообещал Илья.

Его подмывало сейчас сказать Тосе что-нибудь красивое и торжественное, на всю жизнь успокоить ее, но нужные слова, как водится, куда-то запропастились. И тогда, чтобы хоть как-то возместить эти несказанные сильные слова, Илья еще раз поцеловал Тосю — некрепко, нежно, в беззащитный уголок губ.

Видит бог, он совсем не хотел обидеть ее братским своим поцелуем, а Тося вдруг заплакала.

— А теперь что? — встревожился Илья.

— Батю вспомнила...— Тося всхлипнула.— Как мне хорошо — я всегда почему-то его вспоминаю. Все думаю: вот не дожил он до этого дня, не радуется сейчас вместе со мной... Он ведь знал только, что у мамы ребенок будет, а кто — мальчик или девочка,— так и не успел узнать, погиб на фронте... Не узнал даже, что я родилась,— и погиб, обидно-о!..

Илья крепко и бережно обнял Тосю, бессознательно пытаясь оградить ее от всех бед этого древнего, но все еще не до конца правильно устроенного мира. Не умом, а всем существом своим Илья вдруг понял, что он теперь не один, и впервые в жизни к нему пришло сладкое и тревожное чувство своей ответственности за чужую судьбу. Он был теперь в ответе за все, что случится в жизни с Тосей — и сегодня, и завтра, и послезавтра, и через десять лет; дальше заглядывать Илья пока не решался... Ему вдруг горячо захотелось, чтобы Тося никогда не пожалела, что доверилась ему. И для начала,

как первый шаг в новой для него жизни, Илья ослабил кольцо своих рук, забоявшись вдруг, что Тосе больно сейчас, но она молчит из глупого девчоночьего упрямства.

И в ответ Тося доверчиво положила голову ему на плечо, немного поелозила, устраиваясь поудобнее, и надолго затихла. Иголки покалывали затекающую руку Ильи, но он сидел неподвижно, как вкопанный, боясь пошевелиться, чтобы не потревожить Тосин покой. Если он о чем-либо и жалел сейчас — так только о том, что на его долю выпало поначалу такое легкое испытание. Ради Тоси он готов был вытерпеть и не такие муки.

Молодая вода припомнила уже прежнее свое житье-бытье, вошла во вкус и журчала теперь под толщей сугроба все громче и увереннней, час от часу набирая силу и бессонно трудясь для победы весны, наступающей по всему фронту.

Надя осторожно отошла от поленницы, чтобы не вспугнуть чужое счастье.

Никогда не было ничего такого в Надиной жизни! Еще никто так настойчиво не добивался от нее поцелуя, никому он не потребовался на всем белом свете, и сама она никому не была так сильно нужна, как Тося понадобилась Илье. Заплуталось на дальних дорогах женское ее счастье, а теперь, после скорой свадьбы с добрым, но нелюбимым Ксан Ксанычем, и никогда уж не найдет к ней пути.

Угрюмая, нехорошо спокойная, вошла Надя в общежитие, вытащила из-под койки чемодан и стала укладывать вещи.

— Счастливые вы с Ксан Ксанычем! — позавидовала девица с серьгами.

Она переселилась к нашим девчатам, заняла бывшую Анфисину койку и сейчас сидела на ней и, позевывая, накручивала на ночь бигуди.

— Теперь и мы с Сашкой будем требовать квартиру! — объявила Катя, отрываясь от рукоделия.— Есть надежда, осенью дадут...

В комнату быстро вошла Вера. Еще с порога она нетерпеливо глянула на свою койку. Не раздеваясь, шагнула к ней, приподняла подушку, но и там ничего не нашла.

— Кто знает, почта была сегодня? — быстро спросила Вера.

Катя с проказливым любопытством посмотрела на смутившуюся под ее взглядом Веру, но пожалела старшую подругу и ничего не сказала.

Надя вынула из шкафа свое лучшее, давно уже приготовленное для свадьбы платье и вдруг замерла с ним посреди комнаты, будто забыла дорогу к чемодану.

— Что с тобой? — забеспокоилась Вера.

Угрюмая, еще более некрасивая, чем обычно, Надя подошла к раскрытому чемодану, помедлила и опустилась на койку, держа платье на вытянутых руках.

— Надежда, не дури! — попробовала предостеречь ее Вера: кажется, она догадалась уже, что происходит с Надей.

Вбежал Ксан Ксаныч с новенькой, только что купленной сковородкой. Он был все такой же возбужденный и впервые за время своего жениховства позабыл постучать в дверь.

— Надюша, ты еще не готова? — Он подскочил к Наде и бодро помахал сковородкой.— Без очереди достал, алюминиевая, пригодится в семейной жизни.

Ксан Ксаныч пожал Наде руку выше локтя, шепнул: «Раскладушку я уже забросил!» — и вытащил чемодан на середину прохода между койками. Надя невольно подчинилась бурному его натиску и положила свадебное платье в чемодан. Они стали укладывать вещи. Сильные Надины руки двигались все тяжелей и непослушней, словно воздух на их пути густел и становился вязким. Ксан Ксаныч искоса присматривался к своей невесте. Он заметил перемену в ней, и эта новая непонятная Надя настораживала и даже пугала его.

Руки их сталкивались над чемоданом, но в глаза друг другу они не смотрели. Надино смятение передалось и Ксан Ксанычу. Он начал было заворачивать сковородку в полотенце с выцветшим петухом, и вдруг пальцы его приостановили свой бег, точно примерзли к семейному алюминию. Надя испуганно глянула на него, глаза их на секунду встретились. Ксан Ксаныч тут же воровато шмыгнул взглядом в сторону и пуще прежнего засуетился со своей сковородкой. А Наде показалось вдруг, что они обманывают не только себя, а и всех людей вокруг. Похоже, они собирались сделать что-то нехорошее и постыдное: нарушить какой-то неписаный, но всем на свете известный человеческий закон.

Надя подурнела еще больше и выпрямилась над чемоданом.

— Девчата... Вера, Катерина и ты, как тебя? — обратилась она к девице с серьгами.— Выйдите на минуту в коридор. Нам с Ксан Ксанычем потолковать надо.

— Всего на одну минуту,— виновато подхватил Ксан Ксаныч.— Мы быстро...

— Вот жизнь пошла! — пожаловалась Катя, направляясь к двери.— Больше в коридоре живем, чем в комнате!

Вслед за Катей двинулась недовольная девица с серьгами. Патроны бигуди воинственно блестели на ее голове, и, по всему видать, ей очень не хотелось выходить в холодный коридор, но она только вчера перебралась в эту комнату, не успела еще прижиться на новом месте и боялась спорить с Тосиными подругами.

Вера заглянула Наде в глаза:

— Ты подумай хорошенько, чтоб потом не жалеть... Хорошенько все обдумай, Надежда!

Надя кивнула, благодаря Веру за дельный совет. Девчата вышли в коридор, и Надя с Ксан Ксанычем остались в комнате вдвоем.

— Ксан Ксаныч,— тихо, но твердо сказала Надя,— обо всем с тобой мы переговорили: куда стол поставить, куда шкаф, а вот про любовь как-то не успели...

— Это точно! — сразу же покаялся в своем упущении Ксан Ксаныч.— Все как-то минуты подходящей не выпадало... Хорошо, что ты напомнила: перед женитьбой всегда про любовь говорят, так уж принято... Как ты, Надюша, насчет любви?

Надя никак не ожидала, что трудный их разговор сразу же обернется против нее, и теперь затравленно глянула на Ксан Ксаныча:

— Я тебя очень уважаю, Ксан Ксаныч... Хороший ты и добрый и... все на свете умеешь делать. Все-все...

Она запнулась и надолго замолчала. Кажется, Надя жалела уже, что затеяла весь этот разговор.

— Значит, не любишь...— догадался Ксан Ксаныч, и руки его сами собой стали снимать Надино полотенце со своей сковородки.

Надя с испугом посмотрела на работящие руки Ксан Ксаныча.

— Постой! Я же привыкла к тебе, и никого на свете больше у меня нету...

— Успокойся, Надюша...— проговорил Ксан Ксаныч таким тоном, точно все, что произошло сейчас, ничуть его не касалось и утешать надо было только одну Надю. Сдается, он не так уж удивился нынешнему внезапному повороту событий, будто все время ожидал этого и в глубине души не очень-то верил в прочность своего счастья.— Ты кого-нибудь полюбила, Надюша?

— Никого я не полюбила, но и с тобой... Уважаю я тебя и привыкла, а вот...

Надя виновато развела руками.

— Что ж, сердцу не прикажешь... Зла на тебя я не держу, это я один во всем виноват, старый дурень. Ишь, чего удумал!..

Он бережно повесил на спинку кровати Надино полотенце с петухом и даже складку расправил. Надя завороженно следила за каждым его движением.

— А ты, Ксан Ксаныч? — с робкой надеждой в голосе спросила она.— Ты сам-то как?.. Любишь меня?.. Хоть немного?

— Я? — переспросил Ксан Ксаныч, выгадывая время.

— Ты, Ксан Ксаныч...

— А как же? — бойко начал было Ксан Ксаныч, но встретился глазами с Надей и прикусил язык.— Как тебе сказать...

Он съежился, втянул голову в плечи, как бы говоря: «А кто ж его знает?»

— Я думала: хоть ты...— разочарованно сказала Надя.— Как же мы жить будем? Другие любят, а мы... так?.. Просто так?

— Успокойся, Надюша... Вообще-то живут и без любви, но с любовью, кто ж спорит, лучше. Для семейной жизни, я так понимаю, любовь вроде цемента: крепче как-то получается!.. Но я тебя и так не брошу, ты не сомневайся... Опять же: комната... Может быть, попробуем, Надюша? Живут же люди...— Ксан Ксаныч оглянулся на дверь.— Еще не поздно, Надюша, как ты скажешь — так и будет. Решай, а то девочкам в коридоре холодно...

Надю до слез тронуло, что даже в такую минуту добрый Ксан Ксаныч подумал о других.

— А может, ты бы решил? — попыталась она переложить ответственность за будущее на своего жениха.

Ксан Ксаныч строго покачал головой.

— Нет,— с неожиданной твердостью сказал он,— ты

должна решать: в семейной жизни женщина — председатель... Ну, Надюша?

Надя отвернулась к слепому темному окну. Тишина затопила комнату. На нижнем складе коротко вскрикнул паровоз и тут же замолк. Лишь ходики, отремонтированные Ксан Ксанычем, громко и беспечно стучали на стене.

Сразу постаревший и вроде даже ставший меньше ростом, Ксан Ксаныч побрел к двери, забыто держа сковородку в вытянутой руке.

— Ксан Ксаныч, прости, что опозорила перед людьми,— тихо сказала Надя ему в спину.— Я и сама не знала, что так получится...

— Ничего, Надюша, как-нибудь переживу,— отозвался не оборачиваясь Ксан Ксаныч.

У порога он остановился, в остатний раз обежал глазами комнату, прощаясь со всей своей несостоявшейся семейной жизнью.

— Не отстают? — совсем некстати спросил Ксан Ксаныч, покосившись на ходики.— А табуретку, Надюша, возьми себе... На память... Понадобится — я еще сделаю.

Ксан Ксаныч скованно взмахнул рукой в сторону знаменитой своей табуретки с дырочкой, заметил сковородку в руке и сунул ее на угол плиты.

— Интересно, кому теперь наша комната достанется? — вслух подумал он напоследок и вышел, тихонько прикрыв за собой дверь.

Вбежали озябшие девчата, окружили Надю.

— Вот всегда она так! — возмутилась Катя.— Целый год тянула — и нате... Как подруга подруге: и на что ты, Надька, со своими данными надеешься?

— Ведь теперь тебе мужика не найти! — подхватила девица с серьгами.

— Ну, один-то мужик всегда со мной...

Надя невесело усмехнулась и кивнула на топор, стоящий в углу возле печки.

По тихой ночной улице поселка шла поредевшая ватага во главе с Филей. Длинномер сорвал с крыши сосульку и бросил ее в раскрытую форточку чуркинского дома. А Мерзлявый схватил с крыльца забытые детские саночки и швырнул их в колодец.

Филя досадливо поморщился и с тоской подумал: «И чего бы такое сотворить?»

Они подошли к Камчатке и заметили в укромной тени парочку.

— Шуганем? — предложил Мерзлявый.

Длинномер рванулся было к завалинке, узнал Илью, поспешно ретировался и сказал умудренно:

— Не стоит...

И Филя разглядел, кто сидит на Камчатке.

— Так держать! — приказал он ватаге, махнув рукой вдоль улицы, а сам решительно шагнул к завалинке.

Он вплотную подошел к Илье и Тосе, всмотрелся в их счастливые и отрешенные лица, ненужно спросил:

— Сидите?

Илья недовольно снял руку с Тосиного плеча.

— Сидим! — храбро отозвалась Тося.

— Ну и как оно? Не скучаете? — заинтересованно спросил Филя тоном исследователя, столкнувшегося с новым и непонятным ему явлением природы.

— Ничего,— ответил Илья.— Терпеть можно!

— Значит, привел-таки на Камчатку?

Тося отодвинулась от Ильи и выжидательно посмотрела на него.

— Это она меня привела,— признался Илья.

Тося наклонила голову, подтверждая, что так оно, в сущности, все и было, и снова придвинулась к Илье.

— Э-эх, жалко мне вас! — философски сказал Филя.— И на что вы лучшие годы тратите!.. Курнуть не найдется?

Илья протянул Филе пачку папирос и захлопал себя по карманам в поисках спичек.

— Огонек имеется...— с достоинством сказал Филя и щелкнул зажигалкой.

Он прикурил и не сразу потушил зажигалку, с почтительным любопытством разглядывая Тосю, разлучившую его с Ильей. Филя никак не мог понять, чем же в конце-то концов эта невзрачная девчонка приворожила к себе такого бравого парня, как Илья. А Филю, при всей его беспечности, всегда почему-то задевало, когда он сталкивался с чем-нибудь в жизни, чего не понимал. В такие минуты он начинал вдруг чувствовать себя дураком, а в дураках Филя ходить не любил, считая себя не хуже тех, кто все понимает. Он скорее готов был прослыть подлецом и хулиганом, лишь бы не заделаться дураком.

Так и не докопавшись и на этот раз до коренной То-

синой тайны, Филя щелкнул зажигалкой, и темнота отобрала у него счастливую парочку.

— Ну-ну, так держать...— машинально пробормотал Филя, яснее, чем когда-либо раньше, чувствуя, что есть в жизни что-то недоступное ему, и неохотно отошел от Камчатки.

Пока Филя проводил исследовательскую свою работу, ватага его совсем разбрелась. На улице остался лишь Филин «актив»: Длинномер и Мерзлявый. Они лепили снежки из последнего грязного снега и пытались сшибить фонарь.

— Лучшие люди женятся, а на вас и погибели нету! — осудил приятелей Филя.

По улице пробежала бездомная дворняга — из тех, что вечно шныряют возле помоек. Срывая на ней злость за все свои неудачи, Филя затопал ногами, заулюлюкал. Дворняга поджала хвост и умчалась во тьму. Филя смущенно кашлянул и покосился на свой «актив».

Длинномера уже нигде не было видно, а Мерзлявый — жалкий и в пыжиковой шапке — все еще кидал снежками в фонарь.

— Эх ты, мазила! — сказал Филя.

Он слепил из мокрого снега литой снежок, тщательно прицелился в фонарь, боясь опозориться перед последним и самым верным своим соратником, и с силой швырнул ледышку. Лампочка звякнула в вышине, вокруг сразу потемнело, будто ночь надвинулась на Филю, осколки стекла посыпались на землю.

— Вот так и держать! — горделиво распорядился Филя, радуясь первой сегодняшней удаче.

В свете соседнего фонаря мелькнула длинная фигура коменданта, спешащего к месту происшествия. Мерзлявый трусливо нырнул в темный переулок, даже не предупредив своего атамана об опасности.

— Кадры...— проворчал Филя.

Зоркий комендант приметил беглеца, ястребом налетел на него и сорвал с головы пыжиковую шапку.

— Не отдам, пока новый фонарь не повесишь! — крикнул он вдогонку простоволосому Мерзлявому, улепетывающему со всех ног.

А гордый Филя и не думал убегать. Он демонстративно стоял посреди осколков фонаря и терпеливо поджидал грозного коменданта. Ему хотелось ругаться, скандалить. И от драки Филя сейчас не отказался бы. Он согла-

сен был даже пострадать — лишь бы заглушить того непонятного прожорливого червяка, который ворочался в нем и грыз его душу.

Поравнявшись с темным фонарем, комендант открыл было рот, но взглянул на воинственного Филю, готового постоять за себя, молча козырнул и прошел мимо. Филя никак не мог решить: то ли комендант не захотел наказывать двух людей за одно преступление, то ли просто побоялся связываться с ним.

— Начальство! — горько сказал Филя, поняв, что даже пострадать сегодня ему не удастся, и в сердцах плюнул себе под ноги.

...Обходя дозором поселок, комендант заглянул и на Камчатку, где все еще сидели Тося с Ильей.

— Зря сидите,— припугнул он легкомысленную парочку.— До осени отдельных комнат не предвидится!

— Проваливай, товарищ начальник! — прогнал его Илья и шепнул Тосе: — Завтра весь поселок узнает, что мы с тобой на Камчатке сидели.

— Ну и пусть! — расхрабрилась Тося.

— Ишь ты! — удивился Илья и попросил: — А теперь ты меня поцелуй, а то я тебя вон сколько, а ты ни разу... Ведь равноправие!

— Что ты, Илюшка, страшно! — заробела Тося.— Я лучше потом как-нибудь, ладно? А то сегодня мы все переделаем — и на завтра ничего не останется...

— Останется! — убежденно сказал Илья.

— Ты не обижайся, Илюшка, а я пойду: все коленки замерзли.

Они встали с завалинки и подошли к крыльцу общежития.

Тося тайком от Ильи приоткрыла за спиной дверь, обеспечивая себе беспрепятственное отступление, и вскинула голову.

В небе гулял молодой месяц — родной брат того месяца, в которого Тося когда-то осенью пуляла космической ракетой. «Есть все-таки справедливость на свете!..» — решила Тося, припомнив стародавние свои обиды.

— Глянь, спутник летит!

— Не должен бы сегодня...— засомневался Илья, задирая голову.— Сашка ничего не говорил... Да где ты видишь?

— Вот где!

Тося приподнялась на цыпочки, чмокнула Илью в щеку и захлопнула за собой дверь.

От полноты чувств Илья погладил шершавую доску, крикнул, будоража ночную тишину:

— Хэ-гэ-эй!..— и, не разбирая дороги, напрямик зашагал по жидкому, хлюпающему под ногами снегу.

Эхо подхватило крик Ильи и понесло его над спящим поселком, над окрестными лесами и всем притихшим под тонким месяцем миром.

Рассказы



ПЕРВОЕ ДЕЛО

Я стоял у окна своей первой инженерской квартиры и курил перед сном, разглядывая от нечего делать поселок, куда приехал всего час назад.

Со стороны реки доносился невнятный гул сплоточных станков. Это на запани работала ночная смена. Я попытался на слух определить, как там идет сплотка, но из этой затеи ничего не вышло: до запани было далековато, да и шум в поселке мешал. Где-то горланило неусыпное радио, за соседним домом слышался девичий визг, в конторе бубнили по телефону, два парня посреди улицы все выясняли и никак не могли выяснить своих отношений: ругательства они выкрикивали громко и разборчиво, а все остальное мямлили, так что никак нельзя было понять, чего же они не поделили.

Что ждет меня здесь? Долго ли я тут проживу: год-два, а может, и добрый десяток лет? И скоро ли добьюсь успеха? В том, что рано или поздно, а успех мне обеспечен, я тогда просто не сомневался.

Пожалуй, я побаивался лишь одного: как бы мне на первых же порах не подвернулось на работе что-либо шибко заковыристое из гидравлики или электротехники, чего я не одолею в одиночку. Вдруг не отыщу в своих конспектах и справочниках нужную формулу или хитроумную схему и опозорюсь при всем честном народе. Да, одного лишь этого я тогда и опасался.

Поселок притаился в северной белесой ночи, глазел на меня слепыми своими окнами и прикидывал, что я за человек. Так мы и приглядывались друг к дружке, как бы выжидая, кто сделает первый ход.

Я докурил папиросу, швырнул окурок в фортку и совсем уж собрался ложиться спать, когда в сенцах прошелестели вдруг торопливые вкрадчивые шаги и замерли у моей двери. Так ходят студентки-первокурсницы, возвращаясь поздно вечером в общежитие с затянувшегося свидания. В дверь тихонько постучали.

— Кто там? — крикнул я.— Входи, открыто.

В сенцах, мне послышалось, коротко всхлипнули. Я распахнул дверь и увидел перед собой женщину лет тридцати с небольшим, наспех одетую, растрепанную, со

свежей царапиной на щеке. Похоже, она уже спала, когда какая-то недобрая сила подняла ее с постели и бросила к моей двери.

Мы встретились глазами, и женщина поспешно отвернулась. Одна рука ее была бессильно опущена, а другой она придерживала на груди разодранный ворот кофточки. Ночная гостья моя упорно молчала, но вид у нее был такой, будто я и сам по себе, без всяких разъяснений, должен бы знать, кто она и зачем посреди ночи пожаловала ко мне.

— Вам кого? — почему-то шепотом спросил я.

Она все так же молча и, как показалось мне, привычно шагнула через порог и немо застыла возле печки. Я все ждал, что женщина скажет наконец-то, какая напасть привела ее ко мне, но она лишь плотней запахнула кофточку, прислонилась к холодной печке и сухо, как бы по обязанности, всхлипнула.

— Так что же у вас? — недоумевал я, теряя терпенье.— Какое дело ко мне?

Она удивленно вскинула на меня глаза и сказала хрипловатым, впрочем, не без приятности голосом:

— Да все то же. Мужик мой опять напился.

Я решил было, что женщина просто ошиблась дверью. Но весь вид ее говорил, что она распрекрасно знает, к кому пришла. Последние сомнения на этот счет улетучились, когда она попросила:

— Товарищ начальник, приструните моего мужика. Опять дерется!

— Неужели дерется? — усомнился я, чтобы выгадать время, решительно не зная, что же мне теперь делать.

— Еще как! Вот, гляньте.

Она разжала пальцы, кофточка ее распалась, и чуть пониже ключицы высветился синяк с кровоподтеком — крупный такой синячище.

Вот тебе и электротехника! Я боялся непролазных формул или какой-нибудь мудреной автоматики, а жизнь подсунула мне для начала самую примитивную семейную драчку.

— Да я-то здесь при чем? — выпалил я сердито.— Что мне с вашим синяком делать? Идите к врачу!

Женщина недоуменно покосилась на меня, словно мы говорили с ней на разных языках.

— Филипп Иваныч всегда в порядок приводил моего мужика,— всхлипнув, сказала она.— Ерохины мы...

А теперь вы заместо Филиппа Иваныча. Так что...

Она не договорила, но я и так уже стал кое-что понимать.

Если б вздорное это дельце всплыло неделю-другую спустя, когда я малость уже пообвык на новом месте и пообтерся в начальственной своей должности, я бы наверняка играючи справился с этой плевой задачей. Но, как на грех, семейная эта баталия свалилась на меня еще накануне первого моего рабочего дня здесь, была даже не первым, а скорей нулевым делом во всей моей новой инженерской жизни.

За пять лет учебы в институте меня пичкали многими науками, начиная с высшей математики и кончая техникой безопасности. Но мирить подравшихся супругов нас никто не учил, мне и в голову никогда не приходило, что это входит в круг моих обязанностей,— и теперь я ни сном ни духом не знал, как мне подступиться к этой житейской и в общем-то пустяковой задаче.

Этот непутевый Филипп Иванович зачем-то подменил собой общественные организации и погряз в семейных распрях, будто ему и делать больше нечего. Не повезло мне с начальником! Хотя бы поскорей он выздоравливал и брал на себя всю эту бытовщину, раз уж так нравится ему в ней копаться. Но пока Филипп Иванович болел, решать надо было мне. Открутиться от неприятной этой обязанности, я чувствовал, мне никак не удастся. Ну и заехал же я в патриархальные края!..

— А кем ваш муж работает? — с напускной строгостью спросил я, начиная помаленьку привыкать к мысли, что мне подвластно здесь все — от сплотки древесины до самых сокровенных семейных тайн моих подчиненных. Да и время я хотел выгадать, чтобы найти хоть какой-то приличный выход из щекотливого своего положения.

— Такелажники мы,— охотно отозвалась Ерохина.— Работник он хороший, вы не сомневайтесь! Мы всегда премии получаем.

— Чего же он дерется, ваш хороший работник?

— А я знаю!

— Ну а все же? Не мог же он ни с того ни с сего?

— Делать ему нечего, черту ревнивому!

— Зачем же вы за такого ревнивца замуж выходили?

Ерохина усмехнулась, припомнив, видимо, некоторые подробности своего замужества.

— Так он же тогда совсем другой был. Это уж он потом моду взял — кулачищами махать...

Она всхлипнула и вытерла глаза рукавом. Кофточка совсем распалась, обнажив круглое сдобное плечо. Но Ерохина ничего не заметила, а если и заметила — так не придала этому значения. Да и вообще, кажется, я для нее не имел ни возраста, ни пола, а был всего только безликим начальником, который и на свет народился для одного лишь того, чтобы выслушивать ее жалобы и мирить ее с мужем.

Перехватив мой взгляд, Ерохина не спеша, без тени смущения, соединила распавшиеся части разодранной своей одежонки. Было во всех ее повадках что-то слишком уж деловитое, привычно бесстыжее,— и я заподозрил, что во всей этой истории она не так уж безгрешна и, наверно, у такелажника был-таки повод приревновать ее и даже поколотить. Мне сильно захотелось поскорей выпроводить ее из комнаты — со всеми сухими ее всхлипываниями, жалобами на мужа и сдобными плечами.

Если б моя воля — я так бы и сделал. Но полной веры в то, что я имею право так поступить, у меня все же не было. Я заехал в такие дремучие края, что больше всего боялся по неведенью наломать тут дров. Откажись я мирить драчливых супругов — и вдруг, чем черт не шутит, сплавщики осудят меня. А то еще пьяный муженек прибьет жену до смерти — и я же первый буду кругом виноват. Кто их, местных жителей, разберет? И что здесь у них перепадает от ревнивого мужа жене, которая малость набедокурила? В конце концов я тут человек новый и не мне переучивать аборигенов, тем более вот так, с ходу...

— Ну что ж,— храбро сказал я, напяливая пиджак,— пойдемте глянем на вашего ревнивого такелажника!

И первый шагнул к двери, приглашая Ерохину следовать за мной.

— А зачем вам-то к нему на поклон идти? — подивилась та.— Я его кликну, он и сам прибежит.

— А вдруг не прибежит? — заупрямился я.— Все-таки не обязан он передо мной отчитываться в семейной жизни.

— Как это не обязан, ежели вы ему прикажете?

Ерохина недоверчиво глянула на меня. Кажется, она засомневалась даже, всамделишний ли я начальник или

всего лишь бесправный студент-практикантишка и уж не ошиблась ли она дверью, постучавшись ко мне.

Но строгий взгляд мой убедил ее, что начальник я самый что ни на есть настоящий, более взаправдашних даже и не бывает.

— Заявится как миленький! — обнадежила меня Ерохина, уверившись, что никакого тут обману нет и дверью она не ошиблась.— Это он со мной такой отчаянный, а Филипп Иваныч в строгости его держал. А теперь вы заместо Филиппа Иваныча...

Далось ей это заместо!

Ерохина повеселела, выцарапав у меня согласие поговорить с ее муженьком. Недавний горемычный ее вид показался вдруг мне сплошным притворством. И слезы свои жидкие, сдается, она лила не так от обиды и боли, а затем лишь, чтобы разжалобить меня.

— Вы с ним построже,— попросила она напоследок, уже взявшись за ручку двери.— Спуску ему не давайте. И не больно верьте, ежели станет на меня наговаривать.

Она поспешно вышла, точно забоялась, как бы я не передумал. Несмотря на все ее уверения, что муженек явится по первому моему зову, я все-таки надеялся, что он не придет. По крайней мере, я бы на его месте ни за что не пришел! И охота ему добровольно ставить себя под удар?

В ожидании неприятной беседы я слонялся по просторной и совсем еще не обжитой мною квартире и прикидывал загодя, как мне вести себя с буйным такелажником: с чего начать и на что напирать в разговоре? Больше всего я жалел тогда, что не выведал у Ерохиной, сколько у них детей. Мне почему-то казалось: знай я в точности, сколько у них детей и какого они возраста — быстро припер бы такелажника к стенке.

А на ошибку, даже самую малую, я просто не имел сейчас права. Ведь от этого нулевого дела пойдет отсчет всем моим последующим делам здесь. От меня ждали правильного, бесспорного и желательно мудрого решения. А где его взять, это желательно-мудрое? Где они продаются, такие завидные решения, почем десяток?

Словом, я чувствовал себя примерно так же, как много лет назад, когда мы ставили в автоколонне пьесу и перед самым спектаклем механик, который должен был играть старика-партизана, скоропостижно просту-

дился и роль его поручили мне. Я не успел вызубрить крохотную эту роль и дико волновался в ожидании своего выхода. Лицо мне вымазали какой-то гадостью, нацепили бороду из пакли, и я все время боялся, как бы борода не отвалилась. Одной рукой я сжимал тогда берданку — настоящую, без театрального обмана, взятую напрокат у ночного нашего сторожа за пачку «Беломора», а другой все придерживал ненадежную свою бороденку и уповал на суфлера — старшего бухгалтера, славящегося уменьем подбивать годовые балансы копейка в копейку и по этой причине внушающего мне доверие...

А теперь хоть и не было на мне непрочной бороды из пакли, но не предвиделось и спасительного суфлера.

Я решил не спешить и сначала хорошенько присмотреться к виновнику всей этой кутерьмы, а уж потом действовать, сообразуясь с обстоятельствами. Оставалось утешаться лишь тем, что другим выпускникам нашего курса, окажись они на моем месте, пришлось бы еще трудней: многие из них были моложе меня, в армии не служили, завидовали моему невеликому трудовому стажу и даже на самодеятельной сцене не играли.

Впрочем, я тоже вел себя не очень-то солидно. Когда в сенцах послышались грузные мужские шаги, в голове моей шмыгнула мыслишка: если Ерохин застанет меня праздным — то решит, чего доброго, что, кроме его драчки, мне и делать здесь больше нечего. Я проворно распахнул чемодан, выхватил оттуда самый толстый справочник, вооружился карандашом и с ужасно озабоченным видом склонился над разделом «Мелиорация малых рек» — ни дать ни взять этакое светило мировой инженерии, вдохновенно корпящее над проектом, которого ждет не дождется поголовно все страждущее человечество.

Ерохин тяжело потоптался в сенцах, бухнул в дверь и, не дожидаясь моего отклика, ввалился в комнату. Я мельком глянул на ревнивого такелажника — и вся моя скороспелая мобилизация к встрече с ним сразу же полетела вверх тормашками. Я думал: ему, как и жене, лет тридцать пять, от силы сорок. А Ерохину стукнуло уже все пятьдесят, а то и за полсотни перевалило. Он был чуть ли не одних лет с моим отцом, и мне стыдно стало за этот дурацкий мой балаган со справочником.

Вот тебе и мелиорация малых рек, хотя бы реки покрупней выбрал!

Меж тем Ерохин стащил с головы кепчонку, зычно кашлянул в нее и застыл у порога — прочно так затих, непробиваемо. Признаться, я побаивался, что такелажник изрядно поднабрался и изъясняться с ним будет не так-то просто. Но пожилой Ерохин благополучно пребывал в той стадии опьянения, которую принято обозначать словом «выпивши», и можно было разговаривать.

— Садитесь, товарищ Ерохин,— приторно-учтиво сказал я, прямо как образцово-показательный дядя с плаката «Будем взаимно вежливы».

— Можем и постоять,— угрюмо изрек Ерохин, пошире раздвинул ноги и уставился в сучок на полу.

Мне почудилось: он не один уже раз стоял вот так же перед Филиппом Ивановичем, и занятие это для него такое же привычное, как и такелажная его работа.

Я пролепетал что-то о том, что это очень нехорошо — бить жену и что люди вообще-то, насколько мне известно, женятся не для того, чтобы потом драться,— и стал всесторонне развивать бесспорную эту истину, счастливо осенившую мою голову холостяка. В лицо Ерохину я не смотрел, старательно обегая глазами то место, где он обосновался.

Разглагольствовать сидя за столом, когда слушатель мой торчит истуканом, мне было не с руки. Я вскочил и зашагал по обширным своим апартаментам, натыкаясь на стулья и табуретки, которые уборщица густо расставила по всей комнате для придания уюта казенной квартире. Меня поджидало еще одно неприятное открытие: Ерохин оказался выше меня на целую голову, и молодое мое начальственное самолюбие страдало оттого, что приходилось смотреть на своего подчиненного снизу вверх.

— Это надо же — мордобой в поселке развели! — возмущался я, изо всех сил стараясь распалить себя и настроить против здоровенного такелажника, но пока это мне плохо удавалось. Я и сам чувствовал, что настоящей злости в моих словах нет и мне чего-то сильно не хватает. А вот чего именно — я никак не мог догадаться.

Но Ерохин слабины моей не заметил и пригорюнился. На миг я глянул на себя глазами такелажника и понял, что дела мои обстоят не так уж паршиво. Судя по всему, Ерохин видит сейчас во мне не меня самого — вчераш-

него студентишку, а этакого безликого *товарища начальника.* Сами того не подозревая, на меня трудились сейчас безвозмездно все большие и малые, добрые и придирчивые начальники, с какими Ерохин сталкивался когда-либо в жизни: на работе, в армии и где там еще успел он побывать? Стародавним своим авторитетом они подпирали немощную мою речь о преимуществах мирной семейной жизни над жизнью драчливой. Они придавали хилым моим словам смысл и силу, каких там и в помине не было.

Исподволь во мне проклюнулось горделивое чувство, будто поголовно все начальники, какие только работают в лесной промышленности, а то и во всех других отраслях нашего народного хозяйства, сию вот минуту признали меня своим, малость потеснились и приняли меня в свои дружные и почетные ряды.

Это, может, немного громковато звучит, но именно так мне тогда померещилось. Вступление мое в среду командиров производства было внове мне и, нечего скрывать, приятно. И оно сразу же дало себя знать: я заговорил теперь громче, настойчивее, точно во мне проснулся какой-то властный дядя, дремавший до поры до времени. В общем, я стал не шутя входить в новую для себя роль строгого, но справедливого начальника — этакого мудрого наставника своих подчиненных, отца их и благодетеля.

Я так быстро освоился в новой своей роли, что уже через минуту меня подмывало сказать Ерохину: стыдно, дорогой товарищ, на пятьдесят таком-то году Советской власти бить женщину. Я уже и рот даже приоткрыл, чтобы поднять разговор на принципиальную высоту и сразить такелажника славной годовщиной Октября, но что-то притормозило мой язык в последнюю секунду и не дало ему ходу. Стыд не стыд, а так — стеснение какое-то.

Просто я вовремя припомнил, как неловко мне самому бывало слушать такого вот ретивого оратора, когда тот без особой нужды начинал вдруг козырять Октябрем и его годовщинами, строительством коммунизма, Родиной и другими великими нашими понятиями. Одно дело, когда прибегают к этим словам для того, чтобы выразить что-то по-настоящему большое, и совсем иное, когда тревожат их по пустякам — вроде нынешней драчки супругов Ерохиных. Уж больно затрепали мы многие свя-

тые наши слова оттого, что слишком часто и далеко не всегда к месту их произносим.

Я еще раз глянул на приунывшего такелажника и решил, что обойдется этот бедолага и без годовщины Октября, нечего годовщиной, как палкой, на него замахиваться. От этого ни Ерохину, ни мне пользы не будет, да и самой годовщине почета не прибавится. Скорей даже наоборот...

И после этой осечки вся моя свежеобретенная уверенность сразу куда-то запропала. И оперативные собратья-начальники тут же взашей вытолкали меня, неумелого, из почетных своих рядов, куда я самозванно затесался. Видно, не дозрел я еще для того, чтобы стоять вместе с ними в одной шеренге. И снова я остался один на один с неприступным для меня такелажником.

Но замолчать и оставить Ерохина в покое я никак уже не мог. Как заведенный, мыкался я взад-вперед по комнате, бормотал что-то нравоучительное, а сам думал: а что, если б все это мне говорили? Что, если б я был на месте Ерохина, а он или кто другой на моем? Как тогда воспринимал бы я всю эту ахинею, которой сейчас потчую такелажника? И как только задал я себе этот вопрос — мне сразу же стало невмоготу говорить все те общеизвестные вещи, какими я щедро угощал Ерохина, и легкие те слова враз потяжелели и гирями повисли на моем языке.

По инерции я еще бормотал свои нравоучения, но сам уже не верил ни единому своему слову. И уж во всяком случае, думал я, на месте Ерохина я не стал бы так смирно слушать всю эту дешевку. А Ерохин слушал — покорно, безропотно. Или на поверку я все же убедительней говорил, чем мне самому казалось, и Ерохин находил все же что-то полезное в моих словах? Или предыдущая его жизнь и в особенности знаменитый Филипп Иванович давно уже приучили его не спорить с начальством и терпеливо выслушивать любые поучения, какими бы вздорными те ни были? Скорей всего второе.

И еще занимало меня тогда: все в поселке такие смирные да послушные, как Ерохин, или он один здесь такой, а другим пальца в рот не клади — сразу оттяпают руку по самый локоть?..

Выговорившись дотла и поймав себя на том, что стал уже повторяться, я стыдливо замолк, совершенно не

зная, что мне делать дальше. Дорого бы я заплатил сейчас, чтобы выведать, что говаривал в таких случаях всезнающий Филипп Иванович.

Не слыша больше моих поучений, Ерохин вскинул голову и с проснувшимся любопытством глянул на меня, будто сказать хотел: «Только и всего? Ненадолго же тебя, дорогуша, хватило!» Он помедлил с минуту, выжидая, не подкину ли я еще чего-нибудь такого же ненужного ни мне, ни ему, покосился на дверь, за которой, судя по шороху, бдительно дежурила битая его супруга, и заговорил сам:

— Хорошего мало — кулаком. Хоть женку, хоть еще кого...

Позже, когда я вспомнил этот наш разговор, мне всегда казалось, что Ерохин пожалел меня — слабака — и пришел на помощь зарапортовавшемуся своему начальству. А тогда я лишь обрадовался, что он наконец-то заговорил и беседа наша сдвинулась с мертвой точки.

— Так зачем же вы били, раз сами так распрекрасно все понимаете? — осторожно спросил я, боясь спугнуть собеседника.

Ерохин замялся.

— Так уж получилось, я и сам не рад...

— В первый раз, что ли, да? — совсем уж вкрадчиво, прямо-таки на цыпочках подсказал я ответ, надеясь, что Ерохин поддакнет мне сейчас, даст слово никогда больше не обижать жену и весь этот случай можно будет представить как досадный срыв хорошего производственника и примерного семьянина.

Но такелажник молча отвел глаза — и я понял: далеко не впервые приключалось с ним такое. Меня даже зло взяло, что он, чертяка, такой честный, даже соврать не умеет. Ну, что ему стоило сказать, что никогда раньше жену он не бил и впредь тоже пальцем ее не тронет? И тогда бы я сразу прикончил неприятный наш разговор и мы разошлись бы подобру-поздорову. А там, если взбредет такая охота, Ерохин мог бы и стукнуть свою супругу разок-другой. К тому времени, глядишь, выздоровеет Филипп Иванович — вот пусть тогда сам и расхлебывает! А этот правдолюбец даже для пользы дела соврать не смог и прошел мимо такой заманчивой возможности покончить дело миром...

Мне почудилось вдруг, что мы с ним играем в какую-

то игру, ему досконально известную и успевшую порядком уже надоесть, а для меня совсем новую. Я даже толком не знал, как в этой игре ходят, что можно, а что запрещено правилами игры, и все время по неведенью нарушал эти чужие правила. А Ерохин ни о чем не догадывается и ждет от меня каких-то особенно мудрых и проникновенных слов, которые говаривал ему в подобных случаях многоопытный Филипп Иванович. Ждет-ждет и никак не может дождаться.

Похоже, первоначальное глубокое почтение Ерохина ко мне, а верней — к моей довольно высокой по здешним масштабам должности, теперь заметно поубавилось. Наверняка он сравнивал меня на каждом шагу с Филиппом Ивановичем, и сравнение это было не в мою пользу.

По всей вероятности, Филипп Иванович вел себя с Ерохиным совсем не так, как я, и говорил такие слова, каких я, может быть, даже и не знаю вовсе. А мне все время было как-то не по себе, оттого что пожилой человек, годящийся мне в отцы, много повидавший на своему веку, прошедший через войну и не раз смотревший в глаза смерти, покорно слушает неказистую мою импровизацию о том, что бить жену нехорошо, что такое битье прежде всего позорит того, кто поднимает руку, и прочее в таком же унылом вегетарианском духе.

Мне опротивело разыгрывать из себя мудрого и всезнающего начальника, каким я никогда еще в жизни не был и неизвестно даже, стану ли когда-нибудь, да и нужно ли мне им становиться. Натянул на себя чужую личину — вот ничего у меня и не вытанцовывается. А был бы самим собой, не пыжился бы — глядишь, и вышло бы все поскладней. И уж, во всяком случае, тогда не надо было бы играть чужую роль, так и шпарил бы — как бог на душу положит.

Короче, мне надоело притворяться и захотелось быть самим собой — таким, какой я есть, понравится это Ерохину или нет. И для начала я решил усадить Ерохина. Ведь именно с этой моей неудачи и пошла вся дальнейшая несуразица. Меня тянуло переиграть все по-иному, словно ничего еще не было сделано и не наломал я тут дров.

— Садитесь, в ногах правды нет,— как можно тверже сказал я, подвигая к Ерохину стул.— Раз пришли

в гости — так садитесь, нечего казанской сиротой прикидываться!

Ерохин с некоторым даже испугом покосился на меня и послушно сел. Я плюхнулся на стул напротив него. Сидя мы оказались с ним примерно одного роста, мне не надо было больше задирать голову, и это тоже порадовало меня как залог того, что все у нас помаленьку налаживается.

— Ну, вот что! — напористо заявил я, спеша закрепить выигрышную свою позицию и не дать Ерохину опомниться и выискать лазейку.— Вот что, хватит ваньку валять! Последнее это дело — ходить по начальству с жалобами на семейную жизнь!

— Я не хожу, это она все...— угрюмо буркнул Ерохин и повел головой в сторону двери, за которой притаилась его супруга.— Как что, так сразу бежит, протоптала к начальству дорожку.

— С собственной бабой воевать — тоже мне семейная жизнь! — осудил я.— Тогда незачем было и жениться.

— Кабы знать...

— А вы разойдитесь, раз теперь прояснилось. А?

Ерохин ошарашенно глянул на меня. Позже я узнал, что Филипп Иванович был ярым врагом всяких разводов и пытался склеивать даже и такие семьи, где все было разбито вдребезги.

— Раз характерами не сошлись, лучше разойтись тихо-мирно,— убеждал я Ерохина со всем пылом неженатого человека.— Или дети держат?

— Нету у нас детишек, не получаются как-то...— с застарелой болью сказал Ерохин.— Кабы детишки...

Нечаянная надежда вспыхнула в его голосе и тут же погасла.

— Ну, тогда совсем легко вам развестись,— не унимался я.— Чем так жить с мордобоем, разбежались бы в разные стороны — и порядок. А?

Ерохин изумился:

— Быстро у вас как! Раз-два и готово... Уж больно шустрый вы, товарищ инженер!

Я прикинул: не подтачивает ли Ерохин ненароком начальнический мой авторитет? Кое-что обидное для меня в его «шустром», пожалуй, проскальзывало, но ради пользы дела я решил эту малость стерпеть и ринулся в бой, не давая такелажнику заметить, что он зацепил меня.

— А чего тянуть? Скорые решения — самые верные.

Отрезал, чтоб не ныло,— и концы! Чего там мудрить?

— Люблю я ее, вот чего...— неохотно, даже почти виновато отозвался Ерохин, как бы признаваясь в непростительной своей слабости, достойной всяческого осуждения.

За дверью шумно и удовлетворенно вздохнули.

— Любите и боксом угощаете? Что-то не понимаю я такой любви!

И тогда Ерохин сказал тихо, но твердо:

— А вы, видать, многого еще не понимаете, товарищ инженер.

Я стал было доказывать, что не такой уж я юнец и кое-что в семейной жизни кумекаю, но тут же прикусил язык. А не пора ли уж мне всерьез обижаться, а то так и не заметишь, как разведешь панибратство со своими подчиненными? Признаться, сам по себе я никакой особенной обиды не чувствовал: в институте, а еще раньше в армии и на гражданке мне, случалось, и не такое говорили...

Но нынешний случай ни в какое сравнение с прежними не шел. Раньше меня задевали закадычные дружки и соседи, в крайнем случае — мои начальники и преподаватели. А Ерохин был первым в моей жизни подчиненным, и каждое мало-мальски непочтительное его слово, хотел он этого или нет, сразу же становилось оскорбительным для меня и подрывало мой авторитет.

Умом я понимал, что приспело время обижаться, но не обижалось как-то мне — и все тут! Вся закавыка, видимо, была в том, что в глубине души я не привык считать себя инженером и начальником, а все еще чувствовал себя покладистым студентом.

Да и не знал я тогда, как мне обиду свою выразить. Ну, хорошо, допустим, я обижен, а дальше что? Ведь не кричать же мне на Ерохина — пожилого, запутавшегося в жизни человека, который мне в отцы годится? Кричать тогда я еще не умел, а по-другому, натихую, просто не знал, не догадывался даже, как мне начальственную свою обиду обнародовать и довести до сведения Ерохина, его жены и всех местных сплавщиков.

И пока я так размышлял и примерялся, время незаметно, бочком-бочком прошмыгнуло мимо нас с Ерохиным — и удобная минута, самой судьбой предназначенная для обиды, была бесповоротно упущена, и теперь уж дуться на Ерохина было глупо.

— Ну, ладно,— сказал я, недовольный собой.— Любовь и прочее — это все переживания, и тут никто за вас переживать не станет. А вот поведение ваше — это уже всех касается. Я насчет драки.

Ерохин поспешно закивал головой, это придало мне уверенности, и я усилил нажим:

— Терпеть на запани боксерские ваши замашки дальше никак нельзя. Еще повторите свой бокс — пеняйте на себя. Цацкаться не станем...

Меня поразило что-то в собственных словах, какая-то добавочная и прочная сила, на которую я никак не рассчитывал, но которая вдруг проклюнулась неожиданно для меня. Я повторил машинально, вслушиваясь в каждое слово:

— Не станем больше с вами цацкаться...

И наконец-то понял, в чем тут дело: незаметно для себя я стал говорить с Ерохиным не только от своего имени, а как бы выражая мнение всех сплавщиков, всего еще неведомого мне коллектива запани. Будто меня кто уполномочил говорить с ним так, стоял за моей спиной и надежно подпирал меня. В общем, я действовал, как говорится, «от имени и по поручению»...

Самозваное *мы* притаилось где-то в недрах начальственной моей фразы, сидело там тихо-смирно и исподволь наступало на Ерохина, теснило его по всему фронту, заставляло подчиниться: против коллектива не попрешь! А звучало все это солидно, ничего не скажешь, и сразу же придало нашему разговору тот самый тон, которого я так тщетно прежде добивался.

И выходит, бродил я бродил вокруг да около и снова ненароком вскарабкался на ту горку, где разбили свой лагерь командиры производства. Давеча они вытурили меня из почетных своих рядов, а теперь я проник в их табор с тыла и действовал похитрей: не козырял впрямую начальственной своей должностью, а лишь выражал коллективное мнение местных сплавщиков. Этак мне было даже сподручней: ответственности поменьше...

Я сразу сообразил, что открытие это и впредь может мне пригодиться, и, чтобы поскорей набить руку в новом для себя занятии, тут же повторил тверже прежнего:

— Да, цацкаться с вами не станем, зарубите себе на носу! Или расходитесь с женой, или живите нормально, как все семейные люди живут. А с боксом своим и до суда докатиться недолго, а то и с работы попросим!

— За этакую малость и с работы гнать? — несказанно удивился Ерохин.— Ну, знаешь, товарищ инженер, это уж ты хватанул! — И пояснил с давнишним и прочным убежденьем:— Не позволят вам так-то посреди навигации опытными сплавщиками разбрасываться!

Я подумал: а не эта ли многолетняя и постоянная недостача квалифицированных рабочих на сплаве и вообще в лесной промышленности внушает Ерохину твердую веру в свою безнаказанность и незаменимость?

— А вот посмотрим! — загорелся я желаньем переиначить здесь все.— Еще одна такая драчка — и вылетите с запани за милую душу. Ступайте тогда в боксеры — раз кулаки чешутся!

Ерохин насупился: ему и не верилось и что-то в моих словах сбивало его с толку. И супруга его за дверью тоже притихла: то все топталась там и шуршала чем-то, а теперь совсем затаилась, будто и дышать перестала.

— А не слишком ли, товарищ технорук? Уж больно круто, а?

— Ничуть не круто, в самый раз! Зарубите себе на носу! — обнадежил я Ерохина, радуясь, что хоть и случайно и под самый конец нашего разговора, а нащупал я его слабое место, допек-таки неухватистого такелажника.

— Весь нос вы мне изрубили...— невесело пошутил Ерохин.

А я спохватился, что, увлекшись поисками удобного для меня тона разговора и всяческими экспериментами, до сих пор толком не знаю, за какие такие грехи и провинности избил Ерохин свою жену. Вдруг там есть такие обстоятельства, которые в корне меняют суть дела и чуть ли не целиком выгораживают такелажника? Втайне мне даже хотелось, чтобы такие обстоятельства обнаружились. Все-таки, как там ни крути, а симпатии мои были на стороне Ерохина, а не его жены. Не знаю уж, право, почему так. Может, здесь помимо моей воли сработала извечная мужская солидарность? Правда, я не давал симпатии своей хода, но разузнать, отчего у них весь сыр-бор загорелся, было совсем не лишним.

И я повел головой в сторону двери и спросил дружелюбно:

— А за что вы ее боксом-то?

Ерохин отвернулся и пробурчал:

— Была причина...



— А все же? — не отставал я.

Ерохин насупился, прикидывая, посвятить меня в семейные свои тайны или лучше утаить. И как раз в ту секунду, когда я решил, что он так-таки ничего мне не скажет, а то и подальше пошлет, чтобы не лез я ему в душу, Ерохин сказал доверчиво:

— Сосед тут у нас объявился... Такой физкультурный! По утрам все заряжается, ни одного дня не пропустит. Прямо чемпион да и только!

— А при чем здесь ваша жена?

— При том... Может, промеж ними ничего сроду и не было, да уж больно бесстыже они переглядываются, стерпеть невозможно. Он моду взял: как подъем — так растелешится до пупка, выставится под нашим окном и давай руками махать и ногами дрыгать, вроде заманивает... И вверх, и вниз, и боком, и черт-те как еще. Прямо смотреть противно!

Меня поразило несоответствие между болью Ерохина, в истинности которой никак нельзя было усомниться, стоило лишь взглянуть на него, и породившей эту боль вздорной причиной. Смешно сказать, но доблестный наш такелажник стал жертвой безобидной утренней зарядки! Правду говорят: никогда не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. Вот и развивай после этого физкультуру, внедряй ее в массы!

Я посоветовал Ерохину:

— А вы бы тоже разделись до пояса, стали под соседским окном и махали бы руками. Кто кого перемашет!

Кажется, я все-таки удивил его, и о таком выходе для себя он прежде не догадывался. Ерохин на миг призадумался, взвешивая мою подсказку, но тут же сказал убежденно:

— Нет, не получится у меня так-то. Не с руки мне по утрам оголяться да нагишом прыгать в мои-то годы. Да и женка у соседа строгая, пялиться не станет, а возьмет и помоями окатит, а то и кипятком ошпарит. А моя дуреха глазеет да еще и подначивает: слабó, кричит, правой рукой левую пятку достать! Он и старается пуще прежнего... Такой моторный! Глаза бы мои не смотрели!

— Ну, запретить вашему соседу делать по утрам зарядку я тоже не могу,— сказал я.— Занятие это добровольное: кто хочет делает, а кто — нет.

— Так-то оно так, да пусть он хотя бы под нашим окном не мельтешит, пусть под своим окном заряжает-

ся...— Ерохин добросовестно прикинул такую возможность и сам же первый ее забраковал:— Да нет, там ему нескладно: косогор у них под окном больно крутой, а у нас, как назло, поляна ровная, прямо по ватерпасу разбитая!

И я посочувствовал такелажнику:

— Не повезло вам. И с соседом физкультурным и с поляной. А всего больше, сдается мне, с женой вашей. Я так понимаю: не шибко вы ей доверяете?

Каюсь, мне самому тогда понравилось, что я такой дальновидный и зоркий и так быстро, чуть ли не с ходу, разобрался во всех ерохинских семейных косогорах. Я чуть ли не благодарности, а то и восхищения ждал от Ерохина за сногсшибательную свою прозорливость. И уж во всяком случае крепко надеялся, что, пораженный моей догадливостью, Ерохин сразу же перестанет противиться мне и, не сходя с места, покается во всех своих грехах.

Но неблагодарный такелажник не спешил что-то выказывать радость по поводу моей дальновидности. Скорей даже наоборот. Он отвернулся, но я успел перехватить его взгляд. Там притаилась немая просьба, даже мольба — приберечь хваленую мою зоркость до другого, более удобного случая и оставить его с женой в покое. И меня это задело: я к нему с открытой душой, а он этакого горемыку из себя разыгрывает и видит во мне чуть ли не живодера.

— Что ж вы совсем духом упали? — пристыдил я его.— Держаться надо!

— А зачем? — огорошил он меня.— Зачем держаться-то? Чтоб вам вольготней было? Вы меня походя под корень рубите, а я — держись, стой себе по стойке «смирно» и вид делай, что мне так-то очень даже нравится? Уж если вам такая охота топором махать — рубите, а притворяться меня не заставляйте! Не с руки мне...

Чего-чего, а уж этого я от него никак не ожидал.

— Вот как вы повернули! — возмутился я.— С вами по-хорошему, а вы невесть что нагородили. У меня ничего такого и в мыслях не было. На кой мне ляд, чтобы вы притворялись? Так уж принято меж людьми: держись до последнего, пока не упадешь. А вам рановато вроде бы...

Ерохин усмехнулся — с неожиданным для меня чувством своего превосходства надо мной.

— Эх, товарищ инженер, товарищ инженер! Со стороны всего не видать, а себя разве обманешь? Не мастак я с самим собой в прятки играть... Вот вы говорите: женке я не доверяю. А я бы и рад, да как припомню одну ее штуку...— Он тяжело засопел и безнадежно махнул рукой.— И почему так, товарищ инженер, почему наука до сих пор не дошла, чтоб позабыть, чего помнить не надо? Какие ни на есть порошки или микстуру там проглотил или укол побольней — в башку или еще куда, где память, по медицинской науке, прячется? И чтоб совсем эту память отшибло к чертям собачьим, будто и сроду того не было, а? Не знаете, достигнет такого наука?.. А хорошо бы!

— Это не по моей специальности,— сказал я сухо.— Я сплавному делу учился, а тут сплошная психология, физиология и всякая там высшая нервная деятельность.

— Да уж, высшая! Надо бы ниже — да уж некуда...

Признаюсь, он меня малость подзавел нелепыми своими претензиями к науке. Как самый ученый здесь человек, я считал себя по должности обязанным защитить науку от его наскоков. Да и самолюбие мое страдало оттого, что припер он меня к стенке. И я не удержался, чтобы не доказать ему, что я тоже не лыком шит и давно уже понял всю его подноготную.

— Это вот все, что вы позабыть хотите, да никак не можете, самое главное и есть. А сосед ваш физкультурный — всего лишь повод, одна лишь зацепка. Этой зацепки не будет, вы другую приспособите: зацепки всегда есть, была бы охота цепляться. Недаром в песне поется: кто ищет — тот всегда найдет! Ведь так же?

— Должно, так...— неохотно согласился Ерохин.

— Вот то-то и оно! — торжествовал я победу.

Я и понятия не имел, что именно хотел бы позабыть Ерохин и что так мешает ему верить жене. Да мне всего этого не надо было и знать. Я главное увидел: скрытый до времени тайный цвет всей его семейной жизни, основную ее окраску, что ли. Увидел все то, что определяло эту жизнь и заставляло Ерохина вести себя так, а не иначе: ревновать жену к физкультурному соседу и колотить ее, а не дарить ей, скажем, цветы или конфеты или что там еще дарят своим женам местные сплавщики?

Вот и знал я теперь все или почти все о супругах

Ерохиных, а помочь им ничем не мог. Даже потрудней прежнего стало мне теперь. Догадка моя не только не прибавила мне силы, а наоборот — поразвеяла и ту малую силенку, что была у меня, и прежде всего лишила меня уверенности, что все здесь подвластно мне. И выходит, не такое это простое дело — быть во всем самим собой. Наверно, хорошо быть самим собой тому, у кого душа от природы богатая. А если душонка так себе, середка на половинку, то и нечего ее напоказ выставлять. Мало от этого зрелища радости людям...

Ерохин отвел глаза, словно ему больно стало встречаться со мной взглядом теперь, когда я так хорошо понял всю его семейную нескладицу. Тень скользнула по угрюмому лицу Ерохина. И вид у него сейчас был такой, вроде его пытают — любовью, ревностью, непрошеной моей прозорливостью, и он изо всех сил сдерживается, чтобы не закричать.

Я перехватил его затравленный взгляд, и мне стало так, будто выведал я исподтишка его тайну и для потехи разболтал по всему поселку. Запоздалое раскаянье настигло меня: я тут ставлю на нем сомнительные психологические опыты и молодое свое начальническое самолюбие щекочу, а Ерохину больно. Просто больно — и все. Ведь не кролик же он подопытный, а живой человек — такой же, как и я сам. И пусть жена его, судя по всему, бабенка вздорная, но он-то крепко ее любит, и значит: чем хуже она — тем ему больней.

Эта незнакомая, ни разу в жизни мною самим не испытанная боль незаметно перекинулась на меня. Я вдруг почувствовал, как мне самому сейчас на месте Ерохина паршиво стало бы. И эта новая догадка связала нас с ним как-то по-особому, чуть ли не породнила на время. На миг исчезли начальник и подчиненный и остались два человека, повстречавшихся на житейской тропе.

Я подумал растерянно: а почему, собственно, он отчитывается передо мной, а не я перед ним? Ведь производственного, житейского и всякого иного опыта у Ерохина гораздо больше, чем у меня.

Вся скороспелая и дешевая моя прозорливость рядом с немой болью Ерохина показалась вдруг мне жестоким мальчишеством. А я, пижон, еще пытался песню в свое оправданье приспособить! Бить меня мало... Мне нестерпимо стыдно стало за наставления свои худосочные, что набормотал я тут в начальственном запале. Нам бы по

душам потолковать, а я гарцевал перед такелажником на хромоногой своей полководческой коняге и изо всех силенок пыжился доказать, какой дошлый специалист прикатил к ним вести их всех напрямик и без промедленья от победы к победе.

Мне и жаль было Ерохина — большого, нескладного, заблудившегося в семейной своей жизни, вконец измотанного подозрениями и ревностью. И как-то разом устал я от всего нашего разговора с ним, от затяжного своего неумения хоть чем-то помочь Ерохину. Я хотел ему всяческого добра, но, видно, одного желания было мало. Надо как-то вызволить его из беды, а сделать это было не в моей власти. Я не знал даже, как подступиться к этой задаче. Но и видеть его перед собой и пытать своими наставлениями мне тоже было уже невмочь.

И тогда я махнул рукой в сторону двери и сказал сердито, злясь на свою беспомощность:

— Идите!

— Как так? — не понял Ерохин.

— Идите домой, и все.

— Так прямо и домой? — переспросил он оторопело.

— Ну, если прямо не хотите, шагайте криво! — неудачно пошутил я и сам первый поморщился от дешевой своей остроты, которая была много мельче того, что творилось сейчас во мне. Я рассердился на себя за вздорную эту остроту, а злость сорвал, как водится, на безответном своем собеседнике: — Шагайте, шагайте, нечего тут рассиживаться!

Ерохин двинулся к выходу, на пороге замер, ожидая от меня какого-то подвоха, и нерешительно толкнул дверь. И жена не очень-то ему обрадовалась. Я думал: она заждалась своего муженька, а она разочарованно протянула:

— Уже?.. Вот как молодые начальнички над нами измываются: раз-два — и готово. А что ему? Чужая болячка не болит!

Она сказала это погромче, чем надо было, чтобы и моим ушам кое-что перепало.

Осуждающе хлопнула дверь, и минуту спустя супруги Ерохины прошли по улице мимо моего окна. Они шагали в ногу, чуть ли не на каждом шагу сталкивались плечами, но не отодвигались друг от друга, точно боялись снова разругаться, как только между ними появится просвет.

Поравнявшись с окном, Ерохина вскинула голову. Я поспешно отпрянул, но было уже поздно: она успела разглядеть меня за низенькой занавеской, презрительно усмехнулась и еще тесней прижалась к мужу — назло мне.

Угол соседнего дома наехал на них и скрыл от меня. Как ни крути, а взаимное недовольство супругов Ерохиных мною сблизило их друг с другом и заставило досрочно мириться. Что ж, разные бывают платформы для примиренья, и эта обоюдная неприязнь ко мне — не хуже иных прочих.

Так или иначе, а я все-таки добился своего и помирил их — пусть и совсем не так, как они и я сам этого хотели.

А всевозможных ошибок в первом своем деле я натворил гораздо больше, чем тогда подозревал. Позже я разузнал, что дотошный Филипп Иванович проворачивал такие дела совсем не по-моему. Он терпеливо выслушивал супругов — сначала каждого в отдельности, а потом обоих вместе, досконально выпытывал у них, с чего все началось, как протекало и чем кончилось, кто что сказал и чем ударил, и сколько раз, и по какому месту. А если перед драчкой муж пил, Филипп Иванович обязательно выведывал, что именно было выпито, и сколько, и какая закуска стояла на столе. Потом он устраивал супругам очную ставку, ловил их на неточностях и разноречиях и добивался общей версии. После этого он стыдил их — каждого в отдельности и обоих вместе. И только затем, выпотрошив души, отпускал их с миром — не так, может быть, и раскаявшихся, как вконец измотанных его допросами и нравоучениями, еле стоящих на ногах от усталости.

Одним словом, у Филиппа Ивановича такие беседы перерастали в солидное мероприятие, о котором потом целый месяц судачили в поселке,— этакий назидательный спектакль — провинившимся в укор, а всем остальным в предостереженье. Иной бедолага, прошедший через нравоучительную эту мясорубку, крепко потом призадумывался, прежде чем поднять руку на свою супругу. Уже одна угроза повторной этой мясорубки пугала многих и вязала им руки.

А я по молодости и неопытности провернул все в каких-нибудь двадцать минут, да к тому же еще пригрозил уволить Ерохина и посоветовал ему развестись с женой,

чего Филипп Иванович никогда не делал. И немудрено, что супруги Ерохины остались мной недовольны: все у меня вышло вкривь и вкось, и не этого они ожидали, когда шли ко мне на душеспасительную беседу...

Выпроводив Ерохиных, я забрался под марлевый полог кровати, призванный защищать начальственную мою особу от местной мошкары. Но мне решительно не спалось. На душе было смутно, как бывает после экзамена, к которому долго готовишься, а потом не то чтоб совсем завалишь, а так — сдашь на тощую троечку. Бредешь себе, униженный, в общежитие и никак не можешь понять, как же ты так опростоволосился: ведь вроде бы все знал прилично и вопросы не такие уж заковыристые достались, а вот поди ж ты...

У меня народилось такое ощущение, будто невзначай прикоснулся я к чему-то, хоть и простому с виду, а все ж таки недоступному мне. Ведь не об интеграл ехидный я споткнулся и не чехарда коэффициентов в трехэтажной формуле меня подвела, а что-то совсем иное, пока не очень ясное мне самому. Я никак не мог понять, где она притаилась, эта главная моя незадача: в Ерохиных, во мне самом или в тех патриархальных порядках, которые насадил тут Филипп Иванович и которым, хочешь не хочешь, а придется мне пока подчиняться.

Ко мне пришла первая и во многом смутная еще догадка, что совсем не так уж просто будет мне здесь жить и работать. И судя по нескладному моему началу, заниматься мне придется многим таким, к чему я никогда не готовился и чему ни в каких институтах не учат...

Пока я беседовал с супругами Ерохиными, поселок угомонился, и ничто не мешало мне теперь слушать работу запани. В устоявшейся ночной тишине далеко разносился четкий, ритмичный шум сплоточных станков. Даже на слух было ясно, что сплавщики ночной смены дело свое знают и работа у них спорится. Еще полчаса назад открытие это порадовало бы меня, а теперь неудача с Ерохиными отравила простую эту радость, как бы принизила ее в моих глазах, затолкала куда-то на задворки.

Под пологом было душно. Я приподнял спасительную марлю, и мошкара, налетевшая в фортку, сейчас же ринулась в атаку и принялась нещадно жалить меня, ничуть не считаясь с довольно высоким моим положением.

Больше всего меня злило, что виновники всей этой кутерьмы наверняка давно уже помирились и после любовных утех спят сном праведников, а я вот по их вине бодрствую, мучаюсь и безуспешно воюю с осатанелой мошкарой.

Я был кругом недоволен собой и отчетливо видел теперь, что мне вообще не следовало ввязываться во всю эту семейную историю.

И почему самые умные мысли приходят всегда слишком поздно? Ко мне, во всяком случае. А я поддался бабьему напору и совсем не так, как надо бы, начал инженерскую свою жизнь.

Тогда я еще не знал, что это было лишь самое первое и совсем маленькое мое испытание на новом месте и первая моя бессонная ночь здесь. А впереди меня подстерегало много и таких же, и более крупных и горьких испытаний, и бессонных ночей, и много всяких иных неполадок и срывов, о которых я тогда еще не догадывался.

КОМАРЫ

1

Между ними был стол — добропорядочный канцелярский стол, созданный для того, чтобы писать отчеты и докладные записки, составлять проекты и сметы, чертить графики и делать уйму других полезных дел. По мнению Воскобойникова, стол этот совсем не предназначался для любовных ссор, но именно его приспособила для себя их первая крупная ссора.

Непонятная, чужая Анна спешила наговорить как можно больше обидных слов, чтобы Воскобойникову трудней было прорваться к примирению сквозь все эти колючки и проволочные загражденья. В том, что прорваться ему все-таки удастся, Воскобойников ни минуты не сомневался и терпеливо ждал, когда Анна выдохнется, чтобы, не тратя времени попусту, сразу же начать мириться.

В соседней комнате, за тонкой перегородкой, захлебываясь, злорадно стучала пишущая машинка. За окном глухо шумел июльский ливень.

— Последние дни все твое поведение было просто возмутительным! — объявила Анна.— Вчера я окончательно поняла, что ошибалась в тебе раньше. Нам лучше расстаться. Хорошо, что мы пришли к этому выводу прежде, чем успели натворить больших глупостей!

— Говори только о себе,— угрюмо сказал Воскобойников.— У меня никогда не было таких... мыслей.

Анна невесело усмехнулась. За перегородкой оборвалось стрекотанье машинки — и гнетущая тишина навалилась на Воскобойникова. Слышен был только ровный мягкий шум дождя за окном да назойливое гуденье комара над их головами. Комар упрямо кружил над ними, выбирая, кого ужалить. Воскобойников отмахнулся от комара и спросил:

— Все это ты надумала потому, что я не пошел вчера с тобой в театр?.. Но поверь: никак не мог. Директор в командировке, я верчусь как белка в колесе. Вот и сегодня сумел вырваться в город лишь по неотложному делу в техснабе...

Анна презрительно сощурила глаза и откинулась на спинку стула. Вид у нее был такой, будто она выслуши-

вает подчиненного, который оправдывается в своей плохой работе. Воскобойникова разозлил этот начальнический вид, и он сказал сердито:

— Вы, трестовские работники, даже понятия не имеете, как нам достается на запанях в разгар сплава!

— Не в театре дело,— устало ответила Анна.— Просто я убедилась — мы слишком разные люди... Я это очень серьезно говорю! — Анна повысила голос, перехватив недоверчивый взгляд Воскобойникова.— Все кончено, понимаешь? Все-все...

— Слушай...— угрожающе начал Воскобойников, но тут дверь тоненько скрипнула, и в кабинет вошел незнакомый молодой человек с папкой в руке.

Пока он вынимал из папки бумаги и подавал их Анне, Воскобойников успел хорошо рассмотреть его. У молодого человека был безукоризненный пробор и узкие выразительные брови. Он тоже искоса глянул на Воскобойникова и сразу отвернулся, забраковав его всего целиком: вместе с мешковатым брезентовым плащом, двухдневной щетиной на щеках и всеми заботами и переживаниями участкового инженера. По-видимому, молодой человек догадался, что они ссорились с Анной,— по крайней мере, выражение его фигурно очерченных бровей показалось Воскобойникову таким, какое бывает у людей, любящих совать нос в чужую жизнь, когда они догадываются, что перед их приходом ссорились.

— А остаток горючего опять не показан! — сказала Анна, перелистывая бумаги, и ребром ладони ударила по столу — так, что звякнула медная, с прозеленью, крышка чернильницы.

Воскобойников подивился, что Анна может в такую минуту помнить о каком-то там горючем. Весь лоск с молодого человека мигом слетел, и даже ровный пробор на его голове, как почудилось Воскобойникову, несколько покривился. «Она их тут в руках держит!» — одобрительно подумал он.

Молодой человек бормотал что-то невразумительное о задержке отчетов участками, а Воскобойников пристально, беспощадными глазами любящего, в упор рассматривал Анну. Он заметил мелкие морщинки в углах ее губ, а над левой бровью косую складку-черточку, которой не знал раньше. Глаза Анны были сухи и колючи, словно после бессонной ночи. И вот такая — усталая, невеселая — она была дороже и милей его сердцу, чем без-

заботная, улыбающаяся Анна-студентка на любимой его фотокарточке. И боже ты мой, как она была нужна ему!..

Воскобойников был уверен: если бы Анна догадалась, как она ему нужна,— то сразу же помирилась с ним. На миг он представил, как обнимет ее, когда кончится эта нелепая ссора,— и у него стало сухо во рту, а руки сделались легкими и нетерпеливыми, готовыми хоть сейчас обнимать и ласкать Анну. Ее губы шевелились, произнося холодные служебные слова, а Воскобойников думал: еще недели не прошло, как он целовал эти спокойные губы, и если бы у них была своя собственная, отдельная от Анны память, то они до сих пор должны бы помнить это. Но, судя по всему, и сама Анна, и ее губы ничего уже не помнили. Это было непостижимо и чудовищно. Воскобойников чуть вслух не выпалил: непостижимо и чудовищно.

Он вел себя возмутительно? И ничего-то она не понимает! Просто он любил ее и злился, что им так редко удается быть вместе, что она и пальцем не пошевельнула, чтобы лишний раз встретиться: за всю долгую северную зиму даже не выкроила времени заглянуть к нему в поселок...

Молодой человек с папкой вышел, осторожно прикрыв за собой дверь. Анна встретилась глазами с Воскобойниковым и поспешно отвернулась. Ей тоже не очень-то сладко сейчас, это ясно. Она вдруг показалась Воскобойникову маленькой заблудившейся в жизни девочкой. А хваленая ее самостоятельность, которой, он знал это, Анна очень гордилась, только мешает ей понять свою ошибку. Ему хотелось помочь Анне разобраться, вывести ее на правильную дорогу из той житейской чащобы, куда она по неведенью забрела. И он был убежден, что сумел бы ее вывести, если б она ему доверилась. Но нынешняя непонятная Анна так наглухо от него отгородилась, была так враждебна к нему, что Воскобойников просто не знал, как к ней подступиться: словно стена какая-то стояла между ними.

— Нам надо поговорить в другом месте,— примирительно сказал он.— Здесь не та обстановка.

— К чему это переливанье из пустого в порожнее? — с прежней, непритупившейся враждебностью спросила Анна, и Воскобойников понял, что ее непонятное озлобление против него — очень высокого накала и

дела его плохи.— Все кончено, понимаешь? Все!

— Ах, так! — возмутился Воскобойников, поднимаясь со стула.

Как легко она зачеркивала все, что было между ними!

Анна тоже встала и, как показалось Воскобойникову, облегченно вздохнула, радуясь, что невеселый их разговор подходит к концу. Ему вдруг захотелось ударить ее. Чтобы дать хоть какую-нибудь работу пальцам, Воскобойников снял с чернильницы крышку и стал вертеть ее в руке.

— Вижу теперь, ты никогда меня не любила,— горько сказал он.

— Это просто нечестно...— тихо проговорила Анна.— А впрочем, думай как знаешь.

Она повернулась к окну и поправила волосы своим особым, круглым и уютным движением руки, которое давно уже заметил у нее и полюбил Воскобойников,— и он сразу простил ей все.

— Аня!..— шепотом позвал он и протянул к ней руку.

— Пожалуйста, без фокусов! — отодвигаясь, жестко сказала Анна, и Воскобойникову стало так, будто его самого ударили.

— Где же оно, это мое возмутительное поведение? — сдерживаясь, глухо спросил он.

Анна нетерпеливо вздохнула.

— Знаешь, сейчас это имеет только академический интерес!

«Академический интерес» окончательно доконал Воскобойникова. Он круто повернулся и зашагал к выходу. У двери на миг остановился, сказал:

— Ну что ж, живи! — и вышел.

2

Дождь только что кончился, водосточные трубы еще выводили последние затихающие ноты. Перед зданием треста по-прежнему стоял грузовик. Шофер в кабине старательно хрустел фиолетовой редиской и доедал кружок колбасы, за который принялся еще тогда, когда Воскобойников входил в трест. Весь их разговор с Анной для шофера вместился в этот кружок колбасы. Воскобойников усмехнулся и застегнул плащ.

Скинув дождевой груз, в небе перестраивались побелевшие подвижные облака. Они плыли в сторону поселка, где жил Воскобойников, словно указывали ему доро-

гу домой. В узкий синий просвет солнце протянуло растопыренные жаркие пальцы лучей. Ослепительно вспыхнули обмытые стекла окон, жирно залоснились мокрые крыши. Яркая радуга перекинула через реку крутобокий арочный мост.

Воскобойников машинально шагал по дощатому скользкому настилу тротуара. Вокруг него шла обычная, не очень кипучая жизнь небольшого северного городка. Дробно стучали топоры на новостройках. Разбрызгивая лужи, неспешно катили грузовики с ящиками, тюками, длинными пружинистыми досками, свисающими с кузова. Продавщицы морса в тюлевых кокошниках скучающими царевнами сидели в голубых фанерных теремах. Пешеходы спешили по своим делам, обгоняя и толкая Воскобойникова. Босоногие крикливые ребятишки бороздили рожденные ливнем реки и моря.

Сначала Воскобойникова неприятно поразило всеобщее безразличие современников к его судьбе. А потом на душе у него полегчало, будто растворил он свою горечь в этом многолюдье. «Неплохо придумано, что на свете так много людей,— решил он.— И у каждого свое место в жизни, свои собственные радости и печали...»

— Дяденька, достань змея! — попросил Воскобойникова белобрысый круглый мальчишка лет шести и требовательно дернул его за полу плаща. — Дяденька, ну!

Мальчишка от нетерпенья сучил иссиня-красными босыми ногами. Неказистый бумажный змей, склеенный из тетрадных листов, запутался тряпичным хвостом в ветвях лиственницы. Воскобойников послушно взобрался на невысокий штакетник и, придерживаясь рукой за ветку, густо покрытую светло-зеленой молодой хвоей, смахивающей на гусениц, высвободил хвост змея. Мальчишка радостно свистнул и, не поблагодарив Воскобойникова, косолапо зашлепал по лужам. Неуклюжий отсыревший змей, кренясь набок, тяжело и низко поплыл за ним.

Воскобойников долго смотрел вслед змею. Если б они с Анной познакомились еще до войны и сразу поженились (Воскобойников был почему-то уверен, что до войны люди женились проще и быстрей, чем сейчас), то у них мог бы уже быть такой вот мальчишка. «Будем валить на войну: она большая, все выдержит!» — сказал он себе и зашагал дальше.

В витрине гастронома внимание Воскобойникова привлекла огромная бутафорская бутылка. Припомнилось, что топить горе в вине — общепризнанное каноническое занятие всех любовных неудачников. Воскобойников не хотел ни в чем отставать от своих собратьев по несчастью и зашел в магазин. Выбор его остановился на коньяке, но, вывернув все карманы, он увидел, что денег на покупку коньяка не хватит.

«Вот тебе и каноническое мероприятие!» — посмеялся над своей промашкой Воскобойников и купил бутылку легкого вина. «Разопью со Степановной»,— решил он, опуская бутылку в глубокий карман плаща.

На пристани Воскобойников отыскал свой полуглиссер. Рулевой Петя разлегся на заднем сиденье и читал брошюру о происхождении человека.

— Узнал, откуда люди-человеки род ведут? — дружелюбно спросил Воскобойников.

— Обстановка помаленьку проясняется,— ответил Петя, запуская мотор.— Обезьяны, оказывается, не предки наши, а параллельная боковая ветвь от общего прародителя. Вроде двоюродных братьев и сестер!

Воскобойников поздравил Петю с открытием и попросил высадить его на другом берегу. Он решил отпустить полуглиссер и пешком идти в поселок: ему хотелось дольше побыть наедине и разобраться в конце концов, что же произошло у него с Анной.

— И охота вам по кустам лазить! — запротестовал Петя тем ворчливым покровительственным тоном, какой усваивают рулевые и шоферы, дружно живущие со своим начальством.— Иль проверяете, сколь древесины на песках обсохло?

— Проверяю,— сказал Воскобойников.— Все, что обсохло и... отсыхает, проверяю...

— Тогда другое дело! — великодушно согласился Петя и лихо развернул полуглиссер, приставая к берегу.

Петя умчался, помахав на прощанье фуражкой, а Воскобойников зашагал по мокрой высокой траве. Брезентовый плащ быстро намок и гремел о колени, как жестяной. Крупный тощий комар сел на руку. Воскобойников терпеливо следил, как наливался он кровью и потом тяжело отвалился — сытый, захмелевший. Чем дальше от города — тем гуще попадались комары. Гудящим облаком сопровождали они Воскобойникова, немилосердно жалили его, но он не отгонял комаров, находя

в их острых укусах какое-то странное мучительное удовольствие, словно мстил самому себе за разрыв с Анной.

На излучине реки Воскобойников остановился, долго смотрел на водоворот. Бесшумно кружилась и пенилась темная маслянистая вода. Носком сапога Воскобойников столкнул комок земли в омут. Короткий всплеск — и вода сомкнулась над комком. Ни одного круга по воде не пошло. Только шаг отделял Воскобойникова от омута. Как-то со стороны, умозрительно, подумалось: шагни он сейчас — в плаще, сапогах,— и оттуда не выберешься, мигом засосет, затянет вглубь. На похоронах велеречивый диспетчер Ивушкин произнес бы речь с претензиями на ораторские красоты. Может, тогда Анна пожалела бы...

Воскобойников усмехнулся несерьезности своих мыслей и пристально вгляделся в воду. Увесистое, золотисто-рыжее сосновое бревно кружилось в водовороте. На торце бревна четко красовалось клеймо шпальника. К шпальнику присоединилось два темных бревна елового баланса, а потом несколько тонких, плохо заметных в воде бревен рудничной стойки. Из-за поворота реки выплывали все новые и новые косяки древесины. Видимо, был открыт направляющий бон Белоборской запани. Воскобойников чертыхнулся. «Лесу в запани едва на одну смену, а белоборцы пропускают его мимо. А завтра начнутся звонки в сплавконтору, в трест, в райком партии: «Сплоточные станки стоят из-за отсутствия леса, просим принять меры...»

— Я вам приму меры! — вслух сказал Воскобойников и напрямик зашагал к поселку.

В ближнем кустарнике он выломал ветку орешника и ожесточенно замолотил по лицу и шее, отмахиваясь от наседающих комаров.

Возле шпалорезки, которой начинался поселок, на поляне между опилочных холмов кружилось в танце несколько пар. Гармонист восседал на верхушке высокого штабеля горбылей и самозабвенно играл, закрыв глаза. Кавалеров не хватало, и маленький невзрачный рулевой Петя, успевший уже поставить свою посудину на прикол, раскрасневшийся, потный и счастливый, танцевал без передышки со всеми девушками.

— Где же ваши кавалеры, девчата? — спросил Воскобойников.

— Все сбежали, не выдержали нашей красоты! —

отозвалась бойкая звеньевая сортировщиц.— Андрей Петрович, айда к нам танцевать, а то споем что-нибудь про любовь!

— Куда мне! — отмахнулся Воскобойников.— Я вам только веселье испорчу.— И добавил почти весело: — Для любви я человек конченый!

3

В конторе было уже по-вечернему пусто, лишь в бухгалтерии дробно щелкали счеты да в диспетчерской лысый загорелый Ивушкин старательно графил широкие листы бумаги. Линейка была короткая, Ивушкину приходилось по три раза прикладывать ее к листу, но линии получались прямые: диспетчер славился своей аккуратностью.

— Как Сижма? — спросил Воскобойников.

Ивушкин безнадежно махнул рукой.

— Нет связи по-прежнему...

После окончания ранневесенней сплотки в верховьях реки на Сижемском участке осталась обвязочная проволока. Неделю назад в Сижму выехал директор сплавной конторы Потапов — поторопить местных работников со сбором проволоки и отправкой ее в низовые запани, где сплотка шла полным ходом и запас проволоки быстро таял. На помощь треста надеяться было нечего: давно ожидаемая баржа с такелажем села на мель где-то в устье реки. Выручить сплавконтору могла только сижемская проволока, а в довершение всех бед вчерашняя гроза нарушила телефонную связь с Сижмой,— и теперь Воскобойников не знал, как там дела у Потапова, можно ли ждать от него проволоку и когда именно.

— Вызывайте Сижму каждые полчаса,— приказал Воскобойников дежурной телефонистке и стал просматривать телефонограммы с участков.

Ему хотелось тяжкой, изматывающей работы, чтобы не думать больше об Анне. Но, как назло, главному инженеру сплавной конторы делать сейчас было нечего: запани нормально сплачивали древесину и формировали плоты, буксирные катера работали исправно. Все участки просили только проволоку, а ее-то как раз достать Воскобойникову было неоткуда.

— Я сам проволоку не тяну! — сердито сказал он и вызвал по телефону Белоборскую запань.

Минут пять Воскобойников распекал начальника запани, пока не спохватился, что пытается сорвать на нем всю свою злость — и не только за пропуск древесины и неполадки с проволокой, но, похоже, даже и за размолвку свою с Анной. Сконфуженный, он оборвал разговор.

— Научились вы чихвостить участковых тружеников! — насмешливо проговорил Ивушкин, намекая на первое время работы Воскобойникова в конторе, когда тот стыдился упрекать в чем-либо сплавных аборигенов.

— С вами научишься...— пробормотал Воскобойников и полез в карман за папиросами.

Он наткнулся на тяжелый сверток и не сразу догадался, что это бутылка с вином.

— Где Степановна? — спросил он строго.

— Секретарша в город ушла,— ответила телефонистка.— В кино сегодня новая комедия.

— Носит ее нелегкая! — проворчал Воскобойников и направился в свою комнату, которая находилась в соседнем с конторой доме.

Он долго откупоривал бутылку перочинным ножом. Пробка искрошилась, и никак не удавалось ее вытащить: простые житейские дела вообще плохо удавались Воскобойникову. Он разозлился и затолкал пробку внутрь бутылки. Потом убрал со стола книги, перевернул скатерть, нарезал колбасы и открыл банку своих любимых овощных консервов. Критически оглядев стол, Воскобойников достал из шкафа пучок зеленого лука — подарок Степановны, которая клялась, что существует прямая зависимость между количеством поглощаемых начальством витаминов и выполнением производственного плана, и по этой причине вечно пичкала инженера зеленью со своего огорода.

Пить в одиночку не хотелось. «Позову-ка я Ивушкина»,— неожиданно решил Воскобойников и сам себе подивился, так как недолюбливал болтливого желчного диспетчера.

Ивушкин не заставил себя долго просить и только осведомился, по какому поводу состоится выпивка в будний день.

— Внеплановое событие приключилось...— туманно объяснил Воскобойников, и диспетчер усмехнулся, будто понял, что стоит за всем этим.

Выпили по первому стакану. Вино оказалось кислым и слабым.

— Квасок! — определил Ивушкин.

— Закусывайте,— виновато сказал Воскобойников,— берите консервы, колбасу. Извините, что закуска не по напитку.

Диспетчер поднес бутылку к глазам, близоруко щурясь, прочитал этикетку и спросил тоном экзаменатора:

— Андрей Петрович, что вы знаете о Цинандали? — Ивушкин любил научные разговоры.

— Кажется, гора есть такая на Кавказе...— неуверенно сказал Воскобойников.

Ивушкин всей ладонью с наслажденьем потер свою лысину и, хвастаясь осведомленностью, наставительно произнес:

— Цинандали — село в бывшем Телавском уезде Тифлисской губернии, центр кахетинского виноделия...

Воскобойников припомнил, что в свободное время диспетчер любит читать разрозненные тома энциклопедии Брокгауза и Ефрона, не стал спорить и налил по второму стакану продукции кахетинского виноделия. Пренебрегая витаминозным луком, Ивушкин придвинул к себе тарелку с колбасой и спросил проникновенно:

— Как вы думаете, удержится Англия в Сингапуре или нет?

— Откровенно говоря,— чистосердечно признался Воскобойников,— я не очень-то задумывался над этим: все, знаете, как-то некогда...— Может, оставим этот вопрос дипломатам, а сами ограничимся сплавом леса?

Но диспетчер был принципиально против всяких ограничений и стал доказывать, что каждый здравомыслящий человек, внимательно следящий за периодической печатью и не лишенный способности к самостоятельному суждению (он особенно подчеркнул тезис о способности к самостоятельному суждению), вполне может разбираться во всех, даже самых тонких вопросах международной политики. По всему было видно, что Ивушкин на своих позициях стоит твердо, и, чтобы утихомирить диспетчера, Воскобойников поспешил признать, что лично у него, видимо, просто нет этой способности к самостоятельному суждению в вопросах международной политики.

— Это совсем другое дело! — обрадовался Ивушкин уничижению инженера.— А я вам авторитетно заявляю: Англия из Сингапура добровольно не уйдет!

Ивушкин стал обстоятельно доказывать, почему Англия не уйдет из Сингапура добровольно. Воскобойников кивал головой, поддакивал, лишь бы только не вызвать воинственного диспетчера на спор,— а сам думал: что сейчас поделывает Анна? Спит, читает, занимается каким-нибудь домашним делом или, возможно, сидит в кино, смотрит вместе со Степановной новую комедию? Вспоминает ли она о нем? Он думал об Анне беззлобно — так же, как вчера и неделю назад, когда никакой ссоры не было и в помине, и, поймав себя на этом, вдруг разозлился, что уже простил ей все.

«Как же, вспоминает тебя, расставляй карман пошире!..» Он вслух сказал:

— Расставляй карман пошире! — и Ивушкин принял это на свой счет.

— Вы ошибаетесь,— холодно заметил диспетчер.— Ведь рядом с Сингапуром — Малайя, и говорить так, как вы говорите,— значит решительно ничего не понимать в колониальном вопросе!

Обиженный Ивушкин придвинул к себе банку с консервами и молча доел любимые Воскобойниковым кабачки. На прощанье он сказал:

— Зря, батенька, вы все-таки квасу этого купили. И дорого и слабовато... То ли дело спирт! Он и для организма много полезней — токсины полирует...

Воскобойников испугался, что гость начнет просвещать его насчет токсинов, но тот только упрекнул инженера в непрактичности и пожелал спокойной ночи. Выпить на чужой счет, а потом обругать угощающего было в манере Ивушкина.

4

Одинокое холостяцкое жилище после ухода диспетчера показалось Воскобойникову еще более пустым и неприглядным. Вспомнилось, как мечтал он минувшей зимой увидеть Анну в этой комнате. За целую зиму она ни разу не пришла к нему. Ни разу!

Он достал из кармана фотокарточку Анны. Карточку Воскобойников всегда носил при себе: доморощенное средство скрашивать разлуку во время частых командировок.

Это была ее старая студенческая фотография. Юная угловатая Анна стояла одна посреди залитой солнцем

лесной поляны. Ветер перекосил на сторону легкое белое платье, из травы, приподнявшись на цыпочки, густо смотрели крупные глазастые ромашки. Платье было короткое, и прическа тоже была короткая, какую сейчас девушки уже не носят.

Без него прошла ее юность... Воскобойников не в первый раз пожалел, что не знал Анну в то время. Он писал бы ей письма из фронтовых землянок и госпиталей, она отмечала бы на карте путь его батареи. И не в одних письмах тут дело. Просто их любви не хватало больших испытаний, тревоги за судьбу родного человека.

Все у них было очень уж буднично. Встретились в прошлом году ранней весной на сплавном совещании. Воскобойников критиковал работу треста и, еще не зная Анны, высмеял ее за пристрастие к телефонограммам. В перерыве Анна подошла к нему объясниться, а вечером после заседания они лицом к лицу столкнулись в раздевалке, и оказалось, что пальто Анны и полушубок Воскобойникова весь долгий день висели на соседних крючках.

— Хорошая примета,— сказала гардеробщица, и Анна смутилась, а Воскобойников тайком от нее щедро дал догадливой старухе на чай.

Они разговорились в тот вечер и долго бродили по городу, выбирая самые тихие и сугробистые переулки. Воскобойников проводил Анну до крыльца ее дома, она шутливо пожелала ему по пути в поселок не провалиться в полынью и просила, когда будет в тресте, заходить к ней. Он воспользовался приглашеньем и стал заходить. Впрочем, встречались они не так уж часто.

Обычно виделись они в тресте: куцый разговор вполголоса за тем же строгим служебным столом, за которым сегодня они ссорились. Когда Воскобойникову удавалось выкроить свободный вечер, они шли в кино или в театр. Воскресив в памяти годы своего студенчества: время политбоев, бригадного метода занятий и поощрительного стакана киселя для ударников учебы,— Воскобойников именовал эти редкие вечера культвылазками. Анна пришла в институт перед самой войной и не застала уже всего этого. Неуклюжее слово показалось ей сперва диким, потом забавным, а там она и не заметила, как привыкла к нему,— и в этом сходстве их вкусов Воскобойников видел залог того, что и дальше у них все будет хорошо...

Уже полгода они знали, что любят друг друга, но же-

нитьбе их мешало то одно, то другое. Сначала Анна хотела, чтобы Воскобойников перевелся на работу в трест, а он противился, ссылаясь на свою неспособность к управленческой работе, и в конце концов обезоружил Анну планом: жить обоим в городе, а работать на старых местах. Потом они ждали, когда Анне дадут обещанную квартиру в строящемся доме. По пути в театр они нарочно делали крюк, чтобы полюбоваться домом, где вскоре будут жить, и называли его фамильярно — наш домина. Строители постарались и закончили дом досрочно. Красивый получился домина! Анна с Воскобойниковым были прямо-таки в восторге от фасада с круглыми лепными балкончиками, похожими на ласточкины гнезда. Уже прикидывалось, кого пригласить на новоселье, и Анну, которая очень хотела, чтобы Воскобойников считал ее экономной хозяйкой, особенно радовало, что они сразу убьют двух зайцев: одновременно и новоселье справят и свадьбу сыграют. Но вдруг по каким-то соображениям высшего порядка квартиру Анны передали другому работнику треста, и в своих прогулках по городу они стали тщательно обходить тот район, где стоял красивый дом с птичьими балкончиками.

Переселяться на квартиру к Анне он не решался: Анна жила вместе с матерью и старшей сестрой, которая Воскобойникова не жаловала... Черт возьми, сколько всяких мелочей мешает еще жить человеку! Квартиры, разные места работы, неприязнь родичей... Люди будущего, судя по нашим делам, будут считать нас великанами, а в ногах у этих великанов частенько еще путаются ничтожные в общем невзгоды, способные, однако, испортить жизнь и причинить боль. Воскобойников все-таки надеялся, что все ограничится лишней болью и недолгой разлукой. Не могут же они навсегда расстаться с Анной из-за какого-то пустяка. Не для того они встретились в жизни, чтобы вот так разойтись. Если такие комариные мелочи в силах развести людей — тогда и жить не стоит: ложись и помирай!..

Но почему все же Анна так разозлилась на него? Неужели весь сыр-бор загорелся из-за того лишь, что он не пошел вчера с ней в театр? С самого начала сплавной страды встречались они редко, все больше в тресте,— и Анна очень обрадовалась, когда узнала, что он купил билеты на вчерашний спектакль. А вчера пароходство вдруг отказалось принимать транзитный плот, и Воско-

бойников должен был представлять сплавную контору в конфликтной комиссии. За полчаса до начала спектакля он позвонил Анне и сказал, что «культвылазка» отменяется. Она долго молчала, Воскобойников даже усомнился, слышит ли она его.

— Андрей, но я ведь уже оделась! — выговорила наконец Анна.— Совсем оделась, чтоб в театр идти...

Тогда ему показался немного смешным этот чисто женский довод, и он подумал снисходительно, что женщина — даже такая умная и самостоятельная, как Анна,— все-таки остается женщиной. Бодрым голосом Воскобойников сказал, что в ближайшие дни постарается изыскать время для новой, более удачной вылазки, и повесил трубку: агент пароходства торопил его ехать на плот. Сейчас довод Анны уже не казался ему смешным, и с поздним раскаяньем Воскобойников упрекнул себя в грубости и бессердечии. Пойти вчера в театр он, конечно же, не мог, но надо было как-то утешить Анну, а не обижать ее своей тупой бодростью.

А сегодня в тресте он вел себя совсем уж глупо: так легко смирился и ушел. Надо было настаивать, доказывать и уж во всяком случае не уходить до тех пор, пока Анна не убедится, что им никак нельзя быть врозь. Просто нельзя — и все тут, это же так ясно! Воскобойников удивился, как Анна ухитрилась не понять этого, и даже пожалел ее малость. Он загорелся желанием сейчас же, сию минуту, растолковать ей эту простую и очевидную истину, очистил краешек стола и сел писать письмо.

Воскобойников писал, что никак не может поверить, будто у них все кончено: этого просто не может быть. Пусть он виноват, но не могут же они навсегда расстаться из-за недоразумения. Он просил ответить ему письмом, когда она успокоится, а еще лучше — прийти к нему самой,— и тогда ее приход будет уже ответом на все его вопросы, и они помирятся без лишних слов и взаимных упреков. Чтобы помочь Анне найти его, Воскобойников описал подробно, где в поселке стоит его дом, и даже план небольшой набросал. И тут он вдруг засомневался, четвертая его дверь в коридоре или пятая, хотя жил в этом доме больше года.

Он выскочил из комнаты, вспугнул в темном коридоре какую-то парочку и убедился, что его дверь четвертая. Воскобойников постоял немного на крыльце, чтобы парочка не догадалась, что главный инженер сплавконторы

по ночам выбегает в коридор считать двери, и вернулся в свою комнату.

Надписывая конверт, он подумал, каким же наивным и глупым покажется это письмо Анне, если она не захочет мириться. Вспомнилось, как стояли они друг против друга, разделенные столом, и Анна говорила ядовито, что все его вопросы имеют теперь лишь академический интерес. Не перечитывая, Воскобойников поспешно запечатал конверт, еще раз потревожил парочку в коридоре и бросил письмо в почтовый ящик, висящий на стене конторы. И как только письмо с тихим шелестом скользнуло в узкую щель ящика, Воскобойников сразу успокоился, словно до конца довел очень нужное и не очень легкое дело.

К своему удивлению, спал он лучше, чем ожидал. Два раза за ночь его будила дежурная телефонистка. В первый раз управляющий трестом спрашивал, как идет сдача готовых плотов пароходству, и заодно порадовал новостью: завтра к вечеру сплавконтора может получить тонну проволоки — возврат от местных потребителей древесины. Второе известие было плохим: сломался винт у буксирного катера пригородной запани. Воскобойников по телефону распорядился направить в пригородный участок один катер из Белоборской запани и снова лег спать.

Уже под утро ему приснился Ивушкин — в куцых штанишках по колено и в пробковом шлеме «здравствуй-прощай». Диспетчер погрозил Воскобойникову пальцем и сказал внушительно:

— Пока не усвоишь колониального вопроса — Анны тебе не видать и с Сижмой по телефону не связаться!

5

Воскобойникова разбудил тонкий надрывный визг шпалорезки. С минуту он лежал неподвижно, ничего не помня о ссоре с Анной и бессознательно наслаждаясь простой здоровой радостью выспавшегося человека. Он не спеша прикидывал, что сегодня необходимо сделать за день, и одновременно с решением самому проверить по запаням, все ли остатки проволоки подобраны, в сонном еще мозгу вспыхнуло воспоминание о вчерашнем разрыве с Анной. Память услужливо напомнила о ночном всепрощающем письме — и Воскобойников поморщился, доса-

дуя на свое слабоволие. Ведь слепому видно: раз Анна могла из-за такого, в конце концов, пустяка, как эта театральная история, зачеркнуть все,— значит, она его не любит.

Холодная струя воды из умывальника обожгла голову, и Воскобойников утешил себя, что еще не все потеряно: злополучное сентиментальное письмо лежало в почтовом ящике, и еще не поздно попросить письмоносца Ксению вернуть его.

За ночь поступило пять телефонограмм — и все об одном и том же: запани просили проволоку.

— Как Сижма? — осведомился Воскобойников.

— Молчит...— виновато ответила телефонистка.

Привычная сутолока рабочего дня подхватила Воскобойникова. Он перераспределял между запанями остатки проволоки, просил затон сплава ускорить выпуск катеров из ремонта, подписывал чеки в банк и заявки в техснаб треста, спорил по телефону с пароходством, которое необоснованно требовало снизить осадку плотов.

Поглощенному делами, ему казалось, что он сегодня такой же, как всегда, но чуткая Степановна заметила в нем перемену. Воскобойников несколько раз ловил на себе вопрошающие взгляды секретарши. А когда они остались в кабинете вдвоем, Степановна тихо сказала:

— Что-то вы сегодня невеселый, Андрей Петрович... Случилось что-нибудь?

— Нет, все в порядке! — очень правдиво, как он думал, отозвался Воскобойников, но Степановна с сомненьем покачала головой и зашелестела обиженно бумагой.

«Не поверила,— значит, заметно». Больше всего на свете он боялся сейчас расслабляющей душу теплой сострадательной жалости...

Воскобойников говорил с рабочими, мастерами, техником-строителем. Приходила жена многодетного мастера-такелажника Ильина, жаловалась на заведующую детским садом, срывающую отправку детей в санаторий, просила принять меры. Название санатория было сходно с фамилией Анны, только буквы переставить. А щеголеватый техник-строитель вдруг напомнил вчерашнего молодого человека, который входил в кабинет Анны во время их разговора. Всюду была она. Что бы он ни делал — все какими-то гранями неизбежно соприкасалось с Анной.

Очень легко было услышать голос Анны — стоило

только протянуть руку к телефону и назвать памятный ему номер. Так близко и так недоступно далеко от него она будет теперь каждый день. А через месяц или через год доброхоты порадуют его вестью, что ее часто видят с каким-нибудь красавцем, а то и он сам столкнется с ними на улице — благо городок мал. А потом, вот в такой же буднично-суетливый день, ему скажут, что Анна вышла замуж, и тогда он, наверно, не совладает с собой и позвонит ей по телефону — пожелает счастья в семейной жизни...

«Веселенькая программа!» — Воскобойников встал из-за стола, постоял у карты, машинально отыскал город, в котором родился, и велел позвать заведующую детским садом.

На заведующую приятно было смотреть — такая она была рослая, красивая и румяная. Разговаривать с ней оказалось делом гораздо менее приятным.

— Почему вы до сих пор не отправили детей в санаторий? — строго спросил Воскобойников.

— Не было транспорта, а я, извините, не пароход!

Воскобойников переглянулся со Степановной, приглашая ее осудить такое возмутительное поведение заведующей детским садом. Степановна взглядом заверила главного инженера сплавконторы, что она не одобряет поведения красивой заведующей.

— Это не причина,— сказал Воскобойников.— Утром катера шли на заправку и могли бы подвезти ребят до санатория, а вы даже не потрудились зайти в диспетчерскую.

— Знаю я ваши катера и диспетчеров знаю,— презрительно ответила заведующая.— Толку от них никогда не добьешься! — Она невежливо повернулась к нему боком, словно хотела сказать: «Да что мне с тобой, забракованным Анной, разговаривать!» — Это вам все Ильина насплетничала? И чего только они в этом санатории находят?!

Воскобойников не на шутку разозлился.

— Позабыли же вы, когда были маленькой! Ребятам потом на целый год хватит вспоминать санаторий. Они там отдохнут, поправятся. Ведь там же чудесное место: сосновый бор, океан озона, хариус в ручьях водится!..

— Вы дольше меня не были ребенком: я моложе вас! — резонно возразила заведующая.— А сосны тут совсем ни при чем, все дело в питании: у нас в детсаде пьют

чай и молоко, а в санатории — какао. Дайте мне какао, и посмотрим, что получится,— это понимать надо!

Воскобойников хотел вторично призвать на помощь Степановну, чтобы та осудила заблуждение красивой заведующей, но вовремя вспомнил, что секретарша сама помешана на витаминах, и воздержался.

Вся беда в том, думал Воскобойников о заведующей детским садом, что она очень рано узнала о своей красоте. Это развило в ней неприятную самоуверенность, сделало верхоглядкой и сильно мешает теперь иметь успех у таких серьезных людей, как он, например... Но, судя по безмятежному виду заведующей, можно было безошибочно определить, что она даже не понимает, чего лишилась, и уж, конечно, совсем не станет горевать из-за того, что потеряла уважение такого человека, как главный инженер сплавконторы. Вслух Воскобойников сказал:

— Детей сегодня же отправьте в санаторий,— и велел диспетчеру снять катер с буксировки древесины.

Ивушкин во все глаза глядел на инженера, не понимая, что происходит: сам же Воскобойников всегда требовал, чтобы буксирные катера выполняли только сплавную работу, а теперь надумал заниматься детской благотворительностью. Воскобойников стойко выдержал неодобрительный взгляд Ивушкина и попросил отметить в приказе, чтобы команда катера на обратном пути получила на складе треста обещанную тонну проволоки. Диспетчер лишь головой покачал, сомневаясь, можно ли, строго говоря, назвать рейс катера от санатория до склада обратным путем.

В кабинет вошла письмоносец Ксения. Она забрала у Степановны почту для отправки и привычной скороговоркой осведомилась:

— Андрей Петрович, поручений в трест не будет?

После десятиминутного пребывания в обществе неприятной заведующей детским садом Воскобойников с удовольствием глядел на простое круглое лицо Ксении — опаленное солнцем, дубленное ветрами и морозами. Из незакрытой почтовой сумки торчала пачка писем. Воскобойникову показалось, что он узнал синий конверт своего ночного всепрощающего письма.

— Поторапливайтесь насчет поручений! — бесцеремонно сказала Ксения.

Воскобойников давно уже заметил, что она всегда начинала грубить, когда чувствовала за собой какую-ни-

будь вину. Впрочем, сейчас ему было совсем не до поисков воображаемой вины Ксении.

— Поручений в трест не будет, а одно дельце есть!..— развязно проговорил Воскобойников, пытаясь скрыть смущение.

Вездесущая Степановна оторвалась от своих бумаг, насторожилась. Если он сейчас возьмет ночное письмо обратно, секретарша все поймет и по доброте душевной пожалеет его старушечьей терпкой жалостью.

— Открытки на почте продаются? Купите мне десяток.

Он протянул деньги на покупку открыток. Ксения аккуратно спрятала деньги в детский клеенчатый кошелечек с красной веселой кнопкой. Закрываясь, кнопка щелкнула звучно и ехидно, словно смеялась над его нерешительностью. Воскобойников пристально смотрел вслед уходящей Ксении. Туфли у письмоносца были стоптаны, отягощенное сумкой плечо — ниже другого... Если бы он не писал, как найти его комнату, или хотя бы не рисовал этого дурацкого плана!.. Можно было еще догнать Ксению и взять у нее письмо, но Воскобойников почувствовал вдруг смертельное отвращение ко всем своим попыткам спасти самолюбие.

Пусть Анна смеется над его письмом, если оно покажется ей смешным. Пусть будет — как будет!..

Целый день стаи комаров и тучи мелкого гнуса свирепствовали в конторе. Они жалили лицо, руки, набивались в уши, лезли в глаза и рот. День выдался безветренный, и с окрестных болот летели все новые и новые миллионы тварей. Несколько раз уборщица тетя Глаша, священнодействуя, проносила по всем комнатам жаровню с раскаленными углями и хвоей. Густой молочно-белый дым длинным облаком тянулся за жаровней,— и все сотрудники сплавконторы отрывались от своей работы и повеселевшими глазами провожали тетю Глашу, выступающую медленно и важно, с полным сознанием ответственности исполняемого дела.

Смолистый ароматный дым неожиданно напомнил Воскобойникову полузабытый запах ладана: мать была набожной и в детстве часто водила его в церковь. Подумалось: а ведь память, чего доброго, сохранит этот ветхозаветный запах до конца его дней — много позднейших и значительных впечатлений порастеряет, а такой вот ранний мусор сбережет. Дорожной пылью на сапогах,

вместе с другими большими и малыми приметами уходящего мира, он и в самый коммунизм, пожалуй, нечаянной контрабандой пронесет с собой это давнее и ненужное воспоминание. Короткая человеческая жизнь на миг обернулась к Воскобойникову длинной своей стороной...

Спасительный дым быстро улетучивался, и комары с новой силой атаковали сплавную контору. Руки у Воскобойникова опухли от укусов, лицо и шея горели, как ошпаренные. Степановна долго крепилась, но под конец не выдержала: надела перчатки и облачилась в накомарник. Сквозь черную марлевую сетку накомарника таинственно замерцали крупные роговые очки секретарши — и скромная Степановна стала походить на мудрую марсианку. Один только диспетчер Ивушкин торжествовал: комары его почему-то не кусали.

— Чуют в нем своего родственника! — шепнула Степановна.

6

В полдень вышел из строя дизельный катер номер девять — лучший во всей сплавконторе. Это значило, что Белоборская запань осталась без буксирной тяги и через два-три часа придется останавливать сплоточные станки.

Докладывая о поломке «девятки», Ивушкин так ехидно смотрел на Воскобойникова, словно хотел сказать: «Вот что творится, а мы детишек по санаториям на буксирных катерах развозим!» Воскобойников взглядом возразил ему, что не мог же он утром предвидеть поломку катера, но Ивушкин с таким видом почесал свою лысину, будто упрекнул инженера: «На то вы и начальство, чтобы все предвидеть. Государство вам большие деньги не за красивые глаза платит!»

Было ясно, что Ивушкин не забудет этого случая и на ближайшем же производственном совещании, когда начальники запаней обрушатся на диспетчерскую службу, постарается свалить всю вину на главного инженера. «Эх ты, кочерыжка!» — беззлобно подумал Воскобойников и попросил вызвать затон сплава.

— Я только что звонил туда,— сказал Ивушкин.—

Раньше вечера ни один из наших катеров из ремонта не выйдет.

— Товарищ Ивушкин, — кротко попросил Воскобойников,— вызовите, пожалуйста, затон сплава.

У диспетчера затона Воскобойников осведомился, сколько катеров соседней сплавконторы находится в ремонте. Расположенная ниже по течению, соседняя сплавконтора присваивала себе упущенную верхними запанями древесину и почти всегда выходила на первое место в тресте, получала премии. Соседи жили недружно: вечно спорили из-за древесины, бонов, такелажа. Производственная эта вражда давно уже задевала Воскобойникова, но все как-то было недосуг заняться коренной ломкой порядков, которые складывались десятилетиями.

Диспетчер затона ответил, что в ремонте у них только один катер соседней конторы.

— Всего лишь один? — обрадовался Воскобойников и велел Ивушкину соединить его с управляющим трестом.

Заинтересованный Ивушкин быстро переставил шнуры на коммутаторе и наклонил в сторону инженера свое мясистое любопытное ухо. Воскобойников объяснил управляющему, в какой переплет попали они с буксирной тягой, и попросил временно передать им один катер из нижней сплавконторы, особенно напирая на то, что у них все сплоточные станки работают полным ходом, а у соседей целая запань стоит из-за отсутствия леса.

— Не дам,— сказал управляющий.— Научитесь свою тягу правильно использовать.

Ивушкин откровенно заскучал, и снисходительное превосходство утвердилось на его лице. Похоже, ему даже стыдновато было за инженера, который такими наивными и несбыточными просьбами осмелился тревожить высокое сплавное начальство.

Было время обеденного перерыва, и в кабинет набилось много сплавщиков. Ловкие на воде, они скованно двигались в комнатной тесноте, решительно не зная, что им делать со своими руками. Воскобойников кивком головы пригласил их садиться на диван и очень вежливо попросил Ивушкина вызвать нижнюю сплавконтору.

— Напрасная трата времени! — покровительственно

сказал Ивушкин, переставляя шнуры коммутатора.— От них помощи не дождешься: кто же себе враг?

Сплавщики согласно закивали головами.

В нижней конторе к телефону подошел главный инженер Черемухин. Воскобойников знал его мало, лишь несколько раз встречался с ним в тресте и обкоме партии. Узнав, кто его вызывает, Черемухин неожиданно обрадовался:

— Андрей Петрович, а ведь это мы с вами впервые, кажется, по телефону говорим! Нехорошо получается: соседи, а друг с другом не знаемся... Кончится сплав, приходите в гости — угощу маринованными рыжиками. Теща моя в этих краях первейшая специалистка по грибам!..

Воскобойников счел момент подходящим и, не откладывая дела в долгий ящик, попросил до вечера направить к ним катер для работы.

— При случае и мы вам добром отплатим...

Сплавщики застыли на диване. Ивушкин приподнялся над столом: в практике сплавконторы такого еще никогда не бывало.

— Купили вы меня! — рассмеялся Черемухин.— Вы или очень хитрый, или...

— Стараюсь быть хитрым,— поспешно сказал Воскобойников.— Так как же насчет катера?

— Знаю, заругает меня директор, но так и быть — дам катер. Условий два: позже девяти вечера машину не задерживать и в первое же воскресенье, как станет река, жду вас на знаменитые рыжики!

— Не задержим... Приду...— пообещал Воскобойников и спокойным голосом, будто привык каждый день получать помощь от других сплавконтор, велел Ивушкину сообщить в Белоборскую запань, что катер будет через час.

Сплавщики на диване взволнованно переглянулись, Ивушкин растерянно заморгал, а марсианистая Степановна в накомарнике тоненько хихикнула, гордясь успехом своего любимца.

Теплая волна давно не испытанной радости коснулась Воскобойникова. Черт возьми, он любил эту работу — суетливую, бессонную, с неожиданными препятствиями на каждом шагу, характерными для лесной промышленности, которая уже не была дедовским отхожим промыслом, но и не стала еще до конца освоенной индустриаль-

ной отраслью, распланированной вдоль и поперек, без каких-либо сюрпризов и мстительных штучек матушки-природы. Как технический руководитель предприятия Воскобойников стремился планировать работу, не допускать срывов и аварий, но истинное наслаждение он получал лишь тогда, когда непредвиденное препятствие все-таки возникало, а ему удавалось перебороть его, подчинить своей воле, стать над слепым случаем и стихийными силами.

Для этого стоило жить! Горячий вкус жизни почувствовал Воскобойников и как-то совсем по-новому вспомнил об Анне. Никогда прежде не думал он об этом, но, оказывается, можно было все-таки жить и без Анны. Хоть и тяжко ему придется и не та уж будет эта жизнь, какую он себе вымечтал,— но и в такой урезанной жизни тоже были свои радости. И не вышибить Анне его из колеи, не в ее воле закрыть ему все пути-дороги,— иные, прочные якоря держат Воскобойникова в жизни.

Это было — как встреча с новым, душевно богатым и не до конца знакомым человеком. Его было больше, чем он сам себя знал, больше, чем на одну лишь любовь. И чем бы ни кончилась ссора с Анной, он будет жить и делать свое пусть не очень великое, но, в конце концов, и не такое уж малое дело.

7

Во второй половине дня Воскобойников на полуглиссере объехал ближние запани. Рулевой Петя знал слабость главного инженера и пустил мотор на полную мощность. Зажатый в сверкающие серебряные полосы брызг, высоко вскинув нос, полуглиссер стремительно летел по воде, далеко вокруг раскачивая бревна, боны и лодки широкой запоздалой волной.

Река жила обычной своей жизнью. Низкие буксирные пароходы тащили вверх против течения длинные караваны барж с мукой, кирпичом, сельскохозяйственными машинами. Недостаток проволоки еще не тормозил работу запаней. Бревна, приплывшие с верховьев реки молевой россыпью, сплавщики сортировали на воде и сплачивали в пучки, для крепления которых как раз и

нужна была проволока, чтобы не рассыпались пучки в плотах, выдержали весь долгий путь до Архангельска. Работящие катера буксировали возы, составленные из пучков, вниз по течению — к местам формировки транзитных плотов.

Крутые берега были живописны, но Воскобойникову было сейчас совсем не до пейзажных красот. Он поймал себя на том, что, рассматривая катерные возы, не замечает даже древесины, а видит только проволочную обвязку на пучках,— и подумал, что похож сейчас на больного, который не чувствует здоровых частей своего тела, а помнит все время одно лишь больное место.

На каждой запани Воскобойников обходил сортировочную сетку и сплоточные станки, придирчиво проверял обвязку пучков. Ему все хотелось уличить кого-нибудь в перерасходе проволоки, но обвязчики на всех запанях были так экономны, будто крепили пучки бревен не стальной проволокой, а золотой. В поисках обвязочного материала Воскобойников заглядывал и в такелажные склады, но все склады были пусты — хоть шаром покати.

Становилось ясней ясного, что без сижемской проволоки до прибытия баржи с такелажем не дотянуть. И черт угораздил телефонную связь порваться именно сейчас!

Перед начальником Белоборской запани Воскобойников извинился за вчерашние свои придирки.

Белоборский начальник проработал на сплаве лет тридцать и перевидал на своем веку многое. Ему приходилось отдуваться за ранний ледостав и поздний ледоход, за древесину, разнесенную по кустам и застрявшую на мелях, за невыполнение плана отбуксировки и перерасход такелажа, за нерадивость сезонников, вороватость работников орса и за многие другие — свои и чужие — грехи и проступки. Разнокалиберное начальство дружно распекало его, просто «драило» и «драило с песочком», устраивало ему взбучки и нахлобучки, «вкатывало ему строгача», «дрючило», грозило засадить за решетку и многократно ругало его: в патриархальные двадцатые годы — только устно и письменно, позже, с проникновением на сплав технических средств связи,— уже и по телефону, а в самое последнее время — даже и по радио,

наглядно доказывая свою гибкость и умение использовать технику до дна.

Выслушивать всяческие распекания стало для него привычкой и как бы даже входило в неписаный круг его обязанностей, очерченных его должностью: сначала бригадира, потом мастера, а теперь — начальника запани. Многолетнее исправное несение этой обязанности сделало его нечувствительным к самой злой ругани, привычка непробиваемой броней защищала его самочувствие от любого нагоняя. С годами, поднимаясь по служебной лестнице, он и сам в совершенстве постиг нехитрое это дело и при случае тоже умел «обложить», дать нахлобучку или «вздрючить» своего подчиненного.

Одним словом, белоборский начальник был старым сплавным волком, закаленным в разных передрягах, и удивить его было не так-то легко.

И теперь, выслушав извинение Воскобойникова, он сначала просто-напросто ничего не понял и решил, что ученый начальничек действует «с подходцем» и собирается особенно тонко его «уесть». Но Воскобойников снова повторил свои извинения, и старый сплавной ветеран вдруг понял его — не умом, а какой-то затурканной еще в юности и долгие годы дремавшей на самом донышке души мечтой-догадкой о возможности иных, неругательских отношений между людьми, связанными общим делом. Вся предыдущая жизнь никак не подготовила его к этим новым отношениям, а без привычной своей брони он и совсем затосковал, сразу почувствовал себя этакой оголенной и беззащитной черепахой, которую вытряхнули из панциря,— и растерялся, как школьник. По лицу его побежали пятна, краснел он смешно и как-то неумело, словно приступал к трудной и незнакомой работе.

— Ну, что вы... что вы...— смущенно забормотал он.— В жизни всякое бывает...

— Вот именно: бывает! — охотно согласился Воскобойников, которому, по общечеловеческой слабости, приятно было чувствовать себя самокритичным и великодушным и хотелось, чтобы и другие — а прежде всего Анна — были с ним так же чутки и справедливы, как и он с ними.

Ему вдруг показалось, что именно теперь, в эту вот самую минуту, Анна получила его ночное письмо. Вот

она вскрыла конверт, развернула лист, читает. Может, сейчас все у них и решится...

— Бывает всякое, а быть-то и не должно! — быстро сказал Воскобойников, смотря прямо в глаза старому сплавщику, но видя перед собой Анну и стараясь подтолкнуть ее к единственно правильному решению.

Начальник запани достал платок размером в добрую скатерть и стал вытирать вспотевшее от непривычных переживаний лицо. Не выдерживая пристального, невидящего взгляда Воскобойникова, он все отводил свои глаза в сторону и сердито сопел.

8

Домой Воскобойников вернулся уже поздно вечером. В пустой конторе, как и вчера, раздавался только сухой стук счетных костяшек: бухгалтерия трудилась над квартальным отчетом. Дежурная телефонистка, завидев его, охрипшим голосом, без надежды на ответ, стала вызывать Сижму.

В кабинете на столе лежала аккуратная стопка открыток, придавленная горкой сдачи. Воскобойников повертел в пальцах новенький жаркий пятачок и усмехнулся утренним своим волнениям.

Пришли практиканты — парень и девушка — учащиеся техникума. Вслед за ними в кабинет проскользнула письмоносец Ксения и уселась на краешек дивана. Воскобойников вопросительно посмотрел на нее.

— Нельзя уж и в кабинет зайти! — вызывающе сказала Ксения, и он понял, что давешнее его предположение о какой-то ее вине справедливо.

— Сиди,— разрешил Воскобойников, догадываясь, что Ксения хочет поговорить с ним наедине.

Практиканты принесли лист хронометражных наблюдений. Девушка сильно робела перед главным инженером сплавконторы и все удивлялась, как быстро он считает на логарифмической линейке и помнит наизусть простенькие формулы предела погрешности. Парнишка держался настороженно, пытливо заглядывал Воскобойникову в глаза, молчаливо требуя, чтобы тот выкладывал им все премудрости, ничего не утаивал. В девушке было

что-то от Анны с довоенной фотографии, а парнишка напомнил Воскобойникову его самого: он тоже рос недоверчивым. В довершение сходства парнишка, кажется, был влюблен в свою однокурсницу и ревниво хмурился, когда та особенно восторгалась математическими способностями инженера.

«Не бойся, дурачок, не отобью твое сокровище!» — ласково подумал Воскобойников.

Ксения тщательно прикрыла за ушедшими практикантами дверь и сказала небрежно:

— Андрей Петрович, напишите записку слесарю, чтоб замок открыл. Без вашего распоряжения он никак не соглашается, говорит — занят...

— Какой замок?

— А на почтовом ящике!.. Я ключ где-то посеяла. Думала, может, вчера на почте обронила — так нет, не нашелся... Почему, Андрей Петрович, если никудышное что потеряешь — так обязательно найдешь, а нужное — поминай как звали! Вот у меня был случай...

— Та-ак...— сказал Воскобойников, поднимаясь из-за стола.— Значит, со вчерашнего утра ты писем не вынимала, и все письма, какие набросали в ящик за два дня и ночь, до сих пор лежат там?

Ксения воинственно вскинула подбородок, готовая спорить и защищаться.

— Кто же бросает письма ночью? — возразила она для начала, чтобы уменьшить свою вину.— Ночью люди спят!

Воскобойников написал записку слесарю. Убедившись, что ругать ее не будут, Ксения сразу сникла и на прощанье робко попросила никому не рассказывать о ее оплошности.

— Ночью люди спят...— машинально повторил Воскобойников, оставшись один в кабинете и подходя к окну. Почтовый ящик висел на стене конторы неподалеку от окна, и Воскобойникову был хорошо виден его зеленый уголок. Ему вдруг показалось очень смешным, что письмо весь долгий день пролежало рядом с ним, в каких-нибудь трех метрах от письменного стола. Воскобойников прикинул на глаз расстояние и решил, что ошибается: больше двух с половиной метров от ящика до стола никак не будет!

Он прошел в свою комнату. Неожиданно появилась охота хозяйничать. Воскобойников поставил чайник на

электроплитку, подмел пол и прибрал в шкафу и на столе. Потом он воевал с комарами: на печном совке сложил костер из спичек, бумаги и еловых лап, выдернутых из веника.

Воскобойников дымил до тех пор, пока стало невмоготу дышать. Выпустив излишек дыма в фортку, он снял рубашку и уселся пить чай по-домашнему, в майке. Глаза слезились от дыма, но зато ни один комар не звенел над ухом. Воскобойников, блаженствуя, хлебал вприкуску крепко заваренный чай, горделиво поглядывал на прибранную собственными руками комнату и думал умиротворенно: «Вот так и будем жить в одиночку... Что ж делать, если женщины не знают, какие мы хорошие!»

Дверь без стука распахнулась.

— Сижма на линии! — выпалила телефонистка.

Поперхнувшись чаем, Воскобойников кинулся в контору, на ходу напяливая пиджак.

Густой спокойный голос Потапова гудел в мембране.

— Умаялся небось без меня? Понимаю, брат, сочувствую... Проволока уже в пути, жди завтра к полудню. Сам прилечу на самолете денька через два, помыкайся еще немного, поломай свои интеллигентские косточки!.. Тут, брат, я наметил одну штукенцию строить...

Директор сплавной конторы любил технические новшества, по всей реке был известен как горячий поклонник плотин, и Воскобойников сразу насторожился.

— Что строить? Говори толком... Опять плотину?

Потапов засмеялся радостно и чуть-чуть виновато.

— Не можем же мы каждый год из-за быстрого спада воды древесину обсушивать? Уломаю тебя, будешь проект составлять!

— Ну, это мы еще посмотрим! — непримиримо сказал Воскобойников.— Я твоему фантазерству потакать не намерен: за технику и строительство я отвечаю.

— Тю-тю-тю,— поддразнил Воскобойникова директор.— Инженер, а строить боишься!

— Сколько проволоки наскреб? Тонны четыре будет?

— Бери выше!

— Шесть?

— Все семь наберется.

— Вот это здорово! — обрадовался Воскобойников.— Теперь нам с избытком хватит до подхода баржи. Можно даже нижней сплавконторе подкинуть.

— Это что еще за новости? — удивился Потапов.— Никакой благотворительности! Пусть сами для себя проволоку находят!

— Нет, будем помогать,— твердо сказал Воскобойников.— Приедешь — объясню.

Он положил трубку, снисходительно подумал о директоре: «Какую-то плотину намечает Потапыч, а высоты паводка наверняка не учитывает... Все бы ему строить!»

Привлеченный шумом в конторе, появился хмурый Ивушкин.

— Теперь живем! — приветствовал его Воскобойников таким тоном, будто хотел доставить диспетчеру личное удовольствие: он терпеть не мог вокруг себя пасмурных лиц, когда ему самому было весело.

Ивушкин ничего не ответил и только с завистью посмотрел в спину Воскобойникову. Диспетчер завидовал его молодости, прочному месту в жизни, тому, наконец, что какие-то тонны ржавой проволоки могли так обрадовать Воскобойникова. Не существовало в мире никакой проволоки, которая способна была развеселить Ивушкина. С острой обидой старого неудачника ощутил он сейчас превосходство Воскобойникова над собой. Ничего не было у него за душой, что мог бы он ему противопоставить.

Перекати-полем прожил Ивушкин жизнь. Учился когда-то в институте, но не доучился. Был женат, но развелся, потерял семью. В поисках лучшего места изъездил всю страну, работал и на юге, и на Крайнем Севере, сменил с десяток профессий и на старости лет как-то совсем случайно застрял здесь, стал неожиданно для себя сплавщиком. Даже утеха его — пестрые знания, почерпнутые из энциклопедии, показались Ивушкину сейчас лоскутными, устаревшими, никому не нужными...

А Воскобойников с легким сердцем распахнул дверь своей квартиры и замер на пороге, будто споткнулся. На стуле посреди комнаты сидела Анна и смотрела на него немного сердито и чуть-чуть растерянно, как смотрят самолюбивые люди, когда приходится признавать свою неправоту. На ней было его любимое платье вишневого цвета, и все вещи в комнате — и стол, и шкаф и умывальник — выглядели теперь как-то иначе, словно понимали, что пришла хозяйка. Вещи явно переметнулись на сто-

рону Анны и приобрели новый, неожиданный смысл, точно и созданы-то они были для того лишь, чтобы окружать Анну, оттенять ее вишневое платье, прятать запачканные в грязи туфли...

Пешком пришла! И сама, по своей воле... Даже письма от него не дождалась!

Воскобойников долго неподвижно стоял на пороге, не спуская с Анны глаз, боясь, что она вдруг исчезнет, если отвести глаза в сторону или пошевелиться.

— Закрой дверь,— тихо сказала Анна.— Комаров напустишь.

ТЯЖЕЛЫЙ ВОЗ

1

Шура положила руку на штурвал и крикнула в переговорную трубку:

— Полный вперед!

За кормой катера дружно заклокотала вода. Рывком взмыл затопленный тяговый трос; повисшая на нем тонкая водяная пленка радужно сверкнула на солнце. Пучки бревен грузно зашевелились, вытягиваясь вдоль троса. У передней кромки головных пучков вскипал невысокий бурливый вал.

Катер работал на буксировке древесины от сплоточной запани к формировочному рейду, расположенному в четырех километрах ниже по течению реки. На рейде загорелые, жадные до работы формировщики составляли из поступающих катерных возов транзитные плоты.

Свежий ветер гулял по реке. Шура запахнула полы просторной брезентовой куртки. Катер повиновался каждому движению ее руки, и от этого ощущения власти над послушным мощным механизмом Шурой овладело горделивое чувство собственной силы.

Она заглянула в накладную, разочарованно поморщилась: всего лишь триста десять кубометров. Шуре хотелось провести длинный тяжелый воз, утереть нос старшему рулевому Векшину и мотористу Боровикову, насмешнику и зубоскалу. На катере Шура работала всего лишь вторую неделю, и ей казалось, что новые товарищи все еще присматриваются к ней, прикидывают, на что она способна.

Обмелевшая река на всем протяжении до формировочного рейда пестрела частыми песчаными косами, и осторожный Векшин больше четырехсот кубометров не брал. «Попрошу мастера составить воз кубометров на шестьсот и проведу,— решила Шура.— Пусть знают, с кем имеют дело!»

Впереди зазеленел густо заросший кустарником остров. Это был самый трудный участок пути. Против острова поперек реки вытянулась изогнутая серпом бурая песчаная коса. Левый проход был широкий и мелкий, а правый, по-над самым островом,— узкий и глубокий. Второй проход был опасен быстрым боковым те-

чением в протоку, и Шура водила здесь катер только холостым рейсом.

Катер уже обогнул слева косу, когда вдруг вздрогнул всем корпусом, будто споткнулся. Шура выглянула из рубки: сосна со сломанной верхушкой маячила на берегу против катера, как привязанная. Воз не двигался — держали севшие на мель хвостовые пучки.

— Самый полный! — крикнула Шура в машинное отделение.

Взвихренная винтом вода бурлила за кормой, скрипел туго натянутый трос, но пучки не трогались с места. Шура осаживала катер назад, пробовала взять рывком, но безуспешно: проклятые пучки сидели как вкопанные.

По песку отмели прогуливалась сытая важная ворона. Склонив голову набок, она внимательно посмотрела на Шуру, осуждающе качнула хвостом и неторопливой обидной раскачкой пошла прочь, словно хотела сказать: «Что на тебя смотреть! Легкий воз не смогла провести, а туда же, расхвасталась: подавайте ей шестьсот кубометров!»

Векшин с учеником Сеней вылезли из кубрика. Сеня сочувственно шмыгнул носом, рулевой уныло пробасил:

— Как же ты так? Ведь говорил: держись подальше от песка.

Появился Боровиков. Шура настороженно поправила косынку. Хотя официально капитаном команды считался рулевой Векшин, но верховодил всеми делами на катере придирчивый моторист Боровиков. Сейчас его должно было радовать, что она опозорилась, дала повод для насмешек.

Боровиков зевнул, сказал Сене:

— Ступай расшлаговывай,— и скрылся в кубрике.

По всем признакам, моторист должен был ругать Шуру, а он даже не глянул в ее сторону. Зря пропадали все заранее приготовленные возражения и колкие слова. Сначала Шура растерялась, а потом еще больше озлилась на Боровикова: «Добреньким прикидывается!»

Прыгая по зыбким пучкам, Сеня добрался до хвоста воза и снял трос с пучков, севших на мель.

— Шесть пучков застряло,— доложил он, вернувшись на катер.

— Считай: сорок кубометров! — мрачно сказал Векшин и сплюнул за борт.

2

Вечером всей командой снаряжали второго моториста, Кирпичникова. Боровиков дал ему желтые скрипучие ботинки и новую фуражку с крохотным московским козырьком. Векшин вынул из сундучка узенький пояс с никелированной пряжкой. Неимущий подросток Сеня сунул старшему товарищу в карман перочинный ножик — на всякий случай: может, и пригодится. Кирпичникова поворачивали во все стороны, ревниво оглядывали, давали советы.

— Захочешь курить — проси разрешения, — посвящал Боровиков молодого моториста в тонкости этикета.— Они это любят... Да возьми у меня одеколон, побрызгайся гуще: женский пол эти штуки обожает.

— Брызгался уже,— сказал вконец замученный участием товарищей Кирпичников и по ребристому пружинящему трапу сбежал на берег.

Мелкими, осторожными шажками он пробирался по вязкому илистому берегу, стараясь не запачкать ярких ботинок. Со стороны клуба слышалась однообразная, скучающая трель балалайки.

— Что это Кирпичников сегодня такой праздничный? — спросила Шура.

— Полная боевая изготовка для покорения женского сердца,— объяснил Боровиков.— Кокетничает тут с ним одна красотка, не дает решительного ответа. Ну да мы заставим ее ответить!

— Мы? — удивилась Шура.— Тоже помощнички нашлись! Оставьте их в покое, они сами скорей договорятся.

Боровиков снисходительно ухмыльнулся, взял ломик и открыл крышку бункера. Темное смрадное облако повисло над катером.

— Сеня! — крикнула Шура.— Иди в кубрик, вытаскивай изо всех углов белье. Обстираем с тобой наших женихов!

Сеня вопросительно посмотрел на Боровикова.

— Кончилась спокойная жизнь! — сказал тот и до отказа вогнал ломик в бункер.

Два пухлых узла грязного белья лежали на песке. Сеня колол дрова щербатым топориком. Шура красным пожарным ведром носила воду в котел.

— Хозяйственная девица,— задумчиво произнес Векшин.— В кубрике чистоту навела, стирать добровольно вызвалась. И сама из себя подходящая — что рост, что глаза...

Боровиков презрительно фыркнул.

— Глаза у нее рыбьи, а насчет хозяйственности — в доверие войти хочет, подлизывается. Я ее насквозь вижу. Женщины для меня раскрытая книга вот с таким шрифтом! — Боровиков раздвинул пальцы на добрый дециметр.

— Может, и так,— согласился податливый рулевой.— Это она ведь только здесь недотрогу разыгрывает, а на берегу ты ее и не узнаешь, так за механиком и увивается. Из-за него к нам и на работу перевелась. Чтобы поближе быть...

Сколько Боровиков помнил, Векшин вечно торчал на катере, лишь изредка ходил в ларек за продуктами, но не было такой сплетни во всей сплавной конторе, которая прошла бы мимо его маленьких, плотно прижатых к голове ушей.

Сеня сидел на корточках у закипающего котла, курил, щурясь от дыма.

— Не я твоя сестра... — ворчала Шура, намыливая белье.— Научила бы я тебя табак переводить... Катер запакостили, мальчишку сбили с панталыку. Работнички!

— Зря ругаетесь,— обиделся Сеня.— Катер наш — газогенераторный самовар, это верно. Зато команда у нас знаменитая: Векшин рулевым на пассажирских пароходах работал, а лучше Боровикова нет моториста на всей реке.

— Клапана стучат, как счеты в бухгалтерии. Первый моторист!

— Значит, надо, чтоб стучали,— солидно сказал Сеня и, не в силах удержать тайну, поведал Шуре: — Мы новых катеров ждем, дизельных. Вот Боровиков и не ремонтирует, боится — не переведут тогда на новый катер. И в кубрике по той же причине не убираем. Теперь поняли?

Шура развела руками.

— Что и говорить, знаменитая команда!

Шура выстирала все белье и заставила Сеню, как тот ни упирался, вымыть горячей водой голову. Воду Сене пришлось менять четырежды, и каждый раз, выплески-

вая грязную воду из таза, ученик стыдливо отводил глаза в сторону — такой траурной черноты была вода. Он совсем было приуныл, а потом воспрянул духом, вовремя сообразив: вряд ли ученики с дизельных катеров меняют воду больше двух раз, когда моют свои головы.

«Газогенерация!» — горделиво подумал Сеня.

На ночь катер пристал к берегу. Когда Шура с Сеней вошли в кубрик, Векшин лежал в ботинках на постели, храпел тонко, с присвистом. Боровиков сидел за столом, читал растрепанную книгу. Сизый махорочный дым овевал настороженное, недоверчивое лицо моториста. На круглой чугунной печурке исходил паром помятый, ярко начищенный чайник. Шура разбудила Векшина, уговорила снять ботинки, поставила перед Боровиковым пустую консервную банку вместо пепельницы и села с Сеней пить чай.

Сеня из-за плеча Боровикова заглянул в книгу.

— Как ты читаешь? Тут половины страниц нету.

— Больше пищи уму! — наставительно сказал моторист, потянул Сеню за мокрый вихор и искренне удивился: — Да ты, браток, оказывается, белесый!

Боровиков осторожно переворачивал ветхие, захватанные листы. Не отрываясь от книги, привычным широким взмахом руки бросил окурок в угол кубрика. Шура молча встала из-за стола, подняла окурок, положила в консервную банку. Сеня ехидно хихикнул.

— Внедрение культуры! — сказал Боровиков и злопамятно посмотрел на Сеню.

После чаепития Шура ушла в угол, отгороженный занавеской, а Сеня юркнул под одеяло и сразу затих. Маленький круглый нос Сени хитро сморщился, словно принюхивался к снам, обступившим подушку, выбирал из них самый интересный. Боровиков сидел далеко за полночь. Курил, старательно стряхивая пепел в консервную банку. Часто отрывался от книги, пристально смотрел перед собой — давал пищу уму.

Шуру разбудили приглушенные голоса. Предутренний резкий холод просачивался в кубрик. За бортом сонно плескалась вода.

— Не любит она меня, — говорил Кирпичников, —

только играет. И черт меня дернул влюбиться в такую!

— Эх ты! — презрительно отозвался Боровиков.— Распустил нюни: «Любит — не любит». Ходишь вокруг, как теленок, все на красоту свою надеешься. А женщину, браток, главное дело, удивить надо. Смелостью, языком, работой, хваткой, чем угодно, лишь бы удивить!

— Ни-че-му она не удивляется! — пожаловался Кирпичников.— Я все твои советы в точности исполнял, а она как каменная!

— Тише ты! — шепнул Боровиков.— Принцессу нашу разбудишь.

«Сам ты принцесса, книжник несчастный!» — снисходительно подумала Шура.

3

Утром на катер пришел механик, принес приказ. Из бункера густо валил пахучий смолистый дым. Брезгливо морщась, механик протянул Боровикову синий листок.

— «С получением сего...» — нараспев прочитал Боровиков и, не спуская прищуренных глаз с косых височков механика, повесил листок на стену рубки. Тупой гвоздь безжалостно проткнул замысловатую подпись.

— Можно тебя на минутку? — напряженным, зазвеневшим голосом позвала Шура и отошла с механиком на корму катера. Боровиков мельком глянул на них и отвернулся. Как заискивающе Шурины пальцы теребили лацкан чужого пиджака!

Сене вдруг смертельно захотелось подслушать разговор на корме: ему давно уже не терпелось в точности разузнать, что нужно говорить, если ты влюбленный. Для отвода глаз он пополоскал швабру за бортом и, распуская по всей палубе грязные ручьи, двинулся на корму.

Но ничего поучительного Сеня не услышал. Сначала Шура и механик молчали, ожидая, видимо, что Сеня уберется куда-нибудь подальше. Потом, убедившись, что Сеня со своей шваброй обосновался по соседству всерьез и надолго, Шура спросила с упреком:

— Почему ты стал меня избегать?

— Нашла время для объяснений! — досадливо буркнул механик.— В другой раз потолкуем.

Он небрежно кивнул Шуре на прощание и, старательно переступая через многочисленные Сенины ручьи, двинулся к трапу. Шура проводила его долгим растерянным взглядом. Никогда еще Сеня не видел у нее такого открытого, незащищенного выражения лица.

«Вот она какая бывает, любовь!..» — боязливо подумал Сеня. А Векшин, наблюдавший за Шурой через тыльное окно рубки, почесал кончик длинного унылого носа и окончательно решил, что Боровиков сильно ошибается, считая глаза Шуры рыбьими.

Вечером, сдав смену, Шура юркнула за занавеску и вышла оттуда в праздничном сиреневом платье и белых свеженачищенных мелом тапочках. Всей спиной чувствуя осуждающие взгляды, она спустилась на берег и по скошенному лугу напрямик зашагала к поселку.

А на палубе катера — там, где ступала Шура,— остались меловые следы от ее тапочек. Один такой след был хорошо виден Боровикову из машинного отделения. Когда катер с возом вышел на фарватер, встречный ветер сдул крупинки мела, но контур следа долго еще чуть заметно белел на темной металлической палубе. А потом на белый след широким мокрым сапогом наступил бригадир формировщиков, и после ничего уже нельзя было рассмотреть...

Вернулась Шура рано, едва катер пришел из последнего рейса. Векшин многозначительно посмотрел на Боровикова и пригласил Шуру:

— Садись чай пить. У меня конфеты есть, лимонные корочки.

— Напилась я досыта! — сказала Шура и скрылась за занавеской.

Векшин перекинул через плечо полотенце, поднялся наверх. Из угла, отгороженного занавеской, послышался тихий, сдерживаемый плач. Боровиков вскочил, потоптался на месте и, срываясь со ступенек лестницы, выбежал из кубрика.

Сеня и приятель его, ученик с соседнего катера, барахтались в реке, визжали. Векшин, склонившись над водой, старательно намыливал жилистую шею.

— Не ладится у нее с механиком,— сказал всезнающий рулевой.— Тот за телефонисткой Зоей теперь приударяет. Наша Шура для него слишком простая!

— «С получением сего...» — буркнул Боровиков и спустился в машинное отделение.

Он обтер ветошью мотор, взялся за швабру. Через полчаса чисто заблестела насечка на стальных листах пола. В помещении стало светлей, словно накал прибавился в лампочке. Боровиков выпрямился, смахнул пот со лба и вдруг отчетливо, будто видел наяву, представил, как, уткнувшись лицом в подушку, плачет в своем углу Шура. В памяти всплыло лицо механика, брезгливое, с косыми височками. «И что она в нем нашла? Девчонка!»

Боровикову хотелось сейчас презирать Шуру, и, видит бог, он добросовестно пытался ее презирать, но из этого ничего не получалось. Странное дело, недостатки Шуры, только потому, что это были ее недостатки, оборачивались вдруг достоинствами. Боровиков даже головой покрутил, дивясь такой непонятной нелепости.

«Как будто свет клином на ней сошелся... — растерянно подумал он.— Взвалил на себя груз... Эх ты, и все-то у тебя не как у людей!»

Среди ночи, когда на катере все спали, из машинного отделения раздавался глухой стук ключей и тихая, яростная ругань. Это Боровиков занялся регулировкой клапанов. Заспанный Сеня заглянул было к нему, осведомился виноватым голосом, не нужно ли помочь.

— Всю жизнь мечтал о твоей подмоге! — фыркнул Боровиков и одарил Сеню увесистым шлепком пониже спины.— Ступай спать, младенец!

Светало, когда Боровиков закрутил последнюю гайку. Он вымыл керосином грязные натруженные руки и, сильно фальшивя, пропел вполголоса в гулкой тишине:

Там работал отчаянный шофер,
Звали Коля его Снегирёв...

И сразу умолк, застыдившись.

4

В субботу на запань приехали артисты из города. На катере кинули жребий, кому работать во время концерта. Выпало — Векшину и Кирпичникову.

Накануне ночью Кирпичников вернулся из поселка взбудораженный, хмельной от первого счастья. Не в силах ждать до утра, он разбудил Боровикова, угостил его толстой папиросой, похвастался:

— Эх, как она, оказывается, любит-то меня!.. И ничем ее не удивлял, а просто взял и открылся. Она и говорит: «Что же ты раньше молчал?» Вот какие дела, дружище. Не пригодились твои советы...

Теперь, вытянув несчастливый жребий, Кирпичников сразу заскучал, издалека повел с Боровиковым тонкий разговор.

— Дудки! — сказал Боровиков.— Я сам театрал: уже в четырнадцать лет без билета на балкон пробирался... Что передать твоей зазнобе?

Боровиков побрился, достал из чемодана парадную гимнастерку с орденом и медалями. Прислушиваясь к шороху платья за занавеской, сел пришивать свежий подворотничок. Шура вышла, не глядя товарищам в глаза, напудренная, с неумело подкрашенными губами, в светлых туфлях на высоком каблуке.

Сеня помог ей сойти с катера, серым воробышком прыгал рядом, восхищенно заглядывал Шуре в лицо. Идти в туфлях по пучкам бревен было нелегко. Шура зацепилась за проволоку, чуть не упала.

— Спешит как! — прошептал Боровиков и рывком стащил гимнастерку, только медали звякнули.

В машинном отделении унылый Кирпичников стоял у окна, смотрел в сторону клуба.

— Сальник сменил? — хмуро спросил Боровиков и подтолкнул приятеля к двери.— Беги к своей крале, заждалась, поди.

Обеими вымазанными в масле руками Кирпичников стиснул отмытую добела руку Боровикова, заспешил к выходу. Боровиков с места дал полный ход. Векшин чертыхнулся в переговорную трубку: чуть не налетели на баржу.

Когда вернулись за следующим возом, на катер прибежал Сеня: парнишка так хлопал в ладоши, что даже проголодался. Первое отделение концерта уже кон-

чилось, больше всего Сене понравился фокусник. В антракте перед вторым отделением в клубе шли танцы.

— Наша Шура там самая красивая и танцует лучше всех! — с гордостью объявил Сеня.— Она сегодня веселая, все время смеется. Кавалеров около нее невпроворот!

— А механик? — глухо спросил Боровиков.

Сеня презрительно махнул рукой.

— Шура и внимания на него не обращает. Он с телефонисткой Зоей танцует.

Сеня щедро нашлепал повидла на ломоть хлеба и убежал в клуб.

Возвращаясь на запань за последним возом, Боровиков с Векшиным увидели Шуру. Она одиноко сидела на краю сплоточного станка, свесив над водой ноги в праздничных туфлях. Концерт в клубе был в разгаре: ребятишки облепили окна, тонкое пиликанье скрипки далеко разносилось по реке.

Шура поднялась на катер, устало сказала Векшину:

— Хочешь — иди на берег, я постою у руля.

Векшин торопливо поплескал водой в лицо и, высоко вскидывая тонкие ноги, запрыгал с пучка на пучок.

Мастер запани предложил Шуре на выбор два воза: один объемом триста кубометров, другой — почти семьсот. «Вот он когда пришел, твой долгожданный тяжелый воз!» — горько подумала Шура. Из окна машинного отделения высунулся Боровиков. В первый раз они с Шурой остались вдвоем на катере, и Боровикова подмывало совершить что-нибудь выдающееся.

— Бери семьсот,— предложил он.— Доведем.

— Семьсот так семьсот,— равнодушно согласилась Шура.

Катер медленно тащил длинный грузный воз. Боровиков стоял у мотора, чутко прислушивался, наклонив ухо. После регулировки клапанов мотор работал ровно, без стука. Боровикову почему-то казалось: если они благополучно доведут этот большой воз до формировочного рейда, то и у них с Шурой все пойдет на лад.

Когда на фоне зеленого острова зажелтела песчаная коса, Боровиков вылез из машинного отделения, подошел к рубке.

— Поведем воз правым рукавом,— строго сказал он, смотря мимо Шуры на скучный отлогий берег.— Ты только держи катер по-над самым песком, а то в протоку затащит. Как косу обойдешь, сразу круто поворачивай на фарватер, не смотри, что воз за песком остался: его течением развернет... Ну а если прозеваешь или мотор заглохнет, сидеть нам с тобой на острове, как робинзонам. Поняла?

Шура коротко кивнула головой, проводила глазами сутулую, неласковую спину Боровикова.

Катер шел возле самой косы, впритирку. И только Боровиков успел одобрительно шепнуть: «Молодец Шурка, ой молодец!» — как катер нудно закрипел днищем о песок и стал. Боровиков, не ожидая сигнала, дал задний ход. Шура выбежала из рубки, уперлась багром в мелкое дно. Течение медленно разворачивало воз, тащило его в протоку. У Шуры трещало в руках тонкое багровище, побелели от напряжения ногти. Боровиков прибавил газ. Винт тугой бурой струей гнал разжиженный песок. Катер тяжело подался назад, качнулся с борта на борт и вышел на чистую воду. Шура кинулась в рубку, направила катер в обход мели.

Течение стремительно несло в протоку заднюю половину воза. Если хвостовые пучки захлестнет за мыс острова — катер наверняка станет, не в силах вытащить бревна против течения из протоки. Шура затаила дыхание, Боровиков до отказа открыл дроссельную заслонку.

Кусты орешника на острове ползли назад все тише и тише. Долгую, томительную минуту кусты торчали на одном месте, а потом дрогнули, нехотя стронулись и, медленно набирая скорость, снова поползли назад: катер пересилил-таки течение протоки и вытащил хвостовые пучки на фарватер.

Боровиков благодарно погладил нагретый бок мотора.

Шура обернулась на скрип двери. На потной щеке Боровикова блестело свежее маслянистое пятно. Оно неожиданно делало замкнутого насмешливого моториста похожим на замарашку Сеню.

Во время беготни с багром у Шуры растрепалась праздничная прическа, и сейчас, раскрасневшаяся, оживленная, с потемневшими от недавнего возбуждения

глазами, она показалась Боровикову особенно красивой.

Они встретились глазами, сказали без слов «ай да мы!» и одновременно улыбнулись, довольные друг другом, и тем, что сумели одолеть все ловушки, расставленные рекой, и провели-таки большой воз. Шура вдруг решила, что на поверку Боровиков не такой уж задавака, каким она считала его раньше, и предусмотрительно отвернулась, боясь взглядом выдать себя.

— Зря мотор ремонтировали,— с напускным огорчением сказала она, спеша поддеть Боровикова, чтобы тот много о себе не воображал.— Дознается инженер, как мы без аварий такие большие возы водим, ни за что не переведет на дизельный катер!

Боровиков беззаботно махнул рукой.

— Ну и шут с ним, с дизельным. Мы и на своем самоваре утрем нос другим командам. Ты только посмотри, как он идет, красавец наш. Что твой крейсер!

Непривычная тревожная радость распирала Боровикова. Хотелось хвастаться, показывать свою удаль. Боясь выдать себя, он не смотрел на Шуру. В тесной рубке достаточно было лишь пошевелиться, чтобы дотронуться до нее, но именно потому, что это было так легко сделать, Боровиков стоял неподвижно и признательными, узкими от восхищения глазами разглядывал знакомый до мелочей, давно обжитый катер.

И хотя ничего военно-морского не было в старом газогенераторном «самоваре», который, вздрагивая всем корпусом от натуги, мирно тащил воз, Боровикову он показался вдруг и в самом деле похожим на боевой красавец крейсер.

Низко над рекой пролетали частые стайки диких уток — готовились к близкому осеннему перелету. Неяркое стеклянное солнце краем коснулось воды. Шура зябко повела плечами.

— Пойду закурю... — пробормотал Боровиков и головой вперед нырнул в кубрик.

Он скоро вернулся, напоказ дымя папиросой и стыдливо прижимая локтем к боку ватную телогрейку.

— Захватил заодно,— сердитой скороговоркой сказал Боровиков, накидывая телогрейку Шуре на пле-

чи.— А то простудишься, таскай тогда для тебя порошки, пилюли... Хлопот не оберешься!

На формировочный рейд тяжелый воз доставили благополучно. Только на хвостовых пучках от удара в берег перекосилась обвязочная проволока.

ТЕПЛЫЙ БЕРЕГ

1

Последние дни перед демобилизацией обернулись для Степана новой мукой.

Кругом все радовались, что скоро разъедутся по домам, хвастались друг перед другом красотой и верностью жен, хозяйской их хваткой, школьными успехами детей. Обстоятельно было продумано и выверено у солдат все: и с какой стороны подойдут они к своему дому, а если случится это в ночную пору, то куда будут стучать — в окно или в дверь, и что сделают, когда увидят родных, и какие слова скажут самыми первыми, для начала. Долгой была разлука, и даже у самых равнодушных и беспечных успела обрасти затаенная мечта всеми милыми сердцу подробностями.

И хотя из прежнего своего опыта Степан знал, что добрая половина всех этих приготовлений не понадобится, ибо в жизни все выйдет совсем иначе — проще, неожиданней,— но сейчас остро завидовал однополчанам. До сих пор одна прямая солдатская судьба вела их всех, а теперь дробились, ложились врозь их пути-дороги. На тысячи верст раскинулась отвоеванная благодарная земля, но не находил себе места Степан на этой просторной земле. Где та дверь, то оконце где, куда мог бы он постучаться? В целом мире не было даже фортки махонькой, которая в лихорадочной дрожи затрепетала бы под нетерпеливыми, заждавшимися пальцами возвратившегося хозяина.

В свободное от дежурств и занятий время вся казарма бурлила возбужденными голосами. Чтобы не омрачать радости товарищей и своей раны не растравлять, уходил Степан из казармы, часами бродил по глухим, безлюдным углам военного городка. Но от самого себя уйти было труднее, и Степан снова и снова вспоминал, перемалывал на неумолимых жерновах памяти самое свое тяжкое — последнюю встречу с родным селом.

...Летом сорок четвертого года, на пути из госпиталя в часть, удалось Степану завернуть в Ольховку. Он сошел с поезда на ближнем к селу разъезде и, не встретив никого из знакомых, ни с кем не поговорив, зашагал по проселочной дороге, по твердым грудкам засохшей гря-

зи. Теплый утренний туман сносило к болоту, и лес вырисовывался отчетливей, точно придвигался к проселку, чтобы получше разглядеть Степана. От медных сосен стеной валил густой смолистый запах. Как встарь, бездумно пересвистывались синицы и дятел стучал старательно, самозабвенно. Не верилось, что где-то в мире громыхала война.

Чем ближе к Ольховке — тем торопливей шагал Степан. Он знал, что его никто не ждет: отступающие немцы сожгли село, а жителей, не успевших спрятаться в лесу, расстреляли в овраге за выгоном. Полегло там и все семейство Степана: жена и двое детей. Жену звали Катериной, мальчика — Гришей, а девочку — Нюрой. Одни лишь имена остались теперь у него.

Степан знал все это из письма односельчан, но сейчас в мирном, щебечущем птицами лесу никак не верилось в гибель близких. Не могло этого быть, просто не могло. И Степан шел все быстрей, почти бежал, будто спешил навстречу радости. В такт шагам болтался надетый на одно плечо вещевой мешок, мягко толкал в спину, потораспливал.

Отступил от дороги молодой густой ельник, закрывающий горизонт. Степан припомнил, что с бугра уже видно село. Он взбежал по косогору и, лишь только высунулся из-за макушки бугра, тут же попятился: села не было. Незнакомая пустая равнина лежала перед ним. И что-то разом упало, оборвалось в Степане: перед лицом этой чужой голой равнины надеяться было не на что.

Странно спокойный, безучастный, бродил Степан по пепелищу, с трудом узнавая родимые места. Мощный, выше человеческого роста бурьян захлестнул обугленные остатки изб. Над жирно-зеленым хищным раздольем бурьяна страшными памятниками порушенной мирной жизни торчали непривычно высокие, обнаженные трубы печей. Слабо пахло старым, невыветрившимся запахом гари. Неживая кладбищенская тишина стояла вокруг.

Немногие уцелевшие жители Ольховки ютились в землянках и обвалившихся блиндажах. Худенькая белобрысая девочка сидела на куче хвороста у входа в землянку, босые ноги по щиколотку были покрыты черной пылью пожарища. Уткнувшись подбородком в острые исцарапанные коленки, она со строгим любопытством смотрела на Степана. Больше чем надо видели на своем коротком веку эти широко распахнутые на жестокий мир

глаза,— и не выдержал Степан ее взгляда, отвернулся.

В центре села, по-бабьи неумело размахивая топорами, пяток плотников в юбках тесали бревна. Обкладной венец очертил контур первого дома возрождающейся Ольховки. На неровно отесанных, с заусеницами бревнах густо высыпали зернистые капли смолы. От позабытого кисловатого запаха свежей щепы дрогнули ноздри Степана.

Командовал бабами инвалид Савелий Иванов — старый дружок Степана. Председателем «подземного сельсовета» отрекомендовался он, и неуместной показалась Степану шутка неунывающего Савелия. Да и первая стройка не порадовала его: своей яркой белизной она еще резче выпячивала нежилую пустоту сожженного села.

— На подворье своем был? — спросил Савелий.

— Нет еще...

— Ну так пойди посмотри. И туда наведайся...— Он повел головой в сторону оврага и вдруг закричал: — Сходи, сходи, злей будешь, а то больно добрые мы!

И, придерживая протез рукой, быстро, зло, неумело заковылял к плотникам,— видать, не привык еще к своей деревяшке.

Не сразу отыскал Степан свой двор. Буйные лопухи захлестнули родное пепелище, а на месте скотного сарая зеленой стеной стояла непролазная роща лебеды. Гремя упругими, неподатливыми листьями лопухов, Степан медленно обошел вокруг печи. Из-под ног выскочила длинная тощая кошка с выводком серых котят-дичков. Кошка грудью припала к земле, котята, перепуганно фыркая, кинулись в лебеду. Один котенок запутался в лопухах, жалобно запищал. Хищно выгнувшись, не спуская со Степана узких горящих глаз, кошка боком подкралась к котенку, схватила его зубами за загривок и пружинисто прыгнула вслед за котятами. Волна качнула темную заросль бурьяна, и мелкие, серебристые с исподу листочки лебеды долго еще шептались — тревожно и дико.

Кошка показалась Степану знакомой: такие же бурые пятна на боку и черная полоса вдоль спины были у котенка, с которым играл Гришутка. Он любил привязывать бумажку к его хвосту...

Каменная плита-приступок, что лежала у порога избы, уцелела. Степан устало опустился на плиту, провел рукой по шершавому надежному камню, машинально

достал кисет. Он выкурил подряд три закрутки, прижигая одну о другую. Глаза прикованно застыли на обомшелом углу плиты.

Принести плиту к порогу свежесрубленной пятистенки уговорила Степана жена: перед старым родительским домом Катерины лежала такая же плита. К речке, где Катерина облюбовала камень, они пошли уже поздно вечером. В тот день Степан пожадничал и не бросил работу, пока они не поставили все стропила. Новостройка, еще вчера незаметная издали, сразу подалась вверх и стала видна даже от берега речки. По дороге они все оборачивались, смотрели на дело рук своих и радовались, что изба выходит такая прочная и красивая — лучше всех соседних изб. Смешно шевеля губами, Катерина на пальцах считала, когда они справят новоселье, а Степан, дразня жену, советовал ей разуться и подзанять пальцев у ног.

Камень оказался тяжелей, чем думала Катерина, но Степан проникся вдруг нетерпеливым желанием жены и решил нынче же перенести плиту к избе. Катерина тогда уже была беременна Гришей, и Степан запретил ей браться за камень, но она украдкой, за спиной мужа, все-таки придерживала плиту одной рукой. Идти по прибрежному косогору обоим рядом было неудобно, они часто оступались. Но почему-то им в тот вечер было особенно весело, они много и беспричинно смеялись и донесли-таки камень без отдыха до порога избы. Плита сразу же легла на свое место как вкопанная, и ковылявший мимо дед Василек — общепризнанный знаток всех примет и заядлый любитель докладов о международном положении — сказал, что это к добру: избе не будет сноса, а молодым хозяевам предстоит долгая привольная жизнь. Плохим пророком оказался дед Василек!..

Степан сходил в овраг за выгоном и долго стоял там в душной недвижной тишине июльского полдня перед невысоким расплывшимся холмом братской могилы. Но уже ничто не отозвалось в душе Степана, ничего не прибавилось к той муке, какая жила там.

Видно, и самое лютое горе имеет свой предел.

А вечером Степан забрел к деду Васильку. Тот пережил немцев и полицаев и теперь виновато смотрел на Степана выцветшими белесыми глазами, точно стыдился, что уцелел, когда столько молодых и здоровых погибло. Степан пил мутный, для крепости сдобренный махоркой

самогон и выпил много, но хмель не брал его, и тоска, тяжело ворочаясь, вгрызалась в душу все глубже и глубже.

Дед Василек зажег коптилку — и низкая мокрая землянка нависла над Степаном. Ему почудилось вдруг, будто его заживо похоронили. Опрокидывая пустые бутылки, он бросился к выходу. Дед Василек еле настиг Степана на улице и, понимающе глядя на перекошенное болью лицо, кинул ему на плечо вещевой мешок. Привычная тяжесть мешка напомнила Степану о марше, о фронте. Он рывком пожал ледяную руку Василька и, не разбирая дороги, зашагал прочь из Ольховки.

Уже под утро догнала Степана пустая телега. Серыми шарами катились низкорослые монгольские лошадки. Выложив протез вдоль гребня телеги и свесив здоровую ногу наружу, лошадьми правил председатель «подземного сельсовета» Савелий Иванов.

— Садись, подвезу,— предложил он, ничуть не удивившись, словно заранее знал, что встретит Степана.

Тот с сомненьем посмотрел на невзрачных лошадок.

— Ты не гляди, что конята мои мелкого масштабу,— заступился за свое тягло Савелий.— Силенкой их монгольский бог не обидел. А уж свирепы — чистые тигры! Эт они уже маленько обвыкли и меня зауважали, а по первости оторопь брала: в степях своих одичали до невозможности, так и кидаются на людей — прямо как псы сторожевые! Дед Василек сунулся раз — так чуть ухо ему не ликвидировали. Не жаловался вчера? Знать, постеснялся фронтовика... А уж хитрые, дьяволы! Прямо без переводчика все кумекают.

Степан сел в телегу, лошадки недружелюбно покосились на него. Савелий толкнул его в бок.

— Примечай, уже засекли! Вот тот меньшой самый у них дошлый гитлерюгенд!.. А первомайцы чуть зазевались — и вовсе от них утекли. Аж под Калугой переняли. И что интересно: как взяли с места буссоль цели на родимую свою Монголию — так и дуют! В районе по карте прикидывали: и на километр в сторону не снесло. Вроде компасы у них в башках сидят — так и чешут по азимуту!

Савелий тронул самодельные веревочные вожжи. Мышастые лошадки, прядая ушами и шумно отфыркиваясь, неожиданно легко и дружно пошли на подъем:

— Гля, какие чингисханы!

Степан так и не понял: на самом деле Савелию так

весело тут жить со своими *конятами* или просто хотел он болтовней скрасить дорогу и отвлечь его от тяжелых мыслей.

— А то вот ёще у нас случай был...

— Хватит тебе болтать-то,— остановил его Степан.— Куда правишься?

— В район насчет пилорамы. Сгоряча пообещали нам раму на три сельсовета, а теперь в кусты. Ну да не на таковских напали! Да и со школой пора решать: сентябрь на носу. Для начала хотя бы один класс на все село... Ты чего уставился? — удивился Савелий и тут же сам и догадался: — А-а... Мне тоже по первости никакая работа на ум не шла. Все чудилось, вроде жизнь кончилась. А теперь...

— Значит, продолжается жизнь? — тихо спросил Степан.

— А как же! Раз неубитые мы с тобой — будем жить. Так-то, друг Степа. Ты не думай, работать и с бабами можно: они тут за войну такие курсы квалификации прошли, какие нам с тобой и не снились! Любую мужскую работенку справят: на выставку не посылать, эт точно, а так — соответствует. Кончай войну и дуй к нам. Разделение труда сварганим: ты строить будешь, а я дефициты выколачивать, по сусекам районным скрести, с начальством цапаться. Мы тут с тобой, Степа, еще такую новую Ольховку отгрохаем!

— Вот-вот,— обиделся Степан.— И ты тоже!

— Ты о чем?

— Все о том же. Что-то больно много нынче развелось таких мужиков — жизнь задом наперед запрягают. Уж чуть ли не до того договариваются: спасибо немцам, что спалили наше старье паршивое, мы теперь на том месте получше прежнего сладим! Так, что ли? И ты туда же?

Савелий покосился на Степана, будто засомневался вдруг: тот ли это Степан, с которым они когда-то крепко дружили парнями. Бог его знает, что он там углядел, а только ухмыльнулся одобрительно. Похоже, ему даже интересно стало поближе сойтись с новым этим Степаном, с каким, к тому дело идет, поднимать ему родную Ольховку.

— Эт ты верно подметил,— посмеиваясь, охотно согласился Савелий,— бывает, и до такого непотребства договариваемся, бывает. Ни в чем середки не знаем, вот

и заносит на поворотах. А кой-кому и поперед других забежать хочется, чтоб и там его, бедолагу, заметили...— Он пустил палец штопором кверху.— А только и на самом-то деле: ежли строить — так уж получше прежнего, а?

Степан досадливо махнул рукой.

— Ты сначала хоть сельсовет свой из-под земли вытащи!

— Эт само собой... Вот добивай Гитлерюгу — и назад. Встречать будем чин чинарем, в доме с крылечком! Ты только не задерживайся там.

Кажется, Савелий не шутя считал, что после того, как отчислили его из армии по ранению, так настоящая трудная война тут же и кончилась и на долю Степана осталась уже и не война вовсе, а так — одни лишь пустяковые добитки.

На разъезде они молча покурили. Савелий взгромоздился на телегу, половчей пристроил свою деревяшку и строго наказал Степану:

— Давай в полной целости вертайся. Смотри, чтоб кругом справный был, хватит тут нас, колченогих да одноруких. Сохраняй себя в полном комплекте, глупости моей не повторяй! — Он сердито похлопал себя по звонкой сухой деревяшке. И, разбирая уже нищенские свои вожжи, пошел на частичную уступку: — Главное, чтоб руки были целы, руки пуще всего береги! Какой ты плотник без рук?

И, не оглядываясь больше, укатил на злых своих монгольских конятах.

2

Низкое небо скупо роняло редкие сухие снежинки. Было тихо, снежинки не реяли в воздухе, а деловито и неотвратимо ложились на мерзлую землю, будто работу делали. И в тоскливой этой деловитости таилось обещанье суровой и долгой зимы.

Степан, ссутулясь, сидел на пне возле недостроенного батальонного спортгородка. Давно погасшая цигарка забыто стыла в углу рта.

— Вот ты где,— сказал сержант Юра Бигвава, подходя к нему и пытливо заглядывая в глаза.— Скучаешь?

— Отдыхаю,— буркнул Степан.

Юра сел на соседний пенек, очинил узким, холодно

блеснувшим ножом щепочку и стал ковырять ею в зубах. Степан подозрительно покосился на командира отделения. Прошлой зимой он вытащил раненого Бигваву из-под сильного минометного огня, и с тех пор тот постоянно высказывал ему свою благодарность. Общительный абхазец страдал оттого, что настоящей дружбы между ними никак не получалось: Степан часто замыкался в себе и подолгу молчал. В самое последнее время Степану начало казаться, что Юра что-то задумал и только выжидает удобного случая.

Юра перехватил настороженный взгляд Степана и напрямик пошел к цели.

— Знаешь что, Степа,— робко и немного торжественно сказал он,— едем к нам, в Абхазию...

И, вдохновляясь молчаньем Степана, Юра зазвеневшим вдруг голосом поведал, как неповторимо вкусен чистый горный воздух, как ласково плещется теплое море, как привольно живется на далекой его родине. Он соблазнял Степана обилием и добротностью виноградных вин собственного производства, сочными мандаринами, терпкой сладостью каких-то особенных груш, которые, презирая все другие края и земли, произрастают лишь в его Абхазии. Юра вошел в азарт: горячо заблестели выпуклые черные глаза, ноздри раздувались, словно вдыхали уже родные запахи.

— Едем, душа любезный! — для полноты впечатления нарочно коверкая язык, позвал он.— Не пожалеешь!

Снежинки заметно покрупнели и чаще замелькали в вечернем воздухе. Степан провел теплой рукой по застывшей щеке, вздернул воротник шинели. Юра зябко повел плечами, но из молодого щегольства воротник свой не поднял.

— А солнце у нас какое горячее! Целый день жарит без устали. Знаешь, сколько оно выдает у нас калорий на каждого жителя? — При случае Юра любил показать свою ученость.— Миллион двести тысяч калорий! И знаешь, каких калорий? Больших, самых что ни на есть больших! И не просто больших, а миллион двести тысяч больших абхазских калорий!

И Юра хитро подмигнул Степану молодым веселым глазом.

— Где будешь там работать? Чудак-человек, да где твоя душа пожелает — туда и пойдешь. Хочешь — в колхоз, хочешь — на строительство, хочешь — на железную

дорогу. Ведь ты же плотник, а эта специальность сейчас на вес золота. Будешь на песочке загорать, а тебя наперебой приглашать станут: пожалуйста, к нам на работу, милости просим; нет, к нам давайте, у нас вывеска на конторе красивей. Только выбирай!.. А знаешь, какие у нас девушки? — Юра зажмурился, точно от сильного света.— Отдай все, потом еще три раза отдай все — и мало будет!

— Это не для меня,— сухо сказал Степан, и Юра пожалел, что заикнулся о женщинах.— А ехать с тобой я согласный.— Степан встал, отряхнул снег с шинели и пояснил горько: — Мне все равно, куда ехать... Лишь бы не домой.

3

Расторопный Юра занял в вагоне лучшие места, получал сухой паек на станциях, ведрами таскал кипяток. Он предупреждал каждое желанье Степана, так что тому оставалось лишь лежать на полке и смотреть в окно.

— На юг, на юг...— четко выговаривали колеса.

— На ю-уг! — трубил паровоз.

Дорога шла местами недавних боев, вдоль линии фронта. Все станционные здания лежали в развалинах, даже самые малые разъезды не уцелели, будто проползло здесь тысячелапое чудовище — нелепо жестокое и методически точное. Откосы густо пестрели исковерканными рельсами, раздавленными, обгорелыми коробками вагонов. За окном проплывали заваленные снегом бесформенные груды взорванных зданий. Силясь напомнить Степану родную Ольховку, печные трубы тянули из сугробов длинные закопченные шеи.

Упрямой человеческой неистребимостью веяло от наспех сколоченных убогих жилищ из обгорелых досок и ржавых кусков жести. Изредка маячили за окном новостройки, молодым, незаношенным кумачом краснел свежий кирпич. На строительных лесах копошились рабочие, но Степану все чудилось, что работают они с прохладцей: часто отрываются от дела, подолгу глазеют на эшелон с демобилизованными, ненужно расспрашивают, есть ли в поезде орловские, курские, харьковские... «Эй, люди,— хотелось крикнуть Степану,— что ж это вы делаете? Нельзя нынче так работать!»

Захлебываясь и негодуя, кричал паровоз перед закрытыми семафорами — спешил поскорей выбраться из опу-

стошенного войной края. Колеса зло стучали на мерзлых стыках — спешили, спешили, не давали чего-то додумать и понять Степану. Он бессильно закрывал глаза, отдавался холодному металлическому грохоту колес, уверенным, знающим свое дело гудкам паровоза.

Юра стал суетливым и непоседливым, будто бес вселился в него. На каждой остановке он выбегал из вагона, сновал по перрону, толкался на станционных базарах, помогал пассажирам таскать чемоданы и любезничал подряд со всеми молодыми спутницами. В вагон все больше набивалось его чернявых шумливых земляков. Юра пел с ними песни, дурачился. Степан с трудом верил, что этот легкомысленный парень еще недавно был его командиром.

Они проехали районы немецкой оккупации, но долго еще попадались разбитые бомбами станционные здания, будто остановленное чудовище упрямо тянуло вперед свою лапу и сюда успело-таки дотянуться.

Дорога врезалась в горы, ныряла в туннели. Редкими пятнами белел снег, заметно потеплело. Юра, как привязанный, торчал у окна, сделался молчаливей, подобранней, словно усиленно готовился к какой-то важной встрече. И однажды, когда Степан, свесившись с полки, провожал безучастными глазами скалистый косогор за окном, Юра вдруг завопил:

— Море!

В вагоне сразу стало светлей, будто выпала боковая стена. Кругом загалдели, с верхних полок горохом посыпались любопытные. Степан обернулся к противоположному окну, у которого стоял Юра, и впервые в жизни увидел море. Пустым простором размахнулось оно, насколько хватал глаз, и за нечетким горизонтом переходило в небо. Перемежаясь, вспыхивали и тут же гасли нестерпимо яркие солнечные блики. Кучерявая волна наступала на берег, силясь смыть хрупкую цепочку железнодорожного пути.

У берега море было светло-зеленое, а подальше густела, набирала силу нерастворимая синь. Синь эта манила, обещание неведомых сказочных стран жило в ней, и оторвать от нее глаза было трудно. Юра с горделивой, все понимающей улыбочкой поглядывал на Степана, и вид у него был такой хвастливо-важный, будто он собственноручно сотворил и раскрасил море.

Сгинул снег с косогоров, за окном плыли кусты

с прочной жирной зеленью глянцевитых листьев. Частью обещанных заморских чудес мелькали строгие стрельчатые кипарисы. Пахучий теплый ветер врывался в открытые окна вагона. Весной повеяло.

Степан долго, до рези в глазах, глядел на море, а потом вдруг заснул легким спокойным сном, какого не знал уже давно. Во сне он слышал, как любопытный морской ветерок хозяйски разгуливал по вагону, полоскал занавеску и щекотно играл волосами на его голове.

4

На станции, где они сошли с поезда, Юру встречали отец с матерью и сестра Ма́ница. Пока они обнимались, Степан смотрел в сторону и темно-бурым от махорочного дыма пальцем водил по стволу вокзального кипариса.

Мать Юры — низенькая старушка с резкими смуглыми морщинами — приподнимаясь на цыпочки, целовала Юру в щеку и плакала счастливыми тихими слезами. Плакала так же, как плакала когда-то и мать Степана, как плачут все матери на свете и как не привелось поплакать Катерине, ибо не выпало на ее долю горького материнского счастья провожать в дальний путь и встречать после долгой разлуки взрослых своих детей.

Отец Юры — не по годам стройный, сухой, весь словно прокаленный на жарком южном солнце — держался молодцом, разве только чаще чем надо разглаживал свои сизые, с густой проседью усы.

Юра подвел Степана к отцу.

— Мой друг. Будет у нас жить.

Торжественным плавным движеньем старик приложил руку к груди, а потом протянул ее Степану. Тот побоялся по неведенью напутать в чужих обычаях и пожал руку с преувеличенной осторожностью, будто здоровался с хрупкой барышней. Старик остался невозмутим, а Юра хмыкнул.

Вещи положили на короткую повозку с двумя высокими, широко расставленными колесами. В повозку была запряжена пара черных страшноватых буйволов, которые вдруг показались Степану знакомыми: видел когда-то в Гришуткиной книжке.

Медлительные буйволы лениво потащили арбу по крутой каменистой дороге. Юра шел рядом с отцом и разговаривал с ним по-абхазски. Степан заметил, что речь

Юры не поспевает за порывистыми его жестами: он часто запинался, вставлял русские слова. Видно, отвык за четыре года разлуки от родного языка. Несколько раз было упомянуто его имя, и Степан догадался, что рассказывается о том, как он вытаскивал раненого Юру с поля боя. Старик слушал, наклонив ухо, коротко и важно кивал головой, Маница с почтительным любопытством поглядывала на Степана сбоку.

А дома отец Юры сразу же повел Степана по всем комнатам и пристройкам, показал все свое хозяйство. Потом, когда показывать больше было уже нечего, он широким взмахом руки очертил круг и сказал — сначала на ломаном русском языке, а затем, для большей прочности, по-абхазски:

— Здесь все твое. Друг моего сына — мой друг. Будет кто нападать на тебя — умрем на пороге дома, а тебя не выдадим!

Степан поблагодарил, хотя и не совсем понял, кто станет на него нападать, кому он здесь нужен. Но, видимо, такова была выработанная еще века назад формула гостеприимства, а чужие обычаи Степан привык уважать.

Юре и Степану отвели угловую комнату, выходящую окнами в сад. Мандариновые деревья вплотную подступали к окнам, и когда ветер шевелил ветвями, мандарины стучали в окна мягкими, желто-зелеными кулачками, словно просились в дом. А внизу, за садом, темнело море, днем и ночью глухо, неумолчно шумел прибой.

5

И началась для Степана новая жизнь — праздная и ленивая. Они с Юрой ничего не делали, только спали и ели, пили виноградное вино и ходили в гости, где опять-таки их заставляли много есть и пить.

Вино было незнакомое, коварное: голова от него совсем не пьянела, но когда надо было вставать из-за стола, ноги неожиданно отказывались служить. К абхазской кухне Степан тоже никак не мог привыкнуть. Все было пересолено, переперчено, в неимоверных дозах сдобрено луком, чесноком и еще какими-то неведомыми едкими специями. За обедом во рту у Степана горело, и слезы навертывались на глаза. Но Юра тут же приходил ему на подмогу: подливал в стакан вина и уверял, что еще

немного — и Степан полюбит эти огненные кушанья, и тогда его за уши от них не оттянешь. Степан с великим сомненьем качал головой и, чтобы хоть самую малость унять невыносимое жженье во рту, отхлебывал из стакана и тайком от всех слегка приподнимался над стулом, проверяя, слушаются ли еще ноги или уже стали чужими, ватными.

В доме Юры по всем комнатам в вазах и корзинах, на всех столах и подоконниках лежали яблоки, груши, мандарины, приторно-сахарная хурма, которую Степан сначала принимал за помидоры. Прочный многолетний запах фруктов пропитал все вещи в доме, и Степану чудилось, что старый шкаф пахнет грушей, а умывальник — лимоном. Ранним утром запахи были тоньше, острее и, не смешиваясь, прохладными родниковыми струйками стояли в воздухе. К полудню нагретый воздух растворял все запахи, и они сливались в один густой пряный аромат.

Фрукты Степана особенно не прельщали, зато грецкие орехи, любимые им с детства, пришлись по вкусу. Он малость стыдился своей слабости: мужику за тридцать пять, а он орешками балуется! Но, кажется, никто не видел в этом ничего предосудительного, да и вообще не замечал плетеной корзины с орехами. И только когда плетенка, стоящая в комнате, где Степан спал с Юрой, показала свое дно, кто-то в их отсутствие наполнил ее сызнова. Степан почему-то решил, что сделала это Маница.

Солнце стояло высоко, грело не по-зимнему жарко, сполна поставляя абхазской земле все обещанные Юрой калории. Степан как снял по приезде шинель, так больше ее и не надевал.

В один особенно теплый день Юра соблазнил молодых своих земляков, восторженно глазеющих на его медали, выкупаться в море. Поджидая Юру на берегу, Степан разделся до пояса, подставил спину солнцу, но лезть в воду, хотя бы и соленую, посреди зимы все же постеснялся.

Вокруг раскинулись благодатные курортные места. Здесь не видно было развалин и пепелищ, и бомбежка обошла этот край стороной. Но отгрохотавшая война сказывалась и здесь: инвалидами, беспризорными детьми, понаехавшими сюда на зиму с севера, скудными продовольственными карточками в городе, дороговизной на базаре, поизносившейся за годы войны одежонкой.

Да и сама жизнь была здесь далеко не такая уж сы-

тая и раздольная, как сгоряча показалось Степану: фруктов и вина было вдоволь, а всего остального в обрез. И старики частенько довольствовались одной лишь мамалыгой не потому, что так уж обожали ее, как опрометчиво решил было Степан, а просто потому, что ничего другого, кроме кукурузы, в запасе у них не было.

В магазине сельпо, куда однажды забрел Степан, свободно можно было купить лишь сапожную ваксу, карандаши и расчески. А чтобы не пустовали широкие довоенные полки, расторопный продавец набил их противогазами, неизвестно зачем завезенными сюда и что-то не находящими спроса у местного населения. Так и стояла она, противохимическая эта защита, в прочных брезентовых сумках, выстроившись как на параде, и весь магазин смахивал на армейскую каптерку.

Степан побаивался, что старики занимают продовольствие у соседей, чтобы прокормить двух здоровенных мужиков и не ударить лицом в грязь перед ним — гостем. По всему видать, они готовы были разориться, лишь бы только как-нибудь ненароком не нарушить древний кавказский закон гостеприимства. По мнению Степана, с этим законом им тут всем житья не было.

Ведь размашистый этот закон сложился в такие давние и простодушные времена, когда люди сначала убирали урожай и лишь потом шли воевать. И войны тогда были короткие и нестрашные: выйдут две армии друг против дружки, попугают друг друга стрелами и копьями, популяют для острастки из кремневых ружей, порубятся малость саблями и шашками — и разъезжаются себе по домам к целехоньким своим урожаям — с чувством, что дело сделано и можно теперь приступать к мирной жизни. Легко тогда было выдумывать и соблюдать широкие законы гостеприимства!

А в эту войну миллионы людей на целых четыре года были оторваны от родных полей и хозяйство повсеместно пришло в запустенье. И война была непохожа на те древние войны,— недаром цыган из солдатской байки говорил: «Разве это война? Вовсе это не война, а сплошное смертоубийство!»

Да и вся жизнь теперь была совсем другой. Ведь тогда, когда зарождался гордый и расточительный закон гостеприимства, люди и слыхом не слыхали о механизации, хлебозаготовках, трудоднях, госпоставках, район-

ных сводках, досках Почета, о плане с его выполнением и перевыполнением, контрактации, нормировании труда, МТС, натуроплате и многом другом, что прочно вошло в нашу жизнь. Все это новое было придумано и острием своим нацелено на то, чтобы всячески улучшать нашу жизнь, но почему-то на деле частенько оборачивалось так, что хорошие придумки эти лишь осложняли и запутывали все вокруг. Степан никак не мог понять, почему так: целый год колхозники в далекой Ольховке или тут, на теплом берегу, трудятся не покладая рук и урожай снимают богатый, а на стол порой выставить нечего и в пустой кладовой с хозяйским посвистом разгуливает несытый сквознячок.

Да, нелегкое это дело — соблюдать в наши дни, после большой войны, древние законы гостеприимства!..

В воскресенье старик с Маницей ездили в город продавать груши. Они привезли с базара кислой капусты, и Маница по рецепту Юры сварила на обед щи. Приятно удивленный, усаживался Степан за стол. Но его поджидало разочарованье: капуста совсем разварилась, а картошка залубенела,— наверно, Маница по неведенью все разом бухнула в кастрюлю.

Подозревая ошибку, Маница спросила у Степана, похоже ли ее кушанье на русские щи. Чтобы не огорчать стряпуху, Степан сказал, что очень даже похоже, и попросил себе добавки. Отец и мать Юры переглянулись и пожалели Степана за то, что его всю жизнь кормили таким малосъедобным блюдом.

Степан выдержал неделю праздной жизни и в разговоре с Юрой закинул удочку — не пора ли уже им устраиваться на работу. Тот не на шутку обиделся — то ли сам по себе, то ли все из-за древних этих законов гостеприимства:

— Разве тебе плохо у нас? Живи, присматривайся, успеешь еще наработаться!

Юра уже щеголял в гражданском костюме и казался в нем еще моложе. Степан часто встречал его с тоненькой самолюбивой девушкой, фотографию которой видел у Юры еще на фронте.

Юрина невеста была и похожа на свою карточку и в чем-то совсем другая. На карточке она выглядела простенькой девчушкой, а в жизни в ней угадывался человек гордый, способный ждать, надеяться и добиваться того, чего захочет. Но даже и повышенное ее самолюбие, со-

гретое молодостью, по-своему украшало невесту, и Степану казалось, что Юра за это еще сильней любит ее. Любит и немного побаивается — как строгого начальника, который пока еще ничем не проявил своей строгости, но при случае может и проявить.

Видно было, что и она любит Юру, но в обиду себя не даст и командовать собой не позволит. Да Юра, кажется, и не стремился командовать ею,— хватит, накомандовался в армии. Она была моложе Юры года на три, но как бы старше его уже от рожденья. Ей не нравилось, когда Юра очень уж дурачился перед земляками, она хотела видеть будущего своего мужа посолидней. Похоже, когда они поженятся, она быстро приберет бравого сержанта к рукам. Впрочем, думал Степан, именно такая жена больше всего и нужна Юре.

На Степана невеста Юры поглядывала настороженно, будто все время ожидала от него какого-то подвоха. Однажды она немало удивила его, спросив, правда ли, что женщины в прифронтовой полосе, перед лицом военных испытаний, вели себя с воинами не так строго, как надо бы. Степан ответил, что женщины, как и мужчины, бывают разные — и здесь, в тылу, и в прифронтовой полосе. Невеста обиженно поджала губы и поблагодарила Степана за ценные сведения. Ему почудилось, что ей очень хотелось расспросить его поподробней, как держал себя ее Юра в этой опасной прифронтовой полосе. Но гордость не позволила ей шпионить за женихом, да потом она, кажется, была убеждена, что Степан по дружбе не выдаст боевого своего товарища, даже если у Юры там что и было.

Старики втихомолку готовились к свадьбе.

6

Степан не один раз ловил на себе пристальный, как бы изучающий взгляд Маницы. Сестра Юры была молчаливая, тихая, вечно хлопотала по хозяйству и, когда поблизости никого не было, напевала вполголоса на родном языке всегда одну и ту же, как казалось Степану, песню.

При первом же взгляде на Маницу сразу было видно, что она родная сестра Юры,— вот только фамильные их черты сложились в ней как-то по-иному, не так выгодно для нее, что ли. То, что в Юре было мягко, переменчиво, приятно для глаза и как бы остановилось на полпути, то

в Манице было доведено до конца, выглядело резче, суровей, улеглось в свои берега и уже навсегда затвердело.

Здесь сказывалось и то, что Маница была лет на пять старше Юры, но, по всему видать, и в самые юные свои годы она не так уж походила на брата. Создавая ее, природа только примерялась, начерно прикидывала свои возможности, чтобы позже, приступая к Юре, учесть все свои промашки и недоработки и больше их не повторить. Брату и сестре, пожалуй, лучше было бы поменяться местами, но сейчас Манице это все было уже не нужно. Она жила так, будто навсегда уверилась: главное и лучшее у нее уже позади и осталась ей теперь в жизни одна лишь работа. Маница не жаловалась на свою судьбу, но и радоваться ей тоже было нечему.

Юра рассказал Степану, что муж Маницы погиб летом сорок второго на Дону. На стене в столовой висела увеличенная фотография в самодельной рамке: старшина-артиллерист в гимнастерке прежнего образца. Тесно лепились на петлицах уже полузабытые Степаном треугольники, широкие строгие брови смыкались над переносицей. И может быть потому, что младший армейский комсостав давно уже распрощался с треугольниками и заимел лычки на погонах, Степану чудилось, будто муж Маницы смотрит на них из какой-то стародавней дали и до конца уже не понимает всей нынешней их жизни.

Степан поинтересовался, были ли у них дети. Да, была дочка, умерла еще до войны.

— Не повезло твоей сестре,— посочувствовал Степан.

Юра быстро глянул на него, хотел что-то сказать, но передумал и отвел глаза. Сдается, он собирался напомнить Степану, что и тому тоже повезло в жизни не больше, но не решился бередить его рану.

А вскоре случилось так, что Степан и Маница остались вдвоем во всем доме. Не поднимая глаз, Маница подметала пол, осторожно звенела посудой в шкафу. Степан сидел у окна, остро наточенным сапожным ножом крошил табак на дощечке. Неловкое трудное молчанье повисло в доме. Степану почему-то казалось, что Маница думает, будто он следит за ней. Невольно, сам не желая этого, он нет-нет да и отрывался от своей дощечки, поглядывал в ее сторону и чутко прислушивался к каждому ее шороху.

Они оба обрадовались, когда на веранде стремительно

зашелестели легкие подошвы Юриных горских сапог без каблуков. На пороге Юра приостановился, перевел глаза со Степана на сестру, хмыкнул и спросил насмешливо:

— Надеюсь, не помешал?

В словах Юры кроме обычного дружеского подтруниванья Степану послышалось и что-то новое. Похоже, Юра и в самом деле был бы не прочь породниться с ним. Уж не для того ли, чтобы отплатить ему добром за добро, а заодно и сестру пристроить, привез его Юра к себе в дом? Что ж, ежели по-человечески рассудить, в этом еще не было ничего зазорного для Степана: Маница — вдова, и он — вдовец, лучшие их годы уже закатились, а жизнь, хотя и покорежена войной, еще не кончилась. Любви меж ними уже не бывать, а так, по-хорошему, они могли бы и сладиться. Не век же ему теперь кантовать свою жизнь бобылем?

Во всем этом был свой резон, но Степану не хотелось думать, что Юра и пригласил-то его к себе в теплую Абхазию с таким вот тайным и дальнобойным расчетом. В этом было что-то обидное для всей их дружбы, да и не привык Степан, чтобы за него решали в жизни другие. Впрочем, из любви к справедливости он тут же стал на защиту Юры: а что именно тот за него решил? Самое многое — лишь показал ему свою сестру, познакомил их. А не понравится она ему, не сладятся они — так вольному воля...

А главное, открытие это просто захватило Степана врасплох. Он ни разу еще не думал о том, что Маница или кто-либо другой займет в его жизни место Катерины. Слишком жива еще была память о жене, чтобы думать ему обо всем этом. А теперь Юра легковесной своей насмешкой пододвинул его к этим явно преждевременным и трудным мыслям,— и вот именно за это Степан больше всего и разозлился на своего приятеля. Юра как бы выбил его из привычной колеи и заставил по-иному посмотреть и на себя и на многое вокруг.

И торопился сержант, слишком уж торопился! Все хорошо вовремя, и Степан просто не созрел еще для той жизни, где нашлось бы место и Манице. А Юра, на правах друга, бесцеремонно его подталкивал.

Степан никогда не вспоминал о Катерине так, как вспоминал о других людях, с которыми его разлучила смерть. Он вообще не думал о ней в обычном смысле этого слова, когда до какой-то минуты не вспоминают

о ком-то или о чем-то, потом вспомнят, а затем опять забудут до следующего раза. Степан не думал о Катерине — так же как не думал о том, что у него есть голова, сердце. Это было с ним постоянно, это было им самим, без этого он становился уже не Степаном. Что бы он ни делал, чем бы ни были заняты его мысли,— Катерина всегда жила в нем. Это было и мукой и счастьем. Даже во сне он не забывал о ней. Степана удивляло только, что Катерина никогда ему не снилась. Гришутка и Нюра снились часто, а она — ни разу...

Юра теперь целыми днями пропадал у невесты. От нечего делать Степан исходил окрестности на десяток километров вокруг. Он облазил все расщелины крутого извилистого берега, опасными козьими тропками, поросшими цепким самшитом, поднимался в горы. За первым же хребтом сгинула пышная декоративная красивость побережья, все стало попроще —243будничо и угрюмо. Степану полюбилось бродить в сумрачных буковых рощах, пить ключевую студеную воду, от которой дух захватывало и ломило зубы, а потом, сомкнув руки под головой, часами бездумно лежать на залитой солнцем прогалине, следить за игрой облаков в густо-синем, не по-зимнему высоком небе.

Вечерами Степан набивал карманы орехами, уходил к морю. Долго, до усталости в ногах, шагал по твердому намытому песку, не оставляющему следов, садился на камень. Каждый вечер Степан выбирал один и тот же плоский обломок скалы, смахивающий на заросшую бурьяном плиту в далекой Ольховке. Промаслившимся ребром увесистой гальки разбивал орехи. Нет-нет и галька замирала вдруг в руке Степана на весу: Гришутке бы жить в этих ореховых краях, тот, как и отец, тоже любил грецкие орехи.

Ведь были дети, были, и сын Гришутка был — носитель его фамилии. А теперь их нет — ни сына, ни дочки, и, выходит, на нем оборвется непрерывная эта нитка, дошедшая до него из тьмы поколений. Дойти до него дошла, а дальше вот не пойдет...

А рядом скованно дышало море. Упрямой чередой ползли на берег низкие волны. Выходя на отмель, волна вскипала белыми витыми гребешками, с гулким шумом разбивалась о скалистый берег, бессильно шипела пеной. Откатываясь, дружно шуршала звонкой галькой. И снова возвращалась — неуемная, работящая.

7

Как-то раз, выходя под вечер со двора, Степан увидел отца Юры. Тот стоял у поваленной изгороди и тесал кол. Степан подошел вплотную, молча протянул руку за топором. Старик послушно отдал топор, отступил на шаг. Степан снял пояс, аккуратно скатал его, потом расстегнул ворот гимнастерки, с наслажденьем поплевал на широкие, очистившиеся от мозолей ладони и взялся за первый кол.

Юрин отец стоял рядом, придирчиво смотрел Степану под руки. Ничего не скажешь, топор у русского плотника ложился точно, не проскальзывал и не врубался в глубь кола. Затес выходил гладкий, без заусениц, и грани получались ровные,— забивать такой кол в землю — не труд, а одно удовольствие.

Степан поставил упавшую изгородь и, разохотившись, подновил ее в нескольких местах, где старик до весны и не думал трогать. Потом прибил недостающие перекладины к садовой лестнице. И прежде чем вернуть топор хозяину, долго высматривал вокруг, что бы еще такое сделать, да уж больше не видно было во дворе никакой работы.

— Слышь, папаша,— понизив голос, попросил Степан,— возьми меня завтра с собой на работу... Ну что тебе стоит.

Старик покачал головой.

— Нельзя...— Подумал и добавил: — Невозможно.

— Но почему?

— Юра не велел. Сказал: отдыхать.

— Опять двадцать пять! Стыдно, папаша...— обиженным голосом проговорил Степан, пускаясь на хитрость.— Обещал умереть за меня, если нападут, а сам такого пустяка сделать не хочешь... Хоть на один день возьми, а?

Старик смутился. Быстро оглядевшись по сторонам, шепнул заговорщически:

— Выходи завтра во двор рано утром. Совсем рано! Чтоб Юра спал.

— Не сомневайся, папаша, не подведу! — заверил старика Степан.

...Маница с отцом тюковали под навесом табак, а Степан работал в саду. Смешливые девчата срывали с деревьев мандарины и хурму, а он с парнями носил корзины на весы.

Ему хотелось настоящей, трудной работы: пахать, молотить, ворочать бревна, корчевать пни, а вместо этого пришлось возиться с фруктами. Вдобавок, по просьбе ли Юриного отца или по своему почину, девчата все время норовили подсунуть Степану маленькие, легкие корзинки. Он по-хорошему просил их не позорить его, пробовал стыдить, но они делали вид, что ничего не понимают, и только смеялись.

Больше всего донимала Степана проказливая девчушка Шазина́. Она бросала в его корзину десяток мандаринов и требовала, чтобы он нес их на склад, уверяя, что мандарины эти особого сорта и смешивать их с другими никак нельзя.

Степан отыскал Юриного отца и попросил его помощи. Старик сходил в сад, усовестил не в меру расшалившихся девчушек, и те угомонились. Одна лишь Шазина никак не хотела оставить Степана в покое. Теперь она насыпала в корзину так много мандаринов, что они падали на ходу, и Степану то и дело приходилось останавливаться и подбирать их с земли.

— Ах ты, егоза! — сказал он и погрозил пальцем.

Шазина попыталась узнать у подруг, что такое «егоза», но ничего путного не добилась и на всякий случай виновато притихла. Кажется, она была из тех людей, кто больше всего на свете боится неведомого.

Вся эта пустяковая стычка обернулась для Степана еще одним открытием. Когда он жаловался Юриному отцу на проказы своих напарниц, то стоял шагах в пяти от Маницы и разглядел вблизи, как ловко и умело она работает. Большой тяжелый тюк табака ходуном ходил в ее сильных, обнаженных по локоть, полноватых, золотистых от загара руках. Она легко кантовала тюк, крепила концы деревянными планками, прочно стягивала шпагатом.

И позже, проходя мимо навеса, где работала Маница, Степан каждый раз невольно замедлял шаг и искоса поглядывал в ее сторону. Сначала он даже и не на нее смотрел, а лишь на умелые ее, работящие руки. Степан немало подивился бы, если б кто-нибудь сказал ему сейчас, будто он любуется руками Маницы потому, что они красивы. По его понятиям, красивым у женщины могло быть только лицо, ну еще — фигура, походка, голос. А руки у всех одинаковы, какая уж тут красота?

Все дело было в том, что здесь, под навесом, и сама

Маница и работящие ее руки были как-то удивительно на своем месте. Не спеша, без лишней суеты, с хорошо знакомой Степану неторопливостью и завидной легкостью Маница делала привычное свое дело. Она как бы и не подозревала даже, что все это можно делать как-то по-иному, не так сноровисто и умело. Ему казалось, даже и при желании Маница не смогла бы работать хуже,— вот в чем вся суть!

Работай она похуже, кое-как,— ему и смотреть было бы не на что. Степана и прежде, еще в довоенной его жизни, всегда радовало, когда встречался он с мастерами своего дела. Здесь даже не имело особого значения, что именно мастера делали, главное было вот в этой рабочей сноровке: водили ли они комбайны, орудовали молотом в кузне, метали стога или гоняли костяшки на счетах в бухгалтерии.

И если б сейчас под навесом вместо Маницы работал бы так же хорошо кто-нибудь другой, Степану тоже, наверно, приятно было бы смотреть на чужую спорую работу. Ну а кроме того, он все время не забывал, что Маница не совсем посторонний ему человек и живут они под одной крышей.

Крыша крышей, а Степан, сам того не желая, все-таки нет-нет да и вспоминал в последние дни, что легковесный Юра хоть и самовольно, на свой собственный страх и риск, но вынашивает кое-какие дальнобойные планы на их с Маницей счет. И впервые скороспелые эти планы не вызвали у Степана прежнего противодействия. Что ж тут особенного? На месте Юры он тоже постарался бы как-то устроить судьбу двух обездоленных войной людей, тем более что один из них — его родная сестра, а другой — однополчанин. Это не значит, конечно, что все вот так сразу же по-Юриному и выйдет. Ну а планы такие строить никому не возбраняется. Дело житейское...

Степана порадовало, что он не ошибся в Манице и женщина она работящая, надежная. На нее вполне можно положиться в жизни, такая не подведет. Ему самому захотелось работать получше, глядя, как ловко управляется со своим делом Маница.

Но он разглядел не только похвальную ее рабочую сноровку. Здесь, под навесом, Маница была какой-то новой, более уверенной в себе, а главное — не такой горемычной, как дома, рядом с фотографией строгого старшины. От нее на Степана повеяло завидной прочностью,

и все его собственные беды показались вдруг ему легче одолимыми рядом с ней: ведь Маница, по всему видать, уже справилась с точно такой же своей бедой.

Она ни разу не подняла головы, но Степан знал, что Маница тоже видит, когда он проходит мимо навеса. Видит и догадывается, что он любуется ее работой и умелыми ее руками. А откуда он знал все это, Степан и сам не мог бы толком объяснить. Просто знал — и все.

А когда разок Степан приостановил свой шаг возле навеса, Маница еще ниже склонилась над тюком, будто взгляд Степана гнул ей голову. Руки ее двигались все быстрей и быстрей, а потом вдруг что-то напутали и замерли над тюком. Все так же не поднимая головы, Маница исподлобья быстро глянула на Степана, и во взгляде ее была немая просьба, чтобы не стоял он тут, а поскорей проходил. По крайней мере, Степан прочитал в глазах Маницы молчаливую эту просьбу, сразу застыдился и зашагал прочь.

Он стал теперь носить корзины по другую сторону навеса, где Маницу закрывала от него гора тюков. А время бежало своим чередом, и чем дольше и старательней работала Маница, тем гора эта становилась все выше и выше. Со стороны смотреть, так можно было подумать, будто Маница не так готовила табак для отправки в город, как пыталась воздвигнуть преграду повыше и неприступней между собой и Степаном, испугавшись того нового, что стучалось в ее жизнь...

В полдень к Степану подошел сильно усатый бригадир и спросил, как его фамилия.

— Трудодни,— пояснил он.

— Какие еще трудодни! — заспорил было Степан.— Я просто так, для собственного удовольствия работаю.

— Тебе удовольствие, а у меня учет! — непреклонно сказал бригадир, вызнал у Степана его фамилию и диковинными буквами записал ее в табель.

И своя собственная, привычная с детства фамилия сразу стала незнакомой и чужой. По внешнему виду она ничем теперь не отличалась в табеле от других фамилий и выглядела такой абхазской, что Степан на миг даже почувствовал себя уроженцем этого теплого края. «Вот те и на!» — с веселым изумленьем подумал он и сам же первый подивился своему простодушию.

Степан возвращался с пустой корзиной в сад, когда его из-под навеса окликнул Юрин отец:

— Постой. Иди закури, настоящий самсун.

Он дал Степану щепотку темного пахучего табака. Степан нырнул в карман и вытащил газету, свернутую гармошкой. Старик обиженно засопел, протянул ему книжечку папиросной бумаги и строго объяснил:

— Газета для махорки, а самсун...

Он не нашел нужного русского слова, способного передать всю меру его уважения к высокому сорту табака, и только руками развел и языком цокнул, прося Степана и так поверить ему, что в грубую газетину этот драгоценный табак заворачивать никак нельзя. Осторожно, боясь порвать тонкую бумажку, Степан свернул цигарку и оглянулся вокруг в поисках огонька. Старик похлопал себя по тощим карманам и сказал что-то дочери на родном языке.

Маница взяла со скамейки коробок спичек и шагнула к ним, не поднимая головы. Она держала руку с коробком на отлете — и Степана кольнуло вдруг в самое сердце: точь-в-точь так подавала ему когда-то спички и Катерина. На миг ему даже почудилось, что это не Маница чужая идет к нему, а родная Катерина. Он тут же опомнился, узнал Маницу, но кровь от лица у него уже отхлынула и ноги враз ослабели, он даже к столбу прислонился, чтобы не упасть.

Ему вдруг разом припомнилось все, что у них с Катериной было связано с куревом. Она любила зажигать спички и сама подносила огонек к его папиросе. Кажется, ей доставляло какую-то особую, не до конца ясную Степану радость — услужить ему в пустяковом этом деле. А еще больше ей нравилось смотреть на него, когда он прикуривал и выпускал самый первый клуб дыма. В такую минуту Катерина поглядывала на него и ласково-поощрительно, и чуть-чуть насмешливо, будто в глубине души ее забавляло, что великовозрастный ее Степа находит какой-то смысл в таком нелепом занятии.

В первый год семейной их жизни Катерина частенько просила его «сделать кольцо» — и он послушно пускал кольца дыма в ее сторону, а Катерина придирчиво оценивала дымные его кругляши и поддразнивала его:

— Не выходит, совсем разучился!.. А это вот ничего себе колечко, кругленькое!

А потом, когда у них народились дети, они стали вроде бы стесняться. Кольца теперь на заказ Степан уже не пускал, но Катерина иногда, давая ему прикурить, отво-

дила зажженную спичку в сторону и заставляла Степана тянуться к ней папиросой и ловить блуждающий огонек. Кончалось это обычно тем, что Степан хватал Катерину в охапку, а Гришутка с Нюрой со всех ног кидались на помощь матери. Почему-то в такие минуты они всегда принимали не его сторону, а Катеринину. Степан отбивался от них, в конце концов прикуривал измочаленную свою папиросу, пыхал дымом в потолок и напоследок «брал штраф»: целовал Катерину — к великому удовольствию Гришутки и Нюры.

— Детей постеснялся бы...— деланно возмущенно шептала Катерина, вырываясь из его объятий.

— А ты не дразнись!

Катерина лукаво поглядывала на него.

— А я, может, для того и дразню тебя, чтобы хоть махонький поцелуйчик выцыганить, а то днем ты никогда не отважишься, муженек ты мой скромный!..

Степан разом припомнил все это, но не успел подивиться тому, что и здесь, под табачным навесом, Катерина отыскала его. Глядя на приближающуюся Маницу, он вдруг не на шутку испугался, что она чиркнет спичкой. Просто ему трудней стало бы жить, если б Маница сделала это. А так, когда она была сама по себе и никого не напоминала, ему было как-то легче. Похоже, он никого не хотел пускать в святые свои воспоминания, тем более другую женщину — даже такую работящую и славную, как Маница.

Но он зря опасался. Или старшина в свое время не приучил ее зажигать ему спички, или Маница просто не догадалась, а то и постеснялась,— но так или иначе она лишь протянула ему издали коробок. Степан облегченно перевел дух и поспешно прижег цигарку, будто все еще побаивался, что Маница отберет у него коробок и все-таки чиркнет спичкой. Он даже и не заметил, как признательно улыбнулся Манице, радуясь, что вовремя она остановилась и не посягает на то, что на веки вечные принадлежит одной Катерине.

— Ну как? — поинтересовался старик.

— А? Что? Табачок? — не сразу догадался Степан.— Хорош табачок, хорош, прямо гвардейский!

Юрин отец снова развел руками и сказал с давним и еще более потвердевшим после похвалы Степана почтеньем в голосе:

— Самсун!

8

После обеда окапывали деревья. Степан теперь совсем не зависел от произвола Шазины с подругами и решил постоять за себя. Да и работа эта была ему попривычней.

Брат Юриной невесты Маха́з копал рядом со Степаном и все старался перегнать его. Чтобы подзадорить парня, который понравился ему своей ловкостью и открытым ясным взглядом, Степан все сильней и сильней нажимал на лопату, вонзая ее на полный штык в слежавшуюся за лето землю. Махазу приходилось туго, но из молодого упрямства он крепился и шел по пятам за Степаном. Они обогнали всех и вырвались вперед. Соленый пот ел Махазу глаза, но, сберегая каждое движенье, он не вытирал лоб.

«Обогнал девчат с парнишками и радуешься,— пристыдил себя Степан.— Эх ты, Аника-воин!»

Он закурил и дал Махазу догнать себя. Но честолюбивый парень решил, что противник выдохся, и попытался обставить его. Степан довольно быстро разуверил Махаза, и они стали мирно работать рядом, не опережая друг друга.

Раньше Степан сомневался, сумеет ли сжиться с земляками Юры. На праздничных пирах они казались ему все на одно лицо, и это сбивало его с толку. Но сегодня, в работе, ему открылось, что все они разные, как и родные его ольховцы. Одни копали молча и старательно, другие не прочь были поболтать, девчата шушукались.

Махаз переводил Степану, о чем говорят колхозники. Старики судачили о стародавних временах, но были среди них и такие любители и знатоки международной политики, что не уступили бы и деду Васильку. А у Махаза был один приятель, который, как и Савелий Иванов, все поругивал начальство и жаловался, что механизации в их колхозе — кот наплакал. Работать он не ленился, но все ворчал, что в наш век ковыряться в саду лопатой— дикое варварство: давно уже пора изобрести маленький подвижной трактор для садовых работ. И куда только начальство смотрит! Фрукты небось едят и нахваливают, а вот чтоб работу облегчить — так их нету...

Все это так сильно напомнило Степану прежнюю его, довоенную жизнь, что порой ему чудилось, будто работа-

ет он не в абхазском колхозе, а у себя в родной Ольховке.

К вечеру все тело Степана налилось давно уже не испытанной гудящей усталостью, какая бывает только после долгого дня полевой работы. И проклюнулось приятное, малость даже гордое чувство, что день прожит не напрасно. Впервые за последние две недели ему не стыдно было за ужином смотреть в глаза родителям Юры и есть их хлеб.

В тот вечер он не ходил к морю и спать лег с убежденьем, что жизнь его помаленьку устраивается. Даже тут, на чужедальнем теплом берегу, найдется для него дело по вкусу. Станет он трудиться изо дня в день, как положено человеку на земле,— и жизнь его наладится. Ведь в нынешней его неприкаянности, как ты там ни крути, многое идет от затянувшегося безделья, оттого, что невпроворот у него свободного времени, которое ему просто некуда деть. А вот начнет он работать, заполнит без остатка все свои дни — и жизнь его сразу полегчает. Степан порадовался, что, кажется, выкарабкивается из затяжной своей беды и впереди замерцал для него просвет.

Он уже засыпал, когда его кольнула непривычная мысль: уж не спешит ли он поскорей позабыть Катерину с детьми? Вот и нынче совсем мало о них думал — да и то вскользь, между делом. Ведь за весь долгий день он всего лишь разок припомнил их — когда Маница подходила к нему со спичками. А окажись спички эти у старика или у него самого, так он, наверно, ни разу бы своих и не вспомнил. Поработал всего один денек — и уже чуть ли не позабыл все свое семейство... Немного же, выходит, ему надо!

Раньше Катерина, Гришутка и Нюра все время были с ним, даже в нем самом, в заветной его сердцевине. А теперь пути их, сдается, разошлись. Степан только никак не мог понять: то ли они сами потеснились в его сердце и отодвинулись в прошлое, то ли он повернулся к ним спиной и чуть ли не сбежал от них? Или просто приспела такая пора в его жизни, когда боль сама по себе отпустила его, стала оседать на дно души?

Степан как бы вышел сейчас из тесного своего, исхоженного вдоль и поперек круга, в который заточило его горе, глянул на себя со стороны и увидел вдруг границу свою, тот рубеж, докуда залегла в нем лютая его беда.

А что простиралось за этим рубежом, он пока еще не знал и стыдился заглядывать туда и даже думать об этом, будто одними лишь мыслями этими и то предавал уже Катерину с детьми. И как же легко, оказывается, можно утихомирить свою боль: загрузи руки работой — живи и радуйся! В простоте и общедоступности этого средства Степану почудился вдруг укор себе, своему непостоянству.

Он и радовался тому, что боль наконец-то отпускает его, и в то же время открытие это как бы унизило его в собственных глазах. И даже не его одного, а чуть ли не всю забывчивую породу человеческую умалило вдруг. Или зря он приплел сюда ни в чем не повинное человечество и все дело в нем одном, в постыдной его переменчивости?..

Усталость взяла свое, и вскоре Степан уснул. Он *заспал* все эти гнетущие, до конца так и не обжитые им мысли, и утром у него осталось лишь смутное чувство, что вчера он невзначай прикоснулся к чему-то тяжкому, неподатливому, а к чему именно — уже не смог припомнить.

9

На свадьбе Юры было так шумно, что Степан никак не мог понять, весело ему или нет. Кричали и смеялись гости, музыканты рьяно играли на непонятных голосистых инструментах.

Много знакомых лиц увидел Степан за свадебным столом. Были тут и проказливая Шазина, которая так и не узнала, что такое егоза, и все еще остерегалась задирать Степана, и самолюбивый Махаз, и приятель Махаза — тот самый, что любил покритиковать начальство. А тамадой был усатый бригадир. Возле Степана сидел туляк: Юра и пригласил его ради Степана, чтобы тому было с кем перекинуться словом на родном языке.

Болтливый туляк был из тех людей, которые любят поучать других и сами не замечают, как на каждом шагу хвастаются собой и своими успехами в жизни. До войны он работал токарем в Туле, а сейчас — заготовителем фруктов и овощей в местной торговой организации.

— Пускай железо другие погрызут, а мы с тобой будем лимоны обтачивать! — сказал он и доверительно толкнул Степана в бок.— Работенку еще не подыскал себе? Гляди не проворонь, а то останешься на бобах: нашего

брата много сюда понаехало, все теплые места расхватают.

Тамада знал свое дело в совершенстве, ни одной минуты не давал побыть стакану пустым. Недвижными захмелевшими глазами смотрел Степан на счастливых молодых и вспоминал свою свадьбу. Как просто и задушевно играл на далекой той свадьбе ольховский гармонист Яша!

Ревели, заливались оглушительные дудки, насмехаясь над Степаном. Какая-то неясная, трудная мысль билась в глубине, просилась наружу, но Степану не дали вызволить ее. Тамада закричал, замахал руками, выпроваживая гостей из-за стола. Все встали, сдвинули столы в угол комнаты, освобождая место для танцев. Степан с туляком вышли из жаркой комнаты на веранду. Заготовитель закурил дорогую папиросу, протянул портсигар Степану.

— Тяни, мои лучше.

— Я к своему табаку привык,— отказался Степан, сворачивая цигарку.

Шел дождь, остро пахло осенним садом.

— Теплынь-то какая! — восхитился туляк.— А у нас сейчас морозяка градусов на двадцать, даже не верится. Что ни говори, а мозговито мы с тобой надумали сюда махнуть: не шибко теперь развернешься в тех местах, где война побывала. Годков через пять подремонтируются землячки, залатают военные дыры — можно будет и нам подаваться в родные палестины. А то и здесь навечно обоснуемся. Места тут курортные, люди гостеприимные, вина опять-таки вдоволь. Вот найду себе вдовушку помоложе, с домишком, коровенкой — да и пущу тут корешки!

Заготовитель перегнулся через перила веранды, сорвал мандарин с ближнего дерева. Очистил кожуру и, брызгая ароматным соком, стал есть, как яблоко, не разламывая на дольки. Подумал вслух:

— Что там старуха моя сейчас поделывает?

— Мать?

— Нет, жена довоенная. Знаю, в сорок первом эвакуировалась она в Сибирь, там след и затерялся. Да я не очень-то и разыскивал. В молодости она еще ничего была, а теперь на уценку повернуло. Там такая пересортица!

— Что ж, и дети у вас были? — глухо спросил Степан.

— Обошлось без них... Да ты что? — Он поежился под тяжелым невидящим взглядом Степана и тут же догадался: — А-а, своих припомнил? Мне жених что-то говорил... Ну я же невиноватый!

Он пригнул к себе ветку и стал выбирать мандарин пожелтей.

Степана не так поразили слова заготовителя о земляках и своей жене, как то, что он не постыдился все это сказать ему. Или не видит в этом ничего зазорного, или считает и Степана таким же, раз прикатил тот сюда, в теплые края. И особенно дико было узнать, что рядом с ним живет человек, который даже на войне собирается погреть нечистые свои руки, всеобщую беду обратить себе на пользу и урвать кусок послаще.

— Паспортизацию местного населения еще не провел? — как ни в чем не бывало спросил туляк.

— О чем ты? — не понял Степан.

— Все о том же! Не подыскал еще себе бабенку?

Степан сердито мотнул головой.

— Ой ли? — усомнился туляк.— Что-то сестра жениха на тебя за столом все поглядывала. Учти, у меня на такие дела глаз острый! Что ж, бабец она в норме, не переспелый. Ведь бабы, как овощи, продукт сезонный!

Глядя на спокойное, навсегда довольное собой и своим остроумием лицо заготовителя, Степан отчетливо представил, как перекосится оно от боли и потеряет сразу все свое сытое благополучие, если ударить по нему изо всей силы. Пальцы сами собой сомкнулись в кулак. Почуяв недоброе, туляк проворно отшатнулся и заспешил в комнату.

Степан подивился, что со спины туляк решительно ничем не отличается от других людей. Спина как спина, хоть сейчас и малость испуганная. Встретишь такого — и не сразу разберешься, что он за человек. А еще токарь, только рабочий класс позорит. Сколько настоящих людей полегло на войне, а такой вот паршивец уцелел...

На веранду вышла Маница, запнулась, увидев Степана, и тут же с новой для нее нетрезвой смелостью шагнула к нему.

— Что это вы прячетесь? Идемте танцевать.— И добавила себе и ему в оправданье: — Все танцуют... Такой день.

Степан припомнил недавние слова туляка о Манице и невольно настроился против нее. Но природная его

справедливость тут же взбунтовалась: «А в чем, собственно, Юрина сестра виновата? Да и больно много чести этому паршивцу, ежели мы станем теперь на него оглядываться». И, назло туляку, Степан улыбнулся Манице, подвинулся, особождая местечко рядом, и сказал с сожаленьем:

— Не мастак я ногами, такой уж неуклюжий уродился. Вот если б руками что сообразить?

Он совсем уж собрался поведать, что Катерина его была завзятой плясуньей, но покосился на Маницу — и промолчал. Знать все это Юриной сестре было совсем ни к чему. Степан даже подосадовал на себя, что чуть было не сболтнул лишку и, главное, без всякой нужды потревожил память о Катерине.

Они стояли рядом, облокотившись о перила веранды, и смотрели на танцующих. Странное, теплое, почти родственное чувство испытывал сейчас Степан к Манице — потерявшей мужа, обездоленной, как и он, войной.

Степан украдкой разглядывал Маницу. Праздничное ее платье — чуть попахивающее нафталином, шерстяное, даже на глаз тяжелое, с высоким глухим воротом и длинными рукавами — как-то отчуждало Маницу от него, мешало ему до конца понять ее сейчас.

Платье Маницы сильно смахивало на те платья, в которых и другие ее односельчанки щеголяли на свадьбе. По всему видать, обшивает их тут всех одна портниха. Степан припомнил вдруг, что и в Ольховке жила-была до войны знаменитая тетя Дуня из тех горе-портних, что умеют шить только на один фасон и чья слава никогда не перешагивает за околицу родной деревни. Вся женская половина Ольховки дружно поругивала тетю Дуню, попрекала ее тем, что она совсем не следит за модой и только материал портит. Самые горячие громогласно клялись никогда больше у нее не шить, но и новые свои платья несли шить все той же тете Дуне, так как никакой другой портнихи поблизости не было и не предвиделось, да к тому же молва твердила, что шьет тетя Дуня, хоть и неказисто, зато крепко и все остатки материи возвращает сполна. Похоже, здесь тоже подвизается своя абхазская тетя Дуня.

На веранду выглянул Юра и подмигнул Степану. Он и радовался тому, что они тут уединились, и вроде бы уже поторапливал их, чуть ли не просил равняться на

него. Степан отвернулся, разозлившись и на Юру — за дурацкое его подмигиванье, и на себя — за то, что стал таким мнительным.

От волос Маницы тянуло горьковатым запахом миндаля. Ради свадьбы брата она по-новому причесалась и высоко уложила смоляную свою косу. Она и вся сейчас была какая-то новая, неспокойная и не совсем уже понятная Степану. Вроде бы дверца замурованная приоткрылась в ней, и оттуда выглянула прежняя Маница, еще довоенная, какую Степан никогда не знал. Весь этот месяц она была для него лишь вдовой, у которой все позади,— всего лишь безликой работящей вдовой, у кого на все про все в жизни осталась одна лишь работа. А теперь Маница обрела вдруг возраст, и стало видно, что она совсем еще не старая — и тридцати годков не наберется.

Юрина свадьба выбила Маницу из привычной наезженной колеи, по которой день за днем катилась ее жизнь все последние годы. Она как бы позабыла на время о своих бедах, разрешила себе не помнить о них до завтрашнего трезвого утра, когда все они снова вернутся к ней.

Раньше Степан ни разу не видел ее веселой, даже песни она напевала унылые. Ей и теперь было не так уж весело, она вроде бы всего лишь припомнить силилась, как это люди веселятся. Несмелая улыбка затаилась в углах ее губ, а вот глаза Маницы были уже неподвластны ей и тайком от хозяйки блестели, молодо так блестели — наперекор судьбе.

И то ли выпитое вино заговорило в нем, то ли просто приспела такая минута в его жизни, но Степана вдруг потянуло к Манице, как после Катерины ни к кому еще не тянуло. Он словно заново увидел сейчас не только ее, но и себя самого, и все, что вчера еще казалось запретным, стыдным, несбыточным и просто ненужным ему — стало вдруг легким, доступным, таким обычным и просто необходимым.

И чего тянуть? Кому это надо, чтобы они с Маницей жили врозь? Катерине это надо? Старшине? И зачем им это? Какая им от этого выгода?

Впервые не только умом-утешителем, но и всем существом своим Степан понял: ни строгому старшине, ни Катерине не легче от того, что они тут с Маницей мыкают свое горе в одиночку. Ведь их уже не вернешь, а живое

тянется к живому. Как ни крути, а прав был Савелий Иванов: жизнь продолжается...

Где-то поблизости от всех этих скользковатых мыслей притаился подлый туляк с бесстыжим своим шкурничеством, и Степан краем сознания сам углядел это соседство, но тут же и отмахнулся досадливо: похоже — да не то! Он даже уверился вдруг, что если б можно было каким-нибудь неведомым способом снестись со старшиной или Катериной, те наверняка из своего небытия ответили бы им: «Раз живые вы — так живите на здоровье. За себя и за нас живите».

И значит, надо поскорей сказать Манице, что приглянулась она ему, и если он ей тоже не противен, так все у них быстро и сладится. Чего уж тут особенно мудрить? Это девки с парнями на целые годы канитель разводят, цену себе набивают. Да и страшно им, молодым, с непривычки перед решительным шагом в жизни. А они оба с Маницей уже пожили на белом свете и давно уже поразвеяли весь молодой свой страх. И тянуть дальше им просто не к лицу: дело-то обычное, житейское. Не они первые, не они и последние...

Зря он сомневался и без нужды все так усложнял. Ведь все это, ежели толком разобраться, так просто и... естественно. Вот именно: естественно! Степан порадовался, что кстати припомнил ученое это слово, которое так солидно и авторитетно все разъясняет и ставит на свои места. Вроде прислонился он к чему-то прочному — не опрокинуть,— что взяло на себя всю тяжесть его раздумий и избавило от последних сомнений, гнездившихся в самом дальнем закоулке его души.

Спасибо ученым словам, мудрым пословицам и поговоркам и всем полезным присловьям, что приходят нам на подмогу в трудные минуты! Если б их не было, так люди, наверно, заново бы их придумали — для того лишь, чтобы прятаться за надежным их частоколом от себя самих в такие вот минуты, когда хочется сделать то, чего вчера еще стыдились...

Степан выжидающе покосился на Маницу, прикидывая: сейчас же, немедля обо всем с ней поговорить или повременить маленько? Было что-то такое, неясность какая-то — в ней ли, в нем ли самом,— что и торопило его и одновременно притормаживало.

Работящие руки Маницы непривычно праздно лежали на перилах веранды. Рукава нового ее платья были явно

длинноваты, пышные манжеты набегали на кисти рук, смешно и неловко топорщились на запястьях и неожиданно делали скромную Маницу старательной и неумелой франтихой — из тех, что сильно хотят, но никак не умеют красиво одеться. И зачем ей эти манжеты? А все тетя Дуня!

Он пристально смотрел на нелепые манжеты, а сам внутренним взором видел, как красиво и хватко двигались недавно под навесом сильные руки Маницы, ловко и умело управлялись с тяжелыми тюками табака. Похоже, ему легче было бы объясниться с Маницей, надень она сейчас то старенькое рабочее платье с короткими рукавами. Степан как-то лучше тогда понимал ее, она была ему ближе тогда, вроде бы родней даже. В нем прижилось и крепло странноватое убежденье, что работящие руки Маницы — верные его союзники, держат во всем его сторону и в том непростом разговоре, который ему предстоит, можно рассчитывать на их подмогу.

И Маница почувствовала перемену в Степане, доверчиво повернулась к нему всем телом и снизу вверх ободряюще глянула на него, как бы приглашая не стесняться и смело говорить все, что вздумается ему сказать. Степану почудилось, что Маница давно уже ждет, когда же он наконец-то наберется храбрости и заговорит об *этом*.

Он лизнул внезапно пересохшие губы и сказал враз осевшим голосом:

— Пойдем в сад погуляем?

Маница коротко и испуганно глянула на него, будто догадалась вдруг, что стоит за этими словами. Кажется, она не думала все-таки, что решительная эта минута наступит так скоро.

— Пойдем... Погуляем...— послушно отозвалась она и два раза запоздало кивнула головой, точно убедить себя хотела, что все идет правильно, как оно и должно быть, а иначе просто и не бывает.

10

Они спустились с веранды в сад. Дождь уже прошел, но с деревьев еще срывались припозднившиеся капли. Степан стесненно молчал, решительно не зная, как приступить к нелегкому разговору, какое слово сказать самым первым — для разбега. Слабо шуршали под ногами прибитые дождем листья. Под сводами деревьев листья

намокли меньше, чем на открытых местах, и шуршали злей. В темноте знакомый сад казался чужим, враждебным, и надо было усилие ума, чтобы припомнить: где здесь растет хурма, а поближе к забору — кривая груша.

Вся недавняя его задумка накоротке объясниться с Маницей и поскорей все решить не откладывая в долгий ящик выглядела теперь не такой уж легкой, как минуту назад, когда стояли они на веранде. Тогда рядом шумела Юрина свадьба, как бы подстегивая их, прося брать с нее пример. А теперь свадьба отодвинулась от них, чуть слышно погромыхивала вдали — и вся Степанова задумка стала вдруг трудней, неприступней как-то. Или ветерком его обдуло и протрезвел он на свежем воздухе, или просто беспричинно засомневался вдруг, так ли уж надо ему все это. Жил и жил, и чего, спрашивается, надумал...

Степан сам первый и разозлился на себя за непростительную свою переменчивость. Тоже мне жених!

Маница неслышно ступала рядом, под ее ногами и листья почему-то не шуршали. В склоненной набок ее голове Степану чудилась немая настороженность и ожидание. Ведь не ради же одной лишь прогулки по мокрому саду позвал он ее?

Степан задел низко провисшую ветку. Их обдало крупной студеной капелью. Маница от неожиданности тоненько ойкнула и засмеялась совсем уж по-девичьи. И столько не растраченной еще молодости было в этом коротком вскрике и чистом грудном смехе, что все сомнения разом улетучились у Степана. Зря он тянет, только ее и себя мучает...

— Может, вернемся? — спросил Степан, испытывая свою судьбу в последний раз.— Как бы не промокла...

— Пускай... Ничего! — беззаботно отозвалась Маница, усмехнулась чему-то своему, тайному, и Степан еще больше затвердел в уверенности, что все у них будет хорошо.

«Вот дойдем до кривой груши — и скажу!» — дал себе слово Степан, и ему сразу легче стало, как всегда бывало с ним, когда принимал он какое-либо решение, отрезающее все пути назад.

Он до того успокоился, что стороной вразвалочку прошла даже дальновидная мысль: ежели все у них сладится, то первое время они смогут жить в родительском доме Маницы, хотя тут теперь и тесновато станет после то-

го, как Юра введет в дом молодую жену. А потом они с Маницей соберутся с силенками и обязательно построят себе какой ни на есть домишко и заживут самостоятельно. Известное дело: с родичами тогда совет да любовь, когда ни в чем от них не зависишь и сам крепко стоишь на ногах...

Домишко домишком, но чем ближе к груше подходили они, тем Степан сильней тянул шаг, невольно стремясь отдалить трудную минуту. Маница непонимающе покосилась на него и тоже пошла медленней, чтобы не вырываться вперед.

Вот и груша. В темноте смутно чернел кривой ствол. Степан резко остановился, провел рукой по шершавой коре, будто убедиться хотел, что нету здесь никакого обману: тут она, груша, никуда не делась, и выжидать ему больше нечего. Ему вдруг пришлось по душе, что ствол у груши такой твердый, шершавый, сам по себе. Вот поговорят они с Маницей и уйдут отсюда, и чем бы ни кончился их разговор, корявая груша все так же будет стоять здесь, на своем, навек отведенном ей месте. Было в этом постоянстве что-то крепкое, добротное, чего так не хватало сейчас Степану. Прикоснувшись к коре, он и себя вроде бы увереннен почувствовал, как-то прочней, что ли, точно передала ему груша частицу своей простой и надежной силы.

Маница безучастно стояла рядом. Густые тени залегли вокруг ее глаз, и трудно было понять: на него она сейчас смотрит или мимо. Она терпеливо ждала, когда он кончит гладить кривую грушу, одинаково готовая и стоять с ним возле этой ничем не примечательной кривули, и дальше идти в глубь сада, и вернуться назад, в сутолоку Юриной свадьбы. Маница как бы передоверила сейчас ему свою судьбу и заранее была согласна со всем, что бы он ни сделал и как бы ни рассудил. Степана и порадовала эта покорность Маницы, но в то же время в этой слепой ее доверчивости ему смутно привиделось и какое-то обидное для его самолюбия равнодушие, будто ей все равно было, как у них дальше все сложится. Впрочем, ему просто некогда было сейчас разбираться, чего тут больше у Маницы: доверия к нему или безразличия к своей судьбе.

«Ну, говори, не тяни, самое время!» — торопил себя Степан. Но язык вдруг забастовал и совсем его не слушался. Да и слов подходящих не было: ни легких, ни



серьезных, никаких. Оказывается, не такое это простое дело — говорить о любви, когда настоящей любви нету...

Ему почудилось вдруг, что Катерина притаилась где-то поблизости в темени сада и следит оттуда за ним. Она даже не сердилась на него, не обижалась, а только смотрела пристально и терпеливо ждала: как он сейчас выкрутится, как откроется чужой этой женщине, о которой месяц назад и сам еще ничего не знал.

Впервые в жизни у Степана шевельнулось недоброе чувство к Катерине: зачем ей все это? И мертвая, она стояла между ним и Маницей, не отпускала его от себя. При всем том Степан по-прежнему был уверен, что Катерина не осуждает его и совсем не собирается ему мешать, становиться на его пути к новому счастью. Просто не терпится ей услышать, что именно скажет он в такую минуту Манице, как выкарабкается из того тупика, куда сам же и забрел.

Сдается, ей только одно и хотелось узнать: до того уже перезабыл он всю былую их любовь, что способен с легким сердцем сказать те слова, которые когда-то говорил и ей. Или ради новой своей скоропалительной любви Степан расстарается и придумает что-нибудь иное, похлестче прежнего? Пусть даже покрасивей, лишь бы совсем другое,— не то, что когда-то говорил он, когда парнем открывался ей на заре их жизни.

Степан почему-то был уверен, что Катерине только одно и надо: чтобы не трогал он тех слов, чтобы стародавние те слова так и остались бы только *их* словами: ее и его, чтобы никто к их словам больше не примазывался бы и никому на свете он тех заветных слов больше не говорил. Одна лишь эта малость и нужна была Катерине — и Степану просто грех было не выполнить немую эту просьбу.

Но он давно уже не помнил, что именно говорил тогда Катерине: ведь столько лет прошло! И сейчас забоялся, что, идя проторенной однажды дорожкой, сам того не желая, повторит заветные те слова и без всякой нужды опечалит Катерину — как бы ударит ее невзначай, в самое сердце ударит. Видит бог, он совсем не хотел этого. Уж такую-то малость он мог для нее сделать...

Степан совсем позабыл про Маницу, а она поежилась от дождевой сырости и напомнила о себе —

сказала равнодушно и лишь чуть-чуть разочарованно:
— Пойдем, холодно...— Повела головой в сторону дома, где вполшума громыхала свадьба, и добавила не совсем уместное: — Пусть.

Будь на нем китель, пиджак, тужурка или еще какая верхняя одежонка — самое время было сейчас снять ее с себя и укрыть зябнущую Маницу. А гимнастерку не скинешь...

— Разве это холодно? — встрепенулся Степан, радуясь, что ненароком набрели они с Маницей на такое, о чем можно говорить безопасно, никого на свете не задевая.— Вот у нас морозы — так морозы...

Он тут же и запнулся, решив, что Манице совсем неинтересно и даже обидно слышать, какие морозы свирепствуют сейчас на далекой его родине, где жил он когда-то с Катериной... Видно, никуда ему от нее не уйти.

И здесь Степана осенило: а так ли уж обязательно ему сейчас что-то говорить? Ведь обо всем том, о чем он собирался поведать Манице, свободно можно сказать и без всяких слов. Руками, например. Уже по одному тому этак лучше, что говорить ничего не надо. А на слова он не мастак, недаром и Катерина дразнила его «чертушкой бессловесным». Со всех сторон руками лучше: проще, доходчивей, да и честней как-то — вранья меньше. И главное, опасаться не надо, что он невзначай повторит те стародавние заветные слова, услышать которые так боится Катерина.

Степан кашлянул виновато.

— Дай-ка я тебя погрею...— стыдливой скороговоркой пробормотал он и положил тяжелые свои руки на плечи Маницы.

Так и раньше с ним бывало: руки приходили ему на помощь всякий раз, когда он не знал, что говорить, будто не только вся его сила, но даже и сама душа, не находя себе выхода в словах, перемещалась в руки. И сейчас он осторожно привлек Маницу к себе. Она не противилась, не отталкивала его, даже головы не отвернула. Но не было в ней и самого малого встречного движения к нему, на какое Степан все-таки надеялся. Похоже, она и тут передоверила ему свою судьбу и лишь подчинилась — из боязни обидеть его отказом.

На миг Степан даже усомнился: так ли он все дела-

ет, как надо. Кто знает, как здесь у них на теплом берегу принято? Может, такие дела тут совсем по-иному творятся, а он облапил Маницу слишком уж по-русски? Но он зашел уже далеко, и отступать было поздно. Степан нагнулся к смутно белеющему в темноте лицу Маницы, повернул к себе ее послушную голову и поцеловал в сомкнутые безответные губы.

Маница не отпрянула от него и не придвинулась. Она была так безучастна и по-прежнему молчалива, что Степан даже засомневался: ее ли он только что поцеловал? Да и знает ли она вообще, что значат такие вот поцелуи? А еще говорят, что женщины на юге горячие!

— Вот и довелось нам с тобой после поста разговеться! — с чужой бойкостью, взятой напрокат у разбитных парней, сказал Степан, пряча свою обескураженность не только от Маницы, но и от себя самого.

Ему хотелось сейчас выглядеть этаким рубахой-парнем, который живет легко и весело: такому парню ничего не стоит сбежать в разгар свадьбы и целоваться в саду с сестрой жениха. Он старался натянуть на себя эту чуждую ему личину на всякий случай, если Маница заупрямится и у них ничего не выйдет. И еще: Степану казалось, что с таким вот расторопным кавалером Манице легче будет переступить через свою стыдливость, природную холодность или что там еще у нее было, что стояло между ними и мешало им сейчас.

— А как это... разговеться? — спросила вдруг Маница.

Степан усмехнулся, радуясь, что Маница сама идет ему навстречу.

— Вот уж совсем с тобой оскоромимся, тогда и разъясню.— И дальновидно обнадежил Маницу: — Ты все поймешь: про посты ведь наслышана, вы же тут вроде христиане?

Маница закивала головой.

— Ну, вот видишь! — беспечно сказал Степан, все еще играя роль бойкого парня, каким в жизни никогда не был.

Сдается, все у них хоть и медленно, но налаживалось. На миг ему даже смешно стало, что он нежданно-негаданно, таким кружным путем добрался и до рели-

гии и даже этот поповский пережиток, опиум этот зловредный, приспособил для насущной своей надобности.

— Я тебе все до тонкости растолкую, дай только срок! — пообещал Степан и снова поцеловал Маницу, чтобы она — пока суд да дело — помаленьку к нему привыкала.

Маница лишь безропотно терпела его поцелуи, а сама никак не отвечала. И в помине не было у них того нераздельного, слитного единства, какое бывало когда-то у Степана с Катериной. Он все время помнил и не мог позабыть даже на секунду: вот тут он со всей своей неразберихой скудеющих надежд и разбухающих сомнений, а там вон она — чужая и непонятная. И каждый из них мыкает эту общую в их жизни минуту в одиночку, сам по себе, а могли бы прожить ее вместе, сродниться даже, попридержать эту бегучую минуту и сделать ее поворотной во всей их жизни.

Даже малейшей ответной волны не чувствовал в ней Степан, будто совсем и не женщину живую обнимал он тут, а всего лишь одну из тех гипсовых статуй, что сторожили вход в ближний санаторий. Маница вроде бы и хотела ответить лаской на его ласку, да вот почему-то никак не могла, точно какая-то неодолимая преграда не пускала ее.

Если б Маница сейчас потянулась к нему, если б Степан увидел, что хоть он-то ей нужен,— ему легче было бы играть роль любящего, которую он добровольно взвалил на себя.

Степан испугался вдруг, что пропадет впустую и эта зацепка в жизни. Вот обломится и эта соломинка, которую судьба протянула было ему, и останется он опять неприкаянным, один на один с горемычными своими воспоминаниями о былом, навек сгинувшем счастье.

И, хмелея от покорности Маницы и все больше злясь на нее за обидный ее холодок, Степан целовал ее теперь крепче, требовательней, злей. На миг он чуть ли не врага своего в ней увидел: стала поперек пути и не пускает его к новому счастью. Он подстегнуть ее хотел, сломить ее волю, разжечь ее — немую и холодную.

Но все никак не получалось у них так, как бывало когда-то с Катериной. Степан и сам видел, что все идет как-то вразнотык, точно и тут они говорят на разных язы-

13 Зак. 1003

ках и нету под боком переводчика. Он только никак не мог понять, в чем тут главная закавыка. Или он сам за войну эту долгую все перезабыл и сейчас никак не может вспомнить, как такие дела делаются? Или вся беда в Манице — и то, что хорошо выходило у него с Катериной, никак не вытанцовывается с ней?

Степан припомнил, что она зябла недавно, и спросил с надеждой в голосе:

— Теперь теплей, а?

— Теперь теплей...— послушно, как эхо, отозвалась Маница, уткнулась головой Степану в плечо и заплакала.

— Ну чего ты, дурашка, чего, зачем так-то? — ласково выпытывал Степан и с каждым вопросом целовал мокрые щеки Маницы, соленые ее глаза и немые, твердые, все еще сжатые губы.— Я же любя, не как-нибудь там... Что ж ты совсем как чужая? Да не обижайся ты, пустое это дело, за этакую малость на мужика обижаться! Не сердишься... Маня? Можно, я тебя буду Маней звать? Так мне сподручней, а то по-вашему нескладно как-то... Так можно — Маней?

Маница всхлипнула.

— Можно... Пусть.

— Ну, вот и ладно, вот и молодцом! — обрадовался Степан, будто самое трудное было теперь уже позади и именно этой вот перелицовки ее имени на русский лад ему больше всего прежде и не хватало.

Его поразило, что даже и сейчас, плача, Маница все еще не разжимает губ. То ли сдерживается, воли себе не дает, чтобы не разреветься по-бабьи? То ли у них тут, на скалистом Кавказе, так и плачут — с окаменелыми губами? Или просто боится, как бы со слезами не ушла вся ее сила и Степан воспользуется этим, вот и пытается унять свои слезы?

— Что ж ты как ледышка? — упрекнул Степан.— Не годится, Маня: так мы с тобой каши не сварим.

Он был так убежден в своем праве упрекать ее и выговорил свой упрек так дружески-доверчиво, что впервые губы Маницы дрогнули и полураскрылись. Они еще не разжались полностью, все еще крепились, но стали уже мягче, добрей, податливей, словно против воли и тайком от своей хозяйки признали-таки и Степана и его право находить их в темноте своими губами и целовать. То все были чужие-чужие, а теперь стали понемногу привыкать

к Степану, приспособились исподволь к его ищущим и требовательным губам. И хотя губы Маницы не отвечали еще на его поцелуи, но и не чуждались их, а, кажется, даже ждали уже и чуть-чуть, самую малость, потянулись навстречу, чтобы Степану удобней было находить их в темноте.

Еще немного — и все у них наконец-то сладится. Степан уверился вдруг, что вся остаточная сила Маницы, все немое ее противодействие, последний ее дот, где держит она затянувшуюся свою оборону, таится в этих вот ненужно упрямящихся, до конца не раскрытых губах. А как только разомкнет Маница свои губы — так все ее бастионы и рухнут, и все у них сразу же пойдет на лад.

Он с силой раздвинул своими губами полусомкнутые, все еще слабо противящиеся губы Маницы и поцеловал ее в теплую, влажную, беззащитную сердцевину рта, на миг ощутив строгий холодок ее зубов. Маница слабо вздохнула, и губы ее ответили ему — робко, чуть внятно, как бы с трудом припоминая, как отвечали они раньше другим, родным губам.

Руки Степана побежали по плечам Маницы, по ее сильным и полным рукам, закованным в платье, коснулись груди — и дальше, дальше. Он все ждал, что вот-вот придет к нему то широкое праздничное чувство, названия которому Степан не знал, та легкость святая, что всегда настигала его, когда он вот так же ласкал Катерину. Все у Маницы было на своем месте, все было похоже на Катеринино. На миг это сходство обрадовало Степана — как залог того, что и с Маницей возможно все то, что было у него когда-то с женой. Но тут же сходство это и ужаснуло его. Было в этой внешней схожести и какое-то святотатство, какой-то не до конца ясный Степану обман, эрзац какой-то обидный.

Пришло желание, но не согретое любовью, и оно показалось Степану грязным, подлым, чуть ли даже не скотским. Как ни крути, а была во всем этом одна лишь неудачная подделка под то стародавнее, настоящее, насквозь чистое, что навек сроднило его с Катериной. И сам себе Степан показался вдруг жалким со всеми своими упорными и заранее обреченными на неудачу попытками как-то подправить свою жизнь, придать ей внешнее благополучие, выскочить из горемычной своей колеи, куда война затолкала его. И все нынешние его

скороспелые попытки как-то переиначить свою судьбу, заменить то настоящее, навек сгинувшее этим дешевым эрзацем лишь унижали и его самого, и ни в чем не повинную Маницу, и... Катерину.

Да, и Катерину тоже. Она хоть и отодвинулась от них, чтобы не мешать им тут миловаться возле кривой груши, но Степан снова знал, что из своей дали она видит все, что у них тут творится возле горькой этой кривули. Но теперь Катерина переменилась к нему. Она окончательно уверилась, что он не скажет заветных тех слов чужой женщине,— и сразу успокоилась, совсем перестала ревновать его к Манице.

Катерина потому, может, так легко и простила ему все, что знала твердо: ничего у них с Маницей не выйдет, зря только они время проводят. А если даже они пересилят себя и сговорятся, то все равно это будет совсем не то и не так, как бывало когда-то у них со Степаном. Она вроде бы силу свою почуяла и с высоты этой силы смотрела теперь на Степана почти уже не печальными, а все понимающими, спокойными от сознания своей власти над ним, все заранее простившими ему и даже чуть насмешливыми уже глазами, будто сказать ему хотела: «Вот ты какой! Ну, порезвись, порезвись...»

И со всеми нынешними его насильными ласками, со всем непотребством его она тоже легко смирилась, как мирилась когда-то прежде с тем, что Степан, случалось, выпивал иногда лишку со своими дружками или совершал иной малый проступок, в котором потом сам же первый и каялся перед ней, вымаливая себе прощенье.

В последний раз, зная уже в глубине души, что ничего у них с Маницей не выйдет, да и выйти никак не может, Степан крепко стиснул ее плечи, будто помощи у нее просил. Он знал, что ей больно сейчас, но Маница вытерпела, только украдкой легонько перевела дух,— то ли приучена была в свое время старшиной к таким же медвежьим ласкам, то ли Степана постеснялась огорчить. И Степану напоследок понравилось, хоть и не нужно ему теперь все это было, что Маница такая терпеливая, не ноет по пустякам. Но даже и здесь она была всего лишь похожа на Катерину и, сама того не ведая, только повторила ее сейчас.

Всюду была Катерина — и никуда ему от нее не уйти, не спрятаться, да ему и прятаться уже расхотелось.

А Маница, что ж Маница... Она, может, и хотела ему помочь, да никак не могла, не знала даже, с какого края приняться. Впрочем, и он сам тоже ничем не мог ей помочь.

Степан разжал руки, выпустил Маницу и как-то сразу вдруг успокоился, будто до конца довел трудное и неухватистое дело и не его вина, если дело это не выгорело: он не щадил себя и сделал все, что только мог. Ему надоело притворяться перед Маницей и насиловать себя. Он бережно отодвинул Маницу в сторону и старательно обошел ее, точно больше всего боялся теперь невзначай дотронуться до нее, и, не разбирая дороги, зашагал прочь, в темень сада.

За спиной Степана зашуршали шаги. Ему не хотелось сейчас видеть Маницу, стыдно было за недавние свои дешевые поцелуи, за то, что он чуть не силой пытался навязать ей себя. Степан надеялся, что Маница уйдет в дом, но она догнала его и молча пошла рядом. Неужели она так ничего и не поняла? Или боится оставить его одного?

Встречная пружинистая ветка больно хлестнула Степана по щеке и заколыхалась в темноте. Он машинально поймал ветку и придержал ее, чтобы та не ударила Маницу. И сразу же точно только этого и ждала, Маница остановилась и нерешительно коснулась рукой его плеча.

— Не горюй, Стэпан,— сказала она тихо и мягко, словно просила оказать ей последнюю услугу.— Не надо, не горюй. Никто не виноват... Война.

Выходит, и она все понимает не хуже его. И тогда понимала, возле груши, когда он целовал ее. Потому, может, Маница так хорошо и понимает его, что и с ней самой творится то же самое. Зря он думал, что все дело в природной ее холодности. Просто общего у них гораздо больше, чем он прежде видел. Оба они понадеялись на свои силы и попытались так легко, чуть ли не с ходу, выскочить из затяжной своей беды, не понимая, что их прошлое, дорогие им люди, все еще крепко держат их и не отпускают от себя.

Наверно, кроме всего прочего, ничего у них не вышло еще и потому, что Степан прежде всего видел в Манице друга по несчастью, обездоленного, как и он, войной, а уж только затем — женщину...

Маница робко провела рукой по его щеке и тут же

отдернула руку, словно сама испугалась своей смелости или того, что Степан может неверно ее понять. И снова, будто ее магнитом притягивало, коснулась его щеки и сказала ласковей прежнего, точно не взрослого мужчину утешала, а несмышленого младенца:

— Не горюй, не надо...— И добавила тихо, на одном дыхании: — Пусть так... Так тоже живут.

Она гладила его по плечу и щеке уже не таясь, словно спохватилась вдруг, что он уйдет, а она так и не сможет израсходовать весь запас нежности, который накопился в ней с того далекого дня, как ушел ее старшина на войну. Похоже, после того как Степан растревожил ее поцелуями, ей трудней стало сдерживать себя и не давать этой затаившейся нежности ходу. Маница, может, и не его вовсе видела сейчас перед собой и ласкала, а старшину своего сурового, убитую мечту свою — дождаться его возвращения и сполна отдать всю ласку ему...

Они с Маницей, может быть, и сладились бы, если б хоть один из них смотрел на жизнь полегче, был бы побойчей, поискушенней в таких делах. Уж больно похожи они друг на друга — и не только судьбой своей, но и всеми повадками. Вот и хотели они переступить через себя, совсем было собрались, да не хватило у них силенки. Никогда прежде не думал Степан, что в далекой Абхазии, на теплом этом берегу, живет чуть ли не его двойник, да к тому же еще и женщина. И может, не только здесь, а и в других местах схожие с ними люди живут. Страна у нас большая, и берегов у нее много — и теплых, и холодных, и всяких иных. А уж деревень вроде той же Ольховки или этой вот Юриной деревни, названия которой никак не мог запомнить Степан, и того больше...

И Степан как-то разом вдруг понял, что Маница лучше, душевней, чем он о ней прежде думал. И не столько мужик ей нужен, сколько верный человек, на кого можно до конца положиться, с кем можно пройти душа в душу остаток своей жизни.

Да и он сам, если на то пошло, тоже напрасно пытался переборотъ себя и перешагнуть через лучшее в себе. Выходит, плохо они себя оба с Маницей знали. И уж ради одного того, чтобы узнать себя поближе, им стоило сходить в ночной сад и покараулить кривую грушу...

Он так хорошо понимал сейчас Маницу, будто вся их несостоявшаяся семейная жизнь — со всеми возможными для них тихими радостями и неизбежной, скрытой из боязни обидеть друг друга глубокой печалью — наяву прошла перед его глазами. Степану и радостно стало, что на свете так много хороших людей,— гораздо больше, чем он думал. И тут же тоска охватила его, даже сердце заныло от боли: ему-то теперь не только не легче станет жить на свете, а еще и потрудней прежнего. Ведь мало встретиться с хорошим человеком, чтобы самому быть счастливым.

А Степану с новой силой счастья захотелось — совсем уж несбыточного, какое у него могло быть с одной лишь Катериной. Слепая эта жажда была так велика, что снова, как два года назад, когда Степан из письма деда Василька впервые узнал, что семья его погибла,— снова не поверил он этому. Не могло этого быть, никак не могло. Просто не было этого — и все. Но неподвластная ему память тут же высветила порушенную Ольховку, оплывший холм братской могилы в овраге,— и вся невозможная эта правда снова настигла Степана и навалилась на него...

— Пойдем домой,— сказала Маница и первая шагнула навстречу празднику, что все еще шумел и горланил в доме.

И Степан послушно шагнул за ней, догнал и пошел рядом.

А может, просто поторопились они с Маницей? И не спеши они так, выжди подольше — и жизнь взяла бы свое и все у них сладилось бы? Что ж, может, и так. А теперь идти им по жизни врозь. Да и просто не годится теперь Степану жить под одной крышей с Маницей.

Ему припомнилась вдруг давешняя его задумка о том, как они с Маницей построят себе домишко и заживут самостоятельно, чтобы никому не докучать,— и Степан подивился недавней своей слепоте. Ишь, как он разбежался! А когда шаркали они ногами у крыльца, чтобы не тащить грязь в дом, совсем уж зряшная мыслишка шмыгнула у Степана: Манице так теперь и не узнать, что означает непонятное ей русское слово — разговеться. Сама она теперь не спросит, а ему и подавно негоже просвещать ее по этой части.

11

Они поднялись на веранду. В доме по-прежнему гремела музыка и топали неустающие, прямо-таки моторные танцоры. За время, что они были в саду, ничего тут не изменилось, вот только веселье размахнулось еще бесшабашней, набирая нетрезвую силу.

Степан машинально остановился у того столба, где они и прежде стояли с Маницей. Он думал, что Маница сразу же уйдет в дом, а она прислонилась к столбу с другой стороны и даже вполоборота к Степану повернулась — как и до прогулки стояла. То ли случайно у нее так вышло, то ли нарочно на прежнем месте она обосновалась, чтобы легче им было войти в накатанную свою колею и поскорей позабыть прогулку в сад.

Они молча смотрели на танцующих. Лучше всех танцевал Махаз. Ревнивый к чужому успеху туляк приставал к музыкантам и слезно просил их сыграть камаринского. Но те лишь плечами пожимали и дудели лезгинку, а заготовитель распалялся все больше и больше. Ноги у него ходили ходуном: видать, очень уж хотелось ему поразить всех своим камаринским.

И все вокруг было так, точно никуда они с Маницей не уходили, а так и стояли здесь все это время. Степан покосился на Маницу. И в ней все осталось прежним, вот только разве нацелованные губы чуть припухли и поярчели. И вся она стала теперь как-то поспокойней, будто окончательно убедилась, что живет правильно и ничего ей в своей жизни переделывать не надо. А тот выход, что померещился было им со Степаном,— не для них, а для кого-то другого, более расторопного и менее совестливого.

Из комнаты на веранду выскользнули Юра с молодой женой и, не замечая Степана с Маницей, прошли в конец веранды. Степан проводил их — счастливых и отрешенных — пристальным взглядом и сказал Манице:

— Их день.

Он засомневался, поймет ли его Маница, но та сразу все поняла и поспешно закивала головой, словно боялась, что он станет разъяснять ей то, о чем словами лучше не говорить. Все-таки неудачная экскурсия в сад сблизила их, и теперь они лучше понимали друг друга. Степан уверился вдруг, что Маница подумала сейчас: «А наши с тобой такие вот деньки давно миновали, а вто-

рым не быть, ибо только раз в жизни они выдаются. А кому больше перепадает — так, считай, и одного настоящего не было, а так, только видимость одна и самообман».

Юра с женой постояли-постояли в конце веранды, пошептались о чем-то своем, молодом, поцеловались разок-другой и двинулись назад. И тут Юра заприметил наконец-то Степана с сестрой и подмигнул им, радуясь, что они так долго вместе и, по всему видать, сбываются все его тайные планы.

Маница потупилась, а Степан стойко выдержал Юрин дружеский, лишь самую малость подтрунивающий взгляд и подумал снисходительно: «Зеленый ты еще, сержант. Как кипарис зеленый. И ничего ты в наших делах не кумекаешь, мало еще своей мамалыги съел!»

Теперь разбредутся они с Маницей по своим тропкам и каждый наособицу станет жить бегучей минутой, что скользит мимо, да еще стародавними своими воспоминаниями, которые будут приходить к ним — званые и незваные.

В комнате громко затянули незнакомую Степану песню. Маница вздрогнула и глянула Степану в лицо, точно ей не терпелось узнать, что тот думает об этой песне. И чтобы только не молчать, Степан похвалил:

— А сильно поют!

Маница недоверчиво покачала головой, сожалея, что на этот раз мнения их расходятся.

— Кричат, а эту песню надо тихо петь...— Помолчала и сказала твердо: — Мой Алеша эту песню всегда пел тихо.

И даже вызов послышался в ее голосе, будто она напомнить хотела — Степану ли, себе,— что не только у него была когда-то любимая жена, но и у нее тоже был муж, которого она любила и любит до сих пор.

Степан подумал: вот и еще годы пройдут, а в ушах Маницы все так же, не затихая, будет звенеть голос старшины Алеши, а перед его глазами — как живая — стоять Катерина в пляске.

Он видел, как плясала Катерина, наверно, с полсотни раз. Но теперь, за давностью лет, все эти ее пляски слились для него в одну, приуроченную к последнему

предвоенному году, когда вместе с ним любовались матерью и Гришутка с Нюрой.

...Вот, придерживая косынку за широко разведенные концы, входит Катерина в круг и для начала притопывает вполсилы, как бы пробуя прочность пола. Она всегда начинала плясать посмеиваясь, чуть ли не дурачась, словно стыдилась в глубине души, что она — жена и мать — занимается таким зряшным делом. Так Катерина обходила весь круг и постепенно строжала вся, подбиралась, будто неведомый другим нелегкий груз ложился на ее плечи. Она отыскивала глазами Степана у стенки, коротко кивала ему, как бы говоря: «Не бойсь, не посрамлю нашу фамилию!» — и заранее прося у него прощения, что до конца пляски не будет уже больше на него смотреть.

Лицо ее становилось вдруг незнакомым, неулыбчивым, даже хмурым. Она во второй раз, испытывая пол, топала чуть погромче первого, замирала на секунду, как перед прыжком с обрыва, и начинала свою пляску. И все, кто оказывался поблизости, сразу же поворачивали к ней головы, будто Катерина была не простой колхозной птичницей, а знаменитой заезжей артисткой из города.

Не было в пляске Катерины никаких выкрутасов и особенно замысловатых колен. Вся красота и особинка ее пляски была в удивительном слиянии Катерины с музыкой, в переводе этой музыки на какой-то другой, каждому по-своему понятный язык.

Степану всегда чудилось, что пляской своей Катерина как бы разговаривала с односельчанами, рассказывала им какую-то заветную историю. А верней — и не рассказывала, а напевала ее своей пляской. Да и не пляска это была, а скорей песня, только вместо звуков тут были движения рук и ног, поворот плеча, наклон головы, нежданный изгиб чуткого в музыке, певучего ее тела.

И даже самые грубые и глубоко равнодушные к танцам люди сразу же схватывали, что Катерина пляшет не так, как другие, и донимали ее просьбами — плясать еще и еще. И Катерина никогда не отказывалась и охотно выходила в круг, будто верила, что уменье плясать дано ей на радость людям,— богом ли дано, природой — понимай, как образование и сознательность тебе позволяют. А вообще-то она не очень ценила это свое

уменье, и в семье у них все шло точь-в-точь так же, как и в других семьях, где жены отродясь не плясали.

Как ни мало Степан разбирался в танцах, но все-таки углядел, что Катерина даже под одну и ту же музыку каждый раз пляшет по-новому. Скорей всего она и сама толком не знала, как именно она пляшет и почему на этот раз у нее выходит иначе. Степану порой казалось, будто Катерина даже и не сама распоряжается танцем, а тот ведет ее по своим неведомым, скрытым ото всех и от нее самой законам. Просто Катерина двигалась, как ей в голову взбредет, мало заботясь о том, что там у нее получается, заранее уверенная, что как-нибудь да получится. И у нее всегда получалось — и складно так получалось, хоть на сцену в театр ее выпускай.

Впервые Степан догадался, что в пляске Катерины есть свой особый смысл, однажды на Первомай, еще в самом начале их семейной жизни. В тот день они поругались дома: одна из тех мелких, но ядовитых ссор, без которых все-таки не обходилось и у них. Сейчас за давностью лет Степан уже позабыл, в чем там было дело и кто из них виноват больше, скорей всего оба поровну: один упрекнул, другой не промолчал — и пошло-поехало. Поругаться они поругались, а в клуб на праздничный вечер все-таки пошли, решив, не сговариваясь, что другим вовсе незачем знать про их ссору, сами как-нибудь разберутся. Помнится, всю дорогу они шли рядком и стесненно молчали, оба враз отвечая на поклоны односельчан — как спаренные части хорошо отрегулированного, хоть малость и разладившегося механизма.

А в клубе, как водится, Катерину вытащили в круг, и она начала плясать. И Степан заметил — обостренными свежей ссорой и неспокойной совестью глазами,— что пляшет нынче Катерина совсем по-особому, как никогда прежде не плясала, и это почему-то тревожило его, задевало за живое. Он только никак не мог понять, то ли Катерина жаловалась односельчанам на него, то ли танцем своим хотела разбудить в нем подзаснувшую любовь и добиться того, чтобы ему стыдно стало за нынешнюю их ссору.

И Катерина добилась-таки своего: ему стало стыдно. Вот тогда он и заподозрил впервые, что Катерина, навер-

но, всегда что-то кровное свое рассказывает людям в пляске и все это смутно чувствуют, да вот только не всегда и не всё понимают.

Степана только сейчас осенило, что у его Катерины редкий талант. А в Ольховке никто этого не понимал, и он первый. Она сама, может, и догадывалась, да помалкивала. А то и сама не знала: не такая уж легкая была у них жизнь, чтобы про песни и танцы всерьез думать. Все это как бы откладывалось *на потом,* когда вся жизнь вокруг крепче станет на ноги.

Всегда было много неотложных дел, и Катерина разрешала себе плясать лишь по большим праздникам, раза три-четыре в году, и чем дальше — тем реже. И то многие в Ольховке осуждали ее: замужняя женщина, мать, а ведет себя, как молоденькая. В клуб на репетиции колхозной самодеятельности Катерина никогда не ходила, а танцевала сама по себе, без всяких репетиций,— и заведующая клубом обзывала ее за это единоличницей...

Катерина плясала, а Степан подпирал плечами стенку, и на душе у него частенько горчило оттого, что сам он ни петь ни плясать не умеет. Он и гордился тем, что Катерина у него такая плясунья, и в то же время душу его грызла обидная догадка: в танце своем Катерина уходит от него, пересекает какую-то тайную грань, незримой, но прочной стеной отделяющую их друг от друга. Первое время Степан даже не шутя побаивался, что Катерина не вернется к нему из-за этой грани, а так и останется там. И потом, уже после танца, он все испытующе поглядывал на Катерину, точно проверял: она ли это, и не подменили ли ее, пока она была за этой недоступной ему гранью.

В такие минуты он особенно остро чувствовал, что Катерина выше его, богаче душой и все вокруг видят это. И выходило, что в обычные дни она только снисходит до него, бесталанного, делает вид, что она такая же, как и он, и лишь в эти вот редкие минуты пляски бывает сама собой.

Исподволь ему начинало тогда казаться, что Катерине не так-то легко любить его, обделенного всеми талантами. А отсюда оставался всего лишь один короткий шажок и до ревнивого опасения, что когда-нибудь она его бросит: найдет себе под стать ловкача-танцора — и по-

минай как звали! И Катерина женским чутьем догадывалась, кажется, об этом его заскоке и каждый раз, отплясав свое, сразу же, нигде не задерживаясь, даже обрывая грубовато односельчан, которые взапуски принимались хвалить ее, спешила к нему и становилась рядышком, как бы говоря: «Тут я, никуда не делась. Зря только переживаешь!»

Как-то в минуту откровенности Степан поведал ей о своих опасениях.

— Чудак ты у меня, Степушка,— укорила его Катерина.— И чего удумал!

И на ближайшем празднике долго отнекивалась и пошла в круг лишь после того, как он сам упросил ее, клятвенно пообещав «ничего такого» не думать.

Сначала Степан один из их семейства любовался ее пляской, потом с Гришуткой, а напоследок, перед самой войной, и Нюра уже подросла, глазела на мать-плясунью и восторженно молотила крошечными своими ладошками, смешно растопырив пальцы. Детишки и видели, что это их мать пляшет, и вроде бы уже сомневались, что эта танцорка с непривычно строгим родным лицом и плавным телом — их мамка, которая стряпает им обеды, по субботам моет их в корыте, стыдит за мокрые носы и шлепает их за малые ребячьи провинности. Порой Гришутка с Нюрой даже поглядывали встревоженно снизу вверх на отца, выпытывая: «Правда, это наша мамка?» И Степан успокаивающе кивал им головой, подтверждая, что это действительно их мамка пляшет, и все идет, как должно быть, и беспокоиться им нечего...

Рядом пошевелилась Маница. Степан покосился на нее и не сразу узнал. Кто это? И зачем она здесь, рядом с ним? И сам он зачем здесь, на этой шумной свадьбе?

Маница зябко повела плечами.

— Пойдем в комнату, а то свежо тут,— пожалел ее Степан.

— Потом,— попросила Маница.— Пусть потом...

Может, и она сейчас вспоминает своего старшину Алешу? Оттого и в комнату не идет, что побаивается, как бы свадебная толчея не помешала ей думать о дорогом.

С трудом, не до конца уже веря себе, Степан при-

помнил недавние свои поцелуи в саду. И зачем ему это понадобилось? Прямо затменье какое-то нашло!

Свежая его вина перед Катериной еще ярче высветила всю ее, до последней жилки, и как бы вплотную придвинула Степана к ней. Ему даже послышалось в нетрезвом гуле свадьбы притопыванье ее каблуков, а когда шум в комнате затихал, то и шелест ее платья. Будто пляшет сейчас Катерина на Юриной свадьбе,— только на той половине комнаты, что не видна с веранды.

И Степан подумал: кто знает, может, как раз в пляске Катерина и была сама собой — настоящей, той, которую он хотя и любил, но так до конца и не понял. И он пожалел запоздало, что так редко плясала тогда Катерина, так редко была сама собой.

В один ряд с пляской стала для него теперь и другая особенность Катерины: она как-то мало менялась с возрастом, будто годы шли мимо, не задевая ее. Телом она, после того как родила ему двух детей, раздобрела и походила на других односельчанок своих лет. А вот душой как-то не взрослела, и все повадки у нее остались девичьи, порой даже девчоночьи. На деньги, предназначенные для хозяйственных надобностей, Катерине ничего не стоило накупить вдруг каких-нибудь пряников, дорогих конфет или заковыристых игрушек для детей.

Среди родичей и знакомых она слыла транжирой, практичные соседки посмеивались над ней, и сам Степан, случалось, не раз попрекал ее мотовством. А сейчас он остро пожалел, что так мало понимал ее тогда, и все былое разбазариванье невеликих ее капиталов показалось вдруг ему несказанно милым, доверчивым и беззащитным. Катерина словно предчувствовала, что и ей самой и детям недолго осталось жить на свете, и пыталась хоть этакой малостью скрасить остатние их денечки.

И не каприз это был пустой, не легкомыслие, как ему тогда казалось, а все та же коренная особинка ее души, которая и плясать ее выводила, и отличала от всех других. И ему, дураку, не злиться тогда надо было, а понимать и радоваться, что у него такая чудесная жена. Но вот поди ж ты, он только нынче дорос до этой простой истины.

А теперь поумневший Степан в этой особинке Катерины увидел вдруг несбывшееся обещание какого-то

совсем невиданного и нестареющего с годами их счастья.

И в свете этого счастья, обошедшего его стороной, особенно стыдно стало Степану за былое свое крохоборство, и он запоздало усомнился: а была ли Катерина счастлива с ним? И что она в нем нашла? Ведь и другие парни на нее заглядывались, а она вот почему-то его выбрала. И не пожалела ли потом, что связала с ним свою судьбу? Вслух она никогда не жаловалась, и все соседи считали — Степан это твердо знал,— что живут они хорошо, и даже ставили их в пример другим, незадавшимся семьям. Находились и такие бедолаги, что и завидовали им,— но сама Катерина-то как? Не пожалела ли в глубине души, что вышла за него замуж? Как теперь узнать? Может, и пожалела когда, кто ему теперь скажет?

Степана обожгла вдруг мысль: теперь уж ему никогда не узнать полной правды. Хоть до ста лет доживет, а этого вот никогда не узнает. Чуть ли не впервые он до конца понял весь жестокий и окончательный, без переигрыша, смысл этого слова — *никогда*.

Прежде он просто отмахнулся бы от таких сомнений и не стал бы голову ломать: до свадьбы, мол, надо было ей думать, а раз вышла замуж — так терпи! А сейчас, чем пристальней вглядывался он в минувшую свою жизнь с Катериной, тем сильнее сомневался, так ли уж была она с ним счастлива. Будто что-то сдвинулось в нем с привычных устоев — и весь он со всеми своими делами и воспоминаниями шагнул вдруг в новую и неведомую полосу своей жизни.

К Степану пришло такое странноватое чувство, словно он только сейчас вот наконец-то стал самим собой, каким давно уже должен быть. Вроде бы вырос он сразу на целую голову и стал вровень с Катериной, а прежде все ниже ее был, едва до плеча ей доставал. Живи Катерина сейчас, она тоже, наверно, не стояла бы на месте и как-нибудь по-новому переросла бы его, хотя ей это и не так уж надо было. Она и прежняя хороша была для него — и не только для тогдашнего низкорослого Степана, а и нынешнему была бы впору.

Весь житейский горизонт его как бы раздался — и Степан стал видеть и понимать *дальше*, чем видел и понимал когда-либо прежде. Ему стало доступно многое такое, о чем раньше он даже и не подозревал;

и в себе самом, и в Катерине, и во всей жизни вокруг. Не потому ли он и Маницу так хорошо угадал, что видел ее уже новыми, только что прорезавшимися глазами? Маницу вот понял, а Катерину, выходит, прозевал...

Или это рывком взмыла любовь его к Катерине, подняла его и сделала зорче? Степан лишь не знал, может ли такое быть, чтобы любовь не только жила, но еще и росла, набирала новую силу — даже и тогда, когда любимого человека уже нет на свете. Но если так даже и не бывает, не должно быть — то у него это было. Пусть не по правилам, а все-таки было.

И Степан остро пожалел, что никак нельзя ему поделиться с Катериной этим запоздалым своим открытием. Теперь оно перегорит в нем впустую да так и заглохнет, а Катерина никогда и ничего уже не узнает. Вот здесь и притаилась самая большая и непоправимая вина его перед женой: не мог прежде, еще при ее жизни, до всего этого дойти.

Понадобилась война со всеми ее тяготами, гибель Катерины с детьми, чтобы он наконец-то прозрел. Дорогой же ценой пришлось ему заплатить за нынешнее свое прозренье. А ведь сверху все лежало, на самом виду! Другой, поглазастей, сразу бы все углядел, а он вот, недотепа, долгие годы ничего не видел и даже злился на Катерину за то, что она не такая, как все... Бить его мало!

Или до самого смертного часа все растет и карабкается человек, все вверх тянется? Достигнет своей верхушки, а тут и помирать пора. Да, не очень-то складно жизнь человеческая скроена...

Мечтая когда-то о том, как расчудесно заживут они с Катериной после войны, Степан невольно строил в уме грядущую эту жизнь по образу и подобию своего довоенного житья-бытья. А теперь он вдруг уверился: все у них пошло бы по-другому. Самое лучшее из прежнего они, конечно бы, сберегли — зачем же от хорошего отказываться? Но многое стало бы у них совсем не так, как раньше было, а как именно — Степан и сам не знал. В общем — умней, душевней, чище. А значит, война отняла у них не только стародавнее их счастье, известное ему вдоль и поперек, но и новое, совсем неведомое, только смутно угадываемое им сейчас и от этого еще более заманчивое, как и все несбывшееся.

И выходит, война обездолила их еще посильней, чем Степан прежде видел. Она лишила их не только того, чем они уже владели, но еще и забежала вперед и отняла у Степана с Катериной все то, что не подоспело еще в их жизни, но что наверняка пришло бы к ним в свой черед, как пришло оно сейчас к одному Степану. А теперь, как ни готов он был к светлой и насквозь счастливой жизни своей с Катериной, а счастью этому никогда уже не бывать...

Похоже, Степан так сильно виноватил себя перед Катериной не только за то, что прежде не понимал ее и придирался к ней по пустякам, но и за свежую свою шкоду — за недавние поцелуи свои скоропалительные в саду. Он сам сейчас не понимал себя тогдашнего: то ли вино его подвело, то ли просто накатила такая минута грешная. Вот так живешь-живешь, а сам себя до конца и не знаешь...

Катерина снова вошла в него, и дикой теперь показалась Степану недавняя его хмельная задумка переступить через нее по дороге к новому своему счастью, что поманило его и тут же сгинуло...

Наверно, и перед Маницей он тоже малость виноват — за то, что сбил ее с толку и, сам того не желая, ввел в заблужденье. Вина эта, которая у людей мелких и слабых оборачивается злостью к тем, перед кем они виноваты, у Степана проклюнулась новой и совсем уж спокойной нежностью к Манице. Ему захотелось как-то скрасить если не всю ее жизнь — он думал, что такое ему просто не под силу,— то хотя бы эту вот минуту, что ковыляла себе потихоньку мимо них,— одна из многих рядовых минут, из которых складывается человеческая жизнь.

Степан только не знал, как подступиться ему к нелегкой своей задаче, и для начала, лишь бы не стоять без дела, осторожно взял руку Маницы и некрепко стиснул ее у запястья, как раз посередке знаменитого тети Дуниного манжета.

— Вот так и живем, Маня.

— Так и живем,— сразу и охотно отозвалась Маница, будто давно уже ждала именно этих слов, знала, что Степан их обязательно скажет, и догадывалась обо всем, что было припрятано у него за этими словами...

В комнате вдруг загалдели. Степан высунулся из-за

столба, чтобы разузнать, что там стряслось. Не добившись толку от музыкантов, подвыпивший туляк пошел танцевать своего камаринского под какую-то кабардинку. Танцевал он легко и складно — видно, танцор был заядлый. Но была в его танце одна лишь бездумная сноровка, будто он работу привычную делал. Ничего душевного, Катерининого не было в его танце и в помине. Однако всем его танец понравился, ему дружно хлопали в ладоши, и, глядя на его пружинистые, ловкие и какие-то бесстыжие ноги, Степан уверился вдруг, что найдет себе заготовитель вдовушку по вкусу.

Ему не хотелось только, чтобы этой горемычной вдовой стала Маница. Впрочем, он был почему-то уверен, что такой человек, как туляк, не полюбится Манице.

И выходит, одной жажды счастья мало еще для того, чтобы быть счастливым. Надо еще, если понадобится, переступить через все в себе, что стоит на пути к этому счастью, и даже через дорогое свое прошлое, если оно помешает. И Степан с Маницей не сумели этого сделать. Замахнуться замахнулись, а переступить вот не смогли. А туляк умел, ему даже и переступать ничего не надо было; так и шагает по жизни: ать-два!

Что ж, подтверждалась старая догадка Степана: таким пройдохам, как туляк, легче живется на свете. Они всегда делают лишь то, что им самим выгодно, и совесть им не помеха...

А потом из колхозного погреба привезли невысокий, но очень пузатый бочонок вина — подарок правления к свадьбе. Бочонок торжественно вкатили в комнату, тамада свирепо зашикал на музыкантов, оборвал танцы и замахал руками, сзывая всех на пробу нового вина.

Степан с Маницей переглянулись и покорно пошли в комнату.

12

Степан поднялся на крыльцо строительной конторы, одернул гимнастерку. Стоявший на крыльце рослый парень в шинели внакидку выплюнул изо рта окурок и сказал дружелюбно:

— Зря стараешься, браток: непыльной работенки здесь нету!

Степан рывком открыл набухшую дверь, сколоченную из сырых досок. «Строители!»

Начальник строительных кадров, еще не старый человек болезненного вида, сидел, откинувшись на спинку стула, и смотрел в окно. Большие роговые очки безработно лежали на кипе бумаг, нацелившись на Степана пустыми стеклами. «Ну и бюрократище!» — решил Степан. В углу машинистка бойко печатала на машинке, в соседней комнате зычный командирский голос распекал кого-то по телефону, от влажных полов пахло керосином — и Степан вдруг оробел.

Переминаясь с ноги на ногу, он сказал чужим трудным голосом:

— Пришел вот узнать насчет работы...

— Завхоз у нас уже есть, в кладовщиках тоже не нуждаемся,— проговорил начальник кадров, не отрываясь от окна.

Степан не сразу понял, что говорят с ним.

— При чем здесь завхоз? Я по объявлению... Плотник я.

Начальник живо повернулся к Степану всем телом, проворно нацепил очки.

— Плотник? — удивился он и спросил, все еще не веря: — Топором?

— Не шилом же!

Начальник виновато улыбнулся.

— Не сердись, друг. К нам все больше насчет завхозов и кладовщиков стучатся. Вот я и подумал...

Он смущенно развел руками — и Степан увидел, что начальник вовсе не бюрократ, а просто хороший человек, которого сильно допекли пройдохи вроде туляка, шныряющие вокруг в поисках теплого местечка. Вышестоящее начальство наверняка ругает его за нехватку рабочих — недаром же он все кипарисы на побережье обклеил своими объявлениями о найме землекопов, плотников и каменщиков.

Начальник строительных кадров понял, что Степан его разгадал, и строго насупился, чтобы не допустить панибратства. Не глядя он сунул руку в нижний ящик стола и выложил перед Степаном два листка по учету кадров и один бережливо выкроенный чистый лист бумаги.

— Напишите заявление. Заполните анкету. Чернилами,— отрывисто сказал начальник, давая Степану по-

нять, что предварительное знакомство кончено и начинается служебный разговор.

Он предложил Степану сесть, но свободного стула в комнате не оказалось. Тогда начальник вскочил сам и, шагая вдоль стола, привычной скороговоркой познакомил Степана с условиями работы. Степан узнал, на какой средний заработок он может рассчитывать, сколько будет получать хлеба, сахара и других продуктов. Если он семейный — то может претендовать на отдельную комнату и получит ее, но не сразу, а если холостой — так ему хоть сегодня дадут койку в приличном общежитии.

Степану показалось, что начальник строительных кадров давно уже никому не говорил об условиях работы в своей конторе и теперь сам рад случаю повторить вслух завидные эти условия.

«С такой специальностью нигде не пропадешь!» — подумал Степан. Но радости почему-то не было, словно в глубине души он даже недоволен был, что так легко и просто нашел работу — и, кажется, неплохую. Степан сам себя не понимал сейчас. Уж не ожидал ли он, что работы подходящей для него тут не найдется или с жильем застопорит? А это еще зачем? Или враг он себе? «Тебе, черту, никогда не угодишь!» — с неожиданной злостью обругал он себя.

Степан тщательно свернул бумаги в трубку, подровнял торцы и сказал:

— Я дома заявление напишу, а то у вас тут и сесть негде. Завтра принесу.

— Будем ждать,— ответствовал начальник, снял очки и, усомнившись в Степане, добавил ядовито: — Не позабудьте к нам дорогу!

А когда Степан вышел, начальник строительных кадров долго еще пристально смотрел на дверь, словно выпытывал у нее, придет завтра плотник или нет...

Спешить Степану было некуда, и в селение Юры он направился кружным путем — по полотну железной дороги. Ночью был ливень, и сейчас от мокрых шпал и подсыхающей щебенки балласта поднимался пар, и вся дорога дымилась, как бесконечный тлеющий трут.

Идти по шпалам было трудно: неполный прыгающий шаг держал в постоянном напряжении и мешал

думать. Не доходя до станции, откуда слышались короткие сердитые гудки маневрового паровоза и лязг буферов, Степан сбежал с насыпи и вошел в лес.

Узенькая тропка сплошь заросла травой и стлалась под ноги пружинистым ковром. Цепляясь за одежду, кусты брызгали холодными чистыми каплями. Пахло лежалым преющим листом. Сбоку что-то смутно забелело. Степан полюбопытствовал, шагнул в сторону и увидел молодую осину. Бедной незваной родственницей стояла она среди вечнозеленых южных деревьев — затерянная, одинокая; редкие неяркие листья забыто желтели на голых ветвях. Невеликий говорливый родничок у корней осины бормотал что-то свое, лесное, русское.

Степан напился воды из родничка, ласково похлопал рукой по гладкому прохладному стволу осины.

Его наново вдруг удивило, как нескладно все выходит. Вот и рады ему тут все, и никто его отсюда не гонит. И Маница не так уж противилась ему, и если б он настоял, так все у них и сладилось бы — хотя и не совсем так, как оба они надеялись. И на работу его охотно берут. Хорошо тут у теплого моря, лучше и не бывает,— а все вроде нету ему здесь места.

И как там ни крути, а выходит, будто обманывает он здесь сам себя. И хоть не по злому умыслу, как пройдоха туляк, а по неведенью, но тоже искал он тут, на благодатном этом берегу, окольную тропку в жизни — в обход нелегкой своей судьбы.

Без прежней боли, вся целиком встала вдруг перед Степаном родная Ольховка — такой, как увидел он ее в последний раз: с братской могилой в овраге и бабами-плотниками вокруг первого венца бревен, с прыткими мышастыми конятами неугомонного Савелия Иванова и белобрысой девочкой со строгими неумолимыми глазами.

Хватит ему без толку испытывать свою судьбу и воевать здесь с самим собой. Так и вся сила его перегорит впустую. И ему самому не с руки такая жизнь, да и время сейчас не такое.

Степан медленно, с наслаждением разорвал на мелкие клочья листки, взятые в конторе, словно одни лишь они и держали его здесь, бросил клочки в родник. Глубинная кипенная струя подхватила кусочки бумаги, за-

кружила их и понесла по заросшему папоротником косогору. Степан проводил глазами последний клочок бумаги. На полоску моря, осколком зеркала блеснувшую в лесной просеке, он глянул уже как бы из окна вагона — безучастным взором пассажира. «Если выехать на этой неделе, к Новому году можно поспеть в Ольховку...»

Со стороны станции раздался долгий, широко разнесенный горным эхом гудок паровоза — призывный и требовательный.

СЫН

1

В конце лета вернулся с войны Баранов, сосед Натальи Петровны. К соседям теперь часто приходили гости, и жена Баранова, сразу помолодевшая, с шальными от радости глазами, забегала к Наталье Петровне за стульями и стаканами.

Через неделю явился слесарь, у которого до войны Наталья Петровна всегда чинила примус. А там и пошло: сегодня один знакомый приехал, завтра — другой. Тесней сделалось на городских улицах, на каждом шагу стали попадаться демобилизованные. Тонко и серебристо звенели медали, жарко горели ордена на солнце.

Возвращались и такие, кого давно уже похоронили и никто больше не ждал. И воспрянула духом Наталья Петровна.

Каждый вечер доставала она извещение о гибели Мити, потертое на сгибе, зачитанное. И хотя наизусть знала, что там написано, но все смотрела, до ряби в глазах вглядывалась в скупые безжалостные строчки,— не увидит ли чего нового. Но все было по-старому: погиб и похоронен в деревне с трудным нерусским названием. Умом понимала Наталья Петровна, что надеяться на возвращение сына нельзя, но робкая подспудная надежда, то совсем затухая, то разгораясь с новой силой, неистребимо жила в ней.

Ведь бывают же ошибки? Со всех сторон слышала Наталья Петровна о таких ошибках. И только с Митей почему-то никаких ошибок не выходило.

Вещи сына терпеливо ждали хозяина на старых, обжитых местах. Как ни трудно порой в войну приходилось Наталье Петровне, но ничего из Митиных вещей не вынесла она на толкучку. Ей казалось: продать самую малую его вещицу — все равно что похоронить Митю; и тогда нельзя уже будет надеяться, что он когда-нибудь вернется.

И стояли на этажерке Митины книжки, умно поблескивая незапыленными корешками; ровными кипами лежало в ящике комода белье, старательно выглаженное, сполна снабженное пуговицами; с наглухо ввинченным значком «Ворошиловский стрелок» висел в шкафу пид-

жак, распятый на держателе,— без единой пылинки, хоть сейчас надевай.

Время от времени пересматривала Наталья Петровна всю одежду сына, проветривала, пересыпала нафталином, и не было у нее по дому работы слаще этой. Подолгу сиживала с новой рубахой, сшитой ею перед самой войной. Рубашка была синяя, сатиновая, с белыми веселыми пуговками на вороте. Только один разок и успел надеть ее Митя. Бессильные старческие слезы ползли по щекам, капали на колени. И там, где слезы падали на рубашку, синий сатин темнел, становился черным.

2

Просыпалась Наталья Петровна рано, еще до света. Долго лежала в темноте с открытыми глазами. Как только начинало светать — вставала. Отогну́в скатерть с краешка большого обеденного стола, одиноко завтракала и шла на работу.

С ведром и веником обходила школьные классы, еще по-ночному молчаливые, неуютные. Подметала пол, выравнивала парты, начисто мыла классные доски. Молодая уборщица вечерней смены совсем обленилась, знала: чуть свет придет старуха, все сделает за нее. После уборки Наталья Петровна разносила по классам мел и влажные, чистые тряпки. Затем присаживалась отдохнуть на свое обычное место возле тумбочки, под часами.

Сначала изредка, а потом все чаще и чаще взвизгивала тугая входная дверь, привычным шумом потревоженного улья начинала гудеть школа. Первыми всегда являлись ученики, живущие далеко от школы, а из них раньше всех изо дня в день прибегал долговязый вихрастый подросток Захарка. Откуда-то из-под Витебска переехала в этот город его семья. Три учебных года потерял Захарка из-за войны и теперь сильно робел среди бойких, насмешливых одноклассников. Осторожно ступая громкими немецкими башмаками на деревянной подошве, Захарка боязливо здоровался с Натальей Петровной, поскорей шмыгал в свой класс и сразу садился за книгу.

Из учителей раньше других постоянно приходили математик Владимир Семенович — Знаменатель и седая близорукая химичка Вера Саввишна — Молекула, видно, не спалось старым. Наталья Петровна в точности

знала, как школьники называют каждого преподавателя, и, думая об учителях, именовала их обычно ученическими прозвищами.

Среди шума и беготни Наталья Петровна затерянно сидела на своей табуретке и все посматривала на скрипучую входную дверь — ждала, когда придет Ольга Михайловна, для нее — просто Оля. В школе та появилась уже во время войны, и сразу, как только увидела ее Наталья Петровна, будто в сердце ее кто толкнул: «Вот такую бы жену Мите!»

Была Оля высокая, с русыми легкими волосами, веселая без хохотка, приветливая. Как придирчиво ни присматривалась к ней Наталья Петровна, ничего плохого не выискала. Ученики Олю полюбили, и даже самые хулиганистые как-то терялись перед ней. Прозвища ей никакого не дали.

И запала Наталье Петровне тайная мысль — познакомить Олю с сыном, когда кончится война и Митя вернется домой. Верилось: они обязательно полюбят друг друга, просто невозможно, чтобы не полюбили. В мечтах уже видела она, как ходит веселая голубоглазая Оля по их квартире, хозяйничает на кухне.

Однажды, встретив Олю в воскресный день на улице, Наталья Петровна затащила ее к себе, угостила чаем. Светлей и праздничней показалась Наталье Петровне собственная квартира, когда сидела она за столом вместе с Олей. Блюдце с чаем Оля держала как-то по-детски, смешно оттопырив мизинец. Тихонько посмеиваясь, Наталья Петровна глядела на непослушный молодой мизинец, и так безмятежно-спокойно было у нее на душе, будто Митя уже вернулся с войны, переодевается в соседней комнате и сейчас выйдет к столу.

— И что это вам так смешно? — все допытывалась Оля, но Наталья Петровна только ласково смотрела на нее и подвигала поближе нехитрое свое угощение.

Как бы случайно она показала Оле лучшую карточку сына, ту, где Митя снимался при выпуске из техникума.

— Ваш сын? — переспросила Оля.— Симпатичный!

Радовалось сердце Натальи Петровны.

В то же воскресенье, после чаепития, отписала она Мите, что подыскала ему хорошую девушку, пусть он там поскорей кончает войну и возвращается под родную крышу. Митя ответил шутливо: просил передать невесте привет. Письмо это оказалось последним, и невинная шутка

сына неожиданно обернулась горьким посмертным завещанием.

Потянулись для Натальи Петровны унылые, пустые дни. Пыталась трудом заполнить их, да всего работы у школьной уборщицы — подготовить к занятиям классы и день-деньской сидеть под часами, караулить время.

Размеренные и неторопливые, безучастные ко всему на свете, устало тикали старые часы над головой Натальи Петровны. Какое-то странное утешение находила она в их строгом механическом постоянстве. И думалось здесь, на табурете, под скупое точное тиканье часов легче и безбольней, чем где-либо в другом месте.

На исходе войны часы стали да так и не пошли, как ни бился над ними приглашенный в школу опытный часовщик, видно, отслужили свое, сполна отработали. На место солидных стенных часов повесили звонкоголосые легкомысленные ходики. Суетливое щелканье ходиков врывалось в медлительные думы Натальи Петровны, мешало ей. Долго не могла она привыкнуть к новым часам, а потом сжилась и с ними, приучилась, не обрывая, тянуть узловатую невеселую нить воспоминаний под беспечное щебетанье ходиков.

На одной Оле глазами и душой отдыхала Наталья Петровна, дочкой про себя называла молодую учительницу. Иногда казалось Наталье Петровне, будто и Оля догадывается о несбывшейся ее мечте и тоже жалеет, что не довелось им породниться.

3

Возвращались домой по-разному. Глубокой осенью вернулся из плена Митин дружок Никита Ковалев. В первую военную зиму пришла на Никиту похоронная, четыре года лила слезы старая Ковалиха, а теперь вот нежданно-негаданно выпало ей счастье обнимать живого сына — худючего, желтого, будто и кровинки единой в нем не осталось,— но живого, живого!

Наталья Петровна сбегала к Ковалевым, расспросила Никиту, не встречал ли тот где Митю в лагерях и душегубках. Нет, не встречал.

Хрипя отбитыми легкими, Никита рассказывал о своем житье-бытье в неволе. Он даже смеялся, припоминая, как ловко они там воровали турнепс у хитрого и жадного бауэра. Забывшись, Никита нет-нет да и оглядывался

через плечо — по привычке искал постового, что все эти годы по пятам ходил за ним на чужбине, стерег его и подгонял на работе. Глаза у Никиты были какие-то смутные, в них все перемешалось: и застарелая боль-тоска, и радость, что дома он, у матери,— а на самом донышке вроде бы обида на судьбу затаилась — за то, что по своей ли, чужой ли вине так неудачно он воевал.

Наталье Петровне почудилось: Никита изо всех сил старался и все никак не мог до конца поверить, что плен у него позади и теперь вольно ходит он по родной земле. С другими он избегал откровенничать, а с Митиной матерью говорил долго и терпели́во отвечал на все ее расспросы, словно ни в чем не мог ей отказать.

Похоже, он чувствовал себя перед ней в неоплатном долгу. И вроде бы ждал он ее уже давно, ждал и боялся. Будто после всех казенных проверок, что перенес он, наступила для Никиты самая тяжкая — глаза Натальи Петровны. Он вот живой и худо-плохо дома сидит, а ее Митя, с которым пацанами гоняли они футбол на ближнем пустыре, по всему видать, сложил свою голову. Выходит, за него и сложил. Может, потому дружок его и погиб, что Никита угодил в плен и вместо того, чтобы фашистов убивать, воровал там свой турнепс. А тот фашист, которого он упустил на своем участке фронта, дотянулся потом до Мити.

И оттого, что Наталья Петровна ни в чем его не обвиняла, Никите было не только не легче, а еще тяжелей...

Пока они так говорили, старая Ковалиха готовила обед и совала сыну то один кусок, то другой. Она топталась возле плиты как-то боком, вполоборота к своему Никите. Ей просто не с руки было так стоять, и сперва Наталья Петровна решила, что Ковалиху продул сквозняк и ей трудно поворачиваться. А потом она догадалась вдруг, что сквозняк тут совсем ни при чем: просто никак не может наглядеться старая Ковалиха на своего сына. Даже выходя по делам в сенцы, она пошире распахивала дверь, чтобы и оттуда смотреть на желтого своего Никиту, точно боялась, что сгинет он без следа, если она хоть на секунду малую повернется к нему спиной.

На миг перехватила Наталья Петровна взгляд Ковалихи на сына и сразу же отпрянула, будто обожглась.

ей больно вдруг стало смотреть, как любуется другая мать своим сыном и г л а д и т его глазами.

И впервые в жизни позавидовала Наталья Петровна чужому счастью. Сама знала: нехорошо это — завидовать, но ничего не могла с собой поделать. Уж очень ей самой захотелось вот так же топтаться возле своего Мити, кормить его, гладить глазами. И такому вот, как Никита, была бы рада. Пусть без орденов, пусть больной, лишь бы живой был. Выходила бы его, на руках снесла бы к доктору, как когда-то маленьким Митю носила, когда болел он коклюшем,— вымолила бы у суровой медицины здоровье для своего сына.

Напоследок Никита сказал:

— Может, еще вернется ваш Дмитрий. Там много еще нашего брата.

— Дай-то бог...— только и ответила Наталья Петровна и заспешила прочь от Ковалевых, чтобы не растравлять свою душу неподвластной ей завистью к чужому счастью и людям радость не портить.

4

Осенью новые педагоги появились в школе, и среди них физик Сергей Иванович. Запомнился он Наталье Петровне с того дня, как подошел к ней на перемене — строгий, в шинели, и спросил:

— Вы здесь уборщицей работаете?

— Да, я...— отозвалась Наталья Петровна, приподнимаясь со своей табуретки и предчувствуя недоброе.

Физик протянул ей серый твердый кусок мела.

— Получше мела разве нет? Этот только доску царапает.

— Нету сейчас...— сказала Наталья Петровна тихо и виновато, будто по ее недосмотру снабжают школу таким паршивым мелом.

— Ну, на нет и суда нет! — вывел заключение Сергей Иванович и отошел от тумбочки.

Ничего больше не было сказано, и ни в чем Сергей Иванович ее не упрекнул, но Наталье Петровне показалось, что новый физик настроился против нее. Она стала присматриваться к Сергею Ивановичу, прислушиваться, что говорят о нем ученики. Прозвище ему дали необидное, скорей даже почтительное — Танкист. Да и так видно было, строгий Сергей Иванович взял учеников

в руки: по звонку на его урок они сразу бежали в класс, а не бродили по коридору, как у доброй и слабохарактерной Молекулы.

Как-то раз в начале зимы, направляясь на урок, Сергей Иванович вышел из учительской вместе с Олей. Невдалеке от тумбочки Натальи Петровны, возле своего класса, Оля остановилась, взялась за ручку двери. Но дверь сразу не открыла: ждала, когда кончит говорить Сергей Иванович. И хотя со своей тумбочки хорошо слышала Наталья Петровна, что говорил физик только деловое, о сегодняшнем заседании педсовета, и сразу же после его слов Оля вошла в класс,— все же что-то недоброе шевельнулось в ее сердце, новой щемящей болью отозвалось там.

Осуждающими, ревнивыми глазами следила она теперь за Олей. И не скрылось от нее, что иначе стала причесываться молодая учительница. Новая прическа была ей к лицу, но не радовалась Наталья Петровна, обиженно думала: «Для Танкиста старается!»

А когда недели через две в школу завезли хороший мел, Наталья Петровна с каким-то мстительным чувством выбрала самый лучший кусок и отнесла в кабинет физики. На первой же перемене, проходя мимо Натальи Петровны, Сергей Иванович сказал:

— А вот сегодня мел гвардейский! — и улыбнулся.

И с непонятным страхом увидела Наталья Петровна, что зубы у него белые и ровные, один к одному, а глаза молодые, озорные, совсем мальчишеские.

5

Трудней всего Наталье Петровне было жить по воскресеньям и праздникам. Без привычной работы в школе как-то сразу вытягивался день, пустой и томительный, будто и часы в нем удваивались. Утром, надев лучшее свое платье, подарок Мити на первый его заработок, шла она в церковь. Пожалуй, не так к богу на поклон ходила Наталья Петровна, как для того, чтобы разменять долгий праздный день, хоть чем-то с утра заполнить его.

Вообще-то с богом у Натальи Петровны отношения были довольно сложные, а верней, запутанные. Когда-

то верила она слепо, не рассуждая, хотя шибко богомольной и тогда не была: всегда находились дома какие-то неотложные дела по хозяйству и оттирали ее от бога. Постилась она кое-как, на скорую руку, а в церковь ходила только по большим праздникам — на рождество и пасху.

А теперь вот и по воскресеньям стала ходить...

Поп был дряхлый, сильно шепелявил, и понять его было трудно: и слышно, что божественное говорит, а что именно, не разберешь. Наталья Петровна стояла смирно, крестилась, когда все вокруг крестились, а сама думала о своем. Как всегда, мысли ее тянулись к Мите. А так как сейчас она была в церкви и все вокруг было пропитано богом, то и Наталья Петровна, не выбирая, а лишь невольно подчиняясь обстановке, начинала думать о Мите и боге — о том, что в ее жизни было связано с ними обоими.

Чаще всего всплывало в ее памяти то далекое время, когда Митя учился еще в семилетке, вступил в Союз воинствующих безбожников и со всем пылом свежеиспеченного атеиста ополчился против бога. С книжкой в руке доказывал он матери, что никакого бога нет и никогда не было, а все люди произошли своим путем, от обезьян. И даже картинки в книжке своей безбожной показывал, как именно произошли — постепенно, со ступеньки на ступеньку: сначала хвост потеряли, потом встали с четверенек на ноги, затем взяли в руки палку и пошли все вперед и вперед, пока не добрели до Натальи Петровны с Митей. Интересные были картинки.

Наталья Петровна слушала Митю и радовалась, что сын у нее растет такой ученый, все про обезьян знает. Она и картинки смотрела и даже верила всему, что Митя ей говорил. Вот только ей все время чудилось, что все эти волосатые обезьяны и вся Митина книжная премудрость сами по себе, а ее бог сам по себе и друг к дружке они никакого отношения не имеют. В голове Натальи Петровны они просто как-то не встречались, а так и сидели по своим углам, как бы жили на разных улицах или даже в разных городах.

И Митя со всеми своими обезьянами так ничего и не добился. Наталья Петровна даже посильней прежнего затвердела тогда в своей вере в бога, ибо вера эта стала у них в доме как бы гонимой, а давно известно: за-

претный плод особенно сладок. Митя злился на мать, называл ее несознательной женщиной, а она ухитрялась и в бога верить и сына-безбожника любить. И одно ничуть не мешало другому...

Наталья Петровна вдруг спохватывалась, что впадает в грех, думая в святом храме про обезьян, испуганно крестилась и поглядывала на иконы: как там они, ничего не заметили? Никола-угодник грозно смотрел на Наталью Петровну и сильно смахивал на сердитого Знаменателя, распекающего нерадивого ученика. Ничего хорошего для себя от этого громовержца Наталья Петровна не ждала и поспешно переводила глаза на богородицу. Ей она верила больше: Наталье Петровне казалось, что та — как женщина и мать, потерявшая сына,— поймет ее лучше, чем бездетный Никола-угодник, и скорей простит ей мерзких обезьян.

Богородица печально глядела поверх головы Натальи Петровны. По всему видать, ей и своих забот хватало, и не только до горемычных обезьян, но и до самой Натальи Петровны руки у нее просто не доходили. Это лишний раз подтверждало новые мысли о боге, к которым недавно пришла Наталья Петровна, она успокаивалась и опять тянулась душой к Мите. Теперь, вернись сын домой, она и от обезьян готова была вести свой род, да вот Митя никак не возвращался...

Впервые пошатнулась ее вера в бога во время войны. Еще Митя живой был и письма треугольные от него почтальон приносил. Стояла раз ранней весной Наталья Петровна в очереди за хлебом, было не так уж и холодно, но дождик въедливый моросил, до костей пронимал. И случилось так, как часто в те годы случалось: хлеб весь разобрали, а новый еще не подвезли, и когда привезут, неизвестно. Половина очереди разбрелась, а наиболее терпеливые и голодные остались. И Наталья Петровна осталась: уж близко от магазинной двери, обитой жестью, она стояла, и жалко ей было терять такое выстоянное, почти уж хлебное место.

Стояла она так, стояла, стараясь не пошевелиться, чтобы не разбавлять угретую телом воду свежей дождевой, да возьми и подумай: а зачем все это? Зачем это богу: чтобы она тут стояла и под дождем мокла, какой в этом высший смысл? Да и вся война зачем: со всеми ее смертями, калеками, сиротами, разлуками, пожарами, болезнями, голодом и холодом? Зачем? Какая богу от

этого радость? Ведь если б он захотел, так ничего бы этого не было. Так чего же он медлит, чего тянет там у себя на небе?

Тогда Наталье Петровне не удалось додумать до конца: приехала хлеборазвозка, началось столпотворение, и Наталью Петровну чуть не вытолкали из очереди вместе со всеми ее мыслями о боге.

А когда вскоре пришла похоронная на Митю, и совсем уж невмоготу стало ей верить в бога. Вся прежняя ее вера как-то разом перегорела. Главное, чего никак не могла понять Наталья Петровна: зачем Митина гибель богу? Зачем? Ведь если бог добрый и всесильный, как о нем говорят, то ему ничего не стоит сделать так, чтобы Митя был жив. Ну что ему стоит? И тогда она верила бы в него непоколебимо до самой своей смерти.

Понаторевшие в религии люди, к которым обращалась со своим недоумением Наталья Петровна, сказали, что ее на старости лет обуяла гордыня: не нам судить, почему бог делает так, а не этак. А война, говорили они, испытание, ниспосланное людям за тяжкие их грехи, в том числе и за грехи самой Натальи Петровны.

Ну уж этого она и совсем не понимала. Зачем людей испытывать? Это в школе экзамены делают при переходе из класса в класс, чтобы узнать, научились ли чему школяры или каша у них в головах. А людей зачем экзаменовать? Разве бог и так не видит, какие они и чего каждый стоит? Ведь тогда, выходит, бог и ее испытывает Митиной смертью? А это еще зачем? И так ведь известно, какая она,— вся на виду, без утайки. А если уж такая она великая грешница, так пусть тогда бог ее одну и покарает, а Митю зачем убивать?

И выходит, не испытанье это, а одно лишь напрасное мучение. А такого бога, который людей не любит и понапрасну их мучит, Наталье Петровне и вовсе не надо было: что ей с таким жестокосердным богом делать? Любить такого бога она не могла, а бояться — так люди и без бога много чего навыдумывали, чтобы бояться. Уж пусть тогда лучше никакого бога не будет, одни лишь голые небеса, воздух один или что там, по науке, над нашими головами синеет?

Злого бога, без нужды испытывающего людей, На-

талья Петровна принять никак не могла, а совсем без веры жить ей было непривычно, и постепенно выдумала она себе другого бога. Бог Натальи Петровны был добрый, и войны не хотел, и Митю не убивал, и никого не испытывал. Он хотел всем одного лишь добра, но от старости и непосильной тяжести своей задачи совсем запутался, и получалось у него не то, чего он добивался. Это все равно как на уроках у доброй и растяпистой Молекулы: чем сильней хочет она, чтобы ученики сидели тихо, тем больше гвалта у нее в классе и ребята прямо-таки сатанеют от возможности безнаказанно похулиганить.

Раньше, когда людей на земле было меньше, да и сам бог был помоложе, он еще кое-как справлялся с нелегкой своей задачей. А теперь люди расплодились, наизобретали так много разных машин, пушек, танков и самолетов, что старый бог никак уже не мог справиться со всей этой оравой.

В общем, бог Натальи Петровны создал мир, запустил его, а теперь и сам не может дать ладу непутевому своему творению. Да и помощники его — ангелы с архангелами,— по всему видать, полной правды ему не говорят. А так — бог Натальи Петровны был хороший и добрый, хотя и мало проку выходило людям от его доброты.

Бог жалел ее, а Наталья Петровна его пожалела, доброго и неумелого. Пожалела и признала, так они и расквитались друг с дружкой. Помощи от него она уже не ждала, а в церковь все-таки ходила. Тут и привычка многолетняя сказывалась, да и не хотелось ей огорчать старого бога своим отступничеством: по себе знала, как это плохо, когда остаешься в мире совсем один.

6

Зима стояла снежная и вьюжная. По утрам совсем заметало дорогу, и Захарка из дому выходил теперь еще раньше. Сунув книжки за пазуху и сжав руки в кулаки, чтобы меньше мерзли, Захарка упрямо шагал через сугробы. Мучили немецкие башмаки: снег, как магнитом, притягивало к деревянным подошвам. Приходи-

лось часто останавливаться и сбивать с башмаков крутые наросты.

Каждый день Захарка боялся опоздать и в школу прибегал запыхавшись. Убедившись, что до начала занятий еще далеко, он долго и старательно вытряхивал на крыльце снег из шапки и кацавейки, начисто обметал проклятые башмаки.

Дальше предстояло самое неприятное: пройти по длинному гулкому коридору в свой класс мимо суровой уборщицы. Захарка робел перед Натальей Петровной, считая, что она презирает его за каждодневные ранние приходы и неуклюжую шумную обувь.

Однажды Наталья Петровна заглянула в класс, куда только что вошел Захарка. Тот сидел над распахнутой толстой книгой и ожесточенно дул на озябшие, красные, как морковка, пальцы.

— Иди к печке погрейся, читатель! — пригласила Наталья Петровна.— Далеко ходить в школу-то? — поинтересовалась она, когда Захарка уселся в коридоре перед раскрытой печной дверкой.

— Далеко,— признался Захарка,— из железнодорожного поселка.

— Ничего,— утешила Наталья Петровна ученика.— Говорят, на будущий год госпиталь освободит железнодорожную школу.

— Все равно я в эту школу буду ходить! — заупрямился Захарка.— Мне здесь нравится, учителя тут хорошие: Ольга Михайловна, Тан... Сергей Иванович и другие...

Наталья Петровна обозлилась на Захарку за то, что он так запросто соединил несмышленым своим языком Олю с Танкистом. Но Захаркина верность школе, в которой она проработала без малого двадцать лет, располагала в его пользу, и Наталья Петровна пристальней всмотрелась в ученика, чтобы оценить его по справедливости.

И хотя ей пришлось по душе, что грелся парень умело — сразу рук в печку не совал, знал, что могли зайтись с пару, хотя давно уже заприметила она, что на переменках вел себя Захарка степенно — не гонял ветра по коридору, как другие ученики,— но тем не менее Наталье Петровне он все же не приглянулся: больно уж был рыжий да конопатый. Она невольно сравнила

его с Митей и забраковала Захарку целиком, с головы до пят.

— Учителей много,— осуждающе сказала Наталья Петровна.— Они тоже разные бывают, учителя: и хорошие и... всякие!

На следующее утро Захарка, расхрабрившись, сам подсел к огню, а потом это вошло у него в привычку. Отогревшись, он раскрывал книгу и под шипенье сырых дров, в неровном мигающем свете пламени отправлялся в заманчивые путешествия. Иногда по просьбе Натальи Петровны он читал вслух. Молодой упрямый голос его воскрешал в памяти Натальи Петровны другой голос, другие чтения: школьником Митя часто читал матери своего любимого Джека Лондона. И теперь, слушая Захарку, Наталья Петровна закрывала глаза, чтобы не разбивать впечатления, подальше уйти от Захаркиных жестких и рыжих волос.

Когда читать было нечего, Захарка рассказывал о жизни в Белоруссии при немцах. О пожарах и трупах он говорил так привычно спокойно и просто, как будто совсем не понимал всего ужаса пережитого. И это в его рассказах было для Натальи Петровны самым страшным.

7

В годовщину Красной Армии в школе был торжественный вечер. Учитель истории сказал о том, какой путь прошла наша армия, как нелегко далась нам победа и что народ наш никогда не позабудет погибших. Хорошо говорил историк, без бумажки. А ученики в зале, рядом с Натальей Петровной, слушали невнимательно, шушукались, ждали концерта. Было известно, что в концерте, помимо школьной самодеятельности, выступит цыганский хор, каким-то чудом залетевший в эти края, и послушать цыган набилось много народу.

После доклада старшеклассники читали стихи и пели песни — про войну и победу. Ребята старались, и самые шаловливые из них как-то подтянулись и выглядели со сцены примерными учениками.

А потом высыпали пестрые цыганки с монистами,

Пенье их Наталья Петровна еще кое-как выдержала, а когда цыганки пустились в пляс и затрясли широченными своими юбками, она встала и потихоньку вышла...

В начале марта к Наталье Петровне пристал на переменке кудрявый семиклассник, школьный поэт и корреспондент. Он расспрашивал ее о том, как она живет и работает, и что-то записывал огрызком карандаша в узенький блокнотик с загнутыми, обшмыганными уголками.

А к Восьмому марта вышел свежий номер стенгазеты, и там была заметка о Наталье Петровне. В заметке говорилось, как честно и добросовестно она работает. И в самом конце было приписано, что ученики должны уважать труд уборщиц: вытирать ноги на крыльце, не сорить на пол и не крошить мел.

Целую неделю во время уроков Наталья Петровна осторожно подходила к газете и, предварительно осмотревшись вокруг, не наблюдает ли кто за ней, разыскивала в верхнем правом углу знакомую статью. И каждый раз, перечитывая, на минуту забывала, что это о ней статья, так гладко все было написано.

Потом газету сняли и повесили новую. В верхнем правом углу теперь уже красовался ребус. А в школе все осталось по-прежнему: ученики в грязных ботинках так же вихрем носились на переменах по коридору, сдвигали парты, в порошок толкли мел и куда-то запрятывали тряпки.

Новый школьный завхоз — бывший старшина пулеметной роты, человек бережливый и хозяйственный — довел до сведения Натальи Петровны, что все лимиты тряпичного материала на этот учебный год уже исчерпаны, и рекомендовал проявить военную находчивость. Что такое лимит и военная находчивость, Наталья Петровна не знала, но выход все же нашла: распорола свой собственный мешок из-под картошки и накроила из него тряпок.

И все остались довольны.

8

Как-то посреди урока Сергей Иванович, у которого было «окно» в занятиях, остановился возле Натальи

Петровны и сказал робковато, будто просил о немалом одолжении:

— Можно около вас посидеть, а то скучно одному в учительской.

Наталья Петровна пожала плечами, как бы говоря: «Не в моей власти запретить тебе сидеть там, где вздумается, так стоит ли спрашивать?» Физик поколебался немного и сел по другую сторону тумбочки, поближе к Олиному классу.

Из глубины коридора доносился голос Знаменателя — разъяснял квадрат суммы. Наталья Петровна давно уж заприметила: как только добирался старый математик до этого разлюбезного своего квадрата, враз голос наливался звонкой медью — видать, очень уж уважал он этот самый квадрат.

А когда на время угомонился Знаменатель, из ближнего класса послышался негромкий голос Оли, вкрадчивый и ласковый. Был он как журчанье ручья в весеннем лесу. Сергей Иванович счастливо улыбнулся, будто подарок получил.

— Хорошо тут у вас...— сказал он и широко повел вокруг рукой.

Наталья Петровна неодобрительно покосилась на непрошеного своего соседа и углядела, что локоть военного кителя Сергея Ивановича прохудился и заштопан неумело, вкривь и вкось, мужскими разгонистыми стежками. И хотя грех это был, а порадовалась она про себя, что Танкист такой неухоженный. Наталья Петровна всей душой поверила, что чистюля и аккуратистка Оля никогда не сможет полюбить такого неряху, и приободрилась. Вот вернется Митя, она его отутюжит, только глянет Оля и сразу поймет, где ее счастье...

Сергей Иванович осведомился, не потревожит ли Наталью Петровну табачный дым, вынул из кармана коробку из-под монпансье, где содержалась у него махорка, быстро и умело скрутил цигарку и вставил ее в наборный мундштучок из плексигласа — краса и гордость фронтового уюта. Наталья Петровна старательно смотрела в сторону, чтобы Танкист не думал, что ей так уж интересно глазеть на него.

На свет божий появились толстые самодельные спички с крупными головками, которые в ту пору мастерила в Кировской области одна горемычная артель

и одаривала ими оскудевшую после войны державу. Спички эти долго шипели, воняли преисподней и иногда зажигались, а чаще так и исходили впустую адским чадом. И уж если вспыхивали, то так взрывательно, будто фугаска бухала. Наталья Петровна, разжигая печи в школе и дома, изучила все повадки этих горе-спичек и теперь предусмотрительно отодвинула свою табуретку подальше от тумбочки.

Сергею Ивановичу повезло, и уже вторая спичка рванула у него фугаской. Оба они вздрогнули, причем Сергей Иванович даже посильней Натальи Петровны, будто и на фронте не был, и наконец прикурил-таки свою закрутку.

— Что ж вы, и зажигалкой не разжились? — осуждающе спросила Наталья Петровна.— Да и костюмчика на вас тоже что-то не видать. Все в военном да в военном, а другие уже, гляжу, во все гражданское переоделись. Или так и будете теперь в военном щеголять до скончания веков?

— И рад бы переодеться, да нет костюмчика-то,— виновато отозвался Сергей Иванович, отгребая рукой пахучий свой дымок подальше от Натальи Петровны.

— Что ж так? — выпытывала та, почуяв, что напала на слабое место Митиного соперника.— Ведь вроде не слышно, чтоб пили?

— За компанию могу и выпить,— признался Сергей Иванович.— А барахлишка еще не нажил. В войну не только все мои вещи пропали, но и дом, где я жил, не уцелел. Одна воронка на том месте и осталась...— Он помолчал немного и сказал доверительно: — Большая такая воронка.

— А что ж вы из Германии этой самой ничего не прихватили? — не унималась Наталья Петровна.— Другие ведь привозят. Они у нас столько всего забрали, что и нам по малости тоже не грех.

Сергей Иванович смущенно развел руками.

— Да, знаете, не пришлось как-то...

И что-то мучительно знакомое — не так в его словах, как в том, что стояло за ними, что разом угадала вдруг Наталья Петровна,— кольнуло ее в самое сердце. На миг ей даже почудилось, будто совсем не с чужим и неухоженным Танкистом говорила она сейчас, а с другим, самым родным для нее человеком. В смуще-

нии был похож Сергей Иванович на Митю. Да и не только смущались они одинаково. Она уверилась вдруг: если б Митя выжил на войне и вернулся домой, то тоже прикатил бы в одной гимнастерочке,— такой же был стыдливый и непрактичный.

И это неожиданное сходство меж ними как-то связало Наталью Петровну по рукам и ногам, мешало ей теперь враждовать с Сергеем Ивановичем. Она тут же разозлилась на пронырливого Танкиста, который исподтишка обошел ее на кривой и незвано-непрошено втерся в доверие. И на себя разозлилась она — за ненужную, непростительную доброту свою к Митиному сопернику. Но и злясь, ничего поделать с собой уже не могла.

Как-то пусто вдруг стало все вокруг для Натальи Петровны. Кажется, ей мало уже было вечной материнской надежды, что сын ее жив и когда-нибудь вернется, а надо было уже и какое-то постоянное занятие — не так для рук, как для души. Раньше она исподволь приваживала к своему дому Олю. Позже, когда появился в школе Танкист и стал ухаживать за Олей, она следила за ними, ревновала Олю к этому проныре и все вроде была при живом деле: хоть и недоброе, а тоже занятие.

А теперь ревновать Олю к Танкисту было уже нельзя. Будто изловчился Сергей Иванович и выбил из ее рук самое сильное оружие. И вся ревность ее поразвеялась, позабыла злую свою дорожку, проторенную к сердцу Натальи Петровны. Виноватых не было: просто Мите выпала одна судьба, а Сергею Ивановичу — другая, более счастливая. И тут уж ничего нельзя было поделать. А сходство меж ними, которое так нежданно-негаданно открылось ей, еще больше уравнивало их, давало каждому из них одинаковые права на Олю.

По всему видать, жить ей теперь станет еще трудней. То хоть ревнивый догляд за Олей и Сергеем Ивановичем как-то заполнял ее дни, придавал ее жизни если не смысл, то хоть видимость смысла, а теперь и горькой этой видимости лишилась она и не знала пока, чем можно восполнить эту утрату.

Выходило так, будто она сама отступилась от Мити и снова, на этот раз уже навсегда, потеряла его сейчас. Как бы растворила его в других людях, а самое лучшее

в нем отдала Сергею Ивановичу. И если живой был Митя до сих пор, то в эту минуту как раз и умер...

Сергей Иванович заметил ее волнение, но причины не понял.

— Ну да ничего,— утешил он Наталью Петровну.— Вот соберу деньжонок и куплю себе костюм, раз уж вам так хочется видеть меня в цивильном!

До самой перемены сидели они рядом, как старинные друзья, и молча слушали чистый голос Оли. Сергей Иванович улыбался уже не таясь.

Длинной показалась Наталье Петровне дорога домой в тот день. Сгорбленная и опустошенная, брела она по знакомым, исхоженным улицам. Более старой, чем обычно, чувствовала она себя сейчас, старой и никому на свете не нужной.

Дома она вынула из заветного уголка Митины письма и стала читать их все подряд — от первого до последнего. А казенное извещение отложила в сторону. Похоже, она пыталась вернуть себе пошатнувшуюся веру, что Митя, несмотря ни на что, все-таки жив.

Была суббота, и вечером, как всегда под выходной, у соседей собрались шумные гости, и жена Баранова прибежала к Наталье Петровне за посудой и стульями. Не зажигая света, Наталья Петровна сидела у окна и даже не пошелохнулась при входе соседки. Листки Митиных писем забыто белели у нее на коленях. За окном, в просторном мире, где не нашлось места для Мити, голубым далеким огоньком неярко мигала первая пугливая звезда.

9

Весна выдалась ранняя, дружная. Не успел стаять снег — полились обильные дожди. Речка вышла из берегов, весь городок погрузился в непролазную грязь.

Наталья Петровна работала теперь в вечерней смене.

Она запирала после занятий классы, когда к ней, грохоча башмаками, подошел Захарка.

— Теть, можно в школе переночевать? Снесло мост через речку, не попасть мне сегодня домой.



— Нельзя,— запретила Наталья Петровна.— Непорядок это — в школе ночевать.

Звякая ключами, она двигалась по коридору, удаляясь от Захарки. Замки дверей коротко и звонко щелкали, будто орехи разгрызали. Наталья Петровна заперла последнюю дверь, повернула назад. Рыжий Захарка все еще стоял посреди коридора, нескладный и беспомощный.

— Пойдем, у меня переночуешь,— строго сказала Наталья Петровна.

Они молча шли по грязным улицам. Захарка старательно сдерживал шаг, чтобы не опережать суровую свою спутницу.

Вечер был теплый, пасмурный. На деревьях набухали почки. В голых еще, но уже по-весеннему настороженно ждущих ветвях таилась скрытая до времени большая внутренняя работа.

В скверике возле кинотеатра увидели они Сергея Ивановича с Олей. Плечом к плечу прохаживались учителя по мокрой короткой аллейке скверика, наверно сеанса дожидаясь. Физик говорил, напористо помахивая рукой, словно забивал какой-то невидимый, но очень важный для него гвоздь. Оля сбоку заглядывала ему в лицо, доверчиво улыбалась. Наталью Петровну с Захаркой они не заметили: не до юных школьников со старухами им сейчас было!

Тень скользнула по лицу Натальи Петровны. Скользнула и пропала — последний отголосок изжитой ее обиды.

«Сама пригласила, а теперь жалеет!» — решил Захарка и насупился. А Наталья Петровна совсем и не думала об ученике. Ей припомнилось вдруг, как она в последний раз ходила с Митей в кино.

Это было за год до войны. Ни в кино, ни на какие другие зрелища, где толкалось много народу, Наталья Петровна ходить не любила — с детства не приучена была. Но в тот раз Митя уговорил-таки ее пойти. Они сидели на самых дорогих местах и ждали начала сеанса. У нарядной продавщицы Митя купил эскимо и торжественно вручил матери. Мороженое Наталья Петровна любила, но на людях, под перекрестными взглядами, ей было неловко есть, и она очень обрадовалась, когда наконец погас свет.

Митя объяснил, что картина, которую они смот-

рят,— комедия, и не простая, а лирическая. На экране двигались празднично одетые парни, девушки и веселые, бойкие старики. Они бегали, прыгали, прятались зачем-то друг от друга, падали и при всяком удобном случае пели. Наталья Петровна ловила на себе вопросительные Митины взгляды, и, когда публика вокруг хохотала, она, чтобы доставить сыну удовольствие, тоже посмеивалась, хотя и не совсем понимала, что к чему, но, видно, так уж полагалось в лирических комедиях. Вдобавок в середине картины, когда на экране появилась крупная серая кошка, похожая на шкодливую барановскую Мурку, Наталья Петровна вдруг засомневалась: накрыла она на кухне кувшин с молоком или нет. И чем больше думала, тем неуверенней становилось у нее на душе.

После кино она сразу заторопилась домой, как ни уговаривал ее Митя пойти погулять в парк. А дома выяснилось, что и кухня была заперта и молоко накрыто по всем правилам, дощечкой, зря только спешила...

Вспомнила все это сейчас Наталья Петровна и пожалела, что редко принимала Митины приглашения, боялась помешать сыну в молодых его развлечениях, думала тогда — много еще у них впереди времени, не знала, что считанные оставались денечки.

10

Едва переступив порог комнаты, Захарка сразу уставился на этажерку.

— Книг сколько!.. Можно, я посмотрю?

— Нельзя,— непреклонно сказала Наталья Петровна.— Нельзя эти книги трогать.

За ужином пришлось снимать скатерть со всего стола. Захарка ел мало, все поглядывал на книжные корешки.

Среди ночи Наталья Петровна проснулась. Впервые за последние пять лет она была не одна в ночной тоскливой тишине комнаты. На миг ей привиделось, что на постели сына лежит не чужой рыжий Захарка, а родной Митя. Старая, рассохшаяся койка заскрипела под Натальей Петровной. И в ответ Захарка сразу заше-

велился, сонно почмокал губами и снова задышал глубоко, ровно. Спал он так же чутко и тихо, как и Митя, напрасно она боялась, что будет он ночью храпеть.

И наверно, потому, что Захарка нуждался в ее помощи и вдобавок спал на Митиной койке, Наталье Петровне как-то легче было на этот раз примириться со всеми его конопатинами. Она подалась к неказистому Захарке душой и приняла его, рыжего.

Видно, правду говорят: материнское сердце не умеет долго оставаться пустым...

Утром Захарка разыскал на кухне топор и поколол все дрова. Добрался он и до старых сучковатых швырков, которые из года в год откладывала Наталья Петровна — до Митиного возвращения.

Пока Захарка колол дрова в сарайчике, Наталья Петровна сколачивала молотком свою койку, чтобы та не скрипела по ночам, не тревожила молодой Захаркин сон. Давно уже Барановы не слышали такого шума в квартире соседки.

А вечером, когда Захарка переделал все свои уроки и начал поглядывать на заветную этажерку, Наталья Петровна разрешила:

— Возьми, полистай: не вечно же им стоять без работы. Только страницы не пачкай... А ну, руки покажи!

И все было бы хорошо, вот только стукучие Захаркины башмаки на деревянной подошве сильно мешали Наталье Петровне совсем полюбить его: немецкая эта обувка так грохотала, что тут уж никакая любовь не выдержит. И чем тише старался стучать Захарка, тем раскатистей у него получалось.

На третий день мост через речку навели и Захарка засобирался домой. Наталья Петровна вытащила на свет божий почти новые, хорошо надраенные Митины ботинки и строго сказала:

— А ну-ка примерь... Это надо же, какую обувь немцы придумали!

Митины ботинки оказались Захарке малость великоваты. Наталья Петровна пожевала губами и вывела заключение:

— Ничего, зато в подъеме как раз, а ступня у тебя еще подрастет. Брось свои грохалы и носи на здоровье... А насчет книжек и не заикайся — на дом все равно не

позволю брать. Если уж такой заядлый читака — приходи сюда и читай.

Захарка ушел, неумело ступая легкими ногами, обутыми в невесомые, гибкие ботинки. А деревянные башмаки Наталья Петровна кинула в печку. Но она зря пожадничала, пытаясь извлечь хоть какую-нибудь пользу из немецкой обуви: башмаки не сгорели, только дыму напустили на всю кухню.

КАПА

В конторе лесопункта светилось лишь окно в кабинете начальника. Тень Косогорова, высвеченная яркой казенной лампочкой без абажура, четко отпечаталась на занавеске.

Капа видела с улицы, как тень ворошила бумаги на столе, гоняла костяшки на счетах, курила и немо кричала в телефонную трубку. Была во всех движениях Косогорова резкость человека нетерпеливого, по горло занятого срочными делами, вечно спешащего и часто опаздывающего. И даже тень у него была строгая, деловитая, начисто позабывшая все, что когда-то связывало их...

Тяжко стуча колесами, прогремел по узкоколейке груженый состав. В просвете между домами замелькали платформы со свежими бревнами. Отстучала последняя, самая громкая пара колес, тишина навалилась на Капу,— и, спасаясь от этой гнетущей тишины, она шагнула на затоптанное крыльцо конторы.

Капа долго обметала огрызком веника снег с валенок, оттягивая желанную и трудную встречу. Потом добрую минуту выстояла в пустом мрачноватом коридоре, выжидая, пока уймется не на шутку расходившееся сердце. Так и не дождавшись, рванула набухшую дверь косогоровского кабинета.

— Можно, Петр Тимофеич?

Косогоров нехотя поднял голову от стола. Негнущийся палец его застыл на счетах, прижимая к проволоке серединную черную костяшку.

— А-а, Капитолина... Заходи, коль пришла,— не очень-то приветливо сказал он, и не понять было: то ли недоволен неурочным ее приходом, то ли на работе у него не все ладится.— Что там у тебя?

— Как рассудить,— уклончиво отозвалась Капа.— Ежели для зацепки — так за авансом пришла, до получки не дотяну...

Косогоров усмехнулся.

— Ну, считай, зацепилась. А дальше?

— Поглядеть на тебя вблизи хочется,— призналась



Капа.— А то все издали да издали... Уж и позабыла, какой ты из себя.

— Гляди, не жалко,— милостиво разрешил Косогоров и даже головой из стороны в сторону повертел, словно показывал товар покупателю.

— Зачем ты, Петр, так-то?..— необидчиво упрекнула его Капа, и что-то было в глуховатом ее голосе такое давнее, всепрощающее, прочно им позабытое, что Косогоров вдруг смутился и пристально посмотрел на Капу, будто только теперь узнал ее.

В последние годы Косогоров редкий день не видел ее, но, занятый неотложными своими делами, давно уже както не замечал. А теперь вот разглядел в этой пожилой расплывшейся женщине молодую Капу, с которой мальцом бегал в школу, а позже, перед самой войной, крутил начальную свою любовь...

Зазвонил телефон. Косогоров, не глядя, привычным движеньем взял трубку, послушал и сказал с досадой:

— Зря тревожитесь: сполна дадим все кубики — и пиловочник, и рудстойку. Кровь из носу, а дадим... Сказал же!

Он бросил трубку, наткнулся глазами на Капу и насупился.

— Так что там у тебя, кроме аванса?.. По какому вопросу?

— Да не по вопросу я, Петя... Поговорить нам давно пора,— убежденно сказала Капа.— Как ты с войны вернулся, ни разу по душам не потолковали. Сколько лет прошло, а мы все в молчанку играем...

Косогоров поморщился. Терпеть он не мог этого переливания из пустого в порожнее. Что сделано — то сделано, так стоит ли без толку вспоминать, только себе и другим душу бередить?

— Давай по порядку,— самым строгим своим голосом, каким распекал нерадивых лесорубов, сказал он.— Так вот, насчет аванса. Бухгалтерия уже вся разбрелась по домам, да и не богато у нас в кассе. Я тебе лучше из своих дам.

Он нырнул рукой в карман, вытащил ком мятых денег,— и от этого кома на Капу повеяло прежними, навек сгинувшими временами. И в парнях Петр не признавал кошельков и бумажников, всегда носил деньги прямо в кармане, не очень-то заботясь о том, как они там пожи-

вают, его капиталы. В постоянстве его привычек Капе почудился залог того, что не так уж сильно переменился он за эти годы, хоть и начальником нешуточным заделался. А Косогоров отлепил несколько бумажек поновей и протянул Капе.

— Хватит до получки? — Он шагнул к ней из-за стола, взял руку Капы, разжал немые ее пальцы и вложил червонцы.— Держи... Что ж ты оробела? Твои законные... Будет еще нуждишка — заходи, не стесняйся.

— Спасибо, Петя...

Косогорову неловко стало смотреть ей в глаза, и он поспешно отвернулся. Что-то неправильное было в том, что Капа пришла к нему за деньгами, а что именно — он и сам толком не знал. Просто не должно бы этого быть — и все.

— Что ж это вы обезденежели? — спросил он деланно-беззаботно.— Ведь оба работаете. Иль шикуете не по карману?

— Оно бы хватило, да Иван мой...— Капа замялась.

— А-а...— догадался Косогоров, разом припомнив все, что знал о Капином муже.— Хочешь, дам команду в бухгалтерию, чтоб твоему зарплату не выдавали? Будешь сама за него получать, а то он, слышно, мастер у тебя заливать за воротник. Хоть и не по закону это, но для пользы твоей семьи дирекция на это пойдет, и рабочком нас, думаю, поддержит. Пусть потом жалуется!

— Жаловаться он не будет,— пообещала Капа.— Я ему покажу — жаловаться!

— Ну, это уж ваше семейное дело... Вот с первым вопросом мы и покончили. А толковать о ином-прочем, я так понимаю, нам не с руки. Я воевал, ты тут замуж вышла, теперь вот и я давно женатый,— значит, квиты. Все идет как положено: у обоих детишки подрастают, население Советского Союза увеличивается!.. У тебя сколько уже? — спросил он миролюбиво.

— Четверо...— виновато отозвалась Капа.

— Времени даром не теряете! — одобрил Косогоров.— Вот подрастут — свои кадры на лесопункте будут, от вербовки на стороне вовсе откажемся!

Капа поникла головой и всхлипнула. Косогоров смущенно кашлянул, без надобности переложил пухлые пап-

ки на столе. Он не выносил женских слез, а таких вот, вызванных им самим, и подавно.

— Ну чего ты, Капитолина? — пристыдил он.— Я же так просто сказанул, не со зла. Все время о работе думаешь — вот и ляпнул. А зла на тебя я давно уже не держу. Это точно.

— И вправду простил? — шепотом спросила Капа, вытирая слезы кулаком.

— Спервоначалу, как с войны вернулся, обидно было, не скрою. И на кого, думаю, променяла?.. Ведь неказистый он у тебя?

— Неказистый! — охотно согласилась Капа, радуясь, что есть на свете такие бесспорные вещи, где мнения их с Петром полностью совпадают.— Еще какой неказистый!

— Вот видишь!.. А теперь все рассосалось, так что не сомневайся, живи себе.

— Спасибо, Петя, порадовал ты меня! — поблагодарила Капа так горячо, будто Косогоров снял камень с ее души. Она заправила под платок выбившуюся прядь волос и, глядя поверх плеча Косогорова на плакат: «Береги лес от огня, он — твой», тихо сказала: — А я прошлым летом на том берегу была...

— На том берегу? — переспросил Косогоров, смутно чувствуя, что Капа говорит неспроста, но не догадываясь еще, что скрыто за ее словами.— В двадцать восьмом квартале?

Капа с ласковой укоризной глянула на него.

— Да не в квартале, Петя... В том лесочке левей озера, куда мы малолетками по голубику хаживали. В *нашем* лесочке, неужто запамятовал? Там теперь как на кладбище: лесорубы твои весь лес подчистую извели, только пенечек и остался от той березы, где мы впервой миловались. Посидела я на нем, поплакала...

— Да, из того квартала мы много кубиков вывезли...— Косогоров трудно откашлялся.— Эх, Капа, ну что старое ворошить? Ведь все равно не вернешь.

— Так-то оно так,— согласилась Капа.— Да ты хоть послушай, как я за Ивана своего замуж вышла...

— Может, как-нибудь в другой раз? — Косогоров повел головой в сторону письменного стола, заваленного бумагами.— Видишь, сколь тут всего поднакопилось?

— Ничего, пусть работенка твоя хоть разок потеснит-

ся,— сказала Капа с неожиданной несговорчивостью, точно стародавняя ее любовь к Косогорову и поныне давала ей какие-то прочные и неоспоримые права на него.— Потом наверстаешь!

— Ну, говори,— сдался Косогоров, признавая против воли сомнительные эти права Капы — если не на него самого, так по крайней мере на ненормированное его начальническое время.

Капа перевела дух, как перед прыжком в ледяную воду. Много раз в мыслях она рассказывала свою историю Петру, а теперь вот, как приспело говорить вслух, вдруг заробела и повела рассказ издалека:

— В войну мы тут все горя хлебнули, да не всем бабам одинаково досталось. Я не про работу там иль питанье, это само собой. Я про другое, Петя... Девчонкам-дичкам, что за войну тут поднялись, своего кровного вспомнить еще нечего было, вот как этому листу! — Капа взяла со стола чистый лист бумаги и помахала им в воздухе.— Росли они себе, красой наливались — нам, перестаркам, на страх, а про любовь только из песен знали. У семейных тоже ясность была. У кого мужиков еще не поубивало — те письмами треугольными с фронта жили, почтальона задабривали, чтоб похоронную не приносил. А кому ждать уже некого было — те по ночам в подушки выли: днем за работой и хлопотами по хозяйству им и оплакать кормильцев некогда было... Ну, а таким вот, как я — ни девкам ни бабам,— горше всех пришлось. Мы и вас поджидали, и с молодостью своей прощались. Что ни год — мы все больше старели и дурнели впустую, а военные годы, Петя, дли-инные были, каждый за три считай, а то и за всю пятилетку. Мне и тут не повезло: лучшие мои годочки на войну-злодейку угадали. Так уж, видно, на роду написано... И главное, твердости у меня не было никакой. Ну кто я тебе? Ни жена, ни невеста, а так — дроля мимолетная... Я совсем тут измучилась, тебя поджидаючи. Письма ты редко писал, и такие они куцые были, как сводки военные: освободили еще один город, идем на запад...

— Не умею я писем писать,— с опозданием в полтора десятка лет покаялся Косогоров.— Что на бумажке скажешь?

— Я не в обиду, Петя, а просто — как оно было... Когда Иван мой из госпиталя заявился, мы тут вовсе обезмужичели. Мой Ванюша сразу это заприметил и стал

цену себе ужасно набивать! Его хоть и по инвалидности списали, но вся хворь у него внутри сидела, а снаружи все на месте — и руки, и ноги, и глаза. Совсем справный мужчина! Против других инвалидов он в полном комплекте был и ужасно этим гордился. На девок наших и не глянет, а только знай взад-вперед по поселку вышагивает да на губной трофейке пиликает: любуйтесь, мол, мне не жалко! Он так про себя рассудил, что все наши девки на него сразу попадают. А мы, Петя, хоть и соскучились по мужскому духу, а над таким замухрышкой только смеялись. Он и так из себя не шибко видный, а после госпиталя совсем худючий стал, шейка то-оненькая — ну, прямо воробей в гимнастерке!

Зазвонил телефон. Косогоров приподнял и тут же опустил трубку. Капа благодарно кивнула ему головой.

— Так, смеясь и беды своей не чуя, подсела я раз к Ивану в столовке. Вблизи он мне еще паршивей показался. И тут одежонку его я разглядела. Все мы тогда чистоту не шибко-то соблюдали, но у Ивана ворот такой грязный да засаленный — смотреть муторно. И такая злость тут меня взяла! Вроде до того уж Гитлер нас довел, что не только мыла у нас нету, но и щелоку уже не найдешь. И война не только мужиков переполовинила, но и всех баб и девок подчистую подмела, и пары рук здоровых у нас уже вроде не осталось, чтоб гимнастерку Иванову постирать... Ужасно мне тогда обидно стало за всю державу нашу, будто до того уж мы довоевались — хоть ложись да помирай! И мы, поселковые девки, тоже хороши: ржать над Иваном мастера, а гимнастерку его в божеский вид привесть — так нас нету. А он все ж какой-никакой, а тоже солдат, защитник родины...

Сидим мы рядышком с Иваном в столовке, хлебаем пустые щи, я ему и скажи — не так ради него самого, как назло Гитлеру-подлюге: приноси вечерком гимнастерку, постираю. Ваня мой, при своем высоком о себе понятии, хватанул мимо и рассудил, что я под бочок его к себе кличу, и важно так головой повел: так и быть, мол, приду, жди и не сомневайся!

Тем же вечером пожаловал он ко мне с бутылкой самогонки и прямо на пороге полез целоваться. Ну, я ему быстро укорот дала: постирать, говорю, постираю, раз уж пообещала, а целоваться иди к хромой Маньке Кокоревой, она и таких завалящих привечает! Он сразу присми-

рел и скидывает свою гимнастерочку шелудивую. Хотела я его на улицу выгнать, чтоб под ногами не путался, да у него под гимнастеркой как есть ничегошеньки нету, одни ребра голые торчат. Разъединственную споднюю рубашонку кавалер мой непутевый как раз на самогон-то и сменял, чтоб не с пустыми руками ко мне прийти. А дело уже к зиме повернуло, снегу еще нету, но мороз первую пробу уже делает...

И снова затрещал телефон. Косогоров схватил трубку и бросил мимо рычага. Капа потянулась к телефону и положила трубку на место.

— Я стираю, а Иван закутался в мою телогрейку и сидит на табуретке, как погорелец какой. Гвардейски, говорит, стираешь. А я ему: как умею. Вот и вся наша беседушка... Повесила сушиться гимнастерку, и стали мы с устатку пить самогон из одной кружки: второй в те поры у меня в хозяйстве не водилось. Он, как мужику положено, длинными глотками пьет, я — короткими. Выпиваем мы таким путем и, чтоб молча не сидеть, я возьми и спроси у него: где он воевал? Думка у меня была — может, на одном фронте с тобой. Кабы знала, чем обернется, так не спрашивала бы... И стал Иван рассказывать, чего на войне навидался. А он, Петя, когда вполпьяна пьян, выпукло так говорит, прямо картинки рисует. Сразу все проступает, вроде рядом с ним стоишь и своими глазами видишь. Такой вот талант у него на мою беду отыскался. Больше никаких талантов нету, хоть шаром покати, а этот вот, грех соврать, имеется. Видать, кому что...

Иван рассказывает, какие ужасы ему на войне пережить довелось, а я, Петя, и тебя на его месте вижу и всех наших поселковых парней, каких на войну забрали. И так мне всех вас, мужиков, какие на фронте бедуют, жалко тут стало, будто дети вы мои родные. Вот и не было еще тогда у меня своих детей, а померещится же такое...

Капа потупилась и сказала так тихо, что Косогоров не все расслышал, а переспросить не осмелился:

— Я не выкручиваюсь, Петя, но мне тогда так привиделось, вроде я всех вас на войну отправила, а сама за вашими спинами в безопасном затишке спасаюсь. Вижу, как вас там пулями решетят, танками давят, бомбами на куски рвут, а защитить вас нету у меня мочи. Аж сердце у меня зашлось... И через эту свою слабость не стало

у меня силы прогнать Ивана, когда он снова ко мне подступился. Не то чтоб я тебя одного на его месте видела, а так — солдата какого-то всеобщего, что через все муки прошел и из пекла вырвался, а теперь лишь малости этой бабьей от меня домогается, чтоб душой ему отогреться и поверить — вовсе он живой человек... Иван мой опять ничего не понял и решил, что я красоты его невозможной не выдержала. Вот так мы и справили свою свадебку. В общем, подстерег он меня...

Капа умолкла и украдкой глянула на Косогорова, выжидая: попрекнет он ее старым грехом или утешит. Косогоров и сам чувствовал, что позарез надо ему сейчас что-то сказать Капе, но все нужные слова куда-то вдруг запропастились.

Мелькнула нескладная догадка: в другом месте он, может, и нашелся бы, что сказать Капе, а здесь вот, в рабочем своем кабинете, как-то не с руки ему было утешать ее. Здесь хорошо было проводить производственные совещания, выколачивать плановые и сверхплановые кубики древесины, отругиваться по телефону от вышестоящего начальства, воевать со строптивой бухгалтерией, песочить мастеров и бригадиров, вправлять мозги тунеядцам, свихнувшимся от обилия культуры в больших городах и присланным сюда, в лесную глушь, на перевоспитание. А сейчас вот нежданно-негаданно жизнь подвела его вплотную к чему-то совсем новому и неухватистому, с чем прежде, в горячке суматошной своей работы, он никогда еще не сталкивался. И Косогоров решительно не знал, как ему теперь быть...

Так и не дождавшись от него ответного слова, Капа тихонько вздохнула, прощая Косогорову его немоту, и поделилась своей думкой:

— Говорят, бабы военные — санитарки, радистки и кто там еще с мужиками войну ломал — не все в строгости себя соблюдали, а попадались и такие, что не очень-то отказывали вашему брату фронтовику. Я сама в точности не знаю, но молва такая была... А только я так понимаю, Петя: были, конечно, и среди них любительницы этого дела, как и у нас тут, какие ни одного мужика не пропустят. Но больше, я думаю, жалели они вас, фронтовиков: нынче вы живые, а завтра совсем наоборот... А вы там, как Иван мой, все думали, что они красоты да геройства вашего не выдерживают. Они же просто на виду смерти, как могли, своим бабьим средством жизнь

вам красили. Ты учти, Петя, у баб это как-то напрямую связано: как пожалела — так тут же и полюбила. Не у всех, правда, а связано. В числе том и я. Ну, это я так, свое соображенье...— И мягко упрекнула: — Что ж ты молчишь? Или забила я тебе все памороки своими байками?

— Слышь, Капа,— тихо сказал Косогоров, не решаясь посмотреть ей в глаза,— вот такую я тебя и не знаю вовсе. Девчонкой хорошо помню, когда за косы тягал, и позже, в девках, когда слюбились мы. А вот такую... Даже незнакомая ты мне сейчас!

Капа поняла его по-своему и критически оглядела себя.

— Правда, Петя, раздалась я. Это от родов вширь меня кинуло, ведь четверо же... А ты еще ничего, с десяти шагов за молодого сойдешь! Вот только глаза у тебя притомились. Достается на работе, да? Это ж надо, цельный лесопункт на себе тащить!

И в голосе Капы прорезалась такая забота о нем и такая любовь — давняя, потаенная, не только не скудеющая с годами, но, похоже, даже набирающая год от года силу. Любовь, затурканная сознанием своей непоправимой вины, какой и не было-то вовсе.

Нечем было Косогорову ответить на эту великую любовь Капы, и он невольно отшатнулся, словно показать хотел, что не разделяет этой незваной любви. Да и вообще: он сам по себе, а Капа со своей ненужно верной любовью — сама по себе...

Отшатнуться-то он отшатнулся, а вот совсем отгородиться от Капы было уже не в его власти. Будто оплела его Капа своей любовью, заставила новыми глазами посмотреть и на нее, и на себя самого, и на все вокруг. И какие-то вовсе уж непривычные мысли заклубились в голове Косогорова. Не то чтоб он почувствовал вдруг себя виноватым перед Капой. Нет, чего не было — того не было, и никакой явной вины за собой Косогоров не знал. Скорей уж не вина это была, а настигшая вдруг догадка: в долгу он перед Капой и так задолжал ей за эти годы, что теперь уж не расквитаться ему с ней никогда. Семья его разом выросла, и в круг самых родных на свете людей, где до сих пор были лишь жена и дочка, теперь вот полноправно вступила и Капа.

Видно, не только любящий в ответе за любимого, но

и непрошено любимый кем-то человек тоже связан и в меру душевной своей зоркости и отзывчивости в ответе за того, кто его полюбит.

И тем трудней было сейчас Косогорову отбояриться от Капы, что он знал: долг его насквозь добровольный, и никто с него не спросит,— разве одна лишь его разбуженная совесть...

Да и как там ни крути, а лестно все-таки ему было, что сумел он, сам того не желая и не ведая, внушить Капе такую затяжную любовь. Не так уж часто выпадает такая любовь человеку в жизни. Косогоров по себе знал — не часто. И еще: вроде бы похвалила Капа его своей верной, наперекор судьбе, любовью, как бы шепнула ему, что он лучше, чем привык о себе думать. И не весь он тут — грубоватый лесозаготовитель, добывающий многотрудные кубики древесины для ненасытных строек, прожорливых лесопилок и бездонных целлюлозных комбинатов. А есть в нем и еще что-то, помимо деревянных этих кубиков, за что, оказывается, можно его так крепко и верно любить.

А Косогорова редко хвалили в жизни. Всегда как-то уж так выходило, что надо было его, бедолагу, ругать — для пользы все тех же кубиков и чтоб другим неповадно было повторять большие и малые, действительные и мнимые его промахи и ошибки. И теперь он тем сильней был благодарен Капе за эту ее никем не запланированную и совсем уж нежданную им любовь-похвалу...

Мысли эти были внове Косогорову, да и не успел он их додумать до конца. Из коридора донеслось вдруг громкое и нахальное пиликанье. Мотив был нечеток и, едва возникнув, тут же пропадал в путанице нестройных звуков. Но, похоже, самодеятельный музыкант и не шибко заботился о том, чтобы играть чисто. Сдается, главным для него было — шуметь погромче и оповестить уединившихся Косогорова с Капой, что здесь он, у самой начальнической двери,— живой и всезнающий. И Косогоров догадался, что это муж Капы пиликает на губной гармонике.

— Явился, хворь музыкальная...— беззлобно проворчала Капа.— Уйму ценных вещей порастерял спьяну, а пищалку немецкую сберег. Одно слово: «Ва-ня!..» А знаешь, ведь это он наяривает так активно назло тебе. До сих пор тешит себя мыслишкой, что отбил меня у те-

бя, и ужасно этим гордится! Ему ведь и погордиться-то больше нечем, а ведь тоже человеком хочется быть...

Сперва Косогорова даже покоробило малость, что Капа так охотно позорит перед ним своего мужа. Но тут же каким-то новым, только что народившимся в нем чутьем он понял: просто она тоже считает его навек родным, и ей даже в голову не приходит приукрашивать перед ним нескладную свою жизнь и прятать от него семейные свои неполадки.

— Живешь-то как, Капа? — спросил Косогоров, с радостью чувствуя, что та неухватистая минута прожита ими и теперь ему легко говорить с Капой обо всем на свете.

— Хорошо живу,— убежденно сказала Капа.— Не хуже других... Я совсем бы даже ничего себе жила, Петя, коли б Иван мой не зашибал. Он ведь водку и не любит вовсе, а пьет, чтоб только покуражиться. А работаю, ты же знаешь, на шпалорезке, так мне с детишками сподручней. Ты не думай, Петя, норму я всегда выполняю...— Капа засмущалась.— Говорят, вроде бы даже передовик. И карточка моя на Почетной доске дотла выгорела, третий год висит... А только не такая уж я сознательная и про коммунизм вовсе мало думаю. Разве что по большим праздникам: когда по хозяйству все дочиста переделано и радио по всему поселку гремит-заливается. Знаешь, навевает как-то... А в будни все минуты не выберешь: то одно, то другое, ведь четверо дома сидят, а с Иваном так и вся пятерка. Каждому кусок сунуть надо, одеть-обуть. Тут уж без всякой сознательности, только успевай поворачиваться!.. Иль что не так брякнула? — встревожилась вдруг Капа, заметив, как тень прошла по лицу Косогорова.

— Да нет, ничего. Материальный стимул, он, конечно...— начал было Косогоров, но привычные и давно уже примелькавшиеся слова эти, которые он много раз читал в газетах и слышал на совещаниях, да и сам не единожды говорил — и даже в этих вот стенах, теперь как-то совсем не шли на язык. Просто не вписывались те казенные слова в задушевный разговор с Капой,— и Косогоров не договорил и махнул рукой.

Но Капа и так его поняла.

— Правильно, Петя. Стимул этот очень даже подхлестывает нашего брата рублем!.. А детишки у меня, не сомневайся, в полной исправности, обихожены не хуже,

чем у людей. Пусть хоть они поживут... Знаешь, мой Петька... старшенький, что нас с тобой развел, к арифметике ужасно способный!

— Значит, в тебя уродился, ты ведь в школе тоже всех нас по арифметике за пояс затыкала! — быстро сказал Косогоров, спеша хоть эту малую радость доставить Капе, раз уж к большим ее радостям дорога ему была заказана.

И Капа не стала скромничать.

— Должно, в меня... Помнишь, как мы на одной парте сидели и я задачки за двоих решала? На переменках ты меня за косы таскал, а на уроках задачки слизывал!

— Было дело! — охотно признался Косогоров.

— Я с дробями ужасно ловко расправлялась! — пустилась в воспоминания Капа.— Теперь уж и не припомню, зачем надо было дробь крутить, а перевернешь ее вверх тормашками — и полный порядок! Мне дальше б тогда учиться... На инженера способностей, может, и не хватило, а на техника бы наскребла, это уж как пить дать...

Меж тем губная гармошка в коридоре разошлась не на шутку. Похоже, музыкальная эта самодеятельность подогревалась тайным желанием досадить кое-кому тем, что живет себе на свете вольный музыкант — и ничего с ним нельзя поделать. Не отменить его, не зачеркнуть никому, даже самому начальнику лесопункта — со всеми его знаменитыми кубиками, придирчивыми мастерами и бригадирами, скупой бухгалтерией и даже со всей неправильной, насквозь глупой любовью к нему Капы...

— Ишь, как выводит,— посочувствовала Капа.— Старается, дьявол, что твой композитор!.. А пойду-ка я, Петя, пока магазин не закрыли. Спасибо за разговор, уважил ты меня.

Она протянула руку лопаточкой — застенчиво и неумело, как делают это женщины, выросшие в глухих лесных поселках. И тут Капа заприметила, что с Петром что-то творится. Новое и непривычно мягкое выражение с трудом обживало мало к нему приспособленное лицо Косогорова. Оно пробивалось изнутри, все никак не могло пробиться и угадывалось лишь в потеплевших против обычного глазах да еще, пожалуй, в руках, что самовольно, без ведома хозяина, теребили бумаги на столе.

Косогоров перехватил пристальный взгляд Капы, по-

спешно сунул провинившиеся руки за спину и сразу замкнулся на все свои надежные начальнические застежки. И теперь ничто уж не напоминало о недавней его размягченности.

— Аванс я тебе с получки возверну,— пообещала Капа на прощанье, в остатний разок глянула на своего любимого искристыми от набежавшей слезы глазами и вышла, тихонько прикрыв дверь.

Косогоров рывком придвинул к себе ворох бумаг на столе, но добрую еще минуту не замечал их, незряче уставившись на дверь, за которой скрылась Капа. Слышно было, как в коридоре она сказала мужу густым шепотом:

— Ну, пойдем... соблазнитель!

Въедливое пиликанье гармоники разом оборвалось, точно горемычный музыкант проглотил писклявую свою трофейку.

МАЧЕХА

Егорка бесшумно слез с печки, постоял у окна, водя пальцем по морозным узорам, полистал календарь на стене, проверяя, скоро ли день сравняется с ночью, и уже собирался тайком выскользнуть из избы, когда был остановлен строгим окриком тетки Елизаветы Фроловны:

— Ты куда? Уроки сделал? Не вздумай еще мачеху встречать!

Егорка вопросительно посмотрел на отца. Теперь все зависело от него: если отец и сам поедет на станцию встречать награжденных, то на тетку можно просто не обращать внимания; если же отец не поедет, то надо, чтобы он сейчас же решительно заступился за Егорку, и тогда тетка опять-таки останется с носом. Отец сидел у стола и просматривал свежий номер агрономического журнала. Переворачивать листы единственной левой рукой отцу было неудобно, он сидел боком к столу, и Егорке казалось поэтому, что отец читает невнимательно и думает совсем о другом.

— А хотя бы и встретил,— не поднимая головы от журнала, сказал отец.— Ведь не чужая она ему...

— «Не чужая»! — подхватила тетка.— Беги и ты встречать, чего сидишь? В первом ряду поставят, как же, муж героини! Понимаешь: героиня она, а ты при ней только муж. Эх, Илья, сподобился ты!..

Отец отодвинул журнал и решительно распахнул толстый том «Растениеводства», который из уважения к полезной науке был обернут газетой. «Растениеводство» отец читал ежедневно, не любил, когда его отрывали от чтения этой книги, и Егорка понял, что на станцию отец не поедет.

— «Не чужая»!..— язвительно повторила Елизавета Фроловна, торжествуя победу.— Мачеха, она и есть мачеха, одно слово... Была бы жива родная мать, так ребенок не бегал бы в рубахе без пуговицы. Эх, Катя, Катя...— Тетка поднесла к сухим глазам кончик головного платка.— Иди сюда, милый, я тебе пуговицу пришью.

Егорка хотел было сказать, что пуговица оторвалась сегодня утром и мачеха никак не могла ее пришить, но,

чтобы не злить тетку, промолчал и только покосился на ходики. Медный маятник налево и направо щедро разбрасывал секунды: ему и горюшка мало, что до отъезда на станцию осталось меньше четверти часа, а у Егорки еще и пуговица не пришита.

Дородная Елизавета Фроловна вооружилась иглой с длинной ниткой, надела очки, и лицо ее сразу приняло ученое выражение. Егорка подивился: он хорошо знал, что тетка книг никогда не читает, когда раз в месяц посылает письма своим детям — Мите и Марусе,— то на конверте пишет «даплатное». Елизавета Фроловна согласилась пришивать пуговицу, не снимая с Егорки рубаху, но предварительно сунула ему тряпицу в рот, чтобы не зашить память.

Егорка сверху вниз смотрел на склоненную голову тетки и думал: когда же наконец Елизавета Фроловна уедет? Она приехала к ним погостить осенью, да с тех пор так и прижилась в доме. Незадолго перед ее приездом отец женился на мачехе. Втроем, без тетки, они жили дружно. Мачеха раздаивала на колхозной ферме коров, а Егорка по вечерам помогал ей составлять рационы: она диктовала, а он записывал самым красивым своим почерком, сколько какой корове дать сена, силоса, корнеплодов и концентратов.

Хорошее было время! Егорка в точности знал повадки всех десяти коров, закрепленных за мачехой, начиная от норовистой Снегурки и кончая спокойной Резедой. Он был своим человеком на ферме, а в школе всеми признавался непререкаемым авторитетом по животноводству: его даже прозвали тогда зоотехником. Самолюбие Егорки страдало лишь оттого, что мачеха считалась в колхозе второй дояркой, а первой — маленькая Настя Воронкова.

Но однажды он случайно подслушал, как председатель колхоза Матвей Васильевич распекал Настю за перерасход концентратов и ставил ей в пример мачеху. После этого Егорка уже снисходительно выслушивал всех, кто в его присутствии славил маленькую Настю.

Да, хорошее было время...

С приездом тетки все изменилось. Елизавета Фроловна сама напросилась готовить обеды и стирать белье, а потом тихо и незаметно прибрала к рукам весь дом. От тетки Егорка узнал, что мачеха не любит его, а толь-

ко притворяется, о доме она тоже не заботится: все ферма да ферма, а когда же свое, родное? Да и сама забота о ферме, по мнению тетки, объяснялась не любовью мачехи к работе, а ее желанием во что бы то ни стало отличиться и этим унизить Егорку с отцом. Елизавета Фроловна рассказала племяннику, что мачеха была подругой его матери и еще до ее замужества любила отца. Тетку особенно возмущало, что мачеха не вышла замуж после женитьбы отца, хотя в женихах недостатка не было: сам Матвей Васильевич на нее заглядывался.

— Все хотела отцу твоему доказать, что от него не отступится,— объясняла тетка.— У, гордыня несусветная!.. Как змея подколодная притаилась и ждала своего часа. Виданное ли дело, ждать двенадцать лет? Я после смерти первого мужа поплакала-погоревала, да году не прошло, и за второго вышла. Что ж тут ждать: бог дал — бог и взял...

Тетка готова была обвинить мачеху даже в смерти Егоркиной матери, хотя Егорка хорошо знал, что мать умерла во время войны от воспаления легких и мачеха тут совсем ни при чем.

— Не отказалась и от однорукого! — осуждала мачеху тетка.— Дождалась-таки своего...

На робкие возражения Егорки, что мачеха добрая, тетка говорила сокрушенно:

— Святая простота! Дай только срок, она вам с отцом доброту свою в полный рост выкажет. Вот увидишь: она еще отомстит за свое долгое ожидание. Такие гордые этого никогда не прощают...

Егорка до конца не верил тетке, но уважать мачеху по-прежнему уже не мог. Он избегал оставаться с ней наедине, перестал ходить на ферму и по вечерам писать под ее диктовку рационы. В школе его уже никто больше не называл зоотехником, и авторитетом по животноводству считался теперь дружок Егорки — Олег. Несколько раз Егорка видел мачеху с заплаканными глазами и однажды подслушал, как отец говорил ей, оправдываясь:

— Не могу же я Лизавету из дому выгнать. Ведь родная сестра!

Угодить тетке было очень трудно. Когда мачеха давала Егорке деньги на кино или сладости, Елизавета Фроловна говорила племяннику:

— Задабривает она тебя, к рукам прибрать хочет. Не поддавайся, Егорушка!..

Если же мачеха забывала дать денег пасынку, тетка обвиняла ее в жадности:

— Копейку пожалела знатная доярка! Без материнской ласки растешь ты, сиротиночка...

Не один раз тетка собиралась уезжать в город к своим детям, Мите и Марусе, которые, по клятвенному уверению Елизаветы Фроловны, хотя и не писали писем, но так сильно любили свою мать, что даже начинали худеть, когда долго ее не видели. Тетка переносила из кладовой в кухню тяжелый, вечно запертый зеленый сундук и не спеша приступала к сборам в дорогу. Но каждый раз случалось как-то так, что тетка все-таки не уезжала, тяжелый зеленый сундук водворялся на старое место, в кладовую, и все оставалось по-прежнему. Егорка не шутя опасался, что от любящих Мити и Маруси скоро останутся только кожа да кости...

Теткина рука с иглой, пришивая пуговицу, мелькала перед самым носом Егорки. Нитка была длинная, и руку тетка отводила далеко в сторону отца, как бы приглашая Егорку брать с него пример: отец отказался встречать мачеху — не встречай и ты. Егорке смертельно захотелось насолить чем-нибудь Елизавете Фроловне. Рискуя на всю жизнь остаться без памяти, он незаметно вытащил изо рта тряпку и забросил ее в дальний угол. Отец заметил его проделку, но ничего не сказал.

По твердому убеждению Егорки, отцу сильно не повезло в жизни. Почти всю войну отец провел в далеком тылу на охране крупного железнодорожного моста, а когда на исходе войны его часть направили на фронт, то эшелон попал под бомбежку, не доехав до передовой. Отца ранило, в госпитале ему отрезали руку, и он вернулся в родное село, так и не убив ни одного фашиста. Не повезло отцу и в мирной жизни: до войны он считался лучшим в колхозе бригадиром полеводческой бригады, а после войны его поставили завхозом, а на этой работе, как известно, хлопот много, а славы мало.

Колхоз под руководством расторопного Матвея Васильевича набирал силу, богател, год от году росло в нем число награжденных, а на парадной гимнастерке Егоркиного отца по-прежнему одиноко висела привезенная с войны медаль.

Десятки раз отец просил Матвея Васильевича определить его на «живую» работу.

— Потерпи, Фролыч,— отвечал председатель.— Это ничего, что ты у нас без орденов ходишь. Не за горами время, когда будут награждать и завхозов: пользы от тебя нашей артели больше, чем от любого бригадира...

И отец соглашался. Но в глубине души он все еще надеялся поработать бригадиром и целые вечера просиживал над новыми агротехническими книгами, чтобы не отстать от жизни...

Тетка перекусила нитку, и Егорка, приплясывая от нетерпения, быстро напялил на себя шубейку и шапку, боясь, что отец раздумает и не пустит его из избы. Елизавета Фроловна осуждающе покачала головой и жалостливо сказала вслед выбегающему племяннику:

— Несчастный сиротинка!..

А «сиротинка», ничуть не чувствуя себя несчастным, кубарем скатился с лестницы и вихрем помчался к правлению колхоза.

На улице перед правлением стояло трое празднично разукрашенных саней и колхозный грузовик, на борту которого полыхал кумачовый плакат «Привет землякам — Героям Социалистического Труда!». Егорка поспел как раз вовремя: отъезжающие на станцию усаживались по местам, и шофер дядя Гриша пробовал носком сапога, туго ли надуты скаты. На миг Егорка заколебался: что предпочесть — сани или грузовик? В кабине грузовика сидел сам председатель Матвей Васильевич, на борту кумач, и что ты там ни говори, а грузовик все-таки машина, почти легковая. Но и сани не были обыкновенными санями: на дугах нетерпеливо звякали бубенцы, обещая серебристый перезвон в дороге, а конские гривы были так густо увиты пестрыми лентами, что лошади избегали встречаться с Егоркой глазами, стыдясь своего щегольства. Дядя Гриша дал долгий прощальный гудок, и гудок этот решил дело: Егорка проворно перемахнул через борт грузовика, сам себе удивляясь, как мог он еще сомневаться — ведь у саней гудка не было!

В кузове у передней стенки уже сидел Егоркин дружок Олег, тот самый, который после приезда Елизаветы Фроловны стал считаться школьным авторитетом по животноводству.

— Садись рядом,— сказал Олег.— Здесь меньше трясет!

Егорка и сам знал, что поближе к кабине трясет меньше. Он давно уже заметил, что дружок любит говорить общеизвестные вещи. Олег был на полтора месяца старше Егорки и по этой причине относился к приятелю покровительственно, хотя и не стыдился списывать у него трудные задачки.

Пятнадцать километров до станции мчались с ветерком, оставив далеко позади нарядные сани с дедовскими бубенцами. Егорка окончательно решил, что когда вырастет большим, то обязательно станет шофером, а не конюхом, как он опрометчиво надумал летом, когда тайком пробирался на конюшню дергать из конских хвостов волос для лески.

На станции, в зале ожидания, было людно: из соседних колхозов тоже приехали встречать своих награжденных. Егорка и Олег с трудом нашли свободное место в углу между бригадой плотников с пилами и топорами, обернутыми мешковиной, и человеком с толстым брезентовым портфелем, с каким в Егоркин колхоз приезжали заготовители из района. Заготовитель, наверно, был очень занятой человек, так как за весь день не успел прочитать газету дома и теперь читал ее на вокзале.

— Держи место! — начальническим тоном сказал Олег, отошел к стене и долго морщил нос, разглядывая расписание, а потом, вернувшись к Егорке, объявил таинственным шепотом, что московский поезд прибудет через полчаса, о чем Егорка к тому времени и сам уже знал из разговора соседей-плотников.

Из вокзальной парикмахерской вышел председатель колхоза имени Чкалова. Стоящий невдалеке от ребят Матвей Васильевич провел рукой по щеке и, хотя ему вполне можно было еще не бриться, тоже пошел в парикмахерскую, не желая ни в чем уступать чкаловцам, с которыми Егоркин колхоз соревновался.

Олег разузнал, что в буфете есть чай, дешевый и сладкий, и, явно подражая кому-то, предложил пойти «погреться горяченьким». Егорка еще ни разу в жизни не пил чай в железнодорожном буфете и согласился.

В буфете Егорке понравилось. Старый седой официант принес им на блестящем медном подносе два стакана чаю в высоких подстаканниках и обращался с Егоркой и Олегом так почтительно-вежливо, будто не видел, что перед ним дети, а принимал их за самых настоя-

щих взрослых пассажиров, которые едут куда-то очень далеко, например, в город Владивосток.

Матвей Васильевич и председатель колхоза имени Чкалова тоже заглянули в буфет. Они подошли к стойке, и все Егоркины односельчане и чкаловские колхозники, какие толпились в буфете, как по команде, замолчали, оторвались от своих кружек и стаканов и стали смотреть, что будут делать их председатели. Матвей Васильевич для начала распахнул свой дубленый полушубок, чтобы все желающие могли беспрепятственно любоваться орденом Ленина, полученным в прошлом году за развитие колхозного животноводства, и тремя фронтовыми орденами Славы, которые косо, по-морскому, висели вдоль лацкана пиджака. Но чкаловский председатель тоже не остался в долгу, хотя был на целую голову ниже Матвея Васильевича и далеко не такой бравый на вид, как тот. Он медленно раздвинул полы зимнего пальто с барашковым воротником, и все увидели у него на бархатной тужурке тоже орден Ленина, полученный за высокие урожаи зерна, и орден Отечественной войны первой степени, которым чкаловский председатель был награжден за хорошую работу колхоза в военные годы.

Матвей Васильевич заказал у буфетчика две стопки водки и, перед тем как выпить, проговорил:

— Будем здоровы!

А чкаловский председатель сказал:

— Дай бог не последнюю! — и, осушив свою стопку, вкусно крякнул.

Председатели закусили красными яблоками, которые буфетчик из уважения к знатным клиентам так долго тер чистым полотенцем, что Егорка опасался, как бы он не сорвал с яблок кожуру. Чкаловский председатель достал из кармана пальто коробку папирос «Казбек» и гостеприимно распахнул ее перед Матвеем Васильевичем. Тот из вежливости взял папиросу, хотя Егорка хорошо знал, что их председатель не курит. Чкаловский председатель подмигнул своим колхозникам и заказал две стопки коньяку. Чкаловцы одобрительно загудели, а колхозники из Егоркиной деревни тревожно переглянулись. Но Матвей Васильевич знаком успокоил односельчан, выпил коньяк, довольно удачно для некурящего человека пустил кольцо дыма и твердым голосом попросил буфетчика открыть бутылку шампанского. Кто-то из

чкаловцев ахнул от удивления, а их председатель растерянно заморгал и, пока буфетчик снимал с верхней полки давно уже стоявшую там, судя по толстому слою пыли, нарядную бутылку в серебряной шапочке, обежал глазами весь буфет, но не нашел ничего, чем можно было бы перещеголять Матвея Васильевича.

— Женский это напиток...— осудил чкаловский председатель шампанское, но бокал с пенящимся вином принял обеими руками.

— Что ж, будем здоровы,— сказал свое неизменное Матвей Васильевич.

— Будем здоровы...— послушно, как эхо, повторил побежденный чкаловский председатель.

...Когда до прихода поезда оставалось пять минут, Егорка с Олегом вышли из буфета. На перроне было пусто, лишь в багажной возле весов возился старик, очень похожий на колхозного пасечника деда Никифора, только у Никифора взгляд был, как у всех пасечников, тихий и умиленный, а у весовщика — быстрый и недоверчивый. Два носильщика в новых необмятых фартуках прокатили тележку, а вслед за ними пролетели два воробья, по-зимнему пухлые, озабоченные, будто и они встречали кого-то с поездом. Потом из вокзала вышел дежурный в красной фуражке, и тотчас же, словно только его и дожидался, за поворотом дороги затрубил паровоз.

На перрон высыпали колхозники, вышел веселый, с блестящими глазами Матвей Васильевич, на ходу застегивая полушубок. Рядом с Матвеем Васильевичем шагал секретарь райкома, легковую машину которого Егорка видел из окна буфета.

Паровоз обдал Егорку машинным теплом, вагоны, сбавляя ход, заскрипели тормозами. Все вагоны были похожи друг на друга, и определить по внешнему виду, в каком из них приехала мачеха, было никак невозможно.

— Айда вперед,— сказал Олег.— Наши ближе к паровозу будут.

— А может, сзади? — предположил Егорка.

— Награжденные — и сзади? Эх ты, зоотехник! — презрительно сказал Олег и побежал вдогонку за паровозом.

Егорка из упрямства остался на месте. Кто-то положил на плечо ему тяжелую руку. Егорка вскинул голову

и увидел рядом с собой председателя колхоза. От Матвея Васильевича пахло вином и одеколоном.

— Что ж отец не приехал встречать? — спросил председатель.— Нехорошо...

Вдоль всего поезда, от паровоза к хвосту, прокатился раскатистый лязг буферов, и состав остановился. На площадку вагона, немного наискось от Егорки, вышла Настя Воронкова. На груди доярки, приколотая прямо к пальто, сияла Звездочка Героя. С золотой звездочкой на груди маленькая Настя стала выше ростом и красивой. Она так торжествующе смотрела с высоты площадки на односельчан, пришедших ее встречать, как будто и не было у нее никогда перерасхода концентратов. За Настей показалась сестра Олега, хотя она была награждена только медалью «За трудовую доблесть» и, по мнению Егорки, могла бы посидеть в вагоне, пока не выйдут все герои.

Потом стали сходить чкаловцы. Егорка не знал, кто из них чем награжден, и, чтобы понапрасну не обидеть людей, не стал их осуждать, как Олегову сестру.

Мачеха вышла предпоследней. В руке она держала маленький чемоданчик, золотой звездочки поверх пальто видно не было. Сначала Егорке не понравилось, что мачеха скромничает, но потом он решил: когда сам вырастет большим и заработает свои ордена, тоже воздержится выставлять их напоказ. Все будут знать, что награды у него есть, а носить он их не станет, так даже интересней!.. Мачеха быстрым ищущим взглядом окинула толпу. Егорка, чтобы попасть ей на глаза, приподнялся на цыпочки. Заметив Егорку, мачеха рассеянно улыбнулась, поискала еще кого-то в толпе, не нашла, и по лицу ее скользнула тень. Егорка догадался: «Отца ищет», вспомнил слова тетки: «Двенадцать лет ждала» — и огорченно вздохнул, обиженный на отца. И почему он не поехал на станцию?

Олег протиснулся сквозь толпу к Егорке. Вид у Олега был такой же независимый, как и раньше, будто он оказался прав и награжденные ехали в самом первом от паровоза вагоне.

Председатель сельсовета пошептался о чем-то с усатым проводником, взобрался на верхнюю ступеньку вагона и начал говорить приветственную речь. Председатель был молод, еще год назад заведовал колхозным клубом

и всем, от мала до велика, был известен как Павлуша-избач. Да и теперь Павлом Тихоновичем его величали лишь злостные неплательщики налогов и другие нарушители закона, а все честные люди звали его Павлушей-председателем.

Имя Олеговой сестры, когда подошла очередь и ее приветствовать, Павлуша-председатель произнес громко и с большим чувством. Никто из колхозников этому не удивился, так как все знали, что сестра Олега — Павлушина невеста. Всем было известно также, что у Павлуши плохая память на цифры, и поэтому никто тоже не удивился, когда он достал из кармана узкий листок и стал читать, сколько каждая из награжденных доярок надоила за год. Но секретарь райкома, видимо, не знал всего этого, и Егорка заметил, как при появлении бумажки секретарь нахмурился. А усатый проводник, заслушав высокие цифры удоев, стал молодцевато подкручивать усы, гордясь, что вез в своем вагоне таких знатных пассажиров.

Из окна вагона, расплющив о стекло нос, на Егорку с Олегом с завистью смотрел мальчик одних с ними лет в синей матросской курточке. Рядом с ним стояла строгая женщина в пенсне, при виде которой Егорке почему-то захотелось вслух произнести холодные и непонятные слова вокзальных объявлений, такие, как «плацкарта» или «транзит». Олег показал мальчику в матроске язык, и тот тайком от женщины в пенсне очень умело ответил ему тем же, после чего Олег самыми доходчивыми знаками стал вызывать его из вагона подраться, но мальчик в матроске сделал вид, что не понимает, и отошел от окна.

А секретарь райкома хмурился все больше и больше, и, когда Павлуша дошел до характеристики работы Олеговой сестры и сделал паузу, чтобы набрать побольше воздуха в грудь, секретарь перебил его:

— Дорогой товарищ, зачем же людей на морозе держать?

Павлуша пробормотал: «Какой же это мороз, всего десять градусов...» — и начал снимать рукавицы, чтобы доказать, что никакого мороза нету. Но секретарь райкома не стал ждать, пока Павлуша-председатель снимет рукавицы. Коротко, не называя цифр, он поздравил доярок с наградой, поблагодарил их за то, что они на всю страну прославили район, и в заключение предло-

жил подвезти героев на своей машине. На заднее сиденье райкомовской «эмки» сели Настя Воронкова и мачеха. Секретарь поместился впереди, рядом с шофером.

— Татьяна Ивановна, возьми своего мальца,— сказал Матвей Васильевич мачехе.— Я по его носу вижу, ему до зарезу хочется прокатиться на легковушке.

Егорка подивился, как это Матвей Васильевич умеет читать по носу, чего хочет человек, и храбро полез в «эмку». Шофер покосился на его валенки, но ничего не сказал.

Олег остался на улице, и Егорка из машины с торжеством посмотрел на дружка, но тот ответил ему таким равнодушно-снисходительным взглядом, словно по меньшей мере тысячу раз ездил в «эмке» и это ему порядком уже надоело. Задетый за живое, Егорка вспомнил безошибочный способ Матвея Васильевича, внимательно присмотрелся к носу приятеля и сразу увидел, что равнодушие Олега напускное и тот ему сильно завидует.

Машина тронулась, и Егорка закачался на мягком сиденье. Настя Воронкова начала рассказывать секретарю, как ей вручали награду, а Егорка тихо попросил мачеху:

— Можно, я звездочку посмотрю?

Татьяна Ивановна расстегнула пальто, и на ее вязаной кофточке неярко блеснула золотая звездочка — точь-в-точь такая же, как ее рисуют на плакатах.

Егорка бережно погладил звездочку мизинцем, а потом снизу вверх приподнял на цепочке, пробуя на вес. Звездочка была теплая и тяжелая.

— А орден Ленина где? — совсем расхрабрившись, спросил Егорка требовательным шепотом.

— В коробочке...— также шепотом ответила мачеха, привлекла пасынка к себе и провела рукой по его волосам, густым и мягким, как у отца.

Не избалованный лаской, Егорка шумно засопел и уткнулся лицом в плечо Татьяны Ивановны. Ему сильно хотелось порадовать чем-нибудь мачеху — например, сказать ей, что теперь он каждый день будет приходить на ферму, а по вечерам писать рационы. Но в носу у него предательски защипало, а с глазами стало твориться что-то и совсем уж неладное, и Егорка сидел тихо, боясь оторваться от теплого спасительного плеча...



Секретарь райкома довез их до самой избы. Маленький чемоданчик Егорка с мачехой внесли с улицы вместе, крепко держась за него руками. Елизавета Фроловна презрительно усмехнулась при виде такой дружбы.

Отец сидел на старом месте, раскрытый том «Растениеводства» лежал перед ним на столе. Но смотрел отец не в книгу, а прямо перед собой, словно увидел на стене что-то новое, никогда не замечаемое прежде. Когда Татьяна Ивановна сняла пальто, отец встал из-за стола и шагнул к ней. Пустой правый рукав рубашки качнулся и повис вдоль тела. Избегая смотреть на золотую звездочку, отец сказал глухо:

— Прости, Тань, что не встретил... Блажь какая-то пришла в голову, одолела на время... Прости!

— Ну что ты, что ты! — растерянно сказала мачеха и покраснела, как девушка.

Глаза ее стали лучистыми, и в них засветилась такая давняя всепрощающая любовь к отцу, что Егорке почему-то даже неловко было смотреть на нее, и он поспешно шагнул к стенному календарю, чтобы еще раз проверить, когда же наконец день обгонит ночь. А тетка открыла рот, собираясь сказать что-то обычное свое, ехидное, но, увидев глаза мачехи, поперхнулась и сердито загремела в печи ухватом.

Татьяна Ивановна достала из чемоданчика подарки: цигейковую шапку мужу, кожаную куртку с блестящими застежками Егорке и шаль для Елизаветы Фроловны. Тетка примерила шаль и, хотя та сидела на ней лучше некуда, сказала, поджав тонкие губы:

— Короткие нынче шали делают...— и так посмотрела на Татьяну Ивановну, будто подозревала, что та отрезала кусок от ее шали.

Егорка мигом облачился в кожаную куртку и сразу стал похож на летчика. Для полноты сходства он взобрался на печку, чтобы смотреть на все сверху, как бы с самолета.

А мачеха сняла праздничную кофточку, повесила ее в шкаф и надела старый ватник, в котором всегда ходила на ферму.

— Ради такого дня могла бы и дома посидеть,— обиженно сказал отец.

— Я на одну минутку, Илюша. Узнаю только, как тут без меня Снегурка жила: очень уж она норови-

стая...— виновато сказала Татьяна Ивановна и уже в дверях добавила: — Сегодня в правлении вечер будет по поводу... Ну, сам знаешь... Сначала торжественная часть, потом ужин. Матвей Васильевич просил, чтобы ты обязательно пришел.

— Раз приглашали, так приду: кто же от выпивки отказывается! — деланно веселым голосом сказал отец, но Егорка с печки видел, что ему совсем невесело.

Отцу было стыдно перед мачехой, он хотел быстрее загладить вину, но не знал, как за это взяться. Егорка впервые в жизни почувствовал свое превосходство: отец еще не понимал, как легко и просто можно помириться с мачехой, если уткнуться в ее плечо...

— Уже заискиваешь, братец? — тоненьким голоском спросила Елизавета Фроловна, когда мачеха вышла.— Погоди, это только цветочки, ягодки еще впереди! Что бы ты теперь ни сделал, о тебе будут говорить: муж героини... Пропала вся твоя самостоятельность!

— Слушай, сестра,— тихо сказал отец,— а не загостилась ли ты у нас? Ведь тебя ждут не дождутся Митя с Марусей, стыдно так обижать любимых детей!

— Это как же понимать? — громким шепотом спросила Елизавета Фроловна.— Родную сестру выгоняешь?

— Выгоняю! — твердо сказал отец и пояснил: — От тебя вовремя не избавишься, так ты нас всех разгонишь!

Егорка одобрительно хихикнул и сел на краю печи, чтобы в случае нужды быстро прийти отцу на помощь. Тетка бросила кухонную тряпку на пол, ударила по ней каблуком и закричала:

— Ноги моей здесь никогда больше не будет! Просить, умолять станешь — все равно не приеду!

— Сделай милость, не приезжай,— сказал отец.

Елизавета Фроловна схватила с лавки дареную шаль, подержала ее на весу, как бы раздумывая, не швырнуть ли шаль на пол вслед за кухонной тряпкой. Егорка по лицу тетки видел, что искушение бросить шаль было очень велико. Но Елизавета Фроловна пересилила себя, сунула подарок под мышку и, гордо вскинув подбородок, вышла из комнаты, завозилась с тяжелым сундуком в кладовой. Отыгралась тетка на двери: так хлопнула ею, что за печкой сразу затих сверчок и молчал потом целую неделю...

Отец обошел комнату, остановился возле шкафа и воровато осмотрелся вокруг. Егорка притаился на печи, как будто его там и не было. Отец рывком распахнул дверцу. В полутьме шкафа на кофточке мачехи тепло сияла золотая звездочка. Рядом с кофточкой висела парадная отцова гимнастерка с медалью. Переводя глаза с золотой звездочки на единственную свою медаль, отец долго неподвижно стоял у раскрытого шкафа. Потом он легко вздохнул и точно так же, как недавно Егорка в райкомовской «эмке», бережно погладил звездочку мизинцем.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЛАЗ

1

Прыгая через ступеньку, Варя легко сбежала с высокого крыльца райкома комсомола. От полноты чувств она погладила нагретые перила и остановилась, пораженная тем, что городок жил обычной своей будничной жизнью, будто на свете не произошло никакого важного события. Домашние хозяйки несли с базара в корзинах-плетенках румяные помидоры, два грузовика с зерном пропылили в сторону элеватора, равнодушный к полдневной жаре и всему земному, проковылял верблюд с возом полосатых астраханских арбузов. Варя стояла на виду у всех, а ее упорно не замечали. Никому и дела не было до того, что каких-нибудь три минуты назад секретарь райкома вручил ей долгожданную путевку.

Один только мальчишка с выгоревшими волосами, кативший по улице обруч, увидел, что с Варей творится что-то особенное. Он заглянул ей в лицо и спросил ехидно:

— Что, выговор влепили?

Сначала Варя хотела догнать мальчишку и отшлепать — в воспитательных целях, пусть уважает старших,— но вспомнила, что она преобразователь природы, а в кармане у нее направление на лесозащитную станцию, и переборола себя.

Контора лесозащитной станции поразила Варю своим затрапезным видом: дом был старый, штукатурка местами обвалилась, трудно было поверить, что здесь находится штаб преобразователей природы. Вдоль всей улицы пыльно зеленели старые акации, а два дерева, росшие перед лесозащитной станцией, засохли,— словно суховей, мстя за намерения станции уничтожить его, всю силу своего жаркого дыхания направил именно на эти две акации. По мнению Вари, пожелтевшие акации позорили станцию, как знак того, что в борьбе с суховеем первая победа пока еще не на стороне человека.

Не порадовала Варю станция и внутри: учреждение как учреждение. Так же как в бухгалтерии швейной

фабрики, здесь шелестели бумагой, щелкали на счетах, трещали на арифмометрах. Стенгазета называлась «За преобразование природы», но самым примечательным в ней была карикатура на завхоза, спящего в борозде. Ничто не говорило о высоком назначении станции. Окна в конторе были запыленные, а некоторые сотрудники — небриты, словно пришли сюда не природу преобразовывать, а собирать утиль.

Варю принял замполит — пожилой, грузный, с блестящей загорелой лысиной. Лесозащитную станцию он именовал ЛЗС, а преобразование природы называл запросто «переделкой». Замполит расспрашивал Варю о ее работе на швейной фабрике и исподволь приглядывался к ней, прикидывая, какое дело можно поручить вчерашней портнихе.

— В каком году родилась? — спросил замполит.

— В тридцатом,— спокойно ответила Варя, не придавая вопросу никакого значения.

Замполит нахмурился, и Варя вдруг испугалась, что он не допустит ее к работе, посчитает слишком молодой для такого ответственного дела, как преобразование природы.

— Я в самом начале тридцатого родилась,— робко сказала Варя.— В марте...

— Ну, это другое дело! — серьезно проговорил замполит и доверительно сообщил Варе: — А я в то время коллективизацию проводил в соседнем районе... Любопытное было время! — Замполит прошелся по комнате и еще раз повторил: — Оч-чень даже любопытное!..

Варя притихла, как всегда, когда встречалась с людьми, которые были участниками больших событий, в каких ей по молодости лет участвовать не довелось. Она вдруг наглядно представила все различие между собой и замполитом. Для нее та же коллективизация была стародавней историей, о которой она в книжке читала, а для замполита — памятной частицей его жизни. В книжкиной истории были одни лишь даты и процеженные историками факты, и все это было такое сухое-пресухое, что прямо-таки шуршало в голове и пахло цитатами. В Варином разумении все тогдашние крестьяне разбились на классы, стояли на своих, раз и навсегда отведенных им платформах и выкрикивали лозунги, чтобы Варе легче

было понять, кто они такие, куда идут и куда заворачивают.

А замполит знал не только общеизвестные эти лозунги, но еще и тех живых людей, с которыми он тогда встречался,— их лица, походку, манеру говорить. И глаза его, возможно, до сих пор помнили, как сверкал-переливался далекий весенний денек, когда была проложена первая борозда на артельной земле, а в ушах, наверно, все еще стоит скрип колхозного обоза с хлебом первого урожая. А может, ему запомнилось, как в разгар какого-нибудь самого-пересамого исторического события бойкая девушка-середнячка вдруг со значением глянула на него. Ведь тогда он был моложе на целых двадцать лет, не обзавелся лысиной и вполне мог еще нравиться девушкам, в том числе и бойким середнячкам...

— Да-а, шибко время бежит...— пробормотал замполит, словно впервые в жизни понял, что стареет и молодое поколение, родившееся на его глазах, уже подросло и стоит рядом, готовое его сменить.

Больше он Варю ни о чем не расспрашивал, будто окончательно уверился, что человек, который родился в такое историческое время, не может быть молод ни для какой работы — даже и такой ответственной, как переделка природы.

Варя надеялась, что ей поручат сажать лес, копать водоемы, на худой конец — закладывать питомники, но ее назначили учетчицей-заправщицей в комсомольскую тракторную бригаду. Старую учетчицу снимали за развал работы.

— Не потакай трактористам в поисках популярности, будь строгой, но справедливой,— сказал замполит на прощанье и шутливо предостерег: — Смотри не влюбись, бригадир там симпатичный!

Варя презрительно усмехнулась.

После замполита с Варей беседовал старший механик лесозащитной станции — молодой, но очень серьезный. Механик ни разу не заикнулся не только о преобразовании, но даже и вообще о природе, а вместо этого битый час объяснял Варе, как надо отпускать трактористам горючее, замерять пахоту и вести полевой журнал, будто лесозащитная станция не лес в степи разводила, а какую-нибудь кукурузу или картошку.

Старший механик поразил Варю своей недоверчи-

востью к людям. Он был убежден, что все трактористы спят и во сне видят, как бы надуть бригадного учетчика и не выполнить всех правил заправки и ухода за тракторами.

— Берегите горючее и смазочное от пыли: это же наждак! — учил Варю механик.— Обратите особое внимание на глубину пахоты: в МТС трактористы привыкли пахать всего на двадцать сантиметров, а нам надо не меньше тридцати...

Глубину пахоты в тридцать сантиметров Варя одобрила. Она вообще готова была приветствовать все, что отличало работу в лесозащитной станции от работы в других местах.

Напоследок старший механик сказал:

— Старайтесь работать в контакте с бригадиром, но панибратства не допускайте. Помните — вы представитель лесозащитной станции в бригаде, то есть, в некотором роде, глаз государства...

Услышав о таком высоком своем назначении, Варя покраснела от удовольствия и даже примирилась отчасти с положением учетчицы.

По дороге домой Варя зашла в магазин и купила записную книжку. На внутренней стороне обложки она написала вещие слова Ивана Владимировича Мичурина: «Мы не можем ждать милостей от природы; взять их у нее — наша задача». Книжку Варя разделила на две равные части и решила в первой половине делать записи по работе, а во вторую — заносить свои личные наблюдения и мысли о преобразовании природы.

2

На другой день с попутным грузовиком Варя отправилась к месту своей работы — на полевой стан комсомольской тракторной бригады. В пути она пробыла часа четыре и за это время окончательно убедилась, что с природой надо обязательно что-то делать, дальше такого безобразия терпеть никак нельзя. Нещадно пекло солнце, струилось душное марево, трудно было дышать. Урожай уже сняли, и степь лежала пустая, выжженная, беззащитно открытая жестокому солнцу и всем ветрам.

Бригадный стан обосновался на бугре вблизи деревни — палатка, пяток бочек, разбросанных вкривь и вкось по сухой, потрескавшейся земле. Над входом в палатку весело полоскался на ветру узкий кумачовый флажок, словно вызов бросал степи. Флажок Варе пришелся по душе: был в нем молодой задор и обещание, что скучная бурая степь вокруг доживает последние дни.

На солнцепеке, за дощатым, грубо сколоченным столом сидел паренек лет пятнадцати и ел арбуз. Время от времени он надувал щеки и с шумом выплевывал глянцевитые арбузные семечки, стараясь попасть в пустую бутылку из-под молока, стоящую на другом конце стола. Когда это ему удавалось, паренек сам себе радостно подмигивал левым глазом. Заметив Варю, он прервал свои снайперские занятия.

— Новая учетчица? Давай знакомиться! — Паренек встал из-за стола, вытер рукой рот, словно собирался целоваться, и солидно представился: — Дмитрий, прицепщик ночной смены.— Подумал, посмотрел зачем-то в степь и великодушно разрешил: — Можно — просто Митя... Арбуза хочешь?

Кривым садовым ножом прицепщик Митя отхватил щедрый ломоть теплого сочного арбуза и вдруг тоненько хихикнул.

— Чего это ты? — удивилась Варя, жадно впиваясь в ломоть пересохшим ртом.

— Чистая ты сейчас! — объяснил Митя.— Посмотрим, какая будешь через неделю. А нос у тебя обязательно облезет, вот увидишь. В бригаде у всех девчат носы пооблезли. У ребят носы выдерживают любую жару, а у вашего брата — нет, потому слабый пол!..

Из палатки раздался громкий сладкий зевок, и у входа появился рослый заспанный парень в синем комбинезоне. Он кулаком протер глаза, внимательно осмотрел Варю и спросил у Мити придирчиво:

— Ты кого это бригадными арбузами угощаешь?

— Наш бригадир — Алексей,— шепнул Митя.— Дядя ничего себе, правильный...

Бригадир не понравился Варе: больно уж картинно стоял он в дверях палатки, отставив ногу и распустив по ветру пышный чуб. Она почему-то сразу уверилась, что бригадир много о себе воображает, и спросила у Мити,

но достаточно громко, чтобы ее, не напрягая слуха, могли слышать и у палатки:

— У вас бригадиры всегда спят в рабочее время?

— Дмитрий, внеси ясность в этот вопрос,— приказал бригадир и задернул за собой парусину.

— Рабочее время у нас круглые сутки,— заступился за бригадира Митя,— а прошлой ночью Алексей помогал наш трактор из окопа вытаскивать... С этими окопами прямо беда: столько их тут понарыто! — поспешил разъяснить Митя, опасаясь, как бы Варя не подумала, что он со своим трактористом — растяпы.

Только теперь Варя догадалась, что заросшая травой полуобвалившаяся канава возле палатки не просто канава, а старый окоп. Она внимательно вгляделась в степь и заметила осевшие бугорки окопных брустверов, вытянувшиеся вдоль оврага.

В сорок втором году здесь шли тяжелые бои, а Варя тогда училась в четвертом классе, и все ее участие в войне сводилось к тому, что по вечерам она ходила в госпиталь читать выздоравливающим юмористические рассказы...

— Стреляные гильзы часто попадаются,— почему-то шепотом сказал Митя,— а на той неделе немецкий автомат нашли — ржавый-прержавый...

На горизонте маленькими жуками ползали тракторы. Редкие порывы жаркого ветра приносили шум моторов и душный запах полыни.

Комсомольская бригада готовила почву под овражно-балочные лесопосадки на колхозных землях. Сухие ветвистые овраги угрожали степи множеством щупалец и отростков. Летом овраги напоминали притаившихся хищников. Бросок наступит весной, когда талая вода с окрестных пашен слепым бурливым потоком хлынет в овраги. Тогда все щупальца и отростки оживут, жадно потянутся в глубь полей, отнимая у них все новые и новые угодья. Лесопосадки должны были укрепить берега и склоны оврагов, притупить щупальца и положить конец воровству пахотной земли.

Варя приняла от старой учетчицы горючее, инструмент и полевой журнал. Отчетность по горючему оказалась запущенной, работа одного тракториста была приписана другому, бочка с солидолом стояла открытая, будто учетчица не знала, что пыль — родная сестра наждака. «Не дай бог, если старший механик нагрянет зав-

тра с проверкой!» — забеспокоилась Варя, тут же припомнила, что еще сегодня утром ничего не знала об этой бригаде, и подивилась тому, как быстро она тут освоилась.

Приемо-сдаточный акт писали на чемодане в палатке. «Мы, нижеподписавшиеся...» — бойко застрочила старая учетчица, мало опечаленная увольнением.

— Вы что же, вместе с ребятами в одной палатке спите? — спросила Варя у прицепщицы Нюси — широкой рыхлой девушки с печальным выражением лица.

— Вторая палатка есть, да кухарка Федосья все колья сожгла, а новых тут не найдешь: сторона степная, Сначала мы тоже стеснялись в одной палатке спать, а потом обвыкли. Приходится мириться, не на курорт приехали. Сейчас на второе место в ЛЗС вышли, а к сентябрю первое завоюем! —хвастливо закончила Нюся, густо намазывая нос вазелином.

Митя был прав: у всех девчат в бригаде кожа на носах шелушилась.

3

Вечером тракторы пришли с пахоты. От усталых, запыленных с головы до ног трактористов пахло керосином и полынью. По их напряженной походке угадывалось, что ноги трактористов отвыкли от земли, и Варе вдруг стало стыдно перед ними за то, что она такая чистенькая. Пока она прохлаждалась здесь с Митей и занималась бумажной волокитой с прежней учетчицей, они покоряли суровую степь.

Но Варин стыд быстро улетучился.

— Сколько горючего в бачке? — спросила она у плечистого тракториста в матросской тельняшке, чтобы записать в журнал остаток горючего после отработанной смены.

Фамилия тракториста в тельняшке была Пшеницын, в бригаде он считался первым силачом, осенью собирался поступать в мореходное училище, был лучшим другом бригадира — и по совокупности всех этих причин воспринял вопрос новой учетчицы как покушение на свой авторитет. Ленивой морской развалочкой подо-

шел он вплотную к Варе и пропел ей прямо в лицо:

Увидел на миг ослепительный свет,
Упал, сердце больше не билось...

Варя растерянно огляделась вокруг. Митя не мог прийти ей на помощь: он напялил на себя короткую брезентовую курточку и отвинчивал у плуга сработанные, отполированные до зеркального блеска лемеха.

— Народ у нас честный, ты не сомневайся! — успокоил Варю бригадир.— Такой формалистикой мы никогда не занимаемся. А если экономия горючего от одного тракториста попадет к другому — это не страшно: сегодня так, а завтра наоборот, оно и выйдет раз на раз...

— Это не честность, а обезличка! — наставительно сказала Варя и вооружилась мерной линейкой.

Варя хорошо помнила наказ старшего механика: не отпускать горючего, пока трактористы не почистят своих машин. Маленький аккуратный Степа Головин порадовал новую учетчицу: нарвал полыни, смастерил из нее веник и стал обмахивать пыль с трактора. Но другие трактористы что-то не вдохновились его примером. Не спрашивая у Вари разрешения, они подкатывали бочки с горючим к запыленным тракторам, заряжали тавотницу солидолом. Варя выжидающе покосилась на бригадира. Тот поспешно отвернулся. Никто не обращал на нее внимания, будто никакой учетчицы здесь вовсе и не было.

Обида и злость закипали в Варе. Она вдруг поняла, что если сейчас же, немедля не вмешается, то потом еще трудней будет поставить на своем. И когда Пшеницын, напевая: «Нам не страшен женский пол...», полез грязной палкой в бочку с солидолом, Варя подбежала к нему, выхватила палку и стала между трактористом и бочкой.

— Что же вы грязь в смазку тащите? — крикнула она чужим, незнакомым голосом, снизу вверх с ненавистью глядя на озадаченного Пшеницына.— Это же наждак!.. Не дам заправляться, пока трактор не почистите. Не дам!

— А мы тебя и спрашивать не будем! Приехала на нашу голову! Ты здесь без году неделя, а мы уже десятки оврагов опахали. Кто ты такая, чтобы командовать тут?

— Я — учетчица,— с достоинством ответила Варя.

Пшеницын усмехнулся, не таясь.

— Представитель лесозащитной станции...

Пшеницын фыркнул и взглядом пригласил всех трактористов разделить с ним веселье.

— Государственный глаз в бригаде, понятно?!

Пшеницын схватился за бока и захохотал:

— Государственный глаз? Уморила!..

Бригадир нахмурился. Все остальные, кроме Мити и Степы Головина, засмеялись: больно уж не вязалось высокое представление о глазе государства с маленькой Варей в тапочках на босу ногу. Ободренный поддержкой товарищей, Пшеницын легко отстранил Варю и нагнулся над бочкой с солидолом.

— Если заправитесь без моего разрешения...— очень тихо сказала Варя и запнулась, сама не зная, что она тогда сделает.

И Пшеницын расслышал неуверенность в ее голосе и спросил одобрительно, даже ласково:

— Ну?.. Ну и что тогда, дорогуша?

— Я... я старшему механику пожалуюсь...

— Ай-яй-яй! А ябедничать ведь нехорошо... И как ты пожалуешься? Рации у нас нету, и автобусы тут тоже не ходят: степь-матушка!

Пшеницын широко повел вокруг рукой, приглашая Варю полюбоваться степным простором.

— Если надо, я и пешком дойду! — выпалила Варя и шагнула к дороге, ведущей в город.

И вид у нее был настолько решительный и непримиримый, что все невольно поверили: такая и в самом деле дойдет.

Пшеницын выпрямился над бочкой.

— Вот навязалась язва на нашу шею... Алеха, прими меры!

Все головы повернулись к бригадиру.

— Хватит тебе ругаться,— примирительно посоветовал Алексей дружку.— Обмахни трактор веником, долго ли?

— Эх, Алеха! — сокрушенно сказал Пшеницын.—

Какой-то салажонок в юбке командует бригадой... Дожили — дальше некуда!

Варя торжествующе усмехнулась, празднуя первую свою победу. Но тут же и насупилась, вспомнив вдруг, что с тех пор, как приехала в бригаду, все пробавляется какими-то мелочами и ни разу даже не подумала толком о преобразовании природы. «Поддаюсь местному влиянию,— решила она обескураженно.— Самостоятельности не хватает».

4

На ночь Варя постелила себе за палаткой, на сухой, выгоревшей траве. Она не так уж часто в своей жизни спала под открытым небом и теперь долго не могла уснуть. Мелкие августовские звезды мерцали над головой, ущербный косячок луны, похожий на ломоть арбуза, которым Митя днем угощал ее, серебрил выбеленную солнцем и многими дождями парусину палатки. В неживом лунном свете смутно и настороженно темнели полуобвалившиеся ямы старых окопов.

Трактористы и прицепщицы дневной смены шумели в палатке, укладываясь спать. Иногда они говорили приглушенными голосами, и тогда Варя была уверена, что в палатке болтают о ней, перемывают ее косточки.

Воздух был по-ночному свеж, а земля за день так сильно нагрелась, что еще не успела остыть. Варя лицом и выпростанными из-под одеяла руками чувствовала исходящий от земли теплый ток. Она лежала с открытыми глазами и думала, правильно ли поступила, что так резко противопоставила себя всей бригаде. Не слишком ли круто она взяла для начала? А замполит еще опасался, что она будет потакать трактористам!.. Варя перебирала в уме все события минувшего дня, но ошибок у себя не находила.

Из палатки вышли несколько ребят, сели у стола покурить. Светлячки папиросных огоньков вытянутым кольцом окружили невидимый Варе стол. Когда ребята затягивались, огоньки разгорались ярче, выхватывали из темноты чей-нибудь нос или подборо-

док, и Варе казалось, что светлячки подлетают к ней ближе.

— Как бы наша учетчица к утру не замерзла,— с деланным, как решила Варя, сожалением произнес бригадир.

— Ничего, покладистей будет! — мстительно сказал Пшеницын.

Маленький Степа Головин, запрокинув голову, долго смотрел на звезды, потом гораздо громче, чем надо было, чтобы его услышали сидящие рядом ребята, продекламировал:

Открылась бездна, звезд полна,
Звездам числа нет, бездне — дна.

Степа покосился в ту сторону, где лежала Варя, и сказал задумчиво, но все так же громко:

— И на какой-нибудь звезде тоже люди живут... Я где-то читал, что тунгусский метеорит был вовсе и не метеорит, а корабль межпланетный, с атомным двигателем. Вот было бы здорово, если б тут поблизости такой корабль приземлился!..

— Куда уж лучше! — согласился Пшеницын.— Я твоих межпланетников живо бы приспособил!.. За одну ночь они бы шутя опахали весь этот овраг, утром улетели на Луну чай пить, а мы, глядишь, вышли бы на первое место в ЛЗС!

Все засмеялись и ушли в палатку, а Степа долго еще сидел за столом спиной к Варе и смотрел на россыпь звезд, словно хотел по внешнему виду определить, с какой из них можно скорей всего ждать межпланетных гостей. Потом ушел и он. В палатке затихли, явственней стал слышен шум тракторных моторов на ночной пахоте. Тракторы ходили по кругу, и Варе казалось, что они не овраги опахивают, а сторожат ее сон. Она повернулась на бок и закрыла глаза с чувством, что живет правильно, а если некоторые пока еще этого не видят, то тем хуже для них: она тут не виновата...

Проснулась Варя от предрассветного холода. Бессонно урчали тракторы, меркли звезды, парусина палатки потемнела от росы. Под тонким байковым одеялом было холодно, но Варя стойко вытерпела до утра.

Сразу же после завтрака она отправилась в деревню — добывать колья для второй палатки. По дороге Варя составила план действий: если председатель колхоза не даст кольев, ссылаясь на «степную сторону», она пригрозит, что напишет в газету и осрамит на весь район. С председателями колхозов Варе еще ни разу в жизни не приходилось иметь дело, но она почему-то была убеждена, что председатели больше всего на свете боятся газеты.

Испытать свое верное средство Варе, однако, не довелось. Председатель колхоза оказался человеком покладистым: он сам выбрал жерди для палатки и вдобавок посоветовал тесать колья на три грани, чтобы легче забить их в сухую землю. Варе даже стыдно стало, что такого отзывчивого человека она собиралась стращать газетой.

В полдень жерди доставили на полевой стан бригады вместе с бочкой воды и кизяками для кухарки. И тут Варя не удержалась и, глядя на прицепщицу Нюсю, сказала:

— Вот тебе и степная сторона!

А Митя, который во всем поддерживал Варю, пропел:

Моя степная сторона
Такими кольями полна...

По доброте душевной Митя вызвался помогать Варе ставить палатку. Для начала он сбегал в деревню наточить топор, недостаточно острый для такого важного мероприятия, как забивка кольев. После путешествия Мити в деревню топор, по мнению Вари, остался таким же тупым, каким был, но зато на стан юный прицепщик вернулся с дыней невероятной сладости. Митя клялся, что дыня — дареная, но когда они с Варей съели ее в один присест, Митя тщательно собрал все желтые корки и отнес их почему-то далеко в степь.

Палатку ставили с разделением труда: Митя забивал колья, а Варя натягивала тяжелый брезент. Подражая плотникам, Митя при каждом ударе гукал — чтобы колья стояли прочно, а Варя видела, какой он сильный.

Остаток этого дня и весь следующий были посвящены оборудованию стана. Когда на исходе второго дня в бригаду приехали на «газике» замполит и старший механик, бочки с горючим уже были очищены от застарелой маслянистой грязи, выровнены строгим рядком, перенумерованы и лежали уже не на солнцепеке, как раньше, а в тени старого окопа, чтобы меньше испарялось горючее. Весь инструмент был собран в ящик, отработанные лемеха сложены в кучу, а бочка с солидолом накрыта фанерой, чтобы в смазку не попадала пыль. Начальство ходило по стану и одобрительно переглядывалось. Варя заметила, как замполит раза два победоносно глянул на старшего механика, и поняла: механик не очень-то верил, что она тут справится, а замполит держал ее сторону. Порадовала начальство и Варина бухгалтерия: все записи на своем месте, хоть на выставку полевой журнал посылай. Чтобы новая учетчица не загордилась, осторожный механик предусмотрительно не стал ее хвалить, а только спросил, в контакте ли с бригадиром она работает.

— Работаем...— уклончиво ответила Варя.

Перед отъездом замполит сказал Алексею:

— Идете вровень с передовой бригадой.

— Надолго ли? — усомнился старший механик.— В последней декаде августа обязательно отстанут: молодежь, выдержки не хватит!

Варя хорошо видела, что начальство разыгрывает Алексея, но тот, кажется, ничего не заметил и промолчал. А вечером, во время пересменки, Алексей объявил общий сбор: не митинг, не собрание и даже не пятиминутка, а так — какие-то посиделки.

Бригадная эта самодеятельность Варю разочаровала: не было произнесено ни одной яркой речи. Все выступающие больше всего боялись, кажется, чтобы их не посчитали записными ораторами, и убедительно доказали, что говорить они не умеют. И Алексей говорил вяло, как бы по обязанности. Варе даже почудилось, что ему просто совестно: все сидят молча, а он торчит на виду у всех и «толкает речугу». В сущности, он лишь повторил слова замполита, а от себя добавил, что бригада в общем-то имеет все возможности выйти на первое место в лесозащитной станции и завоевать переходящее знамя.

«В общем-то!» — передразнила Варя и вдруг прямо

перед собой увидела крупную мохнатую звезду. Любопытная звезда стояла на цыпочках над самым гребнем палатки и глядела на Варю в упор. И Варе стало как-то не по себе, будто небесная эта плошка высветила ее всю насквозь — со всеми ее тайными надеждами и сомнениями. На секунду Варя как бы поменялась местами со звездой и с ее выси глянула на их полевой стан, утонувший в степном раздолье.

И ни с того ни с сего Варя вдруг подумала: может, зря она так уж навалилась со своей критикой на бригадира? Ведь заговори сейчас Алексей по всем правилам ораторского искусства — здесь, под звездами, на пятачке полевого стана, это было бы совсем неуместно и даже смешно. Варя живо представила, как, взгромоздившись на шаткую каланчу трибуны, размахивает Алексей руками, кричит в гулкий микрофон и запивает цитаты водой из казенного графина,— и сама первая фыркнула в кулак.

Вот поэтому, чтобы не смешить людей, Алексей так нескладно и говорит. Что-то уж больно она к нему сегодня добрая...

— Пусть каждый хорошенько присмотрится к своей работе и поищет резервы времени,— посоветовал Алексей напоследок и с явным облегчением уселся за стол, радуясь, что довел-таки горемычную свою «речугу» до конца.

«Резерв времени, тоже мне оратор!» — снова ожесточилась Варя против бригадира — в отместку за недавнюю свою беспричинную доброту к нему. А вслух выпалила:

— Есть резерв времени! Зачем все тракторы разом идут на заправку и только друг дружке мешают? Пусть приходят поодиночке. А вообще-то давно пора уже заправляться в борозде и зря не гонять тракторы по степи!

— Дельное предложение! — крикнул Степа Головин, а Пшеницын с невольным почтением покосился на Варю, дивясь, что такая простая мысль пришла в голову не ему, а какому-то салажонку.

А бригадир ничего не ответил, лишь посмотрел на Варю так, будто хотел сказать: «Ты-то чего шумишь?» Ей вдруг показалось, что все это он знал и без нее. Знал — да вот позабыл. Что ж, она не гордая, может и напомнить...

...Пищу для бригады готовила болтливая старуха Федосья. Кухарка считалась глуховатой, но Митя полагал, что она только прикидывается тугой на ухо, чтобы меньше отвечать на чужие вопросы, а больше говорить самой. Федосья уверяла, что лучше ее нету стряпухи во всем укрупненном колхозе: огородная бригада будто бы из-за нее навечно рассорилась с полеводческой, и, чтобы никому не потакать, изворотливый председатель направил образцовую кухарку к трактористам ЛЗС. Судя по вкусу ее стряпни, Варя на месте огородников и полеводов не стала бы ругаться из-за Федосьи: каша у нее постоянно пригорала, а картошка в борще почему-то всегда была твердая.

Варя пригрозила Федосье, что пожалуется председателю колхоза, если она не улучшит качества своей продукции. Кухарка обещала исправиться, и действительно каша у нее перестала пригорать, хотя картошка в борще по-прежнему недоваривалась. Но хитрая Федосья отыскала выход: совсем перестала варить борщ и перешла на лапшу.

О записной книжке Варя вспоминала редко. В первой половине, предназначенной для деловых заметок, стояло только: «Трактор Пшеницына поставить на техуход 29 августа. Не забыть». Вторая половина, отведенная для личных записей, была представлена богаче: «Преобразование природы и проще и сложней, чем я думала. Это — хозяйство, хозяйство и еще раз хозяйство... Дорогу к сердцу бригады я не нашла... Прочитать о тунгусском метеорите... После собрания Пшеницын начал, кажется, меня уважать... Бригадир — ?»

5

Бригадира Варя не понимала. Работал он много, не считаясь со временем: часто помогал трактористам в поле, ездил в город за лемехами и запасными частями, не спал, случалось, по двое суток.

Участок у бригады был трудный — сухая вековая залежь. Пахать сразу на глубину тридцать сантиметров не удавалось: сопротивление почвы было таким большим, что или плуг выпрыгивал из борозды, или лома-

лись лемеха. Приходилось довольствоваться сначала глубиной в двадцать сантиметров, а потом доуглублять пахоту до нормы.

Новую учетчицу бригадир как будто совсем не замечал: горючим снабжает — и ладно. Митя передавал, что бригадир считает Варю гордой. Тот же Митя уверял, что тракторы слушаются Алексея «как миленькие», да Варя и сама видела: не было такой поломки или задержки в работе, которая поставила бы бригадира в тупик.

И все же Алексею не хватало многих качеств, совершенно необходимых, по мнению Вари, бригадиру лесозащитной станции. Прежде всего, он был слишком спокоен, очень уж легко мирился со многими неполадками, и Варя считала его человеком, равнодушным к святому делу преобразования природы. Он пахал землю, и не плохо пахал, но ведь совсем не в одной пахоте тут было дело.

Изо дня в день бригада выполняла привычную трудную работу. За этой повседневностью как-то невольно забывался большой сокровенный смысл их труда, и он становился будничным, даже скучноватым. Может быть, поэтому Пшеницын наяву и во сне видел себя моряком, а Степа Головин мечтал о межпланетных путешествиях.

Варе было обидно, что она со всей своей работой, как там ни крути, всего лишь обслуживает бригаду. А уж заикаться о преобразовании природы ей и вовсе было стыдно. Если трактористы еще как-то тормошили матушку-природу, то она в заветном этом деле — седьмая вода на киселе. Тайком от всех Варя стала изучать трактор, и прицепщик Митя ходил у нее в ученых консультантах. Уж очень ей хотелось во всем сравняться с бригадиром и трактористами и поскорей избавиться от обидной своей неравноценности.

Как-то раз, когда Варя играла в шахматы с выспавшимся после ночной работы Митей, к ним подошел Алексей, глянул на доску и сказал равнодушно:

— Играю с победителем.

Митя научился играть в шахматы совсем недавно; прежде чем ступить конем, каждый раз находил сначала на доске пальцем нужную клетку, и Варя легко выиграла у него. Расставляя фигуры для новой партии, она поймала себя на том, что ей очень хочется одержать

верх и над бригадиром, чтобы тот много о себе не думал и знал свое настоящее место. Но как Варя ни старалась, а все же Алексею проиграла. Начали вторую партию. Положение на доске опять стало складываться не в ее пользу, но тут вдруг Алексей прозевал ферзя. Сперва Варя обрадовалась, а потом решила, что бригадир проигрывает нарочно, чтобы доставить ей удовольствие. Только этой благотворительности ей еще не хватало! Она закусила губу, смешала фигуры и ушла к себе в палатку.

...Когда Варя сказала Пшеницыну, что завтра его трактор не будет работать, а должен пройти плановый технический уход, все уважение тракториста, которое тот стал было питать к новой учетчице после митинга, разом улетучилось.

— Да ты понимаешь, что делаешь?! — загремел будущий моряк.— Кончится месяц — тогда и ставь трактор на техуход, а сейчас не только день — час один дорог!..

Привлеченный шумом, к ним подошел Алексей, на ходу вытирая руки паклей.

— Такие вопросы надо сначала со мной решать: все-таки бригадир...— упрекнул он Варю и добавил нерешительно: — А может, и в самом деле повременим до первого сентября? Трактор новый, ничего ему за три дня не сделается!

— Вот именно, пока новый — и надо особенно тщательно соблюдать все правила ухода,— тонким голосом сказала Варя.— Бригадиру это полагалось бы знать...

— Режешь ты нас без ножа! — не унимался Пшеницын.— Хоть и работаешь с нами в одной бригаде, а бригадные интересы тебе не дороги. Чужая ты нам, нет у тебя ни самолюбия, ни патриотизма к своей бригаде!

Но Варя была неумолима и запретила выводить трактор Пшеницына на работу. Все перестали с ней разговаривать, даже Митя надулся, а прицепщица Нюся спрятала в чемодан свое зеркало, перед которым Варя причесывалась по утрам, да при этом еще и сказала: «Понаехали сюда!..» — таким тоном, будто новая учетчица и появилась-то в их бригаде только затем, чтобы причесываться перед Нюсиным зеркалом с отбитым уголком.

Один лишь Степа Головин одобрил:

— Молодец, Варвара! Приучать нас надо к культуре труда. График — закон!

— Закон, закон! — передразнил его Пшеницын.— Вот упустим знамя — тогда что запоешь?

— Если упустим знамя — значит, еще не заслужили его! — мужественно сказал маленький Степа.— Пусть оно украсит достойных. Незаслуженно владеть знаменем — это не почет, а позор.

— До того ты правильный — слушать тебя тошно... У вас обоих с учетчицей арифмометры вместо души! — в сердцах выпалил Пшеницын и пошел прочь, забыв даже по-морскому раскачиваться на ходу.

А следующим утром, когда Пшеницын, чертыхаясь, копался на стане в разобранном тракторном моторе, Варя, замеряя выработку ночной смены, случайно наткнулась среди старой пашни на такой паршивый клин, что даже глазам своим не поверила: огрех на огрехе, глубина вспашки десять — двенадцать сантиметров. В душной тишине Варя долго простояла в степи над клином, уже начиная жалеть, что нашла его. После вчерашнего трактористы могут подумать, что она нарочно мстит им, не дает выйти на первое место. Но и промолчать о своем открытии, не презирая себя в дальнейшем, Варя не могла, никак не могла.

Вернувшись на стан, она отозвала в сторону бригадира и рассказала ему о забракованном клине. Алексей поморщился, тихо спросил:

— Много?

— Гектара три...

— Должно быть, тупыми лемехами пахали,— предположил Алексей.— Да и прежняя учетчица у нас на пашню редко заглядывала. Когда будем доуглублять всю пахоту, глубину этого клина выровняем, а огрехи запашем... Имеешь возражения?

— Вот именно: запашем! — сказала Варя.— Закидаем сверху рыхлой землей, а для леса нужна глубина тридцать сантиметров!

— Колхоз, между прочим, этот участок уже принял...

— Кого обманываем? — пристыдила Варя бригадира, а сама поймала себя на том, что тоже ищет такой выход, чтобы и бригаде угодить, и свою совесть убаюкать. Но такого гибкого, удобного для всех выхода что-



то не было видно. Может, он где и притаился, да разве вот так сразу выцарапаешь его...

Алексей смущенно кашлянул, но не сдавался.

— Хорошо, клин перепашем, но только не сейчас, а в сентябре. Лес от этого не пострадает, а наша августовская выработка будет на три гектара больше!

Варя на минуту заколебалась, а потом сказала тихо, с болью в голосе:

— Мы такое большое дело затеяли, такое большое, а ты хитришь... Природу надо чистыми руками преобразовывать, без единого пятнышка...

Она вдруг разозлилась на всех: на Алексея — за то, что он бригадир, а ей приходится объяснять ему такие простые, общеизвестные вещи, на себя — за то, что могла на миг усомниться в своей правоте, на любопытного Митю, который, подслушивая их разговор, так далеко высунулся из палатки, что того и гляди свернет себе шею.

— В общем, так...— сдерживая себя изо всех сил, чтобы не накричать на Алексея, сказала Варя таким скрипучим голосом, что самой слушать было противно.— Не перепашете сейчас — не включу этот клин в августовскую выработку.

Варя ожидала, что Алексей станет ее упрашивать или упрекнет, как и Пшеницын, в отсутствии бригадного патриотизма, но он только пристально посмотрел на нее, как будто впервые увидел, беззлобно усмехнулся и сказал убежденно:

— Под старость из тебя такая сварливая баба выйдет, каких еще на свете не было!

Вечером бригадир сам сел на трактор и поехал перепахивать забракованный клин. На сиденье прицепщика подпрыгивал Митя. Алексей вел трактор не по дороге, а напрямик, по ухабам, и щуплый Митя подпрыгивал так высоко и так покорно, что Варя пожалела вдруг от всего сердца и его, Алексея, и всю бригаду. Им всем лучше было бы, если б вместо нее здесь работала другая учетчица: тогда они наверняка бы вышли на первое место в ЛЗС и завоевали переходящее знамя. «Неуживчивый у тебя характер!» — осудила себя Варя и подумала испуганно, что в словах Алексея есть доля правды: она так много сейчас со всеми ругается, что

и в самом деле может превратиться в сварливую бабу.

6

При свете фонаря «летучая мышь» Варя писала письмо подругам на швейную фабрику. Напротив нее за столом обосновался с книжкой Степа Головин, а рядом Пшеницын пробовал пришить пуговицу к рубашке. Чтобы пуговица сидела на своем месте, пока не сносится рубаха, он скрутил нитку вчетверо, долго не мог вдеть ее в узкое ушко иголки и сердито сопел.

— Дай я пуговицу пришью,— сжалилась над ним Варя.

— Обойдемся без вашей помощи.

— Ну, это уж просто глупо!

— Не всем же быть умными...— смиренно произнес Пшеницын.

Он перегрыз пучок ниток, подергал за пришитую пуговицу, пробуя прочность работы, и отошел от стола, победоносно взглянув на посрамленную учетчицу.

— Неприятный тип...— сказал Степа, вскинув подбородок к звездам, и заговорил о загадке тунгусского метеорита.

Налетевшие на свет мошки бились о стекло фонаря. Тонкий вибрирующий звук этот еще больше подчеркивал торжественную тишину ночи. Варя вдруг почувствовала себя одинокой.

Степа увидел, что его не слушают, обиженно вздохнул и замолк. Варя скомкала недописанное письмо и ушла в палатку.

Среди ночи она проснулась да так уж и не заснула до утра. Думала о себе, о бригадире, слушала далекий, приглушенный расстоянием шум работающих на ночной пахоте тракторов. И хотя никак нельзя было определить, какой шум принадлежит трактору, который перепахивает забракованный ею клин, но Варе чудилось, что она различает особый, непохожий на другие, укоризненный шум, будто трактор этот каждым своим выхлопом стучался ей прямо в сердце. Наново и крепче прежнего Варя усомнилась в своей правоте. И ночью перебороть

постыдную свою слабость и вернуть свое душевное равновесие было почему-то гораздо трудней, чем днем. Уж не в том ли все дело, что ночью усомнившемуся человеку просто не на что в темноте опереться и остается он один на один со своей совестью?

Варе вдруг показалось, что взялась она за непосильное для себя дело. Просто слабовата она — и все тут. В другой бригаде, может, и потянула бы, а здесь... Один верзила Пшеницын чего стоит! А Алексей? Уж лучше бы обругал он ее, чем вот так вкрадчиво и тоскливо урчать своим трактором. Всю душу он у нее вымотал...

Рано утром, выйдя из палатки, она заметила, как, завидев ее, проворней зашевелилась у костра Федосья. Сначала Варе стало смешно, что такая солидная тетка побаивается ее, а потом подумалось горько: «Никто меня здесь не любит, только боятся. Доработалась!»

Ей захотелось вдруг узнать, все ли еще подпрыгивает на сиденье прицепщик Митя или уже устроился поудобней, и Варя пошла в степь, в сторону забракованного клина. Ни трактора, ни Мити с Алексеем она там не увидела. Немым укором ей лежал пустынный свежеперепаханный клин. Варя в нескольких местах смерила глубину пахоты и осталась довольна. Она взобралась на вершину бугра, поискала глазами трактор и нашла его в низине за отростком оврага.

— Чего это вы сюда забрались? — беспечно спросила Варя, подходя к трактору, и сама расслышала неподвластную ей виноватинку в своем голосе.

Алексей с Митей поднимали лемеха у плуга, собираясь возвращаться на стан.

— И как ты проглядела: мы тут еще отыскали небольшой кусок с огрехами! — похвастался Митя и улыбнулся Варе припухшими сонными глазами, показывая, что больше на нее не сердится.

Теплый громыхающий трактор заспешил на стан. Варя сидела рядом с бригадиром в кабине трактора, Митя по-птичьи прикорнул на высоком сиденье прицепщика.

Алексей мельком глянул на Варю и отвернулся. Он все еще не понимал, как случилось, что его переучивает работать эта слабая девчонка, которая тайком от всех по книжке изучает трактор и нашла в Ми-

те-прицепщике великого знатока двигателей внутреннего сгорания. Ему вдруг очень захотелось узнать Варино искреннее мнение о нем: какой он бригадир, ну и человек тоже.

Сейчас самое подходящее время сказать ей, что вчера он смалодушничал и покривил душой, пытаясь отложить перепашку забракованного клина на сентябрь. Затем, чтобы у Вари не создалось превратного мнения о бригаде и личности самого бригадира, нужно было внушительно разъяснить ей, что не велика беда, если они в этом месяце не выйдут на первое место: августом год, как известно, не кончается. А дутой славы им не надо — завоюют настоящую!..

Но язык Алексея не поворачивался выговорить все это, особенно вступительную, покаянную часть.

Варя с независимым видом смотрела прямо перед собой, будто не на тракторе ехала, а сидела в театре. Алексей покосился на нее, откашлялся и сказал:

— А ты загорела... Сильно загорела!

— На таком солнце загоришь! — охотно отозвалась Варя, и бригадир понял: она не очень-то зазнается оттого, что переучивает их работать.

— Нос у тебя скоро начнет облезать! — добавил ободренный Алексей.

— Уже начал,— доверительно сказала Варя, и Алексей понял: она и без его слов догадывается обо всем том, о чем он так и не решился с ней заговорить.

Радуясь, что так или иначе, но Варе уже все известно и ему, следовательно, можно теперь не делать обидных для бригадирского самолюбия признаний, Алексей облегченно вздохнул и предложил великодушно:

— Ты не стесняйся, спрашивай у меня, если что не ладится, а то одной тебе трудно здесь.

Крупное солнце выкатилось из-за бугра — еще не жаркое, по-утреннему ласковое. Свежий ветер дохнул Варе в лицо мягкой лесной прохладой, будто ехали они не в голой степи, а вдоль сплошной стены леса, который подымется тут во весь рост лет через двадцать.

Варя счастливо улыбнулась — ветру, нежданной лесной прохладе, пришедшему наконец согласию с бригадиром. Чтобы Алексей не думал, будто она только им од-

ним и занята, Варя обернулась к Мите, клюющему носом на своем птичьем нашесте, крикнула ему:

— Смотри не свались! — и лишь после этого взглянула на соседа.

Усталое, запорошенное пылью лицо Алексея показалось вдруг Варе простым, совсем не гордым. И откуда она взяла, что бригадир так уж много о себе воображает?

Алексей сбоку пристально разглядывал Варю. Он видел кончик носа, просвеченное утренним солнцем розовое ухо и уголок задумчивого глаза. Варин государственный глаз был темно-карий, с золотистой искоркой в глубине.

ОСТАНОВКА В ПУТИ

Мастер подмосковного завода Селиванов возвращался с кавказского курорта домой. Он и раньше бывал на юге: дважды ездил в служебные командировки на завод-смежник, а один раз вот так же плескался во время отпуска в благодатной черноморской водице и поджаривал бока на свирепом субтропическом солнце. Но прежде ему все попадались поезда, идущие через Харьков, а на этот раз Селиванов нарочно выбрал поезд через Воронеж. Ему вдруг взбрело на ум хоть на колесах прокатить по памятным местам и хотя бы из вагонного окошка глянуть на те поля, где в сорок втором военном году начинал он свой боевой путь еще необстрелянным зеленым солдатиком.

Чтобы не прозевать ненароком нужную ему станцию, Селиванов загодя вышел на площадку вагона. Тогда, в сорок втором, в такой же душный июльский денек они выгрузились на этой степной станции из эшелона и походным порядком двинулись на передовую, которая проходила километрах в тридцати отсюда.

Летом того далекого года вражеские бронированные полчища рвались к Волге, а здесь на фронте было затишье. Бои, в каких участвовал тогда Селиванов, считались местными, и о них лишь вскользь упоминалось в сводках. И уж совсем не попало в сводки одно событие, происшедшее тогда на этих полях. Событие это — не такое уж громкое, а в ту пору и самое обычное — для Селиванова было и осталось крупнейшим за всю войну. Именно тогда, на этих вот полях, вчерашний слесарек, обкошенный под нулевку и наспех обученный в запасном голодном полку, стал солдатом не только по званию, а и на деле.

Потом Селиванов долго еще воевал и прошел с боями пол-Европы, но солдатом он стал здесь. Это — как место рожденья: можно исколесить весь свет, перевидать все столицы и континенты, даже в ледяную Антарктиду забраться,— а рождается человек один раз и в каком-то одном месте. Ну и умирает — это уж само собой...

Степной этот край дорог был Селиванову и другими, совсем уж не боевыми воспоминаниями. Случилось так, что именно здесь, после первого боя, настигла Селиванова и первая его любовь.

Теперь, за далью прожитых лет, стародавняя эта любовь лишь смутно маячила перед Селивановым. И не все в ней он сейчас понимал, будто и не с ним вовсе она приключилась, а с кем-то другим, кого знал он лишь понаслышке.

Прежде молодой Селиванов преспокойно жил себе без всякой любви и стойко презирал всех женщин на свете, а тут вдруг его точно подменили. И чем она тогда его приворожила — первая его любовь?

Порой Селиванову виделся особый смысл в том, что нежданная эта любовь нагрянула к нему сразу же после первого боя, где полегла добрая половина ребят его взвода. Похоже: заглянув так близко в самые глаза смерти — он вдруг заторопился тогда жить. Вроде бы испугался он тогда, что совсем мало отпущено ему времени на все про все, чем богата человеческая жизнь и чего по молодости лет не успел еще изведать.

А впрочем, кто теперь разберет, чего тогда больше у них было: всамделишной любви или слепой жажды жизни? Да на поверку не так уж велика и напориста оказалась эта самая жажда, если довела она их лишь до неумелых ребячьих поцелуев, а вот шагнуть вместе с ними через заветный порог так и не хватило у нее силенки. Не хватило или просто не успела?

Одно было ясно теперь Селиванову: война невзначай столкнула его с первой любовью и тут же, точно спеша исправить невольную свою доброту, разметала их, как песчинки. Все его письма остались без ответа, будто ухнули в бездонную яму, а последнее, посланное уже в сорок шестом, мирном году, вернулось с пометкой: «Адресат выбыл, хата заколочена».

И осталась у Селиванова лишь память о далекой и мимолетной встрече на дорогах войны. Память эта прочно прижилась в его сердце и, как все святое, надежно помогала Селиванову в трудные минуты и согревала на студеном сквознячке в житейских его передрягах...

В первые годы после войны Селиванов лелеял думку: выкроить как-нибудь время и вволю побродить по памятным для него местам. Собирался он заглянуть и в дерев-

ню Гвоздёвку, на околице которой его впервые ранило, и в усадьбу ближнего совхоза, где стоял тогда их батальон и где в молодом, редком, совсем еще без тени саду повстречался он с первой своей любовью.

Но жизнь сложилась так, что Селиванову до сих пор не удалось проведать эти места. Сначала отпуск на заводе ему давали только зимой, а Селиванов воевал под Гвоздёвкой летом, все здесь в памяти его навечно осталось зеленым, будто и зима сюда никогда не добиралась, обходила заповедный этот край стороной. И поездку посреди зимы Селиванов забраковал, убоявшись, что снежные гвоздевские поля ничего не скажут его сердцу. А потом он поступил в вечерний техникум, женился, у него родилась дочка, новые неотложные заботы вошли в его жизнь и изрядно потеснили давнюю мечту — побродить по гвоздевским зеленым полям. С годами мечта эта совсем поблекла, стала казаться повзрослевшему Селиванову несерьезной, почти такой же нелепой, как детское его желание доскакать до Москвы на одной ножке.

И вышло так, что несбывшаяся экскурсия эта ржавой железкой легла в ту неказистую кучу, куда каждый из нас всю жизнь собирает большие и малые свои упущения и просроченные надежды. Хотя Селиванов на жизнь не жаловался и считал, что живет не хуже других и даже получше многих,— но как-то получалось так, что невеселая горка эта год от году все росла у него и росла...

Он пристально вглядывался в мирные поля, бегущие за окном вагона, но все вокруг было точь-в-точь таким же, как час и сутки назад. Ничто не предвещало близости *той* станции. На горизонте навстречу друг другу ползли два комбайна, докашивая последнюю загонку хлеба. Над током шапкой повисла пыль: загорелые крепконогие девчата перелопачивали тяжелое, отливающее латунью зерно.

А тогда население из прифронтовой полосы эвакуировали, и на диво богатый в том году урожай некому было убирать. Они шли, кажется, по тому вон разбитому большаку — и по обе стороны дороги низкими мертвыми валами лежал перестойный хлеб, уткнувшись спутанными колосьями в землю. И потомственному рабочему пареньку Селиванову, знающему лишь хлеб из булочной и

не умеющему толком отличить рожь от пшеницы, стало вдруг нестерпимо горько и стыдно — каким-то совсем новым для него, сосущим душу стыдом — смотреть на это беспризорное поле с выращенным и кинутым урожаем. Было смутное чувство, будто все они тут, от рядового и до самого высокого командира, попрали какой-то всечеловеческий, испокон веков живущий на свете закон и виноваты перед этим опозоренным полем.

Понаторевший за эти годы в грамоте Селиванов решил теперь, с опозданьем в два десятка лет, что тогда, пожалуй, в нем заговорил вдруг прадед — тульский крестьянин. Из своей немеханизированной дали, через три поколения заводских рабочих, отринутых от земли, он дотянулся-таки до индустриального правнука и постучался ему в сердце древней и вечной обидой хлебороба.

А над той вон круглой рощицей зло клубился тогда черный жирный дым: горело бензохранилище, подожженное немецкими самолетами. Это война расписалась в русском небе, подала свою первую весточку молодому Селиванову, пообещала и до него добраться...

Больше всего ему хотелось сейчас побыть одному, чтобы не пропустить ни одной приметы и без помех припомнить все, что было тогда вокруг. Но вслед за ним на площадку вышла проводница Зина. В душе Селиванов подосадовал на непрошеную соседку, но, общительный от природы, ничем не выдал своего недовольства и даже улыбнулся Зине в ответ. Сдается, с непривычки к таким занятиям он все-таки немного стеснялся того, что до срока ударился в пенсионерские делишки: ворошит тут стародавние свои воспоминания, поросшие быльем.

Маленькая, быстрая в движениях Зина была того неопределенного возраста, когда сразу видно, что перед тобой не молоденькая девушка, но и пожилой такую женщину назвать еще рановато. Одни женщины выглядят так далеко за тридцать, а другие и в двадцать пять лет.

Селиванов вообще легко сходился с новыми людьми, а с Зиной за два дня пути у него установились те особые, с виду совсем простые, а по сути дела, если толком разобраться, очень сложные отношения, какие сами собой, помимо воли, складываются между людьми, с первого взгляда расположенными друг к другу. Ни единым словом не обмолвившись об этом, они оба тем не менее знали, что их что-то связывает, будто зыбкая ниточка

протянулась меж ними. Но и Селиванов и Зина не были в жизни новичками, давно уже не преувеличивали это внезапное и трудно объяснимое чувство взаимной симпатии и, охотно подчиняясь ему, беря все хорошее, что оно им дарило, даже в мыслях не называли эту нечаянную радость любовью.

Зина смахнула тряпкой пыль с никелированного поручня, озабоченно глянула на часики и как бы между делом повернулась к Селиванову, собираясь поболтать с ним до остановки поезда. И опять, как и всякий раз прежде, когда Селиванов близко перед собой видел Зину, его поразила одна ее особенность, верней — одно Зинино несоответствие, к которому он никак не мог привыкнуть. Ее неожиданно большая, совсем не по фигуре грудь, стянутая форменным кителем железнодорожницы, казалась Селиванову какой-то заемной, словно Зина взяла ее напрокат у другой, солидной женщины.

Обратив к Селиванову скуластенькое лицо, Зина небрежно похвасталась, что главный только что пообещал с нового месяца перевести ее на работу в мягкий вагон. Селиванов слушал Зину, с праздным любопытством рассматривая свои побелевшие от курортного безделья и малость чужеватые уже руки. С горделивой снисходительностью машиностроителя — работника ведущей отрасли народного хозяйства — Селиванов подумал, что мягкий вагон для Зины — нечто вроде автоматической линии у них в цехе. Вслух он сказал убежденно:

— Мягкий — это хорошо. Живо там какого-нибудь брюнета подцепишь!

— Нужны они мне!

Зина презрительно отмахнулась и, вскочив на своего любимого, давно уже объезженного ею конька, стала честить всех мужчин без исключенья за то, что все они поголовно — пьяницы и ветрогоны. Она была уверена, что ласковыми и душевными мужчины бывают лишь тогда, когда обхаживают женщину, завлекают бедолагу в обманные сети. А как добьются своего — так сразу показывают истинный свой подлый характер. Судя по горячности, с какой Зина нападала на мужчин, у нее были-таки веские причины обвинять их в непостоянстве и вероломстве.

— Не надо, чтоб легко добивались,— сказал Селиванов, привычно становясь на защиту мужского племени.

— Не надо! — передразнила Зина.— Мало ли чего не надо... Вам, феодалам, легко рассуждать!

Он припомнил, что вчера Зина обзывала «феодалами» пассажиров, намусоривших в соседнем купе, и догадался, что слово это Зина понимает не совсем так, как принято между людьми. Для Зины *феодал* — слово ругательное, и она вкладывает в него свой особый смысл: нечто среднее между бабником, пьяницей и неряхой.

Селиванов смотрел на доверчиво обращенное к нему, не шибко красивое лицо Зины с первыми морщинками под глазами и преждевременной горькой складкой в углу рта,— и у него было такое чувство, будто он знает всю ее простую и нелегкую жизнь до самого последнего и тайного закоулка. Зина живо напомнила ему заводских девчат, чья юность пришлась на военные годы. Они не доучились в школе, некоторые из них даже недоиграли детских своих игр. На их неокрепшие плечи легла изрядная часть того нечеловечески-тяжкого груза, что подняли наши женщины в годы войны.

Да и в мирные дни многим из них тоже пришлось несладко. Война переполовинила их женихов — и Зина, судя по всему, была среди тех, кто на всю жизнь остался без пары. Селиванов почему-то никак не мог представить Зину в кругу семьи: просто не вписывалась она, вот такая, в этот круг. И ему казалось, что судьба обделила Зину семейным счастьем. Он был уверен в этом так же крепко, как и в том, что любить Зина любила и, по всему видать, даже не одного «феодала», выкрадывая где только придется минуты немудрящей сладко-горькой радости — в счет своей законной доли, которую недодала ей жизнь. В сущности, война для нее все еще продолжалась — хотя и в ином обличье.

Селиванов подивился, что опять пришел к войне, только на этот раз совсем другим — кружным путем.

Из вагона на площадку выбежал кудрявый шаловливый мальчонка лет пяти в синей матроске с золотыми якорями.

— Ишь, какой кудряш! — изумилась Зина, тут же притворно нахмурилась и цыкнула по-служебному строго: — А ну, брысь в вагон!

Но неподвластный ее воле взгляд прикованно застыл на мягких завитушках, лаская чужого сынишку с потайной вороватой нежностью. Селиванов поспешно отвер-

нулся, стыдясь, что невзначай подловил Зину на самом ее сокровенном.

Мальчонка умчался. Зина встрепенулась и пуще прежнего принялась костить вероломных «феодалов». А Селиванов, теплея к ней душой, смотрел в ее неумело сердитые, малость притомившиеся уже от затяжной невзгоды глаза, соскучившиеся по бабьему счастью — с такими вот кудряшами, непьющим мужем и своей квартирой, где она была бы полной хозяйкой. Он вдруг уверовал, что вся яростная Зинина ругань — не всерьез, а истинную суть Зины выражает ее щедрая грудь, закрепощенная кителем. С такой грудью ей ребятишек бы выкармливать, а она заковала ее, безработную, в китель мужского покроя и мыкается взад-вперед по стране...

К нему пришло вдруг шальное желанье — расстегнуть тесный китель и дать Зине хоть разок вздохнуть свободно. Селиванов смущенно крякнул и бочком-бочком отодвинулся от Зины, не доверяя своим внезапно потяжелевшим рукам.

Из песни слова не выкинешь: доброе чувство Селиванова к Зине незаметно для него самого обернулось своей подспудной мужской стороной. Он подумал: если б жизнь подвела их вплотную друг к другу — например, очутись они вместе с Зиной в том санатории, где он только что добросовестно проскучал двадцать четыре долгих бездельных дня,— то их взаимная симпатия, не ограниченная на этот раз жестким дорожным сроком, могла бы завести их далеко.

Но судьба распорядилась иначе: завтра они распрощаются на шумном московском перроне и больше уж, наверно, никогда в жизни не встретятся. Самое многое, как-нибудь в досужую минуту они вспомнят друг о друге, а потом за каждодневной житейской толчеей и совсем позабудут об этой случайной встрече.

Он покосился на Зину: не догадывается ли она о его тайных мыслях. Но Зина по-прежнему доверчиво смотрела на него и в порядке самокритики говорила уже о том, что и среди женщин тоже попадаются «фрукты», хотя и пореже, чем «феодалы» среди мужчин. Селиванов почему-то решил: если б Зина даже и проведала, в какие запретные дебри забрел он тут со своими мечтами,— то все равно и тогда не шибко обиделась бы на него.

Вагон качнуло на стрелке, за окном поплыли пакгау-

зы, водокачка, депо, маневровые паровозы на запасных путях, высокие открытые полувагоны с донецким угольком. Поезд втиснулся в узкий просвет между двумя составами: справа замелькали платформы с новенькими грузовиками без кузовов, смахивающими на головастиков, а слева вплотную к Селиванову придвинулся пригородный поезд, составленный из коротких старомодных вагонов. В окнах лепились разномастные головы; общим у всех было лишь то извечное почтительное любопытство, с каким пассажиры местных линий взирают на транзитников.

Поезд сбавлял ход, и стыки рельсов под колесами стучали все реже и реже, словно каждый последующий прогон был длинней предыдущего. А потом товарняк, закрывающий станцию, неожиданно оборвался пыхтящим паровозом с молоденьким чумазым кочегаром в окне — и в заждавшиеся глаза Селиванова прыгнуло близкое и до боли в сердце знакомое здание вокзала.

Оно было длинное, одноэтажное, старинной, еще дореволюционной постройки — с оконными арками, кирпичными выступами и другими украшательскими излишествами, названия которых Селиванов не знал. За все те годы, что он не был здесь, вокзал ничуть не изменился, будто время на этой станции замерло и не двигалось вперед. Вот только жалкий привокзальный сквер сильно разросся, и акации, которые Селиванов помнил тощими кустами, вымахали повыше телеграфных столбов.

Тогда, летом сорок второго, выгрузившись из эшелона, их рота строилась в походную колонну по ту сторону сквера. Командир роты все поглядывал на небо, опасаясь налета вражеской авиации, и поторапливал всех каким-то новым *фронтовым* голосом. А когда они наконец тронулись с места, у селивановского дружка Генки Козырева развязалась вдруг обмотка. Он вышел из строя и стал перематывать свою двухметровую «холеру» у того вон угла штакетника, ограждающего сквер, и на чем свет стоит чихвостил неведомого ему «химика», который изобрел клятые эти обмотки, а сам — Генка голову давал на отсеченье — щеголяет в сапожках.

А месяц спустя раненый Селиванов, дожидаясь санитарного поезда, лежал в жиденькой тени сквера и Даша — первая и несбывшаяся его любовь — сидела рядом и преданно смотрела на него, словно хотела запомнить на

всю жизнь. Она отгоняла мух, поила его из трофейной немецкой фляги, вытирала пот с лица сырым непросыхающим платочком и все пыталась украдкой от других раненых поцеловать Селиванова, но это редко ей удавалось. Рядом лежал сержант-сапер, неотрывно глазел на Дашу и, морщась от боли, фальшивя, нахально насвистывал: «На позицию девушка провожала бойца...»

В сумерках тихо подкрался темный, с синими лампочками, поезд-разлучник, и дюжие, довоенной выпечки санитары, не слыша стонов и ругани, с привычной профессиональной глухотой людей, работа которых сопряжена с чужой болью, стали быстро и сноровисто, как дрова, грузить раненых в вагоны.

— Стараются, дьяволы! — сказал сосед-сапер.— Боятся, как бы на передовую не упекли!

Санитары подходили все ближе и ближе и хватали раненых уже совсем рядом. Даша вдруг всхлипнула, сапер сердито пробормотал:

— Да целуйтесь же, черти! — И отвернулся, чтобы не мешать им.

Стало видно, что и раньше он не смеялся над ними, а лишь завидовал селивановскому счастью. И Даша, точно и ждала только этого разрешенья, сразу же припала к Селиванову. Она шептала, что обязательно дождется его после войны, которая когда-нибудь да ведь кончится же, проклятая,— и больше уже не таясь, все целовала и целовала его в сухие запекшиеся губы, как будто предчувствовала, что прощаются они навсегда...

Глаза Селиванова обежали весь сквер, выхватили ту низенькую, вросшую в землю скамеечку, где сидела тогда Даша,— и все давнее, поразвеянное временем, снова ожило в нем.

Он даже и не подозревал, что и вокзал этот и все, связанное с ним, так прочно отпечаталось в его памяти. За годы войны Селиванов перевидал уйму вокзалов: и наших тыловых — с плачем солдаток, провожающих кормильцев на фронт, и отбитых в бою — взорванных и опоганенных, и немецких — с крикливым лозунгом: «Колеса должны катиться для победы»,— но потому ли, что этот неказистый степной вокзал был первым прифронтовым вокзалом в его жизни, или потому, что здесь распрощался он с Дашей,— все остальные вокзалы както стерлись в его памяти, слились в один безликий полу-

разрушенный вокзал военного времени. А этот вот, оказывается, навечно врезался в его душу и все эти годы незримо жил в нем своей особой, отдельной от всего жизнью.

И старое желание пройти по местам первых боев с новой силой подступило к Селиванову и неудержимо потянуло его прочь из вагона. Он понял, что теперь уж ни за что не простит себе, если и на этот раз под каким-нибудь солидным и благоразумным предлогом улизнет от заветной своей мечты.

Видно, никогда не поздно пускаться вдогонку за вчерашним своим днем...

— Можно здесь с поезда сойти? — спросил он у Зины осевшим вдруг голосом.

— Как сойти? — удивилась Зина.— Вот поезд сейчас остановится...

— Да нет, не то! — злясь на непонятливость Зины, перебил ее Селиванов.— Ну, как это у вас там называется: сойти здесь, пробыть денек и дальше ехать уже другим поездом? Можно так?

— Разрешается...— холодно сказала Зина.— Только плацкарту потеряете.

Селиванов небрежно махнул рукой — и Зина поняла, что потеря плацкарты его не остановит.

— Иль увидали кого? — равнодушно спросила она и независимо одернула китель.

— Воевал я в этих краях,— объяснил Селиванов.

— Золотую пулю зарыли и теперь собираетесь откопать? — полюбопытствовала Зина.

— Вроде того...

Поезд остановился, заныв тормозами. Зина распахнула дверь и с грохотом откинула железную плиту, закрывающую ступеньки. Лицо ее было безучастно, даже спокойно, и только по излишней сосредоточенности, с какой Зина выполняла нехитрые свои обязанности проводницы, да по тому еще, что она совсем не замечала стоящего рядом Селиванова, можно было понять, что Зина не одобряет опрометчивого его решения.

— Так я сойду тут...— тихо сказал Селиванов, чувствуя какую-то непонятную вину перед Зиной, будто обманул он ее в чем или сгоряча наобещал ей с три короба, а теперь вот, как приспело расплачиваться, трусливо удирает.— Билет приготовь.

Сталкиваясь с пассажирами, спешащими размяться

на твердой земле, Селиванов протиснулся в купе, достал из багажника чемодан, надел изжеванный в дороге пиджак, сунул в карман мыльницу и заторопился к выходу.

Зина стояла на своем посту у ступенек со свернутым флажком под мышкой строгая и официальная — ни дать ни взять этакий полноправный представитель Министерства путей сообщения. Весь вид ее говорил, что она находится при исполнении служебных обязанностей и всячески оберегает дорожный покой вверенных ей пассажиров. А те из них, кто не понимает своего счастья, могут делать нелепые и совсем даже глупые остановки в пути — это нисколечко ее не волнует, она и не такого еще навидалась на своем веку.

— Получите,— сухо сказала Зина, протягивая Селиванову билет. Но тут же не выдержала официального тона, снова одернула китель и добавила язвительно: — Видать, вдовушка вас тогда под бочок пустила, проведать ее надумали?

— Какая там вдовушка, теперь уж она полная пенсионерка! — попробовал отшутиться Селиванов.— Скажешь тоже, ведь столько лет прошло...

— Значит, теплый у нее был бочок, раз и до сей поры греет! — не сдавалась Зина.— А жинка дома ждет, все глаза проглядела: и куда это мой курортник запропастился...— И привычно заключила: — Эх, феодалы вы все, феодалы... И как только вас земля носит!

Селиванову и малость смешно было, что Зина величает многоопытной вдовушкой девчонку Дашу, и в то же время его почему-то задело, что Зина учуяла-таки женским своим чутьем: не одни лишь боевые воспоминания влекут его в Гвоздёвку. Как ни крути, а на самом донышке селивановского желанья навестить памятные места таилась несмелая надежда встретить там Дашу. Встретить — несмотря на то, что след ее затерялся в круговерти войны. Такая встреча теперь была бы просто чудом,— но почему бы раз в жизни не произойти и чуду?

И еще: было все-таки обидно, что Зина походя и так грубо коснулась того, что все эти годы Селиванов берег в самом дальнем и чистом закоулке своего сердца, куда не пускал никого из дружков. Ведь даже жене, боясь, что она по привычке переиначит все по-своему, Селиванов никогда и ничего не рассказывал о Даше.

Зина старательно смотрела в сторону, чтобы как-нибудь ненароком не увидеть Селиванова, который два дня прикидывался душевным человеком, а на поверку оказался таким же «феодалом», как и другие мужики, даже и еще похлестче.

— Отметку не забудьте у дежурного сделать, а то плакали ваши денежки за билет! — неожиданно для себя самой сердито выпалила Зина.

Она тут же насупилась, кляня себя за излишнюю, прямо-таки позорную заботу о селивановском билете, а заодно уж и за всю свою подлую доброту, которая столько раз в жизни подводила ее. Боясь совсем растерять злость, Зина рывком повернулась к Селиванову, чтобы напоследок выложить ему всю правду-матку, но наткнулась на его участливый, все понимающий взгляд, закусила прыгнувшую вдруг губу и растерянно улыбнулась.

— Спасибо, отмечу,— пообещал Селиванов.— Ну, прощай, Зинаида!

Он протянул ей руку ладонью кверху. Зина заколебалась, прикидывая: заслуживает ли «феодал» Селиванов того, чтобы проститься с ним по-хорошему? Выгадывая время, она ненужно одернула китель, который и так сидел лучше некуда. Глаза ее влажно блеснули, но совсем не от слез,— много было чести для «феодалов», чтобы Зина по ним плакала-убивалась. Просто глаза у нее вдруг «запотели». В последнее время с ней иногда приключалось такое: похоже, с годами Зине становилось все трудней кантовать нескладную свою судьбу и перемогаться в такие вот минуты.

Но она быстро справилась с собой и пытливо покосилась на Селиванова — не заметил ли тот чего. Он все еще смирно стоял с протянутой рукой, будто милостыню у нее просил. Да и весь вид у Селиванова был такой, точно ему — для того, чтобы дальше на свете жить,— позарез надо было сейчас, чтобы она пожала ему руку. Не избалованная мужским вниманьем, Зина горделиво хмыкнула, и вся злость ее как-то припотухла.

— Э-э, где наша не пропадала! — спряталась она за привычное присловье и лихо шлепнула Селиванова по заждавшейся ладони, отпуская ему все его грехи.

И в ответ Селиванов бережно стиснул крепкую, шершавую от работы с водой и странно горячую руку Зины, как бы прося извинить его за то, что променял он ее —

близкую и славную — на далекие свои и бесплотные воспоминания.

— Счастливо доехать,— пожелал он на прощанье, отступил на шаг и в последний разок оглядел Зину — от стоптанных туфель на низком каблуке до казенного берета на макушке. Прощальный взгляд его скользнул и по знаменитой Зининой груди, но на этот раз желание раскрепостить ее обошло Селиванова стороной.

Он легко повернулся на скрипучей щебенке межпутья и, больше уже не оглядываясь, зашагал к вокзалу. Разом поскучневшая Зина долго смотрела вслед Селиванову и невпопад отвечала на придирчивые расспросы толстяка в полосатой пижаме, который сел ночью в Ростове, в жестком вагоне чувствовал себя обойденным дорожным уютом и теперь выпытывал у Зины, как ему половчей перебраться в мягкий вагон, где, по его сведеньям, было одно свободное место.

ИМЕНА

1

Уржумцев спрыгнул с автобуса и сразу же увидел плетенки с черешней, сложенные штабелем у гастронома. И черешня была желтая, мясистая — как раз такая, какую любила Таня.

Он стойко выстоял очередь среди домохозяек с корзинами и авоськами. Из уважения к единственному покупателю-мужчине продавщица смахнула мусор с чашки весов. Но ни кулька у нее, ни оберточной бумаги, как водится, не нашлось. И у Уржумцева, как назло, не было с собой газеты, одна лишь набитая деловыми бумагами потертая полевая сумка, сохранившаяся еще с войны. Он рассовал бумаги по карманам и подставил похудевшую сумку продавщице. Черешня желтым ручейком потекла в кирзовый зев. И надо же было так случиться, что как раз в эту минуту мимо гастронома, оживленно щебеча, процокали каблуками две молоденькие чертежницы из их строительного управления.

Завидев Уржумцева, они откровенно фыркнули, а одна из них чуть даже пузыри ртом не пустила: очень уж смешным показалось девчушкам, что их прораб набивает черешней полевую сумку. Похоже, они догадались, что он для жены старается.

«Дурехи вы молодые,— снисходительно подумал Уржумцев.— Вот выйдете сами замуж — и даже пригоршни подставите, чтоб только благоверным своим угодить!»

С широкой раскаленной улицы — от автомобильных гудков, трамвайного звяканья и людской предвечерней толчеи — он свернул в тихий тенистый переулок, заросший травой. После размягченного липкого асфальта приятно было чувствовать под ногами тугой, пружинящий подорожник. В садах до самой земли свисали отягощенные плодами ветки. От неспелых яблок тянуло хмельным запахом нагретого солнцем молодого кислого сока.

Ощущение полноты жизни, беспричинной радости нахлынуло вдруг на Уржумцева. Было такое чувство, будто радость эта давно уже зрела в нем, а сейчас вот

вырвалась наружу, воспользовавшись первым удобным случаем. «Надо будет обязательно рассказать об этом Тане»,— решил Уржумцев и поймал себя на том, что это стало у него уже привычкой — делиться всем лучшим своим с женой. Приятели, просвещая его, уверяли, что так бывает лишь в самом начале семейной жизни, а потом бесследно проходит. Уржумцев не спорил с ними, но был убежден, что у них с Таней это никогда не пройдет.

На миг ему показалось, что он наконец-то может отчетливо представить Таню — всю целиком, какая она есть. До сих пор в разлуке с женой это еще ни разу не удавалось Уржумцеву, и каждый раз при встрече с Таней он убеждался, что она не совсем такая, какой виделась ему издали. Уржумцев легко припоминал в отдельности лицо жены, ее руки, походку,— но то неуловимое, что составляло главную сущность Тани, всегда почему-то ускользало от него. Наверно, поэтому в глубине души он все еще не до конца верил в прочность своего счастья...

Сквозь плотную листву сада мелькнул их флигель, похожий на скворечник. Уржумцев ускорил шаг, нетерпеливо толкнул низенькую калитку. Добрую половину палисадника перед домом занимала цветочная клумба — краса и гордость Тани. В душном недвижном воздухе слабо пахли вялые, поникшие от жары цветы. По хрусткому неутоптанному шлаку дорожки Уржумцев пересек палисадник, на цыпочках подкрался к окну: ему нравилось заставать жену врасплох.

Таня стояла посреди комнаты — маленькая, ладная, с высокой прической, которая по замыслу должна была делать ее выше, а на деле еще сильней подчеркивала невеликий ее рост. Эту не по фигуре солидную ее прическу Уржумцев, поддразнивая жену, называл «педагогической» и клятвенно уверял Таню, что разнесчастные школяры сидят тихо на ее уроках лишь из робости перед фараонской ее прической.

Уржумцев любил все Танино, а прическу эту — особенно, может быть, потому, что она свидетельствовала о неполном ее совершенстве. Он боготворил жену и в глубине души побаивался, что она слишком хороша для него. А это наивное ее желание — казаться повыше — малость развенчивало Таню в его глазах и делало ее как-то ближе и доступней для Уржумцева. Попросту ему легче верилось в ее ответную любовь к нему, когда он

открыл, что Таня — существо не совсем идеальное и не лишена кое-каких мелких слабостей...

Она склонилась над столом, где под ворохом газетных выкроек и распахнутых журналов мод был погребен кусок пестрого ситца. На шее у Тани висел узкий клеенчатый сантиметр, рука с мелком внушительно застыла в воздухе. У жены был такой отрешенный священнодействующий вид, словно трудилась она не над простеньким сарафаном, а перекраивала по меньшей мере карту Европы. Уржумцев любил наблюдать Таню за работой — все равно, проверяла ли она ученические тетради или кулинарила на кухне. Его всегда умиляла ее манера самое обычное дело обставлять таким ритуалом, будто в деле этом таились невесть какие премудрости.

Почувствовав взгляд мужа, Таня повернулась к окну, осуждающе покачала головой.

— Ая-яй! И не стыдно подглядывать?

— Да я только подошел,— оправдался Уржумцев и сбоку вспрыгнул на крыльцо.

Квартира встретила его устоявшейся прохладой. Уржумцев повесил пиджак на спинку стула, прошел с сумкой на кухню, высыпал черешню в миску, помыл под краном и торжественно преподнес Тане.

— От неизвестного воздыхателя!

— Саша, желтая... Дай я тебя поцелую!

Он знал, что она обрадуется, и все же... Ради этой ее откровенной, почти детской радости стоило и очередь ту с домохозяйками выстоять на солнцепеке и девчушек-чертежниц посмешить.

Таня тут же попробовала черешню и сказала невнятно, с набитым ртом:

— Навэнно пээпатив?

— Это по-каковски?

— Переплатил, говорю, наверно...— Таня выплюнула косточки в ладонь и пристыдила мужа: — Растратчики мы с тобой. Так мы, Сашок, никогда пальто тебе не построим, вечно будешь в шинели щеголять.— И заключила наставительно: — Хозяйственные люди черешню килограммами не покупают!

— А мы... никому не скажем! — нашел выход Уржумцев.

Таня хмыкнула, дивясь странноватой его логике.

— Ты у меня Сократ из СМУ номер четыре!

— А ты Ксантиппа из неполной средней номер семь!

— До чего же образованные прорабы пошли! Вот только строят паршиво...

Таня покосилась на мужа, проверяя, не обиделся ли он, и взглядом же прося не принимать ее слова всерьез. Уржумцев подумал умиротворенно: вот в этом она вся — если и ударит, так тут же и попросит прощения. Лучше, чтобы совсем его не задирала, но и такую он ее принимал. А что еще ему оставалось? Танина тетка, гостившая у них недавно, пришла в ужас от таких шуточек своей племянницы и долго выговаривала Тане, что так нельзя вести себя с мужем. И тогда Таню взял под защиту сам Уржумцев, объявив, что ему нравятся такие шутки и он на жену не в обиде...

— А теперь если б ты еще с обедом немножко подождал, а? За четверть часика не умрешь с голоду?

Уржумцев кивнул, соглашаясь ждать, бережно, вполсилы стиснул Танины плечи, зарылся подбородком в ее волосы и замер, вдыхая родной ее запах.

— Ты самый сознательный муж во всем нашем переулке! — похвалила его Таня, осторожно высвободилась из объятий и поманила его к столу.— Какой фасон больше нравится?

Она показала ему два рисунка в журнале мод. Уржумцев наугад ткнул пальцем.

— Так и знала! Вкуса у тебя — ни капельки. Удивляюсь, как ты смог выбрать себе такую выдающуюся супругу, как я!.. Держи.

Таня сгребла со стола все журналы и лишние выкройки, сунула Уржумцеву в руки. Расправила ситец, стала обводить выкройку мелом. Остановилась и, хотя ножницы ей ничуть не мешали, повесила их мужу на палец. Держа на весу загруженные руки, Уржумцев покорным подсобником стоял возле жены, переминаясь с ноги на ногу от усердия.

— Не дыши! — потребовала Таня и вооружилась ножницами.

Ей нравилось командовать им. Уржумцев поощрительно улыбнулся.

— Ты даже не подозреваешь, какое золото досталось тебе в жены! — уверяла Таня, храбро орудуя ножницами.— Другая неумеха отдала бы шить портнихе и ухлопала бы кучу денег...

Она задержалась на повороте выкройки, мельком

глянула на мужа, проверяя, любуется ли он ее мастерством, и, убедившись, что любуется, еще бойчей прежнего заскрипела ножницами. А к Уржумцеву вдруг пришла уверенность, что цветастый ситец испорчен, Тане придется покупать новый себе на сарафан и, несмотря на хвастливую свою декларацию, все-таки идти на поклон к портнихе.

Будто читая его мысли, Таня сказала:

— Ты особенно не сокрушайся: материал-то дешевый!

Они встретились глазами и расхохотались.

Уржумцев умылся на кухне под краном и, как всегда, набрызгал на пол. Он ожидал от Тани обычного нагоняя, но она промолчала. «Добрая сегодня!» — удивился Уржумцев.

Сели обедать.

— Поступило стекло,— сообщил Уржумцев самую важную свою производственную новость: у него вошло в привычку каждый день за обедом, как бы отчитываясь перед женой, рассказывать ей, как идут дела на его стройке.

— Давно пора! — сказала Таня с легкомыслием никогда не работавшего на производстве человека, которому со стороны все кажется легко и просто.— А то без окон твой домище смахивает на слепца, даже проходить мимо неприятно.

— Но ты же всегда говорила, что дом красивый! — возмутился Уржумцев ее непостоянству.

— Тебя не подбодри — так ты сразу скиснешь. Знаем мы вас, прорабов!

После обеда Таня повязала фартучек и стала похожа на образцовую молодую хозяйку с рекламной картинки, прославляющей чудеса современного механизированного быта. Уржумцев разогнался было убирать посуду со стола, но Таня помощи его не приняла.

— Вот начнутся занятия в школе — тогда и помогай. Ты уже поработал сегодня, дай теперь и мне. Равноправие, понял?.. Ты не думай, я прямо-таки горжусь, что ты у меня не чураешься домашней работенки, а только... Вдруг я совсем обленюсь — и тебе придется со мной разводиться?

— Не придется! — пообещал Уржумцев.

— А я не хочу рисковать. Иди на веранду и отдыхай, пусть соседи видят, что жена о тебе заботится. Знаешь,

какие они зоркие? Все примечают — такие астрономы!

И Уржумцев обосновался в кресле-качалке на веранде. Прикрываясь газетным листом, он следил тайком за женой. Вот такая — в этом куцем фартучке, очень хозяйственная — она нравилась ему больше всего. Даже побольше той Тани, которая принаряжалась, чтобы идти с ним в театр или в гости. В той парадной Тане было что-то напоказ, для других, а сейчас она — для него одного. Сдается, в такие вот минуты он как-то крепче верил, что мечта его сбылась и Таня стала его женой...

Она убралась в комнате, ушла на кухню мыть посуду — и Уржумцев сразу заскучал. Он скользил глазами по телеграммам из-за границы, а сам чутко прислушивался к тому, как Таня хозяйничает на кухне: звякали ножи и вилки, журчала вода. На секунду все стихло. В дверях появилась Таня, на ходу глянула на стенные часы и стала поспешно развязывать тесемки фартука.

— Вот память, совсем забыла: Спиридоновна меня ждет, мы с ней договорились...

Старая толстая фельдшерица Спиридоновна жила от них через два дома и была признанной законодательницей всего переулка. Ее побаивался даже отчаянный сосед-инвалид, который уже никого на свете не боялся. Уржумцев почему-то вбил себе в голову, что Спиридоновна о нем не очень-то высокого мнения, будто знает про него что-то такое, чего он и сам о себе не ведает. А вот к Тане толстуха явно благоволила и даже ставила ее в пример другим молодайкам. С месяц назад Спиридоновна помогла Тане унять каким-то доморощенным средством зубную боль.

— Опять зубы? — встревожился Уржумцев.— Уж слишком ты доверяешь этой знахарке, лучше бы обратилась к врачу.

— Боюсь бормашины...— Таня подошла к нему вплотную, отвела волосы с его лба, пытливо заглянула в глаза, точно узнать хотела, по-прежнему ли он любит ее, потерлась щекой о его щеку.— Не скучай тут без меня, ладно?..

Было в ее ласке что-то потайное, недоговоренное. Даже значительность какая-то почудилась вдруг Уржумцеву в этом прощании, словно Таня не за полсотни

метров от него уходила, а пускалась в долгое и опасное путешествие в неведомую для себя страну.

Он проводил ее глазами до калитки и загадал: если она обернется сейчас и помашет ему рукой, значит, все у них будет хорошо — и сегодня, и завтра, и всегда. Таня закрыла за собой калитку. «Обернись!» — приказал ей Уржумцев. Она прошла шагов пять по переулку и посмотрела в его сторону, а рукой не помахала. Вот тут и решай теперь — исполнится его загад или нет.

2

После ухода Тани вся их квартира сразу заметно поскучнела, даже уюта в ней поубавилось. Что-то казенное глядело теперь из всех углов, как в прорабской его конторке,— вроде и не квартира уже, а так, жилплощадь, одни лишь квадратные метры.

«Боже, как я прирос к ней душой,— со страхом подумал Уржумцев.— Случись с ней что — и мне на свете не жить...» Он сам испугался этих своих мыслей, суеверно боясь накликать беду.

Вспомнилось, как Танина тетка сказала перед отъездом:

— Конечно, я рада, что вы так сильно любите мою племянницу, а только до добра это не доведет, помяните мое слово. Все хорошо в меру, даже любовь...

Тогда Уржумцев списал нелепые эти наставления на пенсионный возраст тетки и ветхозаветное ее воспитание, а теперь подумал запоздало: а может, и не так уж ошибалась старая?

Наверно, лучше было бы ему любить не то чтобы поменьше, а как-то расчетливей, что ли, не забывая себя. Но так любить Уржумцев не умел. Да и не выбирал он, как ему любить,— как не выбирают себе походку, почерк, цвет глаз, тембр голоса. Это было с ним навечно, и без этого он уже не был самим собой...

Уржумцев закурил и в поисках запропастившейся пепельницы забрел на кухню. Он стряхнул пепел в грязную тарелку и решил удивить Таню — домыть за нее посуду. Он все еще любил вот так удивлять жену. Приятили стыдили его и уверяли, что это у него до неприличия долго затянулась самая первая, холостяцкая еще влюб-

ленность, когда наш брат, поглупев от сердечного недуга, изо всех сил старается понравиться приглянувшейся женщине и выкаблучивается перед ней почем зря. Но Уржумцев не очень-то им верил. Он подозревал: вся их злость оттого, что жены приятелей, ссылаясь на его пример, заставляют своих благоверных ходить на базар за картошкой, а занятие это в их городе испокон веков считалось делом сугубо женским, позорным для настоящего мужчины.

Спеша все закончить до прихода жены, Уржумцев вооружился мочалкой и стал ожесточенно тереть жирные скользкие тарелки. Потом он долго искал кухонное полотенце, нигде не мог его найти. «Возьму чистое, авось не заругает»,— решил Уржумцев и подошел к комоду, припоминая, где тут Таня хранит полотенце.

Он выдвинул средний ящик. Сверху лежало полотняное платье жены — самое дорогое для Уржумцева платье. В этом платье Таня была в тот день, когда он впервые увидел ее два года назад на вечеринке, куда его затащили довоенные дружки. Он тогда только что демобилизовался из армии и подумывал о работе в соседнем городе. Еще бы день-другой — и он укатил бы отсюда, не только не познакомившись с Таней, но даже и не узнав, что живет она на белом свете. Уржумцев не в первый раз подивился чудесной случайности, которая свела их в жизни, и признательно погладил старенькое платье.

В углу комодного ящика лежало что-то серое, грубое, смахивающее на долгожданное кухонное полотенце. Уржумцев вытащил предполагаемое это полотенце, но оно оказалось старым фартуком. Он уже собирался сунуть его на прежнее место, когда увидел в ямке, где лежал фартук, конец узкого газетного свертка, придавленного постельным бельем. Что-то чужеродное, даже тайное было в этом свертке, и весь он был как-то явно не на месте здесь — среди чистых, накрахмаленных простынь и наволочек. «Всюду у нее выкройки!» — осудил Уржумцев жену, вытянул газетный сверток и машинально развернул его.

Но это была не выкройка — совсем не выкройка. Пожелтевшая газета была старая, еще первого года войны. Пережитой бедой, историей, к которой и он причастен, пахнуло на Уржумцева от сообщения Информбюро. Не дробя текст на фразы и слова, он как-то разом впитал

в себя весь горький смысл рядовой этой военной сводки сорок первого года, где сдержанно говорилось об оставленных городах и пространно — о подвиге бравого старшины, подбившего бутылкой с горючей смесью фашистский танк.

И не одну лишь военную сводку видел сейчас перед собой Уржумцев. Он и сам на себе испытал все, что стояло за скупой этой словесностью. И хотя далеко вперед ушел Уржумцев от той поры и знал теперь все, что было потом и чем кончилась война, и давно уже привык смотреть на события начального года войны с высоты нынешнего мирного дня, завоеванного победой,— а все ж навечно врезался памятный тот год в его душу и жил там незарастающим шрамом...

В старую газету была завернута тоненькая пачка писем — пять или шесть штук. Уржумцев веером развернул письма и увидел меж ними похоронку. Четким, не без красивости, но каким-то прочно бездушным писарским почерком было написано, что сержант Андрей Рудаков погиб 28 октября 1941 года в бою под Тихвином. Одно из писем было развернуто — и Уржумцев выхватил глазами концовку письма: «Танистая! Верю, мы еще встретимся, и все наше сбудется, потому что не может не сбыться. Просто — не может, понимаешь? Твой Андрей».

Клетчатый тетрадный листок был по диагонали пересечен сгибами, сохранившимися от складывания письма в почтовый треугольник. И сгибы эти крест-накрест перечеркнули полустертые карандашные строчки, писанные крупным, неустановившимся, мальчишеским еще почерком.

Уржумцев осторожно завернул письма в хрусткую ломкую газету и положил сверток на прежнее место. Он стоял над выдвинутым ящиком комода, прикованно уставившись глазами в Танино полотняное платье и не видя его.

Вот оно что... Значит, он всего лишь заменил этого погибшего Андрея. Нечто вроде... заместителя. Этакий случайный и. о.— исполняющий обязанности спутника Таниной жизни.

И выходит, Таня никогда не стала бы его женой, если б Андрей вернулся с войны... Вся его любовь к Тане запротестовала в нем, не в силах примириться с этим от-

крытием, и стала искать выход из обидного, унизительного тупика, в который загнали его старые письма.

Теперь понятными стали и трудное их сближение, и та неприкрытая, долгое время сбивающая Уржумцева с толку холодность, порой почти враждебность, какие чуть ли не весь первый год их знакомства замечал он в Тане. Похоже, она все время невольно сравнивала его с Андреем и никого не хотела видеть на месте погибшего. А замуж за него пошла потому лишь, что в конце концов привыкла к нему, примирилась с мыслью, что и с ним можно как-то построить свою жизнь. Вот именно: как-то!.. Скорей всего, она так решила: раз не суждено ей быть вместе с Андреем — так не все ли равно, с кем жизнь коротать?

А он-то думал!..

Но почему же Таня за все время, что они вместе, даже словом единым не обмолвилась об Андрее? Почему скрытничала, прятала от него стародавнюю свою любовь? Уржумцеву всегда казалось, что у Тани нет от него никаких секретов и он досконально знает всю ее жизнь. А на поверку вышло: главное в прежней ее жизни он только сейчас узнал — да и то случайно. На ее месте он давно бы уже все рассказал... Мало ли что он сделал бы на ее месте, а вот Таня рассудила иначе.

И чего она боялась? Не хотела осложнять их жизнь? Или страшилась вызвать в нем ревность к прошлому?

Что для нее значат теперь эти письма? Может, они давно уже утеряли для нее первоначальное свое значение, а просто лежат себе и лежат? Дороги лишь как память, вот рука и не поднимается уничтожить их? Минуло уже без малого десять лет после гибели Андрея — и возможно, все былое уже перегорело в ней, и боль от утраты развеялась и ушла туда, куда все наши старые боли уходят...

А может, все совсем иначе: слишком памятны ей эти письма и сам Андрей слишком еще жив в ней,— вот она и молчала, чтобы не выдать себя. А то и попроще все было, как частенько в жизни бывает: сначала Таня не рискнула сказать, боясь, как бы он сгоряча не приревновал ее к Андрею. А потом... потом открыться становилось все трудней и трудней. Тут уж и сама задержка работала против Тани. Скорей всего, именно так все и было.

Но как там ни крути и ни защищай ее, а выходит —

не очень-то она верит ему! И как же она живет с ним, если до конца не верит?

Уржумцев поразился недавней своей слепоте. Подумать только, еще сегодня, каких-нибудь полчаса назад он опрометчиво считал Таню счастливой. И эта вера делала его собственное счастье с ней более полным и заслуженным, что ли. И ведь не выдумал же он все на пустом месте: Таня вечно шутила, часто пела и казалась рядом с ним такой безмятежно довольной. И все это время третий незримо жил под крышей их дома...

Больше всего он ценил в Тане ласковое ее подтруниванье над ним, дружеские их перепалки, которые так напугали тетку. Во всем этом ему виделась какая-то особенная их любовь, совсем непохожая на чинную и пресную, как бы по обязанности, семейную жизнь многих их знакомых. Уржумцев был убежден, что, в отличие от других супружеских пар, они с Таней не только муж и жена, но еще и друзья, до конца преданные друг другу.

Где теперь эта дружба? Видать, и не было ее вовсе, просто выдумал он — и дружбу эту, и Танину любовь к нему, да и всю особенную Таню.

Но тут неподвластная ему память выискала в своих закромах те заветные минуты, которые в свое время убедили его, что он любим. Неужели она и тогда, в те святые для него минуты, обманывала его и лишь притворялась любящей?

Уржумцев не мог так легко отречься от счастливейших минут во всей своей жизни. Нет, все у Тани было несколько сложней, чем он только что представил себе. Похоже, она не только его обманывала, но и себя... Да, конечно, и себя тоже! Научилась делать вид, что счастлива с ним: так ей легче на свете жилось. Сначала, пересиливая себя, притворялась, а потом так свыклась с ролью счастливой жены, что и сама поверила — и в свою любовь к нему и в свое счастье с ним,— и эта раз надетая маска прочно приросла к ней, заменила ей истинное лицо...

Он привык боготворить Таню, ставить ее выше всех известных ему людей, а теперь она виделась ему почти такой же, как и жены его приятелей... Почти! Даже и теперь у него не хватило духа окончательно развенчать Таню, и он предусмотрительно оставлял на бу-

дущее лазейку — для нее ли, для себя,— Уржумцев и сам не мог бы сейчас сказать, для кого предназначалась эта запасная дальновидная лазейка.

Уржумцев считал, что у них нет и не может быть секретов друг от друга, а Таня все это время таилась от него. И как она могла? Как эта ложь уживалась в ней с ее правдивостью и душевной тонкостью? А он еще боялся, что у нее совсем нет недостатков, и видел единственную ее слабость в высокой прическе... Каким же он был слепцом!

Его больно удивило несоответствие между тем чистым и высоким, что было в его душе к Тане, и хитроватой ее осмотрительностью. Какие ни подыскивай для нее оправдания, а за этой боязнью сказать ему всю правду об Андрее проглянуло в Тане что-то мелкое, лживое. Он испугался: а вдруг и вся она мельче, чем его любовь выдумала ее? Ведь говорят же, что мы любим не самого человека, какой он есть, а лишь наше представление о нем,— и представление это, как правило, выше того, что есть на самом деле. И каждый создает свою любимую в меру своей фантазии и способности находить в людях хорошее. По этой же причине люди злые и себялюбивые и не способны на самоотверженную любовь, а любят себе на уме, мелко и эгоистично, для одной лишь своей выгоды...

Здесь, если толком разобраться, совсем и не в письмах этих дело, а тем более не в первой Таниной полудетской еще любви. У кого такой любви не было? Сильней всего Уржумцева обидело, что он весь был перед Таней нараспашку, а она в это же самое время расчетливо прикидывала: это вот наше общее, а это — только мое, сюда мужу хода нет.

А он-то, простак, все выболтал ей о своей школярской влюбленности в молоденькую преподавательницу химии, которая учила их в строительном техникуме. И надо же было так случиться: только-только юный Уржумцев открыл в конце первого курса, что без памяти влюблен в прелестную эту химичку, как она вызвала его к доске — и он с треском опозорился перед ней. И летом, на каникулах, когда дружки его самозабвенно гоняли футбол и рыбачили сколько душе угодно, он рьяно зубрил химию, чтобы осенью смыть свой позор. Сгоряча он даже вторгся в органику и вызубрил добрую половину растопыристых формул. А осенью выяснилось, что прелестная химичка

выскочила замуж за угрюмого завуча и укатила с ним на Дальний Восток, а на ее место в техникум пришла ветхая старушенция — чуть ли не современница Ломоносова и Лавуазье. И вдобавок оказалось, что органику Уржумцев зубрил совсем зря, по программе этого вовсе и не надо было. И остался юный Уржумцев на бобах — с первой царапиной на сердце и не нужными ни ему, ни экзаменаторам растопырками в голове!

Помнится, когда Уржумцев рассказал Тане эту историю, она хохотала до слез над его оплошностью и частенько потом говаривала: «Ты у нас известный химик-органик!» Хохотать-то она хохотала, а вот об Андрее и тогда не заикнулась, а ведь случай был самый подходящий. Ну что ей стоило, вдоволь посмеявшись над мальчишеской его промашкой, довериться ему и самой признаться под конец: «А у меня первая любовь совсем не такая была...» — и все рассказать про Андрея. Нет, ничего она тогда не сказала. По всему видать, у нее это посерьезней было, чем вся его непутевая химия...

Уржумцев сам первый и посмеялся над этой неожиданной и глупой вспышкой ревности. Вот уж никогда раньше не думал он, что способен на этакое. Недаром говорится: век живи — век учись. И кто только эти поговорки выдумывает?..

Глупо ревновать к покойнику, а к своему брату фронтовику, не вернувшемуся с войны, и подавно... Все это так, но, похоже, именно к Андрею он и ревнует Таню. И знает, что не годится так, и не хочет, а все-таки ревнует. Уржумцев сам себя не понимал сейчас и знал только одно: ему больно, просто больно — и все. Тяжко усомниться вдруг в человеке, которому верил больше, чем себе самому.

Он постарался отмахнуться от всех своих подозрений, но что-то темное в душе его все-таки осталось: след не след, а так — пятнышко от следа. Ничто не проходит даром — есть, кажется, и такая поговорка... Черт бы их побрал, этих мудрецов, что поговорки сочиняют! Делать им больше нечего. Навыдумывали сорок бочек присловий на все случаи жизни, тоже мне облагодетельствовали страждущее человечество. Просили их! Им и горюшка мало, а ему теперь на каждом шагу спотыкаться о жесткие плоды сомнительной их мудрости и набивать себе синяки!..

Кем мог быть Андрей? В начале войны Таня окончила педагогическое училище. Скорей всего, Андрей был ее однокурсником: в том возрасте редко влюбляются далеко на стороне. Они готовились вместе к экзаменам, играли на переменках в волейбол, убегали с занятий на дневные сеансы в кино, мечтали работать вместе в одной школе... Уржумцев видел всю их любовь — полудетскую еще, неопытную, угловатую. Были в этой любви и беспричинные юношеские ссоры и быстрые примирения, и скамейки в парке, и долгие прощальные стояния у калитки — все самое первое, самое чистое, что живет потом в сердце, не тускнея, до конца жизни и чего так и не было у него самого с Таней.

Как там Андрей обращается к ней в письме? Танистая... Вот, значит, как он ее называл... Уржумцева неприятно поразило, что он сам, со всей своей любовью к жене, не додумался до такой разновидности ее имени, а простецки величал ее Таней, Танюхой, Танюшкой, а иногда торжественно-шутливо, на манер онегинского мосье Трике,— Татианой. Он даже позавидовал Андрею, что сумел тот отыскать такой неведомый ему вариант дорогого им обоим имени. И как тот ухитрился? А он вот прошел мимо этой возможности, недогадливый... Уж не любил ли Андрей сильнее, чем он сам любит Таню? Но как всякий любящий, Уржумцев был уверен, что любить сильнее его просто уже невозможно.

Вот тебе и Андрей... А он сам — со злополучной черешней в полевой сумке, этим мытьем посуды и вечным своим стремлением угодить жене — показался вдруг себе жалким, пытающимся всякой бытовой ерундой подсластить горькую Танину беду и залатать большую прореху, зияющую в ее жизни. И со стороны все эти его попытки выглядели, наверно, довольно-таки убого. Недаром приятели высмеивали его! Выходит, они были ближе к истине, чем он, ослепленный любовью. Что ж, теперь он будет умнее и станет больше прислушиваться к их советам.

И он уже не понимал себя недавнего — до того, как наткнулся на письма Андрея. Этот прежний, ничего не подозревающий и благодушный Уржумцев виделся ему теперь толстокожим и даже малость примитивным. Пусть он ничего не знал тогда об Андрее, но ведь наверняка этот потайной Андрей как-то прорывался во всем поведении Тани — просто не мог время от времени не проры-

ваться. И другой, более чуткий человек на его месте сразу бы углядел его, а он вот, слепец, так ничего и не заметил.

Любовь Андрея к Тане как-то невольно сближала его с Уржумцевым, перебрасывала между ними мостик, даже роднила их. На миг ему почудилось, что он давно знает этого парня, будто воевали они в соседних ротах. Кого другого, а уж его-то Уржумцев хорошо понимал. Скорее, он никогда не мог до конца понять тех, кто равнодушно проходил мимо Тани. Таких людей Уржумцев даже жалел немного: они казались ему просто незрячими.

Никакой своей вины перед Андреем он не чувствовал. Осенью сорок первого, когда тот погиб под Тихвином, он тоже воевал, но на юге, под Ростовом. А позже были и Днепр и Одер. И ему пришлось досыта хлебнуть фронтовой жизни: были у него и бомбежки, и переправы в ледяной воде на хлипких плотиках, и атаки, и жесткие госпитальные тюфяки. И он зарывался лицом в грязь и в сугробы под басовитым огнем крупнокалиберных пулеметов, и лютые «тигры» утюжили его в окопе, и его пытался похоронить шквальный обвал шестиствольных немецких минометов. Просто ему больше повезло, чем Андрею,— и тот осколок, та пуля, что могли и его убить, взяли на спасительный сантиметр в сторону. Может, и нет в том его особой заслуги, но и вины тоже нету...

Неузнавающими глазами Уржумцев обежал комнату. Все вещи стояли на своих привычных местах, но как бы отгородились от него. И стол, и ваза с цветами на подоконнике, и календарь на стене помнили его другим. Недавнее счастье его с Таней пропитало здесь все — и теперь Уржумцеву больно было смотреть на каждую вещь, будто его выселили из родного дома.

Как часто Таня перечитывает эти письма? Пыли на них не видно, да какая уж там пыль в комоде... Может, как поженились они, Таня ни разу и не разворачивала этот сверток, а может — и частенько в него заглядывает, чуть не каждый день.

Ему припомнилось, что порой Таня как-то странно задумывается, точно убегает мыслями куда-то далеко от всей нынешней своей жизни. Уж не Андрея ли она тогда вспоминает? Раньше он не придавал этому особенного значения, хотя и примечал эти ее отлучки, но думал: про-

сто у нее такая привычка — задумываться ни с того ни с сего. А теперь он и в этом увидел подтверждение нынешнего своего открытия и решил, что всему причиной — все тот же Андрей.

Уржумцев уверился вдруг, что Таня обращается к этим письмам всякий раз, когда считает себя обиженной. И хотя живут они на зависть соседям, но и у них все-таки бывают размолвки. Не так уж часто, но бывают. И тогда Таня, наверно, ищет утешения в этих письмах: тайком от него перечитывает их, плачет втихомолку, жалея не только Андрея, но и себя, и еще сильней утверждается во мнении, что с Андреем ее семейная жизнь сложилась бы гораздо счастливей и плакать ей тогда совсем не пришлось бы... И если догадка его верна — а что-то говорило Уржумцеву, что он угадал-таки,— тогда письма эти для Тани этакая отдушина в ее жизни, безотказное средство, к которому она прибегает всякий раз, когда нуждается в поддержке.

И с этим придется ему теперь считаться — хочет он этого или нет. Это — как приданое ее, которое досталось ему вместе с Таней, как тень, что неотступно сопровождает ее. А для него самого — ежедневный экзамен.

Остряки утверждают, что мы женимся не только на своей жене, но и на всех ее родственниках. А правильней сказать — и на всех ее воспоминаниях, на всем том, что в жизни ее не сбылось, но осталось жить в памяти. И это стародавнее, несостоявшееся сопровождает иного человека всю его жизнь, до самой смерти.

Вот как оно все оборачивается... Слишком рано он успокоился. Решил: раз сводил Таню в загс и закрепил их союз на бумаге — значит, все его тревоги позади, остается жить-поживать да добра наживать. Не тут-то было! Придется ему теперь все время оглядываться на Андрея и тянуться изо всех сил, чтобы Таня ни о чем не жалела и не искала утешения в этих письмах.

И не в письмах тут дело. Одну любовь можно перекрыть только другой любовью. Только так, и не иначе. Как там мудрецы говорят: клин вышибают клином... Все-таки они кое-что понимают, эти мудрецы, и на этот раз дают дельный совет. Понаторели в своих присловьях!..

Уржумцев задвинул ящик комода. Литая медная

ручка тяжело качнулась и замерла, сторожа покой писем.

Сколько таких писем лежит сейчас по укромным уголкам в наших домах? Письма людей, не доживших своего века, недолюбивших. Они всегда были, такие письма, а сейчас — после войны, унесшей миллионы жизней и перепахавшей судьбы десятков миллионов других людей, оставшихся в живых,— таких писем как никогда много.

Время делает свое дело: ветшает бумага, тускнеют выцветшие, наспех писанные строки, выгорают чернила, осыпается непрочный графит карандашей, сырость размывает дорогие когда-то слова. И с адресатами этих писем время тоже творит свои неумолимые — благодатные и жестокие — перемены: рубцует старые раны, все дальше за кромку житейского горизонта отодвигает былое горе, которое когда-то казалось безысходным и вечным. Иной раз старые письма оживают и вмешиваются в жизнь своих почерствевших душой адресатов, становятся на их пути к новому счастью. И кое-кто тогда в угоду минуте называет старую любовь увлечением молодости, досадной ошибкой, а то и вовсе открещивается от нее, беззащитной. «Только увидев тебя, я поняла...» Ожесточаясь душой на нежданную эту помеху, залежавшиеся письма рвут тогда безжалостной рукой или бросают в огонь. Коробясь, медленно и неохотно занимаются пламенем лежалые листки, последним посмертным приветом и немым укором вспыхивают слова изжитой и преданной любви.

Уржумцев был благодарен Тане, что не пошла она по этому пути, не стала пачкать ложью всего того, что было у нее когда-то с Андреем. Так-то оно так, но и сказать ему всю правду об Андрее она все-таки не решилась...

3

Стукнула калитка — и в палисаднике появилась Таня. Она быстро шагала по дорожке, сильно и некрасиво размахивая руками,— может быть, и не любящая его, но для Уржумцева все равно самая родная на всем свете. У клумбы Таня подняла с земли опрокинутую лейку, подставила ее под водопроводный кран. Струя воды весело

ударила в пустое звонкое ведро — с былым бездумным напором, как встарь, когда Уржумцев еще ничего не знал про Андрея. Все вокруг жило своей обычной, отдельной от него жизнью, будто и не было никаких старых писем и всего, что за ними стояло.

С лейкой в руке Таня приподнялась на цыпочки, чтобы достать до середины клумбы. Напряженно застывшая над цветами, старательно хозяйственная, она вдруг показалась Уржумцеву очень несчастной. «Отводит душу на пустяках,— горько подумал он.— Только цветочки ей теперь и остались!»

Уржумцев с жадным любопытством вглядывался в Таню. Ему хотелось наконец-то понять, почему она таила от него юную свою любовь и прятала от него Андрея. Он и выискивал и в то же время боялся увидеть в ней хитрость, вероломство и все то, чем, по его мнению, обязательно обзаводится женщина, выходя замуж не по любви, а лишь затем, чтобы как-то устроить свою жизнь и обрести в муже житейскую подпорку.

Но одно дело было плохо думать о Тане заочно, и совсем другое — видя ее перед собой. Да и не мог Уржумцев вот так по-бухгалтерски взвешивать все «за» и «против». Он только глянул на Таню — и сразу же привычное и каждый раз такое новое чувство любви к ней властно охватило его. И по странной любовной логике все недавние его сомнения и неуверенность в ее ответной любви к нему делали Таню еще желанней, словно она подорожала вдруг в его глазах.

И уж конечно, ничего решительно не было в ней хитрого и вероломного. Как-то со стороны, будто его самого это и не касалось вовсе, Уржумцев вдруг остро пожалел Таню за то, что так не повезло ей в жизни: любила одного, а замуж пришлось выйти за другого — мало-мальски подходящего. На миг он даже ухитрился позабыть, что этот другой — он сам и есть...

И все, что он тут навыдумывал недавно — такое убедительное для него, когда он громоздил это ревнивое сооружение в одиночку, не видя Тани,— теперь, рядом с ней, сразу утеряло всю свою убедительность и рухнуло, как карточный домик. Просто не вписывалась она в этот заочно очерченный им для нее круг. Не вписывалась — и все. И, может быть, любить — это в конечном счете верить любимому человеку. Верить даже тогда, когда расклад фактов дает зацепку для сомнений и верить трудно,

а усомниться легко. Если мудрецы еще не додумались до этого — то рано или поздно додумаются. И если они недаром жуют свой хлеб — то пора бы им уже поторопиться изречь эту истину — бесспорную для Уржумцева.

Все его обиды сами собой отодвинулись далеко в сторону и по закону перспективы сразу стали меньше ростом. Вот уже и перспективу он ухитрился себе в подмогу приспособить! А сколько еще разных хитроумных законов, которые пооткрывало человечество, ждет своего часа, чтобы заслонить собой Таню и оправдать ее в глазах Уржумцева.

Да и совсем не в законах тут дело! Похоже, это любовь его начала исподволь подтачивать его обиду, не дает ей затвердеть и ищет окольные тропки, чтобы обелить и выгородить Таню. Уржумцев подивился тому, что вся эта подпольная работа идет без его ведома и спроса, словно и не он — хозяин своей любви, а она сама распоряжается им, как ей заблагорассудится.

Недавние его подозрения потеряли вдруг всю свою силу и сделались просто не важными. А важным и полным особого смысла для Уржумцева стали и эта вот помятая лейка, из которой Таня поливала цветы, и педагогическая ее прическа, и гордая линия шеи, и голос ее глуховатый, который был ему милее всех певучих. Она хоть и молчала сейчас, но этот родной для Уржумцева голос был при ней, никуда он не делся и только ждал своей минуты, чтобы подать о себе весточку. И даже глупый шмель, что жужжа пролетел сейчас над ее головой, сразу стал для него особенным, ее шмелем, отличным от прочих бесхозных своих собратий, до которых Уржумцеву не было уже никакого дела...

Ему совсем было бы хорошо — поверь он в ее ответную любовь к нему, но этой вот позарез нужной ему веры как раз и не было сейчас у Уржумцева. Вся эта история как бы отбросила его к тому времени, когда он встретил Таню и сразу полюбил ее, а она долго его не признавала. В то памятное для него время он метался между надеждами на успех и черными сомнениями. И теперь, сдается, для него настала такая же трудная пора.

«По второму кругу у нас пошло...— растерянно подумал Уржумцев, провожая глазами ее шмеля.— Ну и пусть по второму!» — заупрямился он в споре с самим

собой. Откуда у большинства людей это верхоглядное убеждение, что любимого человека завоевывают лишь один раз в жизни, перед женитьбой, а потом до самой смерти так и живут на проценты с этого давнего завоевания? Раньше и он так же думал, а теперь Уржумцеву ясно стало: за любовь свою надо бороться всю жизнь. Хорошо еще, что он успел понять это не слишком поздно. Другие так и живут в неведении... Стоп, кажется, он уже начинает хвастаться своей прозорливостью! Тоже мне прозорливость: два года любит Таню, полгода уже они женаты, а он только сегодня узнал про Андрея, да и то случайно. Тут уж не прозорливостью пахнет, а самой настоящей куриной слепотой!..

Уржумцев вдруг увидел укор себе в том, что эту самую большую беду в своей жизни Таня перебарывает в одиночку, а он до сих пор ничем не смог ей помочь, будто и нет его рядом с ней. И кто тут больше виноват: она с ее боязнью открыться ему или он сам, так и не сумевший за два года внушить ей доверия к себе? Поди теперь разберись.

И как ей поможешь? Эту новую, не до конца откровенную с ним Таню он и не знает вовсе. Если на то пошло, он и такую Таню любил, хотя и мало ее понимал. А любить, не понимая, Уржумцев не привык. Просто трудно было любить ему, не зная, кого же он любит. Но и не любить Таню тоже было уже не в его власти.

Исподволь в нем крепло убеждение: стоит только ему понять эту новую Таню — и все у них сразу же наладится само собой. И понять ее сейчас подобревшей душе Уржумцева, перешагнувшей через ревнивые буераки, удалось гораздо быстрей и легче, чем он сам ожидал. Да и помощник юркий тут у него нашелся. Он все еще машинально следил за Таниным шмелем, и когда тот нырнул в цветок, Уржумцева осенила счастливая догадка.

Конечно же, Таня молчала совсем не из хитрости или вероломства, а ради него самого, чтобы без нужды не омрачать его жизнь ревностью. Это же так ясно! И как он не видел этого раньше? А верить ему она верила. Свидетельство тому — эти же письма. Да, письма! Ведь Таня не побоялась держать их дома, чуть ли не на виду,— значит, была убеждена, что он, даже наткнувшись на них, не закатит скандала. Другая на ее месте уничто-

жила бы письма — и концы в воду. А Таня не стала отрекаться от старой своей любви, верила, что будет понята правильно... Все так ясно и логично, а он тут сгоряча, из-за слепой своей ревности, черт-те чего наворотил!

Уржумцев повеселел и решил уже, что все его треволнения позади и он наконец-то выкарабкался из той житейской ямины, в которую сам же и свалился. Но тут Таня обогнула клумбу, увидела его в окне и помахала ему пустой лейкой. Весело и небрежно так помахала! Уж лучше бы она не махала ему вовсе и не испытывала свою судьбу. Весь вид у нее был такой, будто она отродясь не знала за собой никакой вины, а он просто обязан был простить ей и старые письма и все-все, что она еще натворит в будущем. И разом помрачневший Уржумцев заподозрил, что так оно и будет, и снова ожесточился душой — не так даже против жены, как против себя самого.

Зачем он себя-то обманывает? Ведь совсем не понять Таню он стремился, а скорей оправдать ее любой ценой. А насчет логики... Хороша логика: еще полчаса назад эти же самые письма вопили о Танином вероломстве, а теперь он чуть ли не благодарить Таню навострился за то, что сохранила она эти письма. Вот так логика...

«Слабак ты! — обругал себя Уржумцев.— Она вон какие штуки вытворяет и совсем с тобой не считается, а ты как любил ее — так и любишь. Где же твоя самостоятельность? Самолюбие твое где?»

Он забоялся, что из-за этой позорной своей слабости никогда не сможет трезво судить о Тане, а навек обречен своей любовью видеть все ее поступки в розовом всепрощающем свете. Прежде эта его прикованность к Тане радовала Уржумцева, сулила ему долгое и безоблачное счастье, а теперь показалась обидной и унизительной. И вся его любовь к Тане, которой он привык гордиться и считал самым ценным из всего, чем одарила его жизнь,— теперь предстала перед ним как затяжное и постыдное его безволие...

Уржумцев и не заметил, как Таня вошла в дом.

— Мамочки мои, посуду вымыл! — крикнула она из кухни.— Саш, ты у меня просто образцово-показательный муж! — Таня позвякала тарелками, насмешливо хмыкнула.— Перехвалила я тебя, придется перемывать: холод-

ной водой мыл, а на плите целый чайник горячей стоит. Эх ты... судомой!

Она еще пыталась шутить! Уржумцев загорелся желанием покончить все разом: пойти сейчас к ней на кухню и, не таясь, выложить всю свою обиду. Он уже шагнул к кухонной двери, но тут же замер посреди комнаты, будто налетел на стену. Нет, это будет слишком жестоко. Раз она до сих пор ничего не сказала ему про Андрея — значит, просто не готова еще к этому. И пойти сейчас — вломиться без спросу ей в душу... А дальше? Как они тогда жить будут? Он и сам не знал, чего тут у него было больше: дальновидной предусмотрительности или снова неподвластная ему любовь заговорила в нем и сковала злую его решимость...

— Саш, ты чего кислый такой? — спросила Таня, выглядывая из кухни.

Уржумцева всегда удивляло умение Тани с первого взгляда безошибочно угадывать душевный его настрой. Ему еще ни разу не удалось прикинуться перед ней веселым и беспечным, когда что-либо беспокоило его — чаще всего неполадки на работе. Эта способность Тани — так хорошо понимать его — и радовала и пугала Уржумцева: он чувствовал себя перед ней как бы распахнутым настежь. Прежде он утешал себя тем, что это Танина любовь к нему делает ее такой зоркой. Мало ли что мерещилось ему прежде! А теперь он терялся в догадках, что помогает ей видеть его насквозь. Может, она от природы такая востроглазая — кто их, глазастых женщин, разберет?..

— И чего надулся как мышь на крупу? — не унималась Таня.— Учти, тебе это никак не идет. Если б ты всегда был такой кислятиной — я бы за тебя и замуж не пошла!

Все шутит... Она упорно играла себя прежнюю — веселую и счастливую жену, какой он считал ее раньше. И надо отдать ей должное — убедительно играла. Но теперь Уржумцев ей не верил. И хотел верить — да не верилось ему.

— Сижу без папирос,— соврал он, чтобы сказать хоть что-то.

— Возьми за зеркалом. Как знала, купила сегодня. Все-таки жинка у тебя ничего, хозяйственная!

«О папиросах она помнит,— подумал Уржумцев со сложным чувством непрошеной благодарности к Тане и

незатихающей обиды на нее.— По пустякам она добрая...» Он нарочно пытался ожесточить себя против Тани, чтобы не поддаться невольной этой благодарности и так дешево, за пачку «Беломора», не простить ей все те горькие минуты, что пережил он сегодня.

Таня стояла на пороге кухни и повязывала свой кокетливый рекламный фартучек. Уржумцев покосился на нее — и сердце у него защемило, будто прощались они перед долгой разлукой. Он только понять не мог, кто из них кого покидает.

Ему трудно было сейчас не только говорить с Таней, но даже смотреть на нее. Из боязни выдать себя, он прошел на веранду, бухнулся в качалку и закрылся от Тани газетой.

От клумбы шел тревожный запах роз, тонкий, чуть кисловатый — резеды, бесхитростный леденцовый запах душистого горошка. Как всегда вечером, цветочные запахи не смешивались, жили каждый сам по себе, а остывающий воздух делал их только чище и крепче.

Как расчудесно пахли бы сейчас для него эти цветы — не будь старых писем! Или пусть письма даже были бы, но тихо-мирно лежали бы на своем месте, а он ничего бы не знал о них. И черт его угораздил полезть сегодня в комод, и именно в этот ящик. Уржумцев с тоской припомнил недавнюю свою жизнь — беспечную и привольную. Как счастлив он был до самой той минуты, пока не наткнулся на эти письма и не узнал то, что ему вовсе не следовало знать.

Было в этом его желании что-то от повадки страуса, сующего в минуту опасности голову под крыло. Вот и до страуса он уже докатился! Нет, как бы дальше ни сложилось у них с Таней, а такое вот слепое страусиное счастье не для него...

Таня гремела посудой на кухне и напевала вполголоса любимую свою еще довоенную песенку: «Ходят волны кругом вот такие...» Детскую эту песенку она и раньше частенько пела, но сейчас Уржумцеву послышалось в ее голосе что-то новое: и радость, и раздумье, и тревога даже. Таня запнулась на полуслове и, на ходу вытирая руки о фартук, направилась к нему на веранду. Газета в руках Уржумцева дрогнула и зашелестела. Таня подошла к нему вплотную и потянула газету за уголок. Он

не выпускал газеты из рук, но она потянула сильней, настойчивей — с таким видом, будто просто обязана сейчас это сделать.

Уржумцев опустил газету и удивленно вскинул голову. Было в Тане сейчас что-то незнакомое ему, решительное и даже торжественное. Она как бы прислушивалась к себе и не замечала ничего вокруг. А в глазах жены сквозила совсем уж непонятная Уржумцеву, чуть-чуть хвастливая гордость, словно сумела она сделать что-то трудное и важное, сама еще не до конца верит себе и ждет от него подтверждения и одобрения.

Быстрые Танины пальцы щекотно коснулись его шеи, пробежали по воротнику рубашки, отстегнули и тут же снова застегнули пуговицу. Уржумцев недоверчиво покосился на нее. Уж не задабривает ли она его? С нее станется... Говорят, есть же какие-то флюиды, что передаются от человека к человеку против его воли. Вот и Таня, наверно, уловила, что он переменился к ней, стал хуже о ней думать, и поспешила принять свои меры. С ее зоркостью и умением читать в его душе ничего тут нет удивительного...

— Ты ни о чем не догадываешься? — спросила Таня с былой доверчивостью, которую так ценил в ней прежде Уржумцев.— Последние дни я и сама подозревала, а сейчас и Спиридоновна подтвердила: у нас будет ребенок...

Уржумцев вскочил, отшвырнул газету. Он не знал, как там Таня в свое время любила Андрея и как смотрела на этого паренька, но на него она смотрела сейчас совсем не так, как смотрят люди себе на уме, когда их связывает с другим человеком всего лишь скучный расчет и назойливое желание опереться на него в жизни. И виделась она ему теперь большой и душевно богатой, способной после Андрея полюбить и его. Никакая она не актриса, а просто любит его, а он тут в одиночестве навыдумывал разных гадостей. Он заглядывал в счастливые, преданные ему и малость смущенные глаза жены и говорил восхищенно и виновато:

— Таня... Танюшка...

Запоздалое раскаянье навалилось на Уржумцева. Больше всего он боялся сейчас, чтобы Таня не прочла в его глазах, какой он подлец и сукин сын и до чего он тут докатился в глупой своей ревности.

— Танюшка... Танюха... Танюха моя!..— повторял он, не в силах выразить всей своей любви и раскаянья.

В памяти его как бы эхом отозвалась и другая разновидность ее имени: Танистая... Но и сам Андрей и все, связанное с ним, отодвинулось от Уржумцева, улеглось в свои берега и стало такой далекой предысторией их с Таней любви, что и вспоминать теперь обо всем этом было просто грешно. Перед лицом этой новой жизни, этого живого узелка, завязанного им с Таней, все, что еще недавно удручало Уржумцева, разом развеялось. Их с Таней ребенок, еще не родившись, уже зачеркнул все его скороспелые обиды и ревнивые задумки на будущее...

Таня уткнулась лицом в плечо мужа, отыскала ощупью ямку над его ключицей, созданную, как она уверяла, специально для ее подбородка, и затихла. Уржумцев замер на месте, боясь пошевелиться, чтобы не вспугнуть Таню. И время приостановило свой бег, чтобы они оба могли беспрепятственно вжиться в эту минуту и по достоинству оценить ее — одну из самых счастливейших минут во всей их жизни.

В саду тучно ударилось о землю крупное яблоко. Таня встрепенулась и сказала убежденно:

— Вот увидишь: будет мальчишка!

— Почему ты так думаешь? — удивился Уржумцев.— Заранее ведь нельзя знать.

— Пусть нельзя,— милостиво согласилась Таня, снисходя к мужской его непонятливости.

И в голосе ее прозвучало превосходство, идущее, кажется, оттого, что природа-матушка вывела ее сейчас на первое место в их семье, а его потеснила. И он сразу же безропотно принял это новое ее превосходство и охотно подчинился жене. А что ему еще оставалось? Ведь его роль в предстоящем таинстве рождения их ребенка уже сыграна, а главное теперь предстоит совершить ей. Она снова взяла верх над ним, но это уже больше не обижало Уржумцева.

— Ну и пусть нельзя знать заранее,— упрямо повторила Таня.— А мне все равно хочется, чтобы у нас был мальчишка и чтоб он был забияка и много ел. Терпеть не могу детей, которых надо упрашивать съесть каждый кусок. Так и стукнула бы по затылку!

Она говорила таким тоном, будто порядком уже намучилась в своей жизни с капризными детьми.

— Это ты только сейчас хорохоришься,— поддел ее Уржумцев, незаметно для себя впадая в привычный тон шутливых их перепалок.— А потом сама первая его избалуешь!

— Это я-то?

Таня снисходительно усмехнулась — и Уржумцев уверился вдруг, что она станет строгой и взыскательной матерью...

— Если родится девочка — назовем Светланой, хорошо? — быстро, словно припомнив вдруг что-то, сказала Таня.

— А если парнишка — Игорь! — подхватил Уржумцев.

Таня поморщилась.

— Не нравится мне это имя... Есть в нем этакое покушение на красивость, что ли. И у соседей тоже Игорь: кликнем своего, а прибежит соседский! И в школе сейчас сплошные Игори... Такая путаница! Уж слишком это имя заделалось сейчас модным, давай не будем плыть по течению и проявим самостоятельность, а?

— Тогда — Петька?

— А это слишком уж просто и... Петухом дразнить будут! Тут надо все учесть: ведь один раз на всю жизнь выбираем. А то еще разобидится наследник: ну и дали предки имечко!.. Знаешь, не будем пока решать: мы тут голову ломаем, а вдруг дочка народится? Не к спеху, успеем еще...

Что-то не понравилось Уржумцеву в ее словах, а что именно — он и сам толком не понял. Вроде бы неполной искренностью и хитринкой от них повеяло.

— Нет, давай уж сейчас! — заупрямился он.— Первая, так сказать, прикидка. А разонравится потом — никто нам не помешает другое имя выбрать. Все в наших руках, и время еще есть.

Таня внимательно посмотрела на него, словно хотела понять, что стоит за этой его настойчивостью.

— Ну, прикидка — так прикидка,— согласилась она.— Что ты предлагаешь? Говори, ведь имен так много...

— Называй ты.

— Нет, теперь твоя очередь... Ведь сын же!

Чутьем, обостренным всеми событиями этого дня, Уржумцев догадался вдруг, что Таня выбрала уже имя их сыну и только хочет, чтобы он сам его назвал. И он знал, какого имени она от него ждет, но сразу не решился произнести это трудное для него имя.

— Может, Шуркой назовем? — спросил он беспечно, оттягивая время.

Таня повертела головой, привыкая к новому имени.

— Что ж, имя ничего себе,— признала она.— Но ведь тогда он станет у нас Александром Александровичем, а одинаковое имя и отчество всегда, по-моему, свидетельствуют о некоторой ограниченности родителей... Ты не находишь?

Было заметно, что ей самой понравилось, как ловко она забраковала и это имя: Таня даже легонько усмехнулась, радуясь убедительности своих доводов. И тогда Уржумцев сказал небрежно, сам удивляясь своему спокойствию:

— А если... Андреем назвать, а?

Ресницы Тани дрогнули.

— Андрей...— тихо повторила она, вслушиваясь в звуки этого дорогого и запретного для нее имени.— Андрей... Знаешь, а это неплохо звучит! Андрей Александрович... Андрейка, ты опять не сделал уроков!.. Так и решим, ладно?

Она все еще хитрила... Как попала в эту колею — так и не может из нее выбраться. Поступи так другой человек — и это свидетельствовало бы о закоренелой недоверчивости и мелочности натуры, а в Тане все преломлялось для Уржумцева как-то по-иному. Или это любовь его все переиначивала, чтобы обелить ее? Кто теперь разберет!

В упорстве, с каким она пыталась скрыть от него прежнюю свою любовь, было что-то наивное, даже детское. Это так ясно стало теперь Уржумцеву. И даже невольная ее жестокость, которой это упорство оборачивалось для него, была тоже в сущности какой-то несовершеннолетней — сродни той, когда дети причиняют боль своим близким не от злого сердца, а просто потому, что не в силах предвидеть всех последствий своего поступка.

Ну что ж, раз ей так хочется, чтобы он ничего не

знал про эту ее студенческую еще любовь, он и не будет знать — не покажет вида, что знает. Уржумцев был уверен: и он сам и его любовь к Тане справятся и с этим испытанием, хотя его могло бы и не быть. Но пусть будет, раз Таня не может пока без этого обойтись. Он и не такое ради нее готов выдержать.

Стороной прошла у Уржумцева мысль: значит, он все-таки не ошибся — и память о том давнем Андрее до сих пор дорога Тане. Но весть о ребенке развеяла последние остатки ревнивой его горечи, и на Уржумцева накатило вдруг чувство невольной своей вины перед Андреем — вечной и неоплатной вины живых и благополучных перед мертвыми своими одногодками, не вернувшимися с войны. Он вот дальше живет, а у Андрея ничего уже в жизни не будет — ни ребенка от любимой женщины, ни самой малой житейской заботы, даже горя и того уже больше не будет.

Он как бы примерил судьбу Андрея к себе — и больно ему стало за другого человека, будто в той трагической судьбе и все человечество было унижено. Жил парень, учился, любил, готовился к долгой и счастливой жизни, а война все у него отняла. И выходит, Андрей и повстречался-то на жизненном пути с Таней лишь затем, чтобы дать свое имя ее сыну. Думал ли он об этом, когда прощался с ней у заветной калиточки?..

Смутная догадка, что не все так просто, как еще недавно ему казалось, впервые пришла к Уржумцеву. Сдается, стремясь назвать своего сына именем любимого ею некогда человека, Таня не только хотела почтить его память и как бы продлить его жизнь, оборванную войной,— но еще и пыталась она, сама, может быть, не отдавая себе в том отчета, как-то расплатиться с Андреем за счастье свое с другим человеком. Да и сам Уржумцев, так легко соглашаясь назвать их с Таней сына именем погибшего одногодка, не только шел на поводу у жены, но еще и выкупал у Андрея по недорогой цене свое место рядом с Таней — его законное место.

Умом Уржумцев по-прежнему понимал: нет его вины в том, что Андрей погиб, а он остался жив. И на его погибель враг израсходовал многие тонны снарядов и бомб, километры пулеметных лент,— просто он оказался счастливее... Все это так, но теперь мало было уже

ему умозрительных этих рассуждений. Для полной веры в свое право заменить Андрея рядом с Таней ему не хватало и еще чего-то, а чего именно — он и сам пока еще не знал...

Уржумцеву показалось вдруг сомнительным и даже скверным, что он вот выведал про Андрея, а Таня даже и не подозревает этого. Выходит, они поменялись местами — и теперь он что-то скрывает от нее. Или совсем без такого вот умолчания не проживешь? И даже с любимым человеком нельзя быть до конца откровенным — ради его же блага? Кажется, это именуется ложью во спасение — навыдумывало просвещенное человечество!

И не понимал он уже, почему его так задело, что Таня ничего не сказала ему об Андрее. Зачем ему так уж понадобилось ее признание? Похоже, на самом донышке его обиды пряталось что-то мелкое, жестокое, позорящее и его самого, и Таню, а главное — всю их любовь. «Вот ты посмела до встречи со мной полюбить другого — так кайся теперь и держи ответ перед грозным мужем!» Так, что ли? А сам еще обвинял Таню в мелочности. Видно, в нем говорила тогда слепая обида, и она-то его самого сделала на время слепым и мстительно-жестоким...

Низкие лучи закатного солнца, дробясь о стволы яблонь, прожекторными лучами протянули в саду косые дымные полосы света. Солнце радужно вспыхнуло на запыленном оконном стекле, ударило в глаза Тане. Она закрылась рукой и из-под просвеченной насквозь ладони признательно посмотрела на мужа, благодаря его за то, что он так хорошо помог ей с выбором имени их сыну.

А Уржумцев вдруг испугался за нее. Как она перенесет роды? На миг в нем даже шевельнулась неприязнь к неведомому требовательному существу, живущему в ней. Да и обидно ему стало, что в решительную минуту он как бы устраняется, предоставляя Тане выкручиваться одной. «Вот тебе и равноправие!» — обескураженно подумал Уржумцев, сверху вниз с новым боязливым уважением посмотрел на жену и спросил виноватым шепотом:

— Ты не боишься?

Таня прищурилась и лихо замотала головой, разубеждая его.

— Просто не успела еще испугаться... Да и вообще я не такая уж большая трусиха,— похвасталась она и сжала его руку выше локтя.— И потом — около меня все время будет один неуклюжий прораб!

Уржумцев нагнулся и поцеловал жену в прищуренный колючий глаз.

Содержание

Борис Васильевич Бедный
ДЕВЧАТА
Повесть и рассказы

Рецензент *В. Малюгин*
Редактор *В. Башкирева*
Художник *В. Нагаев*
Художественный редактор *Н. Егоров*
Технический редактор *В. Флид*
Корректор *Т. Стельмах*

ИБ № 3428

Сдано в набор 22.04.83. Подписано к печати 26.09.83. Формат 84×108/32. Гарнитура литературная. Печать высокая. Бумага тип. № 2. Усл. печ. л. 27,83. Усл. краск-отт. 27,77. Уч.-изд. л. 29,05. Тираж 150 000 (75 001—150 000) экз. Заказ № 1003.
Цена 2 р. 10 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР.
121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4

Отпечатано с матриц ордена Трудового Красного Знамени типографии издательства ЦК КП Белоруссии. 220041. Минск, Ленинский проспект, 79, на Книжной фабрике № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25